

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1961

11



1961

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 11

Ноябрь, 1961 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА	3
НА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД. Труд и благосостояние советского человека. Беседа с председателем Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы А. П. Волковым . Беседу записал А. Литвак.— Рука друга. Беседа с первым заместителем председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по внешним экономическим связям И. В. Архиповым . Беседу записал П. Волин.— Две встречи. Беседы с академиком-секретарем Отделения геолого-географических наук Академии наук СССР Д. И. Щербаковым и с академиком-секретарем Отделения физико-математических наук Академии наук СССР Л. А. Арцимовичем . Беседы записал Кирилл Андреев	9
С. ПОЛИКАРПОВ — На ближних подступах, стихотворение	31
ИРЖИ ШОТОЛА — Это было в Европе. Из поэмы. Перевели с чешского М. Обручев и М. Ярмуш	32
КОНСТ. ФЕДИН — Костер, роман. Продолжение	37
НИЛ ГИЛЕВИЧ — Замок, стихотворение. Перевел с белорусского А. Корчагин	58
С. СЛАВИЧ — Рассказы	60
ЮРИЙ КУРАНОВ — Сельские зарисовки	117
Л. ЗАВАЛЬНЮК — Веселые приметы, стихотворение	125
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Окончание	126
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ — Дорога идет в гору	163
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ГЕННАДИЙ ФИШ — Фрам — это значит вперед	181
ПУБЛИЦИСТИКА	
А. МАРКИН — Энергетика коммунизма	207

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ЩЕРБИНА — Интеллектуальность или отвлеченность?	217
В. ГОФФЕНШЕФЕР — «Народ предстал перед своей судьбой»	234
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Л. Лазарев. «Далекая милая юность». — В. Фролов. По пути в космос. — С. Ларин. Герои не исчезают бесследно... — О. Михайлов. Добрыми глазами. — Р. Зернова. Книга о любви. — А. Дементьев. Вместо рецензии. — Л. Зонина. Правда — революционна.	245
<i>Политика и наука</i>	
М. Михайлов. Могучее дерево. — А. Хавин. Человек коммунистического общества. — И. Ермашев. Идеи и судьбы. — Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. Октябрь в Москве. — И. Иноземцев. Наш Ломоносов.	265
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
Мате Залка о Фурманове. Вступительная заметка и публикация П. Куприяновского	278
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

Да здравствует 44-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!

СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА

Съезды нашей партии — великая веха в жизни партии и народа. XXII съезду по праву отведена в истории особая роль. Это съезд эпохального значения, определивший на многие годы жизнь советского народа и всего человечества.

В нашей партии десять миллионов коммунистов. Пять тысяч делегатов съезда — делегаты-рабочие и делегаты-колхозники, писатели и ученые, партийные работники, представители всех слоев нашего советского общества — живое олицетворение единства партии и народа.

В этом единстве — наша сила.

XXII съезд распахнул такие волнующие дали будущего, какие не открывались еще ни перед одним народом. Путь не легкий, но трижды славный, дали воодушевляющие, зовущие на подвиг, на великий всемирно-исторический подвиг строительства нового, коммунистического общества.

Этот подвиг по плечу нашему народу.

«Сейчас, — говорит Н. С. Хрущев, — когда Страна Советов находится в расцвете своих творческих сил и мы обзираем пройденный нами победный путь, может быть, кое-кому этот путь покажется легким и простым. Нет, период после XX съезда не был легким и простым, он потребовал от нашей партии, от всех народов Советского Союза большого напряжения сил и самоотверженности. На долю советского народа, партии коммунистов Советского Союза выпала великая миссия быть пионерами коммунистического строительства, идти к победе коммунизма неизведанными путями».

Всегда и во всем быть достойным этой великой миссии — вот в чем советские люди видят свое призвание, свой долг. Минувшие после XX съезда партии пять с лишним лет — великолепное тому доказательство. Они были насыщены значительными событиями, для этих лет характерны бурный подъем производительных сил, быстрый рост благосостояния советского народа, активное развитие его духовной жизни.

Перестройка управления промышленностью и строительством, освоение целины, реорганизация машинно-тракторных станций, реформа народного образования, сокращение рабочего дня, повышение заработной платы низкооплачиваемым категориям рабочих и служащих — это лишь часть того, что свершено между съездами... Огромны успехи миллионов советских людей. Труд повседневный и героический творит чудеса во всех уголках нашей Родины!

«Вступление Советского Союза в период развернутого строительства коммунизма» — так озаглавлен второй раздел отчета Центрального Комитета КПСС съезду. «Центральный Комитет с удовлетворением докладывает съезду, — говорится в отчете, — что все отрасли народного хозяйства развиваются ускоренными темпами. Неуклонно повышается благосостояние народа. Новых высот достигли советская наука и культура. Успешно выполняется семилетний план. Наша Родина продвинулась далеко вперед в решении основной экономической задачи — догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по производству продукции на душу населения». А душ у нас, прямо скажем, стало намного больше. За время между съездами население нашей страны увеличилось более чем на двадцать миллионов человек. «Хороший рост, товарищи!» — сказал об этом под аплодисменты всего съезда Н. С. Хрушев.

Хороший рост мы видим во всех областях нашей жизни. Говорят, что цифры — материя сухая. Однако многие цифры, приведенные в докладах и в выступлениях делегатов съезда, звучат совсем не «сухо». Как много значит одна лишь цифра — 156! За 1956—1961 годы государственные капитальные вложения в народное хозяйство составили 156 миллиардов рублей. Это больше, чем было вложено за все годы советской власти до XX съезда!

Стоит лишь чуть-чуть вообразить, во что претворились эти миллиарды рублей, и мы тотчас же увидим и железобетонные гребни новых плотин энергогигантов, и озаренную огнями совхозов целину, и новые города, и примкнувшие к старым городам грандиозные жилые массивы.

Цель наша ясна: в мирном экономическом соревновании с капитализмом обогнать эту отживающую свой век общественную формацию, добиться изобилия материальных благ, создать материально-экономическую базу коммунизма, построить коммунизм. И, стремясь к этой цели, мы достигли многого.

Всего десять-одиннадцать лет назад Советский Союз производил менее 30 процентов промышленной продукции США. А теперь мы уже опередили США по добыче угля и руды, по производству кокса, сборного железобетона, тепловозов и электровозов, шерстяных тканей, сахара, животного масла, рыбы. Наша страна производит теперь почти пятую часть всей мировой промышленной продукции — больше, чем Англия, Франция, Италия, Канада, Япония, Бельгия и Нидерланды, вместе взятые.

Так неопровержимо история демонстрирует великие преимущества социалистического строя перед строем капиталистическим.

В нашем сельском хозяйстве в период культа личности было немало недостатков, но теперь и эта важнейшая отрасль народного хозяйства находится на подъеме. За последние годы на востоке нашей страны была совершена подлинная революция в использовании земельных богатств: свыше сорока одного миллиона гектаров веками пустовавших целинных земель было взрезано тракторными плугами и теперь плодоносят, давая народу многие сотни миллионов пудов зерна. Нарастившая успехи в производстве зерна, наши колхозы и совхозы должны — и они это могут сделать — полностью обеспечить население страны продуктами животноводства. «...Если мы так говорим, то это непременно будет сделано нашим народом. Когда партия выдвигает лозунг, наш народ поддерживает его и претворяет в жизнь. Это будет!» Так, горячо поддержанный делегатами съезда, заявил Никита Сергеевич Хрушев.

Рост благосостояния советских людей — главная цель нашего общества. Рост достатка, изобилия, рост культуры, расцвет науки, образования, литературы, искусства. Партия провозглашает: «Высшая цель партии — построить коммунистическое общество, на знамени которого на-

чертано: «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям». В полной мере воплотится лозунг партии: «Все во имя человека, для блага человека».

И это положение находит блистательное подтверждение в жизни.

По объему и темпам жилищного строительства Советский Союз занимает первое место в мире...

К концу 1965 года у нас не будет никаких налогов с населения...

В ближайшие годы будет введена сорокачасовая рабочая неделя для рабочих и служащих, имеющих семичасовой рабочий день...

Все более и более будут улучшаться бытовое обслуживание, здравоохранение, народное образование...

«Мы вправе гордиться тем, что советское общество стало самым образованным обществом в мире, а советская наука заняла передовые позиции в важнейших областях знаний», — сказал на съезде Н. С. Хрущев.

Эти великие достижения нашего народа вылились в подвиги, которые не померкнут в веках. Людями, штурмующими небо, назвал парижских коммунарков Маркс. Советские люди в буквальном смысле слова штурмуют небо. Это мы первыми в мире запустили искусственный спутник Земли, сфотографировали обратную сторону Луны. Первыми покинули свою извечную колыбель — Землю и устремились в космос советские граждане, коммунисты Юрий Гагарин и Герман Титов. В этих подвигах нашли свое наиболее яркое выражение и успехи нашей науки и техники, и достижения нашей промышленности, и высокий моральный дух, храбрость и мужество лучших сынов нашего народа.

Энергия, инициатива советских людей возрастают со сказочной быстротой, они не поддаются арифметическому учету, но каждому ясно, что в числе слагаемых наших будущих побед эта энергия и эта инициатива — значительные величины.

Родники народной инициативы с необычайной силой забили после XX съезда партии. Партия положила немало труда на то, чтобы ликвидировать вредные последствия культа личности, восстановить ленинские принципы партийной и государственной деятельности. Для этого пришлось преодолеть яростное сопротивление фракционной антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича, Ворошилова, Булганина, Первухина, Сабурова, Шенилова, давно уже оторвавшихся от народа, пытавшихся сбить партию с ленинского курса. Курс XX съезда встретил горячее одобрение трудящихся нашей страны, всего международного коммунистического движения. Осуждение культа личности способствовало дальнейшему развязыванию народной инициативы, расцвету советской демократии, повышению боеспособности нашей партии.

Богатырская поступь, движение «шагом саженным» по пути, ясно и твердо отмеренному на годы вперед, стало главной и радостной приметой жизни не только у нас, в Советском Союзе. В ногу с нами шагает в светлое будущее весь сплоченный лагерь социалистических стран.

С трибуны съезда Никита Сергеевич Хрущев привел краткие, но чрезвычайно содержательные данные. Цифры говорят, что если уровень мирового промышленного производства, достигнутый в 1937 году, принять за сто процентов, то в течение последующих двадцати трех лет (то есть к 1960 году) промышленное производство в социалистических странах увеличилось на шестьсот семьдесят один процент, а в странах капитализма — всего лишь на двести сорок четыре. При этом кривая, характеризующая рост промышленности капиталистической системы, заставляет вспомнить кардиограмму больного сердца, испытывающего толчки и перебои крови, поступающей по разрушающимся, нездоровым сосудам. Показав в 1957 году рост до двухсот пятнадцати процентов, эта

кривая год спустя вновь падает до двухсот десяти. А диаграмма развития промышленного производства в странах социализма поднимается кверху ритмически и неуклонно, демонстрируя постоянное наращивание темпов. Приведя эти яркие цифры, товарищ Н. С. Хрущев отметил, что за одно пятилетие доля стран социализма, составлявшая в 1955 году двадцать семь сотых мирового промышленного производства, поднялась в 1960 году до тридцати шести процентов. За этими цифрами стоит не только высокая и постоянно совершенствуемая техника. Убедительная таблица прежде всего говорит о моральном здоровье социалистического общества, о нарастающем воодушевлении людей, о притягательности влекущей их цели.

Недаром в отчете Центрального Комитета, представленном XXII съезду КПСС, сразу же вслед за этой таблицей говорится о том, как крепнет во всех социалистических странах моральное и политическое единство народа. Успехи нашей экономики, как всякий человеческий подвиг, знаменуют собой победу вдохновляющих идей. Потому вызов на экономическое соревнование, уверенно брошенный миром социализма миру капиталистическому, вынудил трезво мыслящих заокеанских политиков и экономистов заговорить прежде всего об отсутствии у них идеи, способной поднять массы на действительную оборону позиций капитализма. Никита Сергеевич Хрущев напомнил в отчетном докладе о хлопотах американского миллионера Гарримана, предложившего уничтожить слово «капитализм». Гарриман вынужден был признать, что это слово опостылело людям и лишь отпугивает их, вместо того чтобы вести за собой. Но дело, конечно, не в слове. Товарищ Н. С. Хрущев сказал, что «народы капиталистических стран сделают свой, более правильный вывод и похоронят не слово «капитализм», а сам насквозь прогнивший капиталистический строй со всеми его пороками».

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза явился мощной демонстрацией победоносного могущества наших идей.

Отмечая сорок четвертую годовщину Великого Октября, мы вправе сказать, что в годы осуществления ленинской программы — второй программы партии, принятой в 1919 году, — в Советском Союзе была создана не только экономическая база, обеспечивающая построение коммунизма, но и новое общество вдохновенных созидателей. Это общество сумело ликвидировать эксплуататорские классы в городе и деревне; оно успешно решает задачу стирания граней между трудящимися классами, оно все решительнее избавляется от пережитков прошлого в сознании людей и неуклонно идет к полному социальному равенству — коммунистическому равенству, означающему «одинаковые отношения к средствам производства, полное равенство в распределении, гармонию личности и общества на основе органического сочетания личных и общественных интересов». «Из всех ценностей, созданных социалистическим строем, самой великой ценностью является новый человек — активный строитель коммунизма», — сказал под рукоплескания делегатов XXII съезда Первый секретарь Центрального Комитета КПСС.

XXII съезд КПСС, приняв новую Программу партии и ярко осветив путь, лежащий впереди, отметил вместе с тем знаменательными вехами уже пройденные нами исторические этапы. В этом смысле примечательны слова, сказанные товарищем Н. С. Хрущевым о сыгравшей огромную роль в формировании и успехах социалистического государства диктатуре пролетариата. В процессе строительства коммунизма социалистическое государство прошло новый исторический отрезок своего пути — от государства диктатуры пролетариата к общенародному государ-

ству. Это означает, что во всей нашей государственной жизни будет все более возрастать роль всего общества, всех трудящихся и их организаций: профсоюзов, комсомола, кооперативов, культурно-просветительных объединений. Самое широкое участие общества в государственной жизни, совершенствование форм народного представительства, всенародное обсуждение крупнейших вопросов коммунистического строительства и государственных законопроектов, расширение народного контроля, систематическое обновление состава руководящих органов обеспечат дальнейшее укрепление законности и правопорядка, будут способствовать улучшению деятельности государственного аппарата, развитию в нем демократических основ, уничтожению таких пережитков прошлого, как бюрократизм, бездушие, формализм и волокита.

Советский Союз вырос и окреп как свободное содружество социалистических наций. Совершенствовалась национальная государственность всех народов, входящих в это содружество, расцвела национальная культура. Теснейшее братское сотрудничество содействовало постоянному взаимообогащению, непрерывному сближению наций и упрочению дружбы народов. Этот совершеншающийся процесс также подготовил наступление нового этапа, отмеченного в новой Программе КПСС.

Национальные различия будут существовать еще долго, даже «и после того, как коммунизм в основном будет построен, преждевременно будет декларировать о слиянии наций». Но процесс сближения наций происходит неуклонно, и принятая съездом Программа партии обеспечивает условия, необходимые для того, чтобы способствовать этому процессу.

Воспитание масс. Этой важнейшей области идеологической работы партии XXII съезд уделил особое и всестороннее внимание.

Съезд еще раз напомнил, что воспитание нового человека, преодоление пережитков капитализма в сознании людей происходят в обстановке ожесточенной идеологической борьбы между миром социализма и миром капитализма. Враги коммунизма стремятся использовать любые каналы, любые возможности, «чтобы поддерживать и оживлять буржуазные нравы и предрассудки в сознании советских людей, чтобы затормозить наше движение к коммунизму». В решительной и действенной борьбе против этих влияний должны быть использованы все средства коммунистического воспитания. В утверждении коммунистического мировоззрения, в упрочении принципов коммунистической морали, в построении общества, основанного на самой высокой гуманистической заповеди «человек человеку — друг, товарищ и брат», особенно возрастает роль литературы и искусства.

В отчете Центрального Комитета XXII съезду КПСС сказаны вдохновляющие слова:

«Народ ждет и уверен, что писатели и деятели искусства создадут новые произведения, в которых достойно воплотят нашу героическую эпоху революционного преобразования общества. Партия исходит из того, что искусство призвано воспитывать людей прежде всего на положительных примерах жизни, воспитывать людей в духе коммунизма».

Советская литература, развиваясь, накопила огромный опыт и отметила свой путь многими книгами, которые стали классикой для поколений советских людей, завоевали прочное признание читателей во всем мире и утверждают в сознании миллионов самые высокие гуманистические идеи и самые высокие цели, какие когда-либо знало человечество. На этом пути развития определился и выкристаллизовался метод социалистического реализма. Постоянная и неразрывная связь с жизнью, правдивое отображение главного и решающего в действительности питают силу советской литературы и искусства.

«Самое прекрасное, — сказал товарищ Н. С. Хрущев в отчетном докладе на XXII съезде, — это труд человека, и нет благороднее задачи, чем правдиво показать нового человека — труженика, богатство его духовных интересов, его борьбу против старого отживающего свой век. Мы должны дать советским людям увлекательные произведения, раскрывающие романтику коммунистического труда, воспитывающие инициативу и настойчивость в достижении цели».

Он призвал писателей и художников уделить серьезное внимание эстетическому воспитанию, формированию художественных вкусов, объявить решительную борьбу безвкусице, «в чем бы она ни проявлялась — в формалистических увлечениях или в мешанских представлениях о «красивом» в искусстве, в жизни, в быту». Для выполнения этих задач оружие литературы надо держать отточенным и чистым. С безвкусицей и серостью можно бороться лишь при помощи произведений подлинно художественного совершенства.

К заботе о яркости формы и высокой идейности в творчестве, к укреплению тесных связей с жизнью народа и задачами коммунистического строительства звал всех деятелей литературы и искусства Центральный Комитет КПСС в опубликованных накануне XXII съезда партии Призывах к сорок четвертой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Обсуждение докладов товарища Н. С. Хрущева, отчета Центральной ревизионной комиссии и доклада об Уставе КПСС показало, какое огромное значение имело неуклонное проведение курса, выработанного XX съездом КПСС, как окрепли на этом пути связи партии и народа. Созданная и воспитанная великим Лениным, Коммунистическая партия высоко держит победоносное ленинское знамя, осеняющее нас в борьбе за полное торжество идей коммунизма.

К материалам и решениям исторического XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза долго еще будет обращаться каждый советский человек в своей повседневной жизни. Съезд дал исчерпывающе ясные ответы на главные вопросы, встающие сегодня перед всем человечеством и перед каждым из людей в отдельности.

Решения партии всегда были мудрым руководством к действию, ведущим к победе по кратчайшему и единственно верному пути. Таким руководством на годы вперед стали для нас решения XXII съезда КПСС.

Во всеоружии величайших вдохновляющих идей марксизма-ленинизма, под твердым водительством партии и ее ленинского Центрального Комитета мы уверенно идем вперед, к победе коммунизма.



НА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД

Труд и благосостояние советского человека

*Беседа с председателем Государственного Комитета
Совета Министров СССР по вопросам труда
и заработной платы А. П. Волковым*

Сорок четыре года назад победа Великой Октябрьской социалистической революции в России впервые дала возможность осуществить программное требование международного рабочего движения — введение восьмичасового рабочего дня.

Декрет о восьмичасовом рабочем дне был одним из первых законов Советской республики. В. И. Ленин назвал наш кодекс законов о труде громадным завоеванием советской власти. Для рабочего класса нашей страны, испытавшего на себе при царизме самую чудовищную эксплуатацию, введение восьмичасового рабочего дня означало сокращение рабочего времени на два-три, а то и больше часов в день, так как в дореволюционной России на многих фабриках и заводах люди работали по десять-одиннадцать часов, а на иных предприятиях и в сельском хозяйстве трудовой день длился и по тринадцать — пятнадцать часов.

— Постепенное сокращение продолжительности рабочего времени по мере укрепления социалистического строя — закономерный процесс, — говорит товарищ Волков. — Он вытекает из самой сущности марксистско-ленинского учения о социализме и коммунизме. Ведь при социализме развитие производительных сил подчинено все более полному удовлетворению потребностей всего общества, интересам всестороннего физического и умственного развития человека.

Разработанная Коммунистической партией программа сокращения рабочего дня, — продолжает товарищ Волков, — экономически обоснована со всех точек зрения, в том числе и с точки зрения трудовых ресурсов. Правда, кое-кому за рубежом никак не хочется верить этому. Американские экономисты представили в конгресс США обстоятельные доклады, в которых пытались доказать, что сокращение продолжительности рабочего дня, которое проводится в Советском Союзе, мол, СССР не по плечу.

Эти экономисты считают, что СССР испытывает якобы затруднения с рабочей силой. Но мы вынуждены их огорчить: наш семилетний план предусматривает такое количество рабочих и служащих, которое безусловно обеспечивает не только выполнение стоящих перед народным хозяйством задач, но и позволяет сокращать рабочий день.

Высокий естественный прирост населения и вовлечение его трудоспособной части в общественное производство — важнейший источник обеспечения работниками всех отраслей хозяйства и культуры в нашей

стране. Из итогов переписи 1959 года видно, что население СССР по сравнению с 1913 годом увеличилось на пятьдесят миллионов человек. Увеличилось — несмотря на войны, которые унесли миллионы жизней и вызвали резкое снижение рождаемости. Среднегодовой рост численности рабочих и служащих в СССР за десятилетие (1950—1959 гг.) составил около двух миллионов человек, а в контрольных цифрах семилетнего плана рост количества рабочих и служащих предусматривается примерно в двенадцать миллионов человек. Таким образом, ясно, что при планировании уже был учтен несколько снижающийся в период семилетки темп прироста трудоспособного населения, связанный с последствиями войны. Однако и этого прироста вполне достаточно для выполнения наших смелых планов.

В нашей стране законом жизни давно стал основной принцип социализма: «От каждого — по способностям, каждому — по труду». Этот принцип создает материальную заинтересованность членов общества в результатах труда и позволяет наилучшим образом сочетать личные и общественные интересы. Этот же принцип служит стимулом повышения производительности труда, подъема экономики и благосостояния народа.

В своей новой Программе Коммунистическая партия ставит задачу обеспечить трудящимся Советского Союза самый высокий в мире жизненный уровень. Задача не из легких. Повышение индивидуальной оплаты труда (по количеству и качеству) в сочетании со снижением цен на потребительские товары и продовольствие и отменой налогов, расширение общественных фондов, распределяемых между членами общества бесплатно (образование, лечение, пенсионное обеспечение, содержание детей в детских учреждениях, коммунальные услуги и т. д.), — вот основные средства решения поставленной задачи.

Оплата по труду останется в предстоящем двадцатилетии основным источником удовлетворения материальных и культурных потребностей трудящихся. Одновременно должна постепенно уменьшаться разница между высокими и сравнительно низкими заработками; все большее число неквалифицированных рабочих и служащих станут квалифицированными. Каждый понимает, что такой процесс должен сопровождаться последовательным сокращением различий в уровне оплаты.

Постепенно сократится разница между доходами крестьян и рабочих, низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников, населения различных районов страны. И в то же время по мере продвижения к коммунизму личные потребности человека будут все больше удовлетворяться за счет общественных фондов потребления, темпы роста последних превысят темпы увеличения индивидуальной оплаты по труду.

Я обращаюсь к Александру Петровичу с вопросом:

— Как осуществлялся переход на сокращенный рабочий день?

— В нашей стране еще в 1960 году завершён перевод всех рабочих и служащих на сокращенный — шести- и семичасовой рабочий день. Я хотел бы подчеркнуть, — говорит товарищ Волков, — что это было не простое дело. Потребовалось провести ряд крупных организационных мероприятий — хозяйственных и технических: необходимо было и при сокращенном рабочем дне обеспечить безусловное выполнение плановых заданий по объему производства, производительности труда и качеству продукции. Нужно отметить, что большая подготовительная работа, которую провели местные партийные, хозяйственные и профсоюзные организации, а также высокая активность масс позволили осуществить переход на сокращенный рабочий день, как правило, без привлечения дополнительного числа рабочих.

Можно смело сказать, что все, что было сделано до XXII съезда КПСС по сокращению рабочего дня и упорядочению заработной платы,

заложило прочные основы для решения больших задач, поставленных новой Программой КПСС. Ленин учил экономистов всегда смотреть вперед, и этот завет нашего великого учителя выполняется.

В СССР будет самый короткий в мире рабочий день, провозглашает новая Программа КПСС. Программа указывает и пути, по которым пойдет партия, чтобы добиться осуществления этого. Переход на сокращенный рабочий день и уменьшение числа рабочих дней в неделе у нас не приведет ни к уменьшению заработка, ни к снижению объема производства и производительности труда. Представителям нашей страны на международных конференциях часто задается вопрос о том, как это, мол, происходит, что рабочий в Советском Союзе при сокращенном рабочем дне работает меньше, а получает за труд столько же или даже больше. Многим людям за рубежом нелегко понять, что это вытекает из самой сущности нашего общественного и государственного строя и из тех преимуществ, которые имеет социалистическая система хозяйства перед капиталистической. Я говорил уже однажды, выступая на сессии Верховного Совета СССР, что в течение последних двадцати — тридцати лет в капиталистических странах сокращения рабочего времени в законодательном порядке не проводилось. Буржуазные правительства оставались глухи к настойчивым требованиям рабочих. Все это, однако, не мешает капиталистам демагогически расписывать «блага», которые они якобы предоставляют рабочим. Так, представители буржуазных кругов США при всяком удобном случае ссылаются на закон о так называемых «справедливых условиях труда» и на то, что средняя продолжительность рабочей недели в этой стране составляет, по официальным данным, примерно сорок часов. Между тем упомянутый закон отнюдь не устанавливает предела продолжительности рабочего дня и ограничения сверхурочных работ. Он предусматривает лишь выплату дополнительного вознаграждения за работу сверх сорока часов в неделю. Сверхурочная работа, особенно при крайне высокой интенсивности труда, которая характерна для современных капиталистических предприятий, выматывает все силы рабочих, разрушает их здоровье, преждевременно старит их, превращает в инвалидов. По данным статистических бюллетеней министерства труда и министерства торговли США, в течение последних лет примерно 20 процентов рабочих и служащих США, не считая занятых в сельском хозяйстве, работали сорок восемь и более часов в неделю. В то же время примерно 20 процентов рабочих и служащих вынуждены были работать неполную рабочую неделю, получая уменьшенную заработную плату. Так обстоит дело не только в США, но и в других капиталистических странах. Что же касается колониальных стран, где трудящиеся лишены элементарных прав, то там продолжительность рабочего дня, увы, не ограничена. В Советском Союзе плановая, социалистическая система хозяйства обеспечивает всеобщую занятость населения и в то же время реально гарантирует каждому рабочему и служащему установленную законом продолжительность рабочего дня.

Если бы производительность труда при переходе на сокращенный рабочий день оставалась неизменной, то потребовалось бы привлечь дополнительно свыше шести миллионов рабочих и служащих. А между тем переход на сокращенный рабочий день был осуществлен у нас в основном без увеличения численности рабочих и служащих! И это оказалось возможным потому, что при новых условиях дневная производительность труда существенно повысилась.

— Каковы же итоги перевода рабочих и служащих на сокращенный рабочий день? — спрашиваю я.

— Особенно ощутимы перемены в угольной промышленности. Такой крупный угольный бассейн, как Донецкий — он дает 37 процентов всей

добычи в стране и около 60 процентов коксующегося угля,— долгое время не выполнял плана. А после перехода на сокращенный рабочий день и новые условия оплаты труда план систематически выполняется на 101—102 процента, число отстающих шахт и участков сократилось примерно в два раза. Это объясняется тем, что на шахтах были усовершенствованы производственные процессы, улучшена организация труда.

Товарищ Волков приводит пример: только на шахтах Сталинского совнархоза было обновлено крепление более ста километров горных выработок, капитально отремонтировано свыше полусотни километров откаточных путей, увеличена пропускная способность подземного транспорта и подъема.

— А загляните в итоги труда на предприятиях черной металлургии! Уже за первые два года работы при сокращенном рабочем дне среднемесячная производительность труда повысилась на 13,7 процента, а часовая — на 28,7 процента. Примерно таких же темпов роста производительности труда достигли и предприятия цветной металлургии, химической промышленности.

При переходе на сокращенный рабочий день в нашей стране трудящийся выигрывает не только оттого, что он работает на час меньше, но также и оттого, что его заработная плата при меньшей продолжительности рабочего дня не уменьшилась, а, как правило, возросла. Например, заработная плата металлургов после упорядочения увеличилась в среднем примерно на 150 рублей в год, рабочих химической промышленности — на 120 рублей новыми деньгами. Еще более значителен рост заработной платы в тех отраслях, где имеется наибольшее число низкооплачиваемых рабочих и служащих.

Товарищ Волков напоминает, что недавно наша страна отмечала тысячный день новой семилетки. В связи с этим были подведены любопытные итоги: в 1959 году металлурги дали 43 миллиона тонн чугуна, в 1960 году — 46,8 миллиона тонн, а за первое полугодие 1961 года уже было выплавлено 25 миллионов тонн.

Беседуя с товарищем А. П. Волковым, я вспомнил, что год назад, в октябре 1960 года, институт общественного мнения газеты «Комсомольская правда» провел среди сотен советских граждан различных профессий в разных районах страны анкету на тему: «Как изменился уровень вашей жизни, какую проблему материального благосостояния вы считаете первоочередной?». Большинство заполнивших тогда анкеты отметило, что их жизненный уровень из года в год заметно повышается; 313 человек из 1024-х важнейшей причиной повышения своего жизненного уровня назвали рост денежной заработной платы.

Товарищ А. П. Волков, комментируя тогда эту цифру, писал в «Комсомольской правде»: «Это вполне закономерно. Ведь отличительная особенность сегодняшнего дня — рост зарплат у самых широких категорий трудящихся».

Я напомнил товарищу А. П. Волкову обо всем этом, и он сказал:

— Как известно, при переходе рабочих и служащих на сокращенный рабочий день ставилась и всегда ставится задача не только сохранить, но и повысить заработную плату, особенно низко- и среднеоплачиваемым работникам. Деятельность Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы с самого начала его возникновения была направлена на упорядочение заработной платы. Вводятся единые условия оплаты труда, одновременно внедряются технические обоснованные нормы, разрабатываются единые тарифно-квалификационные справочники по отраслям, приводятся в соответствие с должностными окладами штатные расписания.

Не скрою,— продолжает товарищ Волков,— мы столкнулись с

большим количеством тарифных ставок и сеток. Были отрасли, где существовали восьми-, десяти-, и двенадцатирядные сетки. В народном хозяйстве образовался разрыв в оплате труда, и особенно в премировании. Это очень сильно давало себя знать со времени войны, когда требовалось подтягивать то одну, то другую отрасль промышленности, вырабатывавшую продукцию, необходимую для фронта. Что говорить, размеры заработной платы порой зависели тогда от... «пробивной способности» того или иного директора или министра.

Правильная тарификация работ и рабочих — один из основных этапов упорядочения заработной платы. Старые тарифно-квалификационные справочники составлялись каждым ведомством самостоятельно, и это порождало пестроту в наименованиях профессий и тарификации работ.

Как известно, в результате повышения заработной платы низкооплачиваемым рабочим и служащим в течение семилетия минимальная заработная плата должна с 27—35 рублей повыситься до 50—60 рублей в месяц. Этапы повышения зарплаты таковы: в 1959—1962 годы довести минимум зарплаты до 40—45 рублей во всех отраслях народного хозяйства, и в 1963—1965 годы — до 50—60 рублей в месяц при некотором повышении ставок и окладов зарплаты среднеоплачиваемым рабочим и служащим.

Я могу сообщить, — говорит товарищ Волков, — что к нынешнему году число рабочих и служащих с месячным окладом до 60 рублей в отраслях тяжелой промышленности, где упорядочение заработной платы уже завершено, уменьшилось более чем в два раза, а в угольной промышленности — более чем в четыре с половиной раза и почти в три раза в черной металлургии. Еще более сократилось количество низкооплачиваемых рабочих в отраслях легкой и пищевой промышленности. Таким образом, при упорядочении заработной платы последовательно осуществляется линия нашей партии на постепенное сближение уровней заработной платы низко- и высокооплачиваемых работников.

Товарищ Волков подчеркивает, что впервые в истории государственных предприятий и организаций сельского хозяйства СССР здесь для всех рабочих введены единые тарифные сетки и ставки. Н. С. Хрущев неоднократно указывал на необходимость установить в совхозах оплату труда в зависимости от его результатов, и именно этот принцип положен теперь в основу порядка оплаты труда работников совхозов и подсобных сельских хозяйств.

— Существенное влияние на повышение уровня жизни трудящихся — особенно низко- и среднеоплачиваемых работников — имела отмена налогов с заработной платы. По расчету на год это дает трудящимся прибавку к получаемой на руки заработной плате, исчисляемую в сотни миллионов рублей по всей стране.

Могут, пожалуй, спросить: почему переход на сокращенный рабочий день, как правило, осуществлялся одновременно с упорядочением заработной платы?

А вот почему.

Практика нашего хозяйственного строительства показывает, что заработная плата, основанная на социалистических принципах, всегда была немаловажным стимулом в выполнении народнохозяйственных планов. С помощью заработной платы наше государство поощряло совершенствование производства, рост производительности труда, повышение квалификации, привлечение рабочих на предприятия. Однако в течение длительного времени в систему оплаты труда не вносилось каких-либо серьезных поправок. И в результате, как сказано было уже выше, тарифные системы и схемы должностных окладов в ряде мест устарели, новые ус-

ловия не учитывались. К тому же и ведомственное управление промышленностью породило ряд недостатков в оплате труда. Прежняя система заработной платы стала серьезным препятствием, сдерживавшим дальнейший рост производительности труда.

Для перевода трудящихся на сокращенный рабочий день, упорядочения заработной платы и повышения минимума заработной платы правительство выделяет огромные средства. Но,— добавляет товарищ А. П. Волков,— дело не только в огромных средствах, которые требуются для повышения заработной платы, но и в состоянии товарооборота в стране. Темпы роста заработной платы у нас более быстрые, чем темпы выпуска товаров народного потребления. И последнее обстоятельство, естественно, сдерживает подчас увеличение заработной платы. У нас в стране хозяйство плановое, и нам нужно всячески подтягивать производство сырья, чтобы больше было товаров широкого потребления, чтобы выполнялся и перевыполнялся план выпуска предметов широкого потребления.

— При упорядочении заработной платы внесены, как известно, принципиальные изменения в системы премирования рабочих и инженерно-технических работников. Интересно, каковы эти принципиальные изменения?

— Теперь,— отвечает товарищ Волков,— вводятся такие системы премирования, которые усиливают материальную заинтересованность работников в количественных и качественных показателях их работы и устраняют экономически неэффективные и малопонятные рабочие системы оплаты труда. До упорядочения заработной платы довольно широко применялась, например, сдельно-прогрессивная оплата труда. А во многих случаях она не способствовала повышению производительности труда, приводила к неправильному соотношению между ростом производительности труда и заработной платы и вызывала удорожание продукции.

В ряде отраслей, главным образом в отраслях добывающих, сохранено премирование за выполнение и перевыполнение плана, ибо чем больше, например, будет угля, руды, тем больше продукции получит страна.

Широко применяется теперь премирование, основанное на принципе коллективной материальной заинтересованности рабочих в улучшении количественных и качественных показателей их труда. Это означает, что наряду с материальным стимулированием труда отдельного рабочего вводится материальное стимулирование труда целого коллектива (агрегата, бригады, участка, цеха). Применение такой системы вызвано прежде всего широким внедрением комплексной механизации и автоматизации производства, когда результаты труда отдельных рабочих все более определяются результатами труда целого коллектива.

Хочу отметить, что усиление коллективных форм материальной заинтересованности отнюдь не означает, что со сдельной системой оплаты труда (особенно с индивидуальной сдельщиной) нужно якобы покончить.

Я считаю необходимым подчеркнуть, что речь здесь идет не о том, чтобы везде вместо индивидуальной сдельщины ввести коллективную (есть у нас такие «горячие головы», которые додумались и до этого!), а о том, чтобы в разных отраслях разумно сочетать личную и коллективную заинтересованность, сдельную и повременную оплату труда.

В угольной промышленности взамен ранее действовавших индивидуальных прогрессивных доплат за выполнение и перевыполнение норм выработки, не связанных с уровнем выполнения плана добычи угля по участку и шахте, введено теперь коллективное премирование рабочих за выполнение и перевыполнение плана добычи угля.

В конце прошлого года были введены новые условия материального поощрения и для руководящих, инженерно-технических работников и служащих. Эти условия предусматривают качественные показатели работы, главным образом снижение себестоимости продукции, потому что, как известно, себестоимость у нас — это зеркало работы предприятия.

— До последнего времени, — говорю я, — порядок образования специального фонда предприятий не предусматривал преимуществ для предприятий, выпускающих новую технику; ведь все дополнительные затраты, связанные с выпуском новых машин и механизмов, относились на себестоимость продукции, а это снижало рентабельность предприятий и делало зачастую внедрение новой техники экономически невыгодным. Что же предпринято ныне для ликвидации этого ненормального положения?

— Чтобы заинтересовать предприятие и его работников в развитии новой техники, надо было, — говорит А. П. Волков, — изменить порядок образования и расходования специального фонда предприятия, следовало начать по-новому возмещать затраты на освоение техники и устанавливать цены на нее. Вполне назрела необходимость ввести премирование работников предприятий промышленности, строительства, транспорта и связи, а также геологоразведочных, научно-исследовательских, проектных и конструкторских организаций за выполнение работ по новой технике. И вот теперь такое премирование введено.

Последовательно сокращая рабочий день и повышая заработную плату, социалистическое государство вместе с тем всемерно расширяет общественные фонды потребления, вкладывает огромные средства в развитие социально-культурных учреждений, услуги которых предоставляются трудящимся в значительной мере бесплатно.

Сокращение рабочего дня влечет за собой увеличение свободного времени для человека и открывает широкий простор всестороннему развитию физических и умственных способностей людей. Уже сейчас советские люди используют высвободившееся время для дальнейшего совершенствования знаний. Огромен, как известно, приток желающих поступить в заочные и вечерние учебные заведения. Более четырех миллионов человек сочетают работу на производстве с учебой в школах, техникумах, вузах. Два миллиона семейств тысяч рабочих ежегодно овладевают новыми профессиями, около шести миллионов рабочих и служащих повышают свою квалификацию. Таков далеко не полный перечень видов обучения без отрыва от производства, которые широко доступны всем трудящимся в СССР. К этому надо еще добавить, что для обучающихся без отрыва от производства установлены в СССР дополнительные льготы — предоставляются отпуска на время сдачи экзаменов и т. д.

— Что бы вы хотели добавить к нашей беседе? — спрашиваю я.

— У нас каждодневно возникают все новые и новые проблемы, — говорит А. П. Волков. — Такова, например, проблема дальнейшего улучшения пенсионного обеспечения граждан. Пенсия-то ведь — тоже один из видов общественного фонда потребления. И дальнейшее совершенствование пенсионного обеспечения, равно как и вопросы о бесплатных завтраках для школьников, об отмене платы за коммунальные услуги, о введении бесплатного пользования домами отдыха и санаториями, а также и многие другие вопросы, разрешение которых предусмотрено новой Программой КПСС, — все они основаны на глубоких экономических расчетах.

Мои вопросы были исчерпаны, и я собирался уходить, но председатель Государственного Комитета задержал меня.

— Для решения важных проблем, о которых шла речь, нам нужны

люди, которые считали бы почетной деятельность, связанную с улучшением труда и ростом благосостояния советских граждан. В этом деле требуются подлинные энтузиасты. В наш Комитет была принята группа молодых специалистов, которым мы хотели привить, как говорится, вкус и глубокий интерес к вопросам труда и заработной платы. Мы создали им все условия для работы, дали, как говорил Маяковский, все «от любви до квартир». И вот, получив от нас все... они настойчиво стали требовать, чтобы мы отпустили их «в науку». Я хочу, чтобы меня правильно поняли: мы не против науки и научной деятельности, но мне кажется, что каждый, кто идет на научную работу, должен заслужить практической работой право носить почетное в нашей стране звание советского ученого.

Мне хочется,— говорит А. П. Волков,— в связи с этим напомнить высказывание товарища Н. С. Хрущева: «Общество на них затратило средства, когда они учились, и теперь общество ждет оплаты задолженности, оплаты средств, которые получили эти люди, как бы в кредит во время своего обучения».

С «аристократами», которые не хотят, видите ли, губить свои «таланты» на «черновой» практической работе, в частности над вопросами труда и заработной платы, наши общественные организации возились и возятся немало, стремясь воздействовать на них,— продолжал А. П. Волков.— Я с особой настойчивостью прошу «Новый мир» уделить место для освещения такого рода явлений. Ведь новая Программа партии еще и еще раз подтверждает, что вся система наших государственных и общественных организаций должна воспитывать людей в духе органического соединения прав и обязанностей, в духе единых для всех норм коммунистического общежития. Тем, кто забывает это, приходится напомнить. Не так ли?

Мы прощаемся, и товарищ Волков еще раз напоминает о том, что недалеко время, когда в Советской стране люди будут работать три-четыре часа в день. Они будут управлять сложными механизмами, автоматами и за короткое время производить продуктов все больше и больше. А это будет обеспечивать и более полное удовлетворение потребностей страны и всех потребностей каждого гражданина.

Не освобождение от труда, а высокопроизводительный труд на себя, на все общество, труд, освобождающий человека от всепоглощающей заботы о хлебе насущном,— вот к чему идем мы.

Беседу записал А. ЛИТВАК.

Рука друга

Беседа с первым заместителем председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по внешним экономическим связям И. В. Архиповым

На одной из московских набережных стоит строгое многоэтажное здание. В нем находится Государственный Комитет Совета Министров СССР по внешним экономическим связям. Этот комитет был создан всего четыре года назад в связи с возросшим объемом и значением советской экономической и технической помощи экономически слаборазвитым странам.

Это, так сказать, самая краткая историческая справка.

А вот и более полная. С нее, собственно, и началась наша беседа с первым заместителем председателя Государственного Комитета Со-

вета Министров СССР по внешним экономическим связям Иваном Васильевичем Архиповым. Я спросил И. В. Архипова: когда Советский Союз начал оказывать помощь слаборазвитым государствам?

— Буквально с первых же дней своего существования. Понятно, что в то время мы не могли, скажем, строить заводы или готовить специалистов в других странах. Но и тогда наша помощь выражалась вполне конкретно и ощутимо. Сразу же после Великой Октябрьской социалистической революции Советское правительство по инициативе Владимира Ильича Ленина торжественно и твердо объявило о том, что откажется от всех долгов и концессий, которые царская Россия имела в Азии. Это была огромная и, надо сказать, очень реальная помощь многим азиатским государствам. Например, общая сумма концессий, платежей и долгов Ирана царской России превышала ни много ни мало полмиллиарда рублей золотом.

Таков был первый акт, которым советская власть совершенно ясно и недвусмысленно выразила бескорыстное, истинно братское отношение к экономически отсталым странам, готовность всеми силами способствовать их хозяйственному и культурному развитию.

Первый — и не случайный. Полностью вытекающий из марксистского принципа интернационализма, на котором отныне основывалась вся международная политика пролетарского государства. Ведь еще в 1916 году В. И. Ленин писал: «Мы все усилия приложим, чтобы с монголами, персами, индийцами, египтянами сблизиться и слиться... Мы постараемся оказать этим отсталым и угнетенным, более чем мы, народам «бескорыстную культурную помощь»... т. е. помочь им перейти к употреблению машин, к облегчению труда, к демократии, к социализму».

В двадцатых годах наша страна, понесшая столько жертв в первой мировой войне, в вооруженной борьбе с интервенцией и только-только начавшая выходить из разрухи, находилась в далеко незавидном экономическом положении. И тем не менее она нашла возможным оказать серьезнейшую финансовую поддержку Турецкой республике, передав правительству Ататюрка 200,6 килограмма золота. А в 1933 году СССР предоставил Турции крупный кредит для строительства двух текстильных комбинатов в Кайсери и Назилли, которые, кстати, и теперь составляют основу текстильной промышленности страны.

И это далеко не единственный пример действительного бескорыстия Советского Союза, предоставлявшего помощь слаборазвитым государствам даже в нелегкие для него времена. Вот хотя бы еще один аналогичный факт, о котором упомянул в беседе И. В. Архипов: в те же годы СССР помогал и Афганистану, давая ему долгосрочные кредиты для подъема сельского хозяйства.

Так еще на заре своего существования Советский Союз начал последовательно проводить в жизнь идею, которая и поныне остается одним из краеугольных камней его внешней политики.

Советский Союз поддерживает борьбу народов за полное освобождение колоний и полуколоний от империализма. Неустанно, бескомпромиссно добиваясь предоставления всем странам политической независимости, он прилагает огромные усилия, чтобы помочь освободившимся государствам быстрее укрепить экономически и обрести таким образом подлинную самостоятельность.

Как же выражаются практически эти усилия?

Отвечая на вопрос, Иван Васильевич Архипов называет цифры, факты, характеризующие громадную, поистине неоценимую помощь, которую СССР оказал многим государствам в Европе и в Азии, в Африке и в Латинской Америке.

Чтобы только перечислить заводы, фабрики, комбинаты, электростанции, медицинские учреждения и учебные заведения, портовые и спортивные сооружения, объекты транспорта и связи, построенные Советским Союзом в разных странах, не хватило бы и десятка страниц. И все-таки некоторые услышанные здесь цифры я не могу не повторить.

В социалистических странах — а большинство из них до установления народно-демократического строя были либо колониями, либо находились в прямой зависимости от империалистических государств — с помощью СССР пущено в эксплуатацию (полностью или частично) более трехсот восьмидесяти промышленных предприятий и сто сорок других объектов. В результате этого здесь увеличились мощности: по добыче угля — почти на десять миллионов тонн, по переработке нефти — на четыре миллиона семьсот тысяч тонн, по производству стали — на девять миллионов восемьсот тысяч тонн, по выпуску автомобилей — на восемьдесят тысяч штук, по выработке электроэнергии — почти на шесть миллионов киловатт. Значительно возросло также производство металло-режущих станков, металлургического, горношахтного, нефтеперерабатывающего, кузнечно-прессового оборудования, меди, свинца, серной кислоты, тканей, пищевых продуктов.

Теперь уже многие из социалистических стран — Чехословакия, Польша, Венгрия, Румыния, Китайская Народная Республика, Болгария, Германская Демократическая Республика — и сами оказывают экономическое и техническое содействие слаборазвитым странам. Можно назвать не один завод, не одну фабрику, построенные в молодых суверенных государствах с помощью, скажем, Чехословакии или ГДР. Но мне бы хотелось привести только один факт, особенно ярко выражающий братскую солидарность социалистических стран с теми государствами, которые добиваются экономической независимости от империалистических монополий.

Всем памятно тяжелое для Кубы время, когда США предприняли против нее целый ряд экономических диверсий, пытаясь задушить кубинскую национально-освободительную революцию. Но Остров Свободы не остался одинок. На помощь ему пришли СССР, Китай, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Польша, Болгария. Они предоставили Кубе долгосрочные кредиты на сумму около двухсот сорока семи миллионов американских долларов. В ближайшие несколько лет на основе этих кредитов при техническом содействии социалистических стран будет построено около ста тридцати предприятий — электростанции, машиностроительные, нефтеперерабатывающие и химические заводы, текстильные и пищевые фабрики, судостроительный завод, автотракторный комбинат. Так маленькая Куба, что называется, под самым носом у своего могучего и довольно-таки агрессивно настроенного соседа превратится в индустриально развитую, экономически независимую страну.

Этот пример — в ряду множества подобных — лишний раз подтверждает неизменный, глубоко принципиальный, вытекающий из пролетарской идеологии интернационализма характер политики социалистических государств по отношению к экономически слаборазвитым странам, борющимся за свою независимость.

— Но, совершенно естественно, — замечает Иван Васильевич Архипов, — наибольшую помощь бывшим колониям и полуколониям оказывает Советский Союз.

И снова факты, примеры, цифры, подтверждающие лучше самых горячих слов поистине братское отношение СССР к народам слаборазвитых стран. Более чем двадцати слаборазвитым в экономическом отношении странам Советский Союз окажет помощь в строительстве

в ближайшие годы свыше трехсот пятидесяти промышленных предприятий и объектов. Это заводы и электростанции, плотины, ирригационные каналы и порты, телевизионные вышки и радиостанции, шоссейные и железные дороги, элеваторы и госпитали, институты и стадионы. Будут разведаны полезные ископаемые, проложены линии связи, подготовлены кадры квалифицированных специалистов.

Если составить список сооружаемых Советским Союзом в других странах объектов и проводимых там работ, то он охватит, пожалуй, все стороны хозяйственного и культурного строительства. И стоит ли напоминать, что все осуществляемое Советским Союзом делается, как говорится, на высоком уровне, с учетом самых последних достижений науки, техники, производственной практики!

Да, высокое качество работ, выполняемых СССР в молодых суверенных государствах, известно всему миру. Не случайно же руководители этих государств все чаще и чаще отдают предпочтение технической и экономической помощи Советского Союза, нередко отказываясь от услуг, предлагаемых ведущими капиталистическими державами.

Все познается в сравнении. А самое наглядное и убедительное сравнение, как известно,— сопоставление конкретных фактов. Сопоставим, например, данные о строительстве двух металлургических заводов в Индии: Советским Союзом — в Бхилаи и ФРГ — в Руркеле.

Во-первых, западногерманские фирмы сооружали завод гораздо медленнее, чем мы. Достаточно сказать, что первые домы обоих предприятий были пущены одновременно, хотя строительство в Руркеле началось на полтора года раньше.

А во-вторых... Но пусть о качестве работ скажет один из ведущих органов западногерманской печати — журнал «Дер шпигель». Вот что там было написано: «История строительства немцами металлургического комбината в Руркеле представляет собой цепь... тяжелых по последствиям неполадок... Производственно-технические проблемы в Руркеле не были бы столь тяжелыми, если бы западногерманские фирмы одни строили в джунглях Индии металлургический комбинат и не было бы возможности сравнивать это строительство с другим.

Однако индийцы могут легко оценивать работу германских фирм и их монтеров, посмотрев на металлургический комбинат, сооружаемый русскими в Бхилаи. Советские люди показали там, что они в состоянии преодолевать все трудности и соорудить такой же большой металлургический комбинат, производство которого сразу же идет полным ходом... Советы за в л е к л и в Центральной Индии германские фирмы в жестокое соревнование... В то время как в Руркеле производство чугуна и стали все время попадало в тупик, в Бхилаи оно шло гладко».

«Сталинградом германской промышленности» называет Руркелу «Дер шпигель». Яснее, кажется, и не скажешь!

Но сопоставление Бхилаи и Руркелы наводит и на более глубокие размышления, позволяя увидеть нечто гораздо большее, чем просто разницу в темпах и качестве работ: каково огромное, принципиальное отличие помощи, оказываемой экономически слабейшим государствам Советским Союзом, от «помощи» империалистических держав.

Западногерманские компании за предоставляемый на строительство завода кредит требовали от индийского правительства огромную, прямо-таки ростовщическую плату — двенадцать процентов годовых! И не удивительно,— их интересовала только собственная выгода.

Мы же предоставили кредит из расчета всего двух с половиной процентов годовых. Мы пришли в Индию как друзья.

Или другой пример. Все работы в Бхилаи осуществлялись по нашим проектам, под нашим техническим руководством, с нашей помощью, но

индийскими организациями, индийскими инженерами, индийскими рабочими. Благодаря этому тысячи индийцев приобрели профессии, знания, опыт, квалификацию. Создавались национальные кадры, столь необходимые для молодого государства.

В Руркеле же работы велись десятками западногерманских фирм. Немецкие инженеры, немецкие техники, немецкие монтажники. И, кстати, немаловажный штрих, отмеченный обозревателем швейцарской газеты «Дер монат»: фактически немцы ведут себя здесь так, как англичане до них...

Выгодные для собственного кармана сделки под видом «помощи» ищут в бывших колониях и полуколониях не одни немцы. Американцы, например, еще в 1948 году приезжали в Бхилаи. Они хотели построить из местных руд металургический завод. Для Индийской республики? Нет, для себя.

— О характере «помощи» империалистических государств экономически слабо развитым странам очень точно говорится в новой Программе партии,— заметил Иван Васильевич Архипов.— В ней сказано: «Под флагом «помощи» они пытаются удержать в этих странах старые и захватить новые позиции, расширить свою социальную опору, перетянуть на свою сторону национальную буржуазию, насадить военно-деспотические режимы, поставить у власти послушных марионеток». Можно привести множество примеров, подтверждающих эту характеристику. Собственно, в любом случае, когда империалисты оказывают «помощь» слабо развитому государству, обязательно действует расчет на собственную экономическую выгоду и достижение военно-политических целей. Возьмите хотя бы Лаос. В 1955—1960 годах американская «помощь» Лаосу по своим размерам (в расчете на душу населения Лаоса) являлась самой большой по сравнению с той, которую США предоставляют какой-либо другой стране. Но что же это за «помощь»! Практически вся она шла на содержание армии и полиции реакционных правительств, которые находились в полной зависимости от США, на строительство военных аэродромов и стратегических дорог. Именно из-за этой «помощи» лаотянский народ до сих пор лишен возможности и условий для развития своей национальной экономики.

А история с займом для строительства Асуанской плотины, с просьбой о котором египетское правительство в 1955 году обратилось в Международный банк реконструкции и развития, контролируемый американским правительством? Банк в обмен на предоставление кредита потребовал не больше не меньше, как установления фактического контроля над финансами и всей экономической политикой Египта.

А недавний отказ правительства США подписать документы об оказании обещанной Гане финансовой поддержки в строительстве плотины на реке Вольта и гидроэлектростанции в Акосомбо? Сперва было американцы обещали Гане такую помощь, но теперь отказываются это сделать потому, что миролюбивые заявления президента Нкрумы по международным вопросам, его выступления против колониализма вызвали раздражение у официальной Америки, там, видите ли, не уверены «в отношении политической ориентации правительства Нкрумы».

И тем не менее заправили монополий и политические дельцы всячески стараются «разукрасить» разговоры о «бескорыстной», «дружеской» помощи слабо развитым государствам. Прямо-таки из кожи вон лезут, чтобы прикрыть свои истинные цели в отношении бывших колониальных и полуколониальных стран. Тут и цветистые речи, и пышно рекламируемые мероприятия вроде «рейса свободы» (каждому «туземцу» — по прыжку), и даже новая терминология.

В последнее время на Западе, когда речь заходит о молодых африканских или азиатских государствах, все чаще слышится слово «партнер». Что ж, называет ведь капиталист сегодня своим «совладельцем» эксплуатируемого им рабочего, которому он продал за несколько долларов пару мелких акций своего предприятия. Так возникает лживая и отравляющая сознание игра в «народный капитализм». Почему бы не поиграть еще и в либеральный колониализм, называя «партнером» ограбленную страну и поработанный народ?

Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру сказал однажды, что Индия должна уметь бегать прежде, чем она научится ходить. Добившиеся политической независимости молодые государства Азии и Африки отстали по технико-экономическому уровню от передовых стран на десятки и даже сотни лет. Они стремятся ликвидировать этот разрыв в короткие сроки, заложив у себя в первую очередь крепкий фундамент экономики.

— Именно в таком направлении прежде всего оказывает им честную, действительно бескорыстную, подлинно дружескую помощь СССР,— подчеркивает И. В. Архипов.— Построенный Советским Союзом в Кабуле авторемонтный завод афганские руководящие деятели назвали «сердцем зарождающейся промышленности Афганистана». В Индии при техническом содействии СССР будут построены два нефтеперерабатывающих завода — в Барауни и Гуджерате. Их удельный вес составит примерно две трети всей мощности нефтеперерабатывающей промышленности страны. В период третьего пятилетнего плана в Индии должны быть введены в эксплуатацию электростанции общей мощностью около шести миллионов киловатт. Четверть этого количества электроэнергии дадут энергетические объекты, построенные с помощью СССР. На Кубе строительство, ведущееся при техническом содействии Советского Союза, позволит увеличить выработку электроэнергии на 30 процентов, переработку нефти — почти в полтора раза. И подобных примеров можно привести очень много. А уж колоссальное значение таких сооружений, как, скажем, Асуанская плотина в Египте, просто непереоценимо.

Всего,— замечает Иван Васильевич Архипов,— наша страна предоставила слаборазвитым государствам для их экономического развития долговременные кредиты при льготных условиях на сумму свыше двух миллиардов четырехсот миллионов новых валютных рублей.

Кроме того, ряду стран мы оказываем техническое содействие безвозмездно. В прошлом году в Камбодже начал работать госпиталь на пятьсот мест с поликлиникой. Это дар нашей страны камбоджийскому народу. Точно так же Камбоджа получит высшее техническое училище с четырьмя-пятью факультетами на тысячу студентов. В Бирме летом нынешнего года сданы в эксплуатацию гостиница, технологический институт и госпиталь, тоже построенные в качестве дара. В Непале безвозмездно Советским Союзом будут построены сахарный завод, сигаретная фабрика, гидроэлектростанция, госпиталь. Безвозмездно же мы построим радиостанцию в столице Гвинеи городе Конакри, техническую школу в Эфиопии, госпиталь в Индонезии.

Можно с гордостью, с удовлетворением, с радостью суммировать рубли, тонны, киловатты. Но разве знаюг точную меру настоящая щедрость, истинная доброта? Разве можно вести счет человечности и дружбе? Мыслимо ли подсчитать, сколько людей в далеких странах благодаря помощи нашего государства получат профессию и работу? Научатся грамоте и излечатся от болезней? А их дети никогда не узнают нищеты и голода... Как точно перевести нашу помощь слаборазвитым государствам на миллионы человеческих судеб?

В Ираке вот уже два года нет оспы — там всему населению сделана прививка вакциной, полученной из Советского Союза. Как выразить это в экономических показателях? Невозможно!

Но зато возможно другое — искренне, непосредственно, по-своему выразить любовь, признательность, благодарность Советской стране. В двенадцати милях от Бхилаи есть небольшая железнодорожная станция. Всегда она именовалась Дург. Теперь индийцы называют ее русским словом — Друг. Один из советских граждан, побывавший в далекой африканской республике Того, рассказал в газете о том, как в простой негритянской семье родившегося недавно мальчика назвали Никитой Хрущевым.

Верно, иные цифры красноречивее слов. Но подлинный гуманизм не всегда вмещается в рамки цифровых подсчетов. Так же, как беспредельны, искренни и неповторимы проявления ответных чувств.

Беседу записал П. ВОЛИН.

Две встречи

*Беседы с академиком-секретарем Отделения геолого-географических наук Академии наук СССР Д. И. Щербаковым
и с академиком-секретарем Отделения физико-математических наук Академии наук СССР Л. А. Арцимовичем*

1

Все чаще в наших газетах и журналах мы встречаем слово «будущее». Это будущее не фантастических романов, но то близкое грядущее, что уже существует: оно уже записано в наших планах, мы можем увидеть его — в проектах, чертежах. Это будущее стало всеобщим достоянием, и постепенно привыкаешь к тому, что живешь частично и в нем. Очертания еще не построенных зданий уже вписываются в пейзажи сегодняшней Москвы. Ищешь на карте еще не созданные моря. И цифры будущих побед хранятся в памяти рядом с датами великого, вечно живого прошлого.

В Программу партии вписаны и планы, которые создают наши ученые. Наука не может развиваться без перспективы, и нетерпеливым людям уже мало двадцати лет, они заглядывают вперед еще дальше — за грань двухтысячного года, в третье тысячелетие нашей эры, в эпоху победившего коммунизма. Но даже двадцать лет — это так много для наших темпов. И хочется узнать: как представляют себе наш мир через двадцать лет те люди, что стоят во главе нашей науки, как представляют они себе строгий и великолепный облик грядущего?

2

За большим окном кабинета академика Дмитрия Ивановича Щербакова лежит Замоскворечье. Маленькие чистенькие особнячки окружены крохотными палисадниками, в которых и трава и деревья совсем такие же, какими были в твоём детстве. Каждый переулок этого уголка, милого Замоскворечья, памятен тебе навсегда: здесь ты встречался с девушкой, которая теперь не узнает тебя на улице, в этом доме жил твой друг, чей адрес ты вычеркнул из записной книжки, когда

вернулся с войны. И кажется, только вчера эта самая Малая Якиманка, ныне залитая чистым асфальтом, зеленела молодой травкой. И наверное, вон с того угла, всего в нескольких десятках шагов можно увидеть Кремль. Ну конечно же, вот он, совсем такой, как в детстве: в кружеве резного камня, в золоте сияющих куполов!

И сам кабинет академика кажется знакомым с детства: такой же большой письменный стол, как у отца или деда, множество фотографий на стенах, книги в темных переплетах за зеркально поблескивающими стеклами.

Говорит Дмитрий Иванович очень просто. Это простота, которая кажется такой легкой, достигается не так-то легко: для этого нужно не только знать науку, но и жить в ней — повсеместно, каждую минуту — и, может быть, видеть и ночью геологические и географические сны.

Дмитрий Иванович Щербаков — академик-секретарь Отделения геолого-географических наук.

Какие древние это науки! Может быть, они уже закончены в наши дни, когда открыты оба полюса, когда человек поднялся на вершину Чомолунгмы и опустился в глубочайшую Марианскую впадину Тихого океана? На Дмитрия Ивановича взираешь с почтением как на хранителя лучших традиций русской геологии. Ведь он ученик академика Левинсона-Лессинга, был ассистентом у Владимира Афанасьевича Обручева, много путешествовал вместе с Александром Евгеньевичем Ферсманом. Он первым начал искать уран, когда это казалось чудачеством: ведь никому тогда не приходило в голову, что этот металл может иметь хоть какую-нибудь ценность!

Но первые же слова моего собеседника сразу рассеивают это впечатление. Словно исчезают стены уютного кабинета, и становится виден весь мир, с его чистыми просторными далями, полный блеска и движения, открытый для бесконечного путешествия во все стороны света.

— Геологи сейчас ищут не только на земле и под землей, но и в воздухе. А в самые последние годы мы выходим на дно океанов и в космическое пространство.

Дмитрий Иванович улыбается, вспоминая первые годы своей работы, сорок — сорок пять лет тому назад.

— В те годы нам давали на экспедицию одну лошадь и проводника. Взойдешь на пригорок и наметишь в бинокль место для привала. Проводник и лошадь с вьюками отправляются туда напрямиком, там к вечеру нас будет ждать ужин и ночлег. А мы сами, с геологическими молотками в руках и с рюкзачками за плечами, следуем кружным путем, собирая образцы и набрасывая контуры карты. Так пешечком исходил я всю Среднюю Азию и Хибины, немало побродил и по Кавказу...

Позже стали давать нам машину. Но на машине не пройдешь там, где пройдет пеший геолог. Помню, раз забрались мы на вершину Келасури, в Закавказье. Туда привела тропка, а местность вокруг лесистая — как ее исследовать? Чаша такая, что не продерешься. И пришлось нам передвигаться по методу Тарзана: с ветки на ветку. На этой вершине застал нас снегопад. Спускаться вниз немислимо. И решили мы ждать помощи. Чтобы не терять сил — провианта у нас не было, — лежим. Весь наш пищевой рацион состоял из сахара: по одному кусочку на человека в сутки.

А в наши дни что такое геологическая экспедиция? Вот туркменский академик Годин, геолог и геофизик, руководил этим летом экспедицией. У него триста машин, самолеты, вертолеты, полевые лаборатории. Одних геологов под его командованием триста человек! Конечно, бываю разные типы геологов. Есть геологи-кроты — замечательные подземные разведчики, есть энтузиасты-вулканологи, есть пропагандисты подзем-

ного тепла, тектонисты, охотники за землетрясениями, есть, наконец, и геологи — короли карты. А как много дал геологии самолет!

Я вспоминаю слова Эренбурга: «С той высоты, которую набирает четырехмоторный самолет, мир геометричен и на редкость однообразен. Даже города его не оживляют: это стандартные игрушки-кубики».

Сверху, конечно, нельзя увидеть самих людей, понять литературу или искусство народов. Но зато как ясен становится геологический рисунок Земли, отчетливо сменяются географические ландшафты. И главное, с большой высоты всегда хорошо виден труд людей. Когда, например, летишь из Канады в Соединенные Штаты, то совершенно ясно видна граница между ними: Канада — страна крупного сельского хозяйства, Соединенные Штаты — сравнительно небольших ферм, и поэтому земля распадена совсем по-разному. А Ирландия с высоты нескольких километров, с ее крохотными участками, огороженными со всех сторон, с горстками овец на каждой!

Во время разговора Дмитрий Иванович несколько раз упоминает о том, что ему скоро семьдесят лет. Но этого никак не скажешь: так молоды его глаза, так зорко они видят всю землю.

— Полетать пришлось немало,— отвечает он на вопрос.— Был и на Северном полюсе и в Таиланде, почти на экваторе. Несколько раз пересек Индию. Но самым памятным был полет над Мексикой, над Калифорнийским заливом. Не знаю, сплеховали ли синоптики, или летчики-мексиканцы оказались чересчур бесшабашными ребятами, только над заливом мы попали в центр грозовой тучи. Мы попытались вырваться наверх, но гроза поднималась вместе с нами, и тут воочию пришлось увидеть, как рождаются молнии... Завтра утром снова придется лететь: очередное заседание Президиума академии состоится в Новосибирске. А оттуда на три дня в Париж.

Да, академик Щербаков очень молод. Он так же молод, как и его наука. Ведь он считает, что геология только в наши дни начала бурно развиваться, что у нее почти все впереди.

— Мы еще так мало знаем о происхождении Земли, о причинах земного магнетизма, кладовая богатств Земли далеко еще не раскрыта. Общий возраст нашей планеты оценивается сейчас в четыре миллиарда лет. Из этого огромного промежутка времени мы примерно знаем историю поверхности Земли и отчасти коры всего лишь за последние пятьсот миллионов лет. А что было раньше, в так называемое «докембрийское» время? И что лежит под нашими ногами, далеко внизу? Мы узнали «изнанку» Луны, но как узнать про недра нашей собственной планеты?

Эти слова Дмитрия Ивановича заставляют задуматься. До сих пор мы сравнительно лучше знаем три планеты Солнечной системы: Землю, Луну, Марс. Но какие они разные! На Марсе вообще нет морей и гор, а на Луне — кольцевые горы, подобных которым нет на Земле, гигантские борозды и блестящие лучи, звездами расходящиеся от вулканических цирков.

А таинственная Венера, вечно закрытая от нас покрывалом ослепительно белых облаков? Только три года назад эта завеса была пробита радиолучом с Земли, вернувшимся назад в виде крохотного радиоэха — мощностью в миллиардную часть миллиардной доли одной миллиардной ватта!

— На другие планеты геологи выйдут не скоро,— говорит Дмитрий Иванович.— Займемся как следует нашей Землей! Вот тут-то и нужны новые методы.

— А космос, а геология моря?

— Ну, космос дает пока немного для геологов. Искусственные спутники уточнили наши представления о форме Земли, но это предмет высшей геодезии. Выяснилось, что Земля наша не вполне сферична: она немного заострена к югу и выпукла к северу. Попутно уточнены были расстояния между материками и местоположения одиноких островов. Ведь на море не проведешь триангуляцию, как на суше. И мы до сих пор знали расстояние между Европой и Америкой лишь с приблизительной точностью. А нам нужно это знать точно, чтобы проверить, передвигаются ли материка.

Сейчас на дне моря скрываются многие загадки. Вот посмотрите на эту карту. Многие геологи считают, что существовал ныне погибший материк Гондвана и что Южная Америка, Африка, Индия, Аравия и Австралия — только его обломки. Литераторов всегда больше интересовала Атлантида, описанная Платоном.

На фотографии видна карта Земли, но очень непривычная, в которой трудно сначала разобраться. Вместо знакомых очертаний материков и окрашенных синим океанов какие-то зыбкие фигуры, вытянутые с севера на юг извилистые полосы, усеянные кружочками.

Еще совсем недавно, лет десять — пятнадцать назад, мы почти не знали океанского дна. Считали, что оно плоское, что океан имеет форму гигантского корыта. А теперь мы открыли на этом голубом континенте горные кряжи, подобные Альпам, плато, долины, гигантские каньоны, подводные вулканы. Разве можно считать географию исчерпанной, когда на карте почти нет названий океанского дна?

Вот одно из величайших открытий наших дней. Циклопические трещины общей протяженностью в шестьдесят пять тысяч километров пересекают наш земной шар. С ними совпадают местоположения подводных вулканов и районы частых подводных землетрясений. В Атлантическом океане такой рифт, как его называют геологи, проходит точно посредине огромного подводного горного кряжа шириной около двух тысяч километров, извивающегося почти параллельно берегам Европы, Африки и Америки. Это разлом земной коры, очень молодой по возрасту, заполненный выступающими на поверхность глубинными породами уже не коры, а так называемой мантии Земли. Быть может, мы присутствуем сейчас при рождении нового материка. быть может, при нас создается мифическая Атлантида — не погибший материк далекого прошлого, а материк близкого будущего, который увидят наши потомки.

Глубинная мантия Земли отделяется от земной коры так называемой поверхностью Мохоровичича. Под континентами она находится на глубине тридцати — шестидесяти километров, а под дном океана — всего в нескольких километрах. Там, в еще таинственной мантии, зарождаются землетрясения, оттуда поднимаются волны расплавленной магмы, порождающей залежи полезных ископаемых, гуда уходят корни вулканов. Там под влиянием сверхвысоких давлений и неизвестных нам, но, по-видимому, огромных температур идет перемешивание вещества Земли, текут целые реки твердых горных пород, ставших пластичными. Но пока что лишь отраженные волны землетрясений и направленных взрывов как вестники доходят до нас. Да, теорий о внутреннем строении планеты очень много: ядро, раскаленное до звездных температур; ядро, хранящее первозданный космический холод; ядро металлическое и вообще отсутствие ядра. А когда теорий так много, мы, геологи, говорим: дайте пощупать!

Наука сделала огромный скачок, когда мы послали ракеты и людей в космос. Не меньшее значение для геологии будут иметь «подземные спутники» — буровые скважины глубиной в десять — пятнадцать

километров, которые, проколов всю земную кору, позволят нам достичь мантии Земли.

Американцы сейчас выполняют так называемый «проект Мохо»: со специального судна, которое четырьмя винтами удерживается на одном месте, они в районе острова Гваделупа в Карибском море бурят сквозь слой воды в три с половиной километра толщиной. В этом месте слой Моховича лежит в пяти-шести километрах ниже дна.

Наш план куда грандиознее. Уже намечены первые пять сверхглубоких буровых скважин, которые откроют нам путь к недрам планеты. Нет сомнения, что понадобятся совсем новые технические средства, чтобы достичь больших глубин: быть может, здесь можно будет применить гидравлическую пушку, построенную в Сибирском отделении Академии наук,— пушку, «стреляющую» водяными струями при давлении в семь тысяч атмосфер. Или физики дадут в наши руки жгуты плазмы, которые при температурах во много миллионов градусов будут прожигать землю до нужных глубин...

Все это имеет и огромное практическое значение. Под корой достаточно тепла, чтобы отапливать целые города,— недаром Рейкьявик, столица Исландии, пользуется бесплатным кипятком гейзеров. Мы на Камчатке, в долине реки Паужетки, уже пробурили скважины для первой в Союзе геотермической электростанции.

И, наконец, мы получим неограниченный доступ к базальту — этой неисчерпаемой руде будущего. Под слоем осадочных пород и подстилающим их гранитом, в какой бы точке земного шара ни начали мы бурить, везде, вплоть до мантии, лежит мощный слой базальта. В нем двадцать — двадцать пять процентов железа, столько же магния, много кальция, окислы калия и натрия, алюминий, кремнекислота, иногда редкие и драгоценные металлы...

Закрывается круг, и мы снова в уютном кабинете академика, не в третьем тысячелетии нашей эры, а в 1961 году. Ученый берет в руки книжечку, лежащую рядом с геологическими и географическими трудами,— Программу партии.

— Нет, наши науки далеко не исчерпаны. Наоборот, они накануне нового скачка: из пассивно описательных они превращаются в активно действующие. Рождается новая классификация наук. Для того чтобы выполнить задачи, поставленные перед нами Программой партии, науки о нашей планете должны работать сообща, в одном отделении. А ведь до сих пор геофизика находится в ведении физиков и математиков, геохимией управляют химики, высокие давления изучает Отделение технических наук...

Ученый снова весь в будущем.

3

Лев Андреевич Арцимович, тоже академик, академик-секретарь Отделения физико-математических наук. Область его ведения открывает нам совсем иную вселенную — тоже чудесную, но как будто только сегодня созданную, с непривычными пропорциями и совсем иной перспективой, чем хорошо знакомое нам пространство Эвклида, в котором мы обитаем со школьной скамьи. Даже Москва, в которой он живет, кажется отсюда совсем другим городом.

За ясным стеклом большого окна — деревья в пышном осеннем убранстве. Желтая и красная листва кленов и лип так густа, что сад походит на лес. И ты вспоминаешь: да тут совсем недавно и был лес, в котором ты когда-то бродил с ружьем под мышкой. Тогда Москва была

очень далеко, а теперь она шумит прямо за решеткой сада. Из кабинета академика его не видно, но знаешь: там, за деревьями, в нескольких десятках шагов, высится огромное здание Института атомной энергии имени Курчатова. Оно выходит фасадом на площадь — такую с иголки новую, что на ней еще не успели разбить сквер и рядом с асфальтом растет бурьян. Новехонькие улицы. И в любом направлении, куда ни взгляни, в однообразном и деятельном величии движутся башенные краны. И дома, дома, огромные дома, в которых никогда не жил никто из твоих друзей, не те дома старой Москвы, которые видел еще Пушкин, но улицы третьего тысячелетия нашей эры, ведь они будут стоять и после двухтысячного года. Где уж тут, в этом городе будущего, найти знакомые перелески с говорливыми ручьями и утренним лепетом птиц, овраги, тропы, по которым бродил тридцать — сорок лет назад...

Кабинет ученого похож скорее на рабочую комнату писателя и чем-то напоминает дом Алексея Толстого в Барвихе, с его полукруглой стеклянной стеной, выходящей прямо в лес. Все очень современно и ново. Желтые занавески на больших, чисто вымытых окнах как будто хранят отблеск неяркого осеннего солнца.

Итак, мир современной математики и физики, целая новая вселенная, завоеванная человечеством за последние полвека, после величайшей революции в науке. Он совсем не похож, этот мир, на строгое здание с классической колоннадой, по величественным лестницам которого в наши студенческие годы нас гоняли профессора. Это мир, где волны являются одновременно и частицами, а лучи света и всплески сигналов радиолокатора так же материальны, как и металл. Это страна, где пространство искривлено и вместе со временем составляет одно целое. Это вселенная, где царят температуры от абсолютного нуля до многих миллионов градусов, господствуют скорости, близкие к световому барьеру, и в которой проживают элементарные частицы во много раз меньшие, чем электрон, еще так недавно казавшийся нам пределом дробления вещества.

Льва Андреевича Арцимовича, видимо, устраивает этот мир. Он вполне уютно чувствует себя в римановом или втором гильбертовом пространстве, или как их там называть? Больше того: такая вселенная кажется ему очень простой и достаточно рационально устроенной. Да это и понятно — наш мир лучший и логически наиболее необходимый, потому что мы в нем живем и не знаем никакого другого.

Вообще стремление к ясности, к наглядности — одна из основных черт его характера.

— Для ясного понимания проблемы не следует надевать на тощий скелет экспериментальных фактов слишком сложные математические одеяния, — говорит он.

И если нужно выбирать между научной строгостью и наглядностью, то он охотнее пожертвует первым. В нем совсем нет кастовости и высокомерия, которые характерны для иных ученых, считающих, что современная наука может быть понятной лишь небольшой горстке избранных.

— А может ли ученый полностью охватить целую науку, например физику, во всех ее разветвлениях и специальных областях? Ведь иные математики утверждают, что представители разных математических дисциплин далеко не всегда понимают друг друга.

— Нет, почему же! Крупные математики, такие, например, как Гильберт или Адамар, или такой выдающийся интеллект, как академик Андрей Николаевич Колмогоров, вполне могут охватить всю свою науку, во всех ее звеньях, уклонах и перспективах. Для физика же это гораздо проще, если, конечно, говорить не о сумме фактов, а об общих принципах.

Лев Андреевич, вероятно, великолепно знает факты. Но его больше влечет к философским обобщениям. Поэтому он не рассказывает об отдельных открытиях наших дней, а предпочитает увидеть в своем воображении весь дальнейший путь бесконечно развивающейся науки.

— Энтузиазм двадцатых годов,— говорит он,— гигантские порывы науки в новые области в первую четверть нашего века. Видите ли, когда золотоискатели впервые пришли в Калифорнию или на Аляску, то золото лежало прямо на поверхности. Год от году руда делалась все беднее, а сейчас золото добывают драгами из пустой породы, некогда после промывки выброшенной старателями. Так и физики — после великих открытий следует период рутинной работы. Хотя в этом, быть может, тоже есть своя романтика, но доступна она далеко не всем ученым.

В годы нашей юности не существовало такой массовой профессии, как ученый. Были безобидные чудачки, которые занимались невесть чем. По-настоящему романтичными казались профессии моряка или летчика, даже врача. А сейчас? Скоро у нас ученых будет больше, чем паровозных машинистов, дворников и милиционеров. Но в этом не только количественный рост, здесь есть и качественный скачок.

Наука стала совсем иной: ей уже мало вдохновения одиночек, ей нужны великие усилия огромных коллективов. И она стала очень дорогой — не в денежном выражении, конечно, но количеством вложенного в нее человеческого гения и труда. Вам приходилось видеть синхрофазотрон в Дубне? Можете ли вы представить, сколько людей — ученых, изобретателей, конструкторов, инженеров, рабочих — создавало космические корабли? Ведь это новые сплавы, новые материалы, тончайшие приборы, небывалое горючее!

Да это легко себе представить. Ведь даже многотонный реактивный самолет — а он не чета космическим кораблям — обошелся бы гораздо дешевле, если бы был сделан из чистейшего золота девяносто шестой пробы! А как оценить труд и вдохновение многих тысяч, если не миллионов людей? Усилия целого государства?

Сила современной науки совсем в другом,— продолжает Лев Андреевич. — Она непобедима своей связью с жизнью, с практикой, она неотделима от современной техники. Раньше наука и техника ехали на поездах по параллельным путям и лишь изредка махали друг другу платочками. В девятнадцатом веке все великие завоевания техники, все победы инженерной мысли не были связаны с теоретическими изысканиями. Термодинамика родилась через полвека после того, как паровые машины завоевали промышленность и транспорт. Самолеты уже летали, а аэродинамика только пыталась объяснить их полет. Даже в начале двадцатого века Эдисон, которого считали величайшим изобретателем, не знал самых элементарных основ физики. Современная техника развивается совсем иначе. Возьмем, например, радиоэлектронику: она целиком развивалась на базе новейшей физики твердого тела. Но она не продолжила ее, она лишь ее приложение. И только из этого синтеза могло родиться величайшее открытие, своего рода воплощение фантастической мечты инженера Гарина о гиперболоиде.

— Вы говорите о лазерах?

— Да, о лазерах.

Лазер — это квантовый усилитель в оптическом диапазоне длинных волн — на языке ученых, магический кристалл — на языке высокой поэзии. Маленький кристалл искусственного рубина, размером меньше четырех сантиметров, частично посеребренный. Если на несколько мгновений его осветить зеленым светом, потом на долю секунды немного красным, то он дает чудовищную вспышку — в миллионы раз ярче, чем блеск

такой же поверхности Солнца. Этот красный фантастический луч распространяется почти без потерь, пробивает, как луч гиперболюида инженера Гарина, поставленную перед ним пластинку, и его блеск виден за сорок километров. Но это не «луч смерти», а луч жизни: он открывает новые перспективы связи на дальние расстояния — с космическими кораблями и другими планетами. Чтобы получить вспышку такой яркости от теплового источника света, понадобилось бы нагреть его до десяти миллиардов градусов! А свет лазера холодный. И не будет фантазией предположить, что когда — и, вероятно, очень скоро — космические путешественники высадятся на Луне, им для связи достаточно будет мощности батарейки карманного фонаря!

— Но, Лев Андреевич, такое стремление современной науки двигаться вперед не сродни ли олимпийскому рекордсменству: каждый миллиметр, каждая доля секунды обходятся все дороже, и наконец мы рано или поздно приходим к неизбежному пределу?

— Ну, совершенно естественно, что когда отдельные здания подведены под крышу, наступает время для отделочных работ. Такая наука, как тригонометрия, сложилась уже в шестнадцатом веке и вряд ли будет развиваться. Или энтомология, она никогда не математизируется и — как описательная наука — она почти закончена. Так же обстоит дело и с географией, после того как были открыты оба полюса и стерты белые пятна с карты.

Невольно вспоминаются слова академика Щербакова, сказанные только вчера:

— В Африке и Южной Америке, не говоря уже об Антарктиде, есть огромные неисследованные области. Всего несколько лет назад летчик-исследователь Джимми Энджел открыл в Венесуэльской Великой саванне водопад в несколько раз больше Ниагарского. Совсем недавно австралийские самолеты обнаружили на Новой Гвинее области, населенные племенами, не связанными никакими сношениями с внешним миром. По приблизительным подсчетам их численность определена в сто тысяч человек! А дно океана? А «география» других планет — селенография. ареография? Нет, время великих открытий еще не прошло!

— Отдельные дома подведены под крышу, но ведь город продолжает строиться, — заканчивает свою мысль Арцимович.

Нет, не стоит с ним спорить. По-своему он прав: ведь он говорит не о накоплении фактов, а о науке больших обобщений.

— Трудность, которую переживаем мы, ученые, в другом, — говорит он. — Она скрыта в нас самих, в несовершенстве нашего мозга. И, однако, никакая электронная машина не может его заменить. Золотое яблоко успеха появляется часто на самой незаметной веточке могучего дерева науки. Но где и как искать эту ветку? Ассоциации, которые нужны для таких поисков, бесконечны, но информация, опыт, заложенные в нашем мозгу, поневоле не безграничны. Но то, что не под силу одному человеку, может сделать коллектив или, тем более, высокоорганизованное общество.

Так вот, чтобы сделать эти ассоциации более широкими, ученым нужно искусство, как, впрочем, и всем людям: недаром первобытный человек украшал резьбой свое оружие и рисовал картины на стенах своих пещер. В искусстве — музыке, живописи и литературе, — повторяю, находишь новые ассоциации и видишь новые аспекты в своей работе.

Нет смысла спрашивать ученого о его собственной работе, о физике плазмы, которой он занимается. Все это изложено в его большой книге «Управляемые термоядерные реакции». Но неподготовленному читателю не стоит братья за эту книгу. Его может бросить в дрожь, когда он узнает, что для того, чтобы разобраться в этой области, нужно знать

космическую электродинамику и теорию нелинейных колебаний, понимать, что такое «адиабатические ловушки» и теория «убегающих» электронов. А когда он с трепетом обнаружит, что существует какая-то «остроконечная геометрия», он, вероятно, со вздохом закроет книгу.

Пусть читатель поверит на слово, что существуют установки с романтическими названиями Сцилла и Зета, Альфа и Астрон, Ипсилон и Огра, что ученые всего мира ищут разные дороги к решению проблемы управления термоядерной энергией и пока еще не виден конец пути.

И все же в этой книге видна великая вера ученого в конечную победу, в торжество разума над бесконечно косной природой.

Ведь современная физика не столько изучает то, что существует, как это было раньше, но создает то, чего не существует в природе. Ведь для того чтобы управлять термоядерными реакциями, нужно достичь температур в сотни миллионов градусов, каких даже нет в центре Солнца и звезд!

Вот строки из предисловия к книге:

«Прежде всего необходимо предупредить читателя о том, что название книги не вполне точно отражает ее содержание. Оно обозначает цель, к которой мы стремимся, но эта цель пока еще только блестит на дальнем горизонте, и к ней ведет долгий и нелегкий путь».

Да, цель далека, но человек, посвятивший ей все помыслы и самую жизнь, не может не верить в победу!

Хочется верить вместе с ним, что на пиршественном столе человечества будут лежать золотые яблоки из сада Гесперид. Ведь достал же их когда-то герой древности Геракл, хотя ему для этого пришлось совершить великий подвиг — держать небо на своих плечах!

4

Две встречи, два разговора, два совсем разных человека. И две совсем разные вселенные, проникающие друг в друга. И в каждой из них мы живем.

Мир, который мы исследуем, и мир, который мы создаем. Это две стороны одной медали, выбитой в честь всегда побеждающего человечества.

Невольно вспоминаются слова академика Ферсмана, сказанные им двадцать лет назад:

«Нет природы полезной или неполезной, нет нужных и ненужных минералов — сам человек своим творчеством и энергией подчиняет себе природу и превращает ее в производительную силу страны. И чем шире разовьется техника, чем хитроумнее проникнет ученый во все тайны природы, тем шире и глубже будет его победа, победа мысли и творчества над мощью природы».

Да, в наши дни цель человека, чем бы он ни занимался, — всегда творчество. А разве мы можем мыслить великое творчество без великого вдохновения?

Беседы записал Кирилл АНДРЕЕВ.



С. ПОЛИКАРПОВ

★

НА БЛИЖНИХ ПОДСТУПАХ

На дальних подступах к коммуне,
Потуже затянув ремни,
Отцы, восторженно и юно,
Ковали нынешние дни.

Закрутку из табачной пыли
Деля в обед на семерых,
Они мечту об изобильи
В сердцах лелеяли своих.

Да будет пыл их вечно молод!
По планам, созданным ЦК,
Мы их мечту,
Как светлый город,
Возводим прочно, на века!



ИРЖИ ШОТОЛА

★

ЭТО БЫЛО В ЕВРОПЕ

Из поэмы

ТЕПЛАЯ И РЫЖАЯ ПЛАНЕТА, ТЫ ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ — В КОТОРЫЙ РАЗ? —
Вид меняешь. В рощах, в травах снова золотая буча поднялась:
Застеклил ноябрь озерам окна,
Воздух жгуч, как провода под током,
Тишина вошла в осенний мир,
Об антенны плещется эфир.
Человек задумался о жизни, он стоит, лесной вдыхает запах.
О, как взмах ножа бывает долог! О, как выход на орбиту краток!
Человек в озерах отразился между дубом и цветком увядшим.
Ветер листья бурые сгребает. Бродит лань по выгоревшим чащам.
Небо — без конца. Без края — луг.
В панцире
На пне
Распластан жук.
Как я радуюсь вам,
Корни, травы, растения, камни!
Вам, лесные озера с затонувшими облаками!
И тебе, ручеек, — ты и яркий, и юркий, как ртуть!
И тебе, по ручью проплывающий тоненький прут!
Нет! Никто не посмеет тебя уничтожить, планета!
Притяженье земное преодолела ракета —
От Земли до Венеры натянута провода.
Я с газетой в кармане пришел на рассвете сюда.

Где-то за океаном бомбовозы вгрызаются в воздух...
...Тонкий прут подплывает к плотине весь в брызгах,
как в звездах.

Как прекрасна ты, наша планета, плод теплый и рыжий,
Когда рдеют твоих облаков черепичные крыши,
И в лесу паутинка в накрапе дождя искрится,
И на голые
Ветки
Садятся
Озябшие птицы.
В тайный смысл бытия, как в закрытую дверь, я стучусь.
Я, как щупальца, выпустил пять моих органов чувств.
Всеми пальцами, разумом, каждой крохотной клеткой,
Как корнями, в тебя я врастаю, земля моих предков!
Тонут церкви в каштанах. На поле колыхается рожь.
Где еще на планете ты Добрков и Монтур найдешь?

Я и при смерти вспомню каждый ствол, каждый куст, каждый
 лист твой!
 Осень! — птичье крыло! Осень! — панцирь жука золотистый!

Вертится наша планета, тянутся времени горы:
 Атомные турбины, глиняные амфоры.
 Двигутся линии духа, движутся, как эстафета,
 И биотоками входят в каждого человека.
 Ты в этом мире огромном, в мире прекрасном, новом
 Должен остаться хотя бы горячим словом.

ЭТО БЫЛО В ЕВРОПЕ, ГНИЛ АПРЕЛЬ НА ДУБУ.
 Бил в барабан барабанщик, вел с барабаном борьбу.
 Это было в Европе! Год? Не помню какой!
 Дождь хлестал. Занимались штурмовики муштрой.
 Это было в Мадриде, в Риме было, в Берлине.
 Как заводные, шагали. Маршем. Пружина к пружине.
 Шаг печатали четко ноги — бутылочный ряд.
 В Праге и в Ленинграде предполагался парад:
 Как черепные коробки, камни под ними хрустели.
 Трескался лак на ботинках. Краги от крови бурели.

Это было в Европе! В комнате, полной мух.
 Там, где царили страхи, там, где царил испуг,
 Там, где боялись дети не зверей в зоопарке,
 А портретов мужчины с пауком на кокарде.
 Страх назывался Адольфом, жуткий, чудовищный страх.
 Были прислужники страха — кризис, и Крупп, и крах.
 А где-то на фронте испанском алело последнее знамя.
 Отец у приемника плакал. Сентябрь заливался слезами...
 Это было в Европе!..

Это было в Европе в тот памятный год,
 Когда собирались молодчики рейха в поход.
 И судьбы народов вершили дельцы и подонки.
 Мелькают события кадрами кинолентки.
 По мартовским лужам плывут золотые оттенки:
 То люди с желтой звездой поставлены к стенке.
 И гейдрихиада проходит расстрелов разгулом,
 И Ванчура гордо глядит в автоматное дуло.

Это было в Европе. Гнил апрель на дубу.
 В снег упал барабанщик. В снежном лежал гробу.
 Штурмовики, мечтавшие о Сталинграде,
 По полю волочили дерюжные краги.
 Сверхчеловеки тащились гуськом по дороге.
 И увязали в каждом ничтожном сугробе.
 Были их головы меньше шаров бильярдных.
 Шли кавалеры гангрены, герои пеллагры.

Мир! Ты, как шкаф, паутиною пойман в капкан!
 Черные ляжки пляшут последний канкан.
 Черные мухи плутают по улицам Праги,
 Бал для эстетов сменяют расстрелом в овраге.

Тень над Землей оседает грузно и плотно,
Словно распята Земля на кресте самолета.
Над океаном зловещее пламя горит...
Шкаф изрыгает из пасти отравленный гриб.

Где Хиросима? Исчезла под пеплом и пылью!
Бомбардировщики крыльями солнце закрыли.

ЭТО БЫЛО В МИРЕ.

Замер в немом ожиданьи зал многолюдный.
Человек коренастый вышел и встал на трибуну.
Славный посланник Москвы. Говорил он просто, резонно.
Жадно ловили его речь микрофоны.
Гул одобренья плыл по рядам делегаций.
Стены, казалось, рухнут от грома оваций.
Нет! Не один человек на трибуне огромного зала:
Все человечество голосом этим взывало
Не допустить, чтобы смерть нависала над миром.
Цифры и факты проектным мерцали пунктиром.

День я чудесный предвижу. Прекраснейший день.
Больше не ляжет на Землю распятия тень.
К мирным делам возвратятся все генералы.
Перекует человечество меч на орало.
Живет человек. Озабочен хозяин эпохи.
Ему подчиняются реки, и руды, и токи.
И страхи ему не страшны! И грозы — не в грозы!
И пальцы его не скуют безразличья морозы.

Живет человек,
И сжаты в кулак его пальцы.
Он властной рукой
Охраняет земные богатства.

ЭТО БЫЛО СЕГОДНЯ. МЕЖДУ ЛЕТНОЙ И ПОГОРЖЕЛЬЦЕМ.
Мчался быстро трамвай. Вез с работы мужчин и женщин.

Я подумал:
Если умру я от пули случайной,
Или струйки газа,
Или просто от старости,
Между Летной и Погоржельцем эти трамваи останутся.
Будут ездить рабочие. А прохожим будет казаться,
Что трамваи летят, что колесами рельс не касаются.

Это было сегодня в газетах.
Луны фотография.
Ветер шляпки срывал и трепал головки кудрявые.
На платформе далекого полустанка
Духовой оркестр выводил монотонное танго.

Но все сегодня другое.
Мерцает кометный щебень.
Орион висит бриллиантом крупным на небе.
А Земля, как трамвай, все летит, все куда-то стремится,
И над ней поднимаются первые светлые птицы.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ НАЧАЛСЯ В НОЧНОМ ПЕТРОГРАДЕ.
Время свистело свинцом, полыхало в зарницах, мерцало, как радий.
Над дырявой планетой, забывшейся сном наяву,
Взмыло красное знамя, разлетались троны в щепу.
Был октябрь, на Неве с берегами вровень
Плыл туман. Поднимались орудия на «Авроре».

Пусть же славится все, что вмещает в порыве мгновений
Алый стяг революций с мечтами былых поколений,
Лабиринт интегралов, рисунки созвездий, орбиты планет,
И в сверкающих спектрах пространства дробящийся свет.

Вот идет пешеход, ошибается дверью случайно,
А за нею поэма моя, корень арники, облако, тайна.
Где витаешь, ты, облако, и куда подниматься должно ты,
Где этаж твой, предел, где твоя наивысшая нота?

Это облако кружит над миром. Вот старый Тиргартен
Проплывает внизу акварелью раскрашенной картой.
Вот в гранитных каналах жирной нефтью лоснится вода.
Здесь Карл Либкхнег лежит, о, скорее, скорее сюда!
По свинцовой воде проплывает убитая Роза.
Бьется сердце Москвы тревожной азбукой Морзе.
Задышается Свердлов, а в холодных сибирских ночах,
Словно загнанный волк, озверевши, петляет Колчак.

Я приветствую все, что имеет конец и рождение,—
Вихри звездных галактик, бытие, элементы, движенье,
Остроносые лодки с натянутой шкурой оленьей,
Петли цепких лиан, статуй каменные колени,
Первобытного танца магические колыханья,
И тропический жар человеческого дыханья.

Прочь идет человек, прочь от дьявольских наваждений.
От арестов и стен, экзекуций и учреждений,
Либеральных экзем. От застенков квартир мещанских.
Он счастлив,
Предвосхищая величье потомка.
Последний пожар запылал, промедление смерти подобно,
Смерти подобно!

Как желтые лодочки, осень листья несет по смолистой реке.
Ленин речь произносит у Финляндского на броневике.
Миллионы не спят, курят, поблескивают глазами.
Завтра ждет их самый
Ответственный в жизни экзамен.

Это было в то время, когда пронеслась по планете
Туча из пота и крови, пара, махорки и нефти.
На собраньях рабочих шло утверждение декрета
О конце нищеты. Время в бурях оваций окрепло.

Мир! Ничего нет на свете, что историю вспять повернет,—
Не возвратится секунда и не повернется год,
Рим не вернется к империи форума или сената,

Не возвратится дыхание в легкие, в струны — соната.
 Человечество, облако, тайна, заостренная пирамида,
 Мысли Ленина, озаряющие полмира.
 Рефлекторы операционных, ладони голосований,
 Красные книжечки партийных билетов, прения собраний —
 Все это оттиски жизни манящей, пьянящей и правой,
 Меняющей сердца, материки и травы.

Незнакомые люди встречаются на мгновение,
 Вымпел летит на Луну — все имеет свое направление:
 Очертанья кристалла, и жало громоотвода,
 И виток соленоида, и перья у птиц, и движение года.
 Пыль земная и облако слиты в одном окаеме
 В ореол автогенов, маргенов, эстакад на подъеме.

Я приветствую все, разрушающее тщету
 Заспиртованных догм и погибших идей нищету,
 Миллионы людей, загорелых и голоногих,
 Разбивающих сад над барханами розовой Гоби,
 Бархат роз, поцелуев головокруженье,
 Потому что нет ничего, что могло бы прервать движенье
 Спирали истории, —
 Свет,
 Буравом сверлящий просторы.

СКОЛЬКО РАЗ ИЗМЕНЯЛАСЬ ПЛАНЕТА И ЛЮДИ НА НЕЙ,
 Укоренившиеся между могил и камней.

Каблучки выбивают синкопы. Солит дождь мостовые снотворною
 каплей.
 Ночью смерти дыханье меня леденит. Все равно не умолкнет
 плотина под Кампой,
 Будет радио петь и гореть электричество в доме.
 Я приветствую жизнь —
 Фонтаны металла в пылающей домне,
 Первой выпечки хлеб, и ракету, летящую ввысь,
 И траву на руинах, и рунический двойственный смысл.

Жизнь, люблю я тебя! Ты ко мне благосклонна на редкость.
 У моего ребенка имя далекого предка.
 Вот он лежит в колыбели, крохотный теплый комочек.
 Тихое облако света лелеет его и щекочет.

Ужас войны не подступит к горлу комом соленым,
 Будут гудеть турбины, и струны играть из силона,
 И так же сиять надкрылья бронзового жука,
 И полыхать зеленикой молодые луга.
 Спит, закужившись, планета, в зелень одета и в лед,
 Будущее всею кровью и каждой порою пьет...

Перевели с чешского М. Обручев и М. Ярмуш.



КОНСТ. ФЕДИН

★

КОСТЕР

*Роман **

Глава восьмая

1

Анна Тихоновна лежала на кровати по-прежнему со спущенными ногами. Ее знобило, но она не могла двинуться. Тело не подчинялось ей. Только сердце глухой рабочей молотью выстукивало свой испуг.

Весь страх, который отнял у нее движения, был подчинен самому страшному — тому, что она одна. Она сознавала, что должна положиться на одну себя, что все мыслимое и возможное она должна сделать сама. Но она не знала, что надо делать.

Вслед за одним близким взрывом она ждала другого, еще ближе. Эти взрывы доносились со всех сторон, и где-то за взрывами, не прерываясь, ворочался гул земли, доползая под почвой до стен дома, и стены гудели в ответ.

Она не понимала, который был час утра и сколько времени прошло с тех пор, как вылетели из рам стекла. То ей казалось — давно наступил день, то она догадывалась, что это минуты стали такими терзающе-долгими. Несколько раз ей бросалось в глаза сиденье стула, куда, укладываясь спать, она положила свои часы. Стул был перевернут на спинку, его отбросило от кровати, и на старой кожаной обивке сиденья поблескивали вонзившиеся маленькие угольки стекла.

Вспомнив о часах, она тут же забывала о них. Ей было безразлично, в какое время суток происходит то, что совершается за стенами. У нее было одно, полное грызущей тоски желание, чтобы это перестало совершаться.

На короткое время остановился грохот взрывов, и только рокотание гула содрогалось вдали.

Тогда Анна Тихоновна услышала в доме чей-то мужской голос и перекрывающий его вопленный крик хозяйки:

— Немцы! А что из того, немцы? Если твои красные не могут нас защитить, пусть убираются, откуда пришли! И ты тоже, со своей актеркой!

Сразу за этим воплем мужской голос раздался с порога комнаты:

— Ты лежишь! Аночка! Весь город уходит. Скорее!..

Цветухин был без пиджака, кое-как заткнутая под брючный пояс синяя рубашка с одного бока вылезла наружу концом подола. Он дышал ртом, с трудом набирая воздух. Губы его были желты, лоб лоснился от

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 8, 9 и 10 с. г.

пота, плечи покрывала белая пыль. С первыми своими словами он стал озираться в комнате и, поняв, что случилось, закрыл глаза рукой.

Анна Тихоновна оторвала голову от подушки, хотела что-то выговорить, но голос отказал ей, и, сопротивляясь его бессилию, она поднялась в постели.

— Ты ранена! — вскрикнул опять взглянувший на нее Егор Павлович. — У тебя лицо в крови.

Она дотронулась до щек, посмотрела на пальцы.

— Подушка! Видишь? Кровь! — кричал он, подбегая к Анне Тихоновне.

Но она вдруг с ожившей сосредоточенностью начала водить глазами из угла в угол комнаты, оглядывая пол.

— Ухо! Кровоточит ухо! — в самое лицо ей крикнул он.

Она провела пальцами по раковине уха, увидела на них красные пятна и еще озабоченнее стала исследовать взглядом пол.

— Сумочка... — себе одной отрывисто говорила она.

Голос ее немного окреп. Она постаралась отлепить от уха прилипшие волосы и сказала с недоумением:

— Не больно. Наверно, стекло...

Будто только что обнаружив вплотную к ней стоявшего Цветухина, она увидела его испуганно-большие, незнакомые глаза. Она схватила одеяло, одним рывком закрыла себя всю.

— Киньте мне одеться. Вон там!

Он заглянул, куда она показывала. Под столом валялось спутанным комком белье. Вытаскивая его, он защемил ножкой стола чулок с резинкой, дернул, оторвал, кучей бросил все на постель.

Снаружи донесся взрыв. Еще переваливались в воздухе тяжкие его раскаты, когда над самой крышей дома с ревом промчались подвывающие моторами самолеты. Почти сейчас же другой взрыв сотряс весь дом.

Егор Павлович низко пригнулся и, ухватившись за стол, не двигался с места, пока наполовину сорванные занавески и абажур раскачивались от пронесшейся мимо взрывной волны. Потом он вскочил и снова голосом, в котором перемешались отчаяние с нетерпением, выкрикнул:

— Ты понимаешь, что надо бежать? Прозеваем все машины. Брось ты чулки! Скорей!

Анна Тихоновна трясущимися руками силилась привязать к поясу обрывок резинки. На его крик она вдруг потребовала, чтобы он вернулся.

— Бог ты мой! Точно не видал я раздетых женщин! — пораженный досадой, выдохнул Цветухин.

Но он тут же подчинился и с этого мгновения перестал кричать, а только непрерывно торопил Анну Тихоновну: «Готова?.. Ну, готова?»

Пока он мчался к ней улицами, у него было ощущение той кипучей деятельности мышц, которая была единственно необходимой, чтобы одолевая ужас. Теперь он должен был бездействовать, и каждый миг чудился ему потерянным для самозащиты. Ему казалось спасением, если свою волю к действию он волеет в другого человека и у них будет одна воля. Но оттого, что он был вынужден не двигаться и дожидаться, он чувствовал, что Анна Тихоновна завладела им, мешает ему. И он уже молил ее, чтобы она избавила его от мучения стоять и ждать, в то время как целью жизни стало бегство.

— Наконец-то! — вырвалось у него сердито-освобожденно, когда не прошло и минуты и он услышал, что она застучала по полу, всовывая ноги в туфли, и бросилась к распахнутому гардеробу.

Она сорвала с вешалки первое подвернувшееся платье. Надевая его

через голову, она велела Цветухину помочь ей, сказав: «Что ж вы стоите?» — и, вытянув из гардероба рукав другого платья, наскоро оберла себе лицо. Делая все это, она не переставала взглядами искать сумочку и увидела ее под спинкой опрокинутого стула.

Она успела шагнуть к ней, но из непрерывного гула опять вырвался и с нарастающей стремительностью покотился над домом рев самолетов.

Цветухин обнял Анну Тихоновну, и они прижались к стене. Зажмурившись, она ощущала струнную вибрацию тонкой стеной переборки, толчки резко вздрагивающего тела Егора Павловича, и его дрожь передалась ей.

Миг спустя после режущего пролета машин он обеими руками сдвинул локоть Анны Тихоновны и с неодолимой силой потянул ее за собой к двери.

Они выбежали на улицу.

Солнце поблекло над городом. Покров кирпичной, известковой пыли лежал на дорогах и домах. Навись этой пыли колыхалась в воздухе, там и тут перемешанная с черными, рыжими дымами или розово окрашенная пожарами. Поглощая сверху всю землю, гул будто исторгался самой землей — ноги слышали ее содрогания.

— Куда мы? — спросила Анна Тихоновна, когда они по засыпанной щебнем и щепой дороге обегали тесовый дом с разинутыми оконными проемами.

— Куда все, — ответил Цветухин.

Он все не выпускал и тянул за собой ее руку.

Они завернули за угол, на улицу, казавшуюся бесконечной. Люди, держась как можно ближе к домам, цепочками спешили по тротуарам, торопясь обогнать друг друга. Проезжая мостовая была почти пустынна. Изредка на полном ходу пролетали одинокие грузовики. Мужчины, женщины катили детские коляски, тележки, набитые тряпьем, или тащили на спинах и плечах узлы, мешки, сумки. Дети бежали с матерями, вцепившись ручонками в подола, крича и плача. Те, кто бежал в одиночку, то соскакивали на мостовую, чтобы их бег не задерживали двигавшиеся по тротуару, то кидались назад, к домам.

Анна Тихоновна тоже пыталась перетянуть Цветухина на дорогу, но он не пускал, и они толкались, перегоняя плетущихся стариков, старух и обнимающих один другого ребятишек и женщин, в слезах хлопочущих вокруг опрокинутой тележки с пожитками.

Около угловых домов люди сгущивались и потому, что страшились сразу перебежать открытое пространство перекрестков, и потому, что с поперечных улиц вливались новые люди. В эти замедления возникали тревожно краткие разногласия, каким путем ближе выйти на Московскую улицу, чтобы потом попасть на Кобринский тракт: всех невольно влекло туда, на восток, как к исходу спасения. Часть людей вдруг поворачивала либо соблазненная аллеей, укрывавшей человека от неба густыми каштанами, либо в надежде хоть на минуту скорее выбраться из города. Но все многолюднее становилось на улице, которая стрелой длилась и длилась, неизвестно куда.

На одном из перекрестков Анна Тихоновна очутилась рядом с целой семьей. Мать прижимала к себе грудного ребенка; длинноногая девочка-подросток несла в одной руке узел, а на другой сидел у нее мальчуган, не многим больше, чем годовалый, крепко обняв ее тоненькую вытянутую шею в проступивших жилках; за девочку и мать держались еще двое похожих друг на друга мальчиков, лет пяти оба, и тоже с узелками в руках. Все дети и мать молчали. Лицо девочки вымазано было пылью с

засохшими следами слез, и пот обсыпал каплями ее по-детски оттопыренные губки.

— Дай мне узел, я понесу, — безотчетно для самой себя сказала Анна Тихоновна.

— Не надо, нет, — отстранилась девочка, — я сама.

— Мы уж сами, — подтвердила тотчас мать, — по очереди с Сашенькой.

— Ей же не под силу!

— Нет, спасибо, — сказала мать и повернулась к мальчикам. — Коля, не опускай руку. И ты держись, Ваня, держись за Сашеньку.

— Велите вашей Сашеньке дать мне понести! — упрямо говорила Анна Тихоновна. — У меня пустые руки. Нас двое, видите? Пойдем вместе. Ну, дайте, мы поведем мальчиков!..

Все уже двинулись через дорогу, и впереди пошли Цветухин с Анной Тихоновной, за ними мать с дочерью и другими детьми.

Егора Павловича сначала изумило предложение Анны Тихоновны. Он хотел опять потянуть ее за собой, но глянул на девочку и подумал, что это так надо, как сделала Анна Тихоновна, и хорошо, что она так добра. И он совсем отпустил ее — ему стало тяжело все время держать ее за руку. Он начинал задыхаться, мучила жажда, першило в горле от кислой гари с пылью. Было облегчением идти так же медленно, как женщина с ее малорослой семьей и Анна Тихоновна, старавшаяся не потерять из виду детей. Она все оглядывалась на них, особенно на Сашеньку, и он продолжал думать, как это хорошо, что она пожалела девочку.

Но они прошли недолго и вдруг заметили, как засуетилась и молчаливо, но страшно быстро начала редеть на тротуаре вся эта длинная цепь людей. Сейчас же, едва они это заметили, и еще быстрее, чем редела толпа, стал надвигаться им навстречу машинный рев самолета с равномерными, уже знакомыми взываниями моторов. Улица чуть не сразу опустела. Люди прятались во дворах и домах, забегая в те ворота, калитки, подъезды, которые были отворены и брошены настежь.

Анна Тихоновна и Цветухин схватились друг за друга и, прижавшись, мешая себе, побежали.

Место, где застигал их налет, оказалось длинным забором, но впереди видели они полуразваленный кирпичный дом и людей, бежавших в развалины, и стремились туда. Уже подбегая к дому, Егор Павлович слышал в шуме самолета обрывчатый сухой треск, понял, что это стрельба, хотел крикнуть, но, споткнувшись, нагнулся и потащил за собой Анну Тихоновну, падая.

Упав, они не приникли к земле, а тут же оба задвигались ползком дальше. Всего шагах в десяти перед ними высилось засыпанное кирпичной крошкой дощатое крыльцо дома с выбитой боковиной. Черная эта дыра под крыльцом обетовала им укрытие — они что было духу работали локтями и коленями, стараясь его достичь.

Очутившись на коленях и перебирая ими торопливо, Анна Тихоновна мигом припомнила свою хозяйку ползущей под садовую скамью, и впервые злоба к этой бабе и злоба к унижению своему резнула ее еще не испытанной болью. Она принялась изо всей силы заталкивать под крыльцо отставшего Егора Павловича. Потом с ловкостью забралась за ним сама, сжалась, накрыла рукой его голову и туго прильнула щекой к его лицу.

Она не могла слышать, но ухо ее будто угадкой поймало в дрожащем душно вздохе Егора Павловича беспамятные слова:

— Боже мой! Что же это?..

И она сама бормотала:

— Боже мой!..

Рычание самолета со жгучим стрекотанием стрельбы пронеслось так низко над головами, что чудилось — самолет вихрем поволочил за собой воздух.

Тогда, нагоняя этот вихрь, расплылось над улицей тяжелое гудение другого самолета, поглотило собой все, и затем грянули удар и грохот. Клуб мусора с тротуара ворвался под крыльцо, в развалинах дома глухо заворочались оползающие кирпичи, что-то посыпалось сквозь щели ступеней.

— Вылезем! — закричал Цветухин. — Нас раздавит!

Он порывался приподняться, но Анна Тихоновна сильнее прижала к себе его голову. Они лежали еще, не шевелясь, пока по тротуару не замелькали ноги опять побежавших людей.

Первое, что стало слышно, когда после взрыва стихнули раскаты разрушения, были стонущие, плачущие голоса вдалеке. Но потом откуда-то поблизости долетел иступленный крик женщины:

— Сашенька!.. Сашенька!..

— Это они! — проговорила Анна Тихоновна.

Она первой выбралась из-под крыльца. Пыль колебалась на улице туманом, люди появлялись из ее пелены, пробежали мимо и вновь исчезали.

— Сашенька!.. — пронзительно повторился зов, и нельзя было разобрать, откуда он шел.

Осматриваясь по сторонам, Анна Тихоновна заметила прямо перед собой какой-то шевелящийся ком на мостовой. Она сделала два шага и попятилась.

— Миленький! Смотрите! — вскрикнула она, вся потянувшись к Цветухину.

Они кинулись на дорогу.

Девочка стояла на четвереньках, сиюсь подняться и все припадая к земле. Голова ее была наклонена и слабо покачивалась. С лица темной ниткой тянулась на мостовую кровь. Руки, все платье были покрыты кровью. Девочка немного подняла голову, и Анна Тихоновна, нагибаясь, увидела исковерканный ее рот без нижней губы и подбородка.

— Сашенька! — на силу выговорила Анна Тихоновна.

Она опустилась, подхватила девочку со спины под мышки, но поднять не могла.

— Что же вы, мужчина!.. Дайте, дайте что-нибудь! — крикнула она.

Цветухин сунул руки в карманы перемазанных грязью чесучовых своих брюк и только потряс головой: не было даже носового платка.

— Ну надо же, надо! — в беспомощном ожесточении твердила Анна Тихоновна. — Ну, слышите гудки? Машина! Остановите, остановите ее!

Грузовик, наполненный плотно друг к другу стоящими в кузове женщинами и детьми, гудя и едва успевая вывернуться, чтобы не налететь на Цветухина, промчался мимо. Егор Павлович только взмахнул руками.

— Еще, еще машина! — кричала Анна Тихоновна, оторвавшись от девочки и бросаясь на середину дороги.

Она распахнула руки, крестом своего тела загораживая путь. Грузовик пищал слабосильным сигналом, близясь к ней, но она не сходила с места, пока в последний момент Цветухин, ужаснувшись, не дернул ее к себе. Тормоза, однако, взвизгнули, и, пролетев на несколько шагов, машина стала.

Из кабины выскочил молодой офицер в ладной новой форме, подбежал и не то что спросил, а по-командирски призвал к ответу:

— Вы с ума сошли, задерживать военную машину?

Анна Тихоновна, тряся кистями рук на раненую, кивала офицеру, будто соглашаясь с ним, и уже не в силах ничего сказать.

Да и не нужно было говорить. Офицер увидал девочку, на мгновение опустил глаза и сейчас же обернулся к машине.

К нему торопился его товарищ, такой же ладный, но покорооче ростом, и он побежал ему навстречу. Оба они что-то прокричали друг другу на бегу, и тот бросился назад, к машине, а первый вернулся и приказал:

— Отнесем ее с дороги.

Девочка лежала, стараясь опираться локтем и все больше сникая к земле.

Офицер так же, как до него Анна Тихоновна, поддел руки под мышку раненой, но с легкостью оторвал от мостовой и поднял ее узенькое туловище.

— Берите ноги,— сказал он Цветухину.

Егор Павлович кинулся исполнять приказание. Девочка застонала, забилась в их руках. Повернуть голову она была бессильна, но по глазам ее, тонувшим в слезах, видно было, что ей мучительно хотелось обернуться — она косилась в сторону и стонала громче. Ее все же понесли к тротуару.

Одна Анна Тихоновна осталась неподвижно стоять. Не зрением, а точно чутьем по следу происходящего она отыскивала и отыскала то, о чем девочка хотела, но не могла сказать.

По другую сторону улицы, вдоль приземистого дома, рядом расставлены были хилые саженцы деревцев, и одиноко между ними высился старый каштан. Вплотную у ствола его лежал ребенок. Он лежал, как спящие дети, на спине, с немного приподнятой на кромку тротуара головой, как на подушку, со скрещенными на груди руками, свободно раскинув ноги в зеленых сапожках по булыжнику дороги. Осевшая пыль успела ровно покрыть его, и белый слой ее пудры слился с бледностью лица ребенка.

Это был тот годовалый мальчик, которого несла на руках Сашенька. На виске его, чуть выше приоткрытого глаза с помутневшим зрачком, чернела ранка, и от нее книзу, в золотистые волосы, шла темная полосочка крови уже с пленкой свертывания. Наверно, крепко прижимался мальчик головой к щеке сестры, когда ее ранило и его убило.

Анна Тихоновна не усомнилась, что он мертв. Она секунду постояла над ним, прямая и тихая. Вздохнув насколько было сил глубоко, она долго, скупо выпускала воздух, будто остерегаясь, что из груди слишком рано вырвется прежде никогда не известное ей чувство, которое она еще никак не называла и которое ее душило.

Все в ней с этой секунды как бы смолкло, притаилось. Она пошла назад через дорогу. Цветухин подзывал ее нетерпеливыми взмахами рук. Она не прибавила шагу.

Низенький офицер, успевший сбегать к машине, принес чистую мужскую рубашку. Тот, который переносил девочку на тротуар и посадил ее к забору, встряхнул рубашку, надвое разорвал по спинке с подола до ворота, начал отрывать ровные полосы и одну за другой передавать их своему товарищу.

— Осколок,— сказал низенький, беря полосу и охватывая ею снизу лицо девочки.— В самую челюсть... Ах, сволочи!

— Живей, живей,— торопил другой.

— А майор твердит свое — пограничный конфликт! — продолжая бинтовать, говорил офицер.— Черта с два... Только и разговора было в

городе — вот-вот начнется... Прямо срок называли. Воскресенье!.. Так и есть.

— Ладно. Живей, говорю! Связной сигналит...

Но и без понуканий дело подходило к концу. Первая полоса перевязки сразу густо пропиталась кровью. Вторая окрасилась меньше, на третьей проступило пятно. Бинты все больше окутывали лицо и голову раненой, и вот остались видны залитые слезами глаза, вздернутый носик да жалобно поднятые досветла выгоревшие узенькие детские бровки.

— Есть оказать первую помощь! — как в ответ на команду, сказал низенький офицер, вскочив с колен и обмахнув их по привычке ладонью.

Он пальцем показал товарищу на его грудь. Тот нагнул голову. Новенькая форма на нем была перепачкана кровью. Рот его дернулся не то в горькой усмешке, не то в злобе. Они коротко переглянулись, поняв друг друга, как, может быть, без слов понимают друг друга все молодые лейтенанты, только что прибывшие из военного училища в часть для продолжения службы.

— Пошли! — сказали они в один голос, добавили: — Счастливо! — И, козырнув Анне Тихоновне, побежали.

— Как! — крикнула она им. — А девочка?

— А мы?! — вырвалось у Егора Павловича.

Почти уже на полдороге к машине низенький лейтенант поднял над головой руку, грозя ею, оглянулся, проголосил:

— Еще заход!.. Воздух!..

Цветухин теребил и тянул руку Анны Тихоновны. Он не расслышал слов офицера. Но в небе нарастал шум, и опять исчезали из виду люди, ища укрытий, — это он слышал и видел.

2

Когда Анна Тихоновна поняла, что, кончив перевязку, офицеры оставляют на волю судьбы Сашеньку, она на мгновение очнулась от сосредоточенности. Для нее самой было нечаянно, что она крикнула офицерам о девочке. Увидав же их бегущими к машине, она так же быстро вернулась к своему замкнутому новому чувству, будто звавшему его разгадать. Она не противилась Цветухину, который тащил ее вперед, но и не бежала, как он требовал. Она подчинилась тупой работе ног — ей стало все равно, медленна эта работа или скоро.

Самолеты прошли в отдалении, огибая город большим кругом. Показалось даже, что после прокатившегося воя наступает тишина. Вновь появились на улице люди, ободренные надеждой добраться куда-то, где их, наверно, ожидала безопасность.

Оживляясь вместе со всеми этой надеждой, Цветухин перестал дергать Анну Тихоновну и пошел с ней в ногу. Мерный ее шаг немного утишил его возбуждение. Что-то похожее на отрезвление сделалось с его мыслями. Он взял ее под руку и первый раз со вниманием заглянул в глаза. Под нависшими бровями они неподвижно смотрели вдаль. Он хотел спросить, как она себя чувствует, но решил, что глупо спрашивать, и только раза два потеплее придавил к себе ее локоть.

Как можно себя чувствовать, когда все повергнуто в ужас? — думал он. Можно лишь потерять рассудок. Да и не потерял ли он? В уме ли Аночка?

Он еще и еще глядит на нее. Все может быть! Несчастлива... Но, может быть, и он сошел с ума? Нет, кажется нет. Он рассуждает, он идет твердо, с поднятой головой. Ну что же, если такая выпала доля! Не он один. Все. Но он не утратит достоинства. Нет. Он останется человеком. Он

обязан сделать все, что возможно. Он — мужчина. Аночке не надо напоминать ему об этом. Что в его силах, он выполнит. Он знает свой долг. Он скорее умрет от жажды. Ах, какая жажда!.. Бедная Аночка!

Он опять испытующе смотрит на нее. Глаза ее явно остановились. Она не мигает. Все может быть, повторяет он себе. Она заболела. Значит, теперь на его руках вдвойне беспомощная женщина. И кто? Аночка!.. Нынче она по-настоящему узнает его, Цветухина! Он вырвет ее из этого хаоса. У него достаточно мужества. Вот все бегут, мчатся, не помня себя. А он идет уверенным шагом. Отдает себе отчет в поступках. Видит себя. Что ж из того, что вылезла из-под пояса и раздувается перемазанная грязью рубашка? Он простой смертный. Как все. Но как он идет! Величаво. Пренебрегая опасностями. Пусть все смотрят. Он ведет женщину. Она не могла вынести потрясений. Нуждается в помощи. И сам в такой беде, забыв о себе, он самоотверженно, он благородно, он...

Егор Павлович наклонил голову к Анне Тихоновне и сказал убежденно:

— Я спасу тебя.

Ничего не изменилось в ее лице — она не поняла или не слышала его.

Они наконец вышли к той широкой улице, на которую стекался весь город, если только весь город искал избавления в бегстве. Наверно, не весь. Вон те деревянные домики вдоль длинного порядка справа, с закрытыми ставнями, запертыми воротами — вышел ли кто-нибудь из них этим утром? А в порядке слева? Такие же домики, и тоже почти каждый на засовах.

— Где же укрыться, куда воткнуться головой, если опять... — спрашивает себя Цветухин и осматривается.

Какие пространства! Все, что пройдено и осталось позади, много, много короче этой нескончаемой, необъятной улицы. По ее середине не шла, а как будто текла аллея вместе с плывшими по ней вереницами людей. Текли старые и молодые ясени, подменяя высоких низкими, тенистых — лысыми. Плыли, чередуясь, деды с детьми, женщины с мужчинами. По обе руки аллеи пылили проезжие дороги. По булыжным горбинам неслись в обгон автомобили — все к одной цели, туда, куда плыл народ.

Несколько раз на этом долгом пути пришлось миновать пожары. Перед ними не останавливались ни дети, ни взрослые. Цветухин, проходя мимо полыхающего дома, примедлил шаги, но поглядел не на огонь, а на то, как лаворочно выбрасывают из окон подушки и тащат швейную машину. Повела взглядом на охранителей подушек и Анна Тихоновна, но не разжала рта и отвернулась. Потом они уже не замечали пожаров.

Гул, которым гудела земля, слышался сильнее. Он шел справа. Небо там было завешено смутной толщей. Оттуда, из толщи, сперва едва показывались, затем яснее проступали и вдруг вырывались то в одиночку, то собранные в эскадрильи самолеты. Взоры были наведены на них — куда летят? И каждому казалось: летят сюда, летят на него. Каждый выискивал: куда бежать, где ложиться? Под старыми, густыми деревьями люди скупивались, прилеплялись к земле. Тень должна была их уберечь, и если уберегала, как уберегает же человека счастье, то они подымались, шли дальше.

Пологий подъем на виду Кобринского моста был забит толпой. Движение стопорилось узостью предмостной насыпи и тем, что местность была открытой со всех сторон, и многие, очутившись тут, не сразу решились подняться на мост. Уже побывали здесь штурмовики — охотники за автомобилями и людьми. Вдоль глухой стены какого-то склада

лежали на земле раненые — взрослые и дети. Рядом дымился опрокинутый грузовик. Вывороченный корень липы висел над краем воронки от взрыва бомбы. Под лежащей кроной дерева женщина кормила грудью ребенка.

Цветухин и Анна Тихоновна проталкивались толпой по узкому перешейку между гребнем земли, выброшенной из воронки, и лагерем раненых с обступавшими их людьми. Мост был уже близко. Обзор открывался все шире.

Выбегавшее из-под моста полотно железной дороги влево раздвигалось, покрытое сплетениями разъездов, испещренное семафорами, стрелками, фонарными столбами, словно завязанными в узел, который закрывал подъезды к далекому вокзалу. Вправо рельсовые пути тянулись стрелой к смутной дали из дыма с пылью. Оттуда не переставал накапывать гул, и туда все время обращались глаза толпы.

— Там что? — спросила Анна Тихоновна, вдруг прямо взглянув в лицо Цветухину.

— Река, — сказал он.

Она не отводила от него взгляда, будто утратившего свою синеву и резко зазеленевшего. Помолчав, он добавил:

— Граница.

— Там бьются наши? — очень быстро спросила она.

— Да. Бьются, — ответил он, как отвечают детям, когда хотят, чтобы они отвязались.

Но он тоже взглянул на нее. У нее дергались брови — наверно, ей мешали стекавшие со лба капли пота. Она облизывала и прикусывала губы, и ее лицо показалось ему ожившим. Он подумал, что она, очевидно, потеряла рассудок не больше, чем он сам, и сказал терпеливо:

— Там крепость. В приречье.

Она не отозвалась. Напор людей неожиданно вывернул их так, что они очутились лицом друг к другу, и он двигался теперь спиной вперед, придавленный вплотную к ее груди. Он дохнул ей в лицо, не своим голосом крикнув:

— Прижми к бокам локти! Раздавят!

Он видел по мучительной гримасе ее взмокшего лица, что она не в силах согнуть руки, припечатанные людскими телами к ее бедрам. Он напряг всего себя, точно готовясь оторвать от земли страшный груз, и с трудом просунул свои руки за спину Анны Тихоновны.

Толпа двинулась на мост. Она управлялась теперь единой силой, скованной из тысячи отдельных сил, потерявших над собой власть. Человеческое тысячеголовье задыхалось между мостовыми перилами, как в аркане, и аркан влек его, то потягивая, то слегка отпуская, и оно то собиралось покатиться лавиной вперед, то отшатывалось и замирало на месте.

Вопли и плач поднялись с разных концов к небу, и где-то позади Анны Тихоновны, совсем близко, взвизгнула, занялась лающими рыданиями женщина. Толпа вдруг валом повлеклась на середину моста, быстро остановилась и даже как будто разжижилась. Но внутри ее одновременно заработали вращательные движения словно спаянных в отдельные круги людей. Один такой круг был повернут, как колесо, и, захваченные его ободом, повернулись Цветухин с Анной Тихоновной. Теперь уже не он, но она оборотилась спиной туда, куда должна была двигаться.

Они оба были прижаты к перилам. У него правое плечо, у нее левое высвободились из-под напора толпы, но тела их были втиснуты в решетку перил. От боли они наконец выдернули руки и уперлись ладонями в железный переплет решетки. Непомерная их сопротивлению людская масса давила на них. Они ждали, что вот-вот будут сплющены. Они ви-

дели ужас друг у друга в глазах и продолжали смотреть друг на друга, ощущая себя настолько одинаковыми, будто они были одним целым и это целое только двоилось. Они оба совершенно одинаково знали, что будут раздавлены, если руки их обессилят. Оба одинаково понимали, что если рухнет перила, то они полетят на полотно дороги и разможат головы о рельсы, блестящие глубоко под мостом. И, как один человек, они оба страшились вновь услышать над собой шум самолетов.

Лицо Цветухина пожелтело, по щекам сползал пот. Кроме страха гибели, в глазах его Анна Тихоновна поймала изливаемую к ней стариковскую, беспомощную жалость. Боль несчастья, которую она слышала не сердцем даже, а где-то под ложечкой, резнула ее жестоко. Она оторвала взгляд от Цветухина.

Внизу, откуда они поднялись на мост, по-прежнему виднелось роение людей вокруг раненых, и лента беженцев, обходивших вырытую взрывом воронку, и недвижимая поваленная на землю липа. Солнце стояло уже высоко и ярче пробивало пелену дымов.

Вдруг несколько отчаянных криков раздалось на мосту. Из грузовика, зажатого толпой, через борта кузова перебирались, вываливались женщины на головы и плечи людей. Падая, они не выпускали из рук детей, тянули их за собой из кузова в людскую кучу, набухшую около машины.

В ту секунду, когда Анна Тихоновна увидела это, взгляд ее успел схватить множество обступавших ее лиц, которые неподвижно смотрели не на давку вокруг грузовика, но в обратную сторону, и она сразу оглянулась туда.

Очень низко над полотном дороги близился издалека ширококрылый самолет. Он шел ровной прямой над стрелами рельсов, будто не спеша и не собираясь менять ни курса, ни высоты. Но он мерно увеличивался, крупнел.

На мосту все притихло. Анне Тихоновне почудилось, что никто больше не шевелился и стало свободнее. Она отняла от решетки руку, чтобы обнять Цветухина, но рука затекла и не поднималась. Точно в ответ на ее усилие Егор Павлович пробормотал, мигая и торопясь:

— Ну, всё. Сейчас...

Он бессильно уткнулся ей лицом в грудь.

Самолет все больше вырастал и, задирая нос, начал быстро заглаживать высоту. Скорость его уже казалась стремительной. Вой моторов надвигался. Внезапно одно его крыло стало подниматься. Он сошел с прямой, уходя кверху в разворот. Будто прощально, он качнулся с крыла на крыло, весело сверкнув, едва ли не подмигнув на солнце, а потом крупно показал под крыльями два угрожающих черных креста по обе стороны от своего серебряного брюха.

С присвистом он пронесся невдалеке от моста. Но вираж его делался круче. Крылья наклонились чуть ли не до вертикали к земле. Он возвращался, описав полкруга. Его цель была — мост.

Анна Тихоновна еще видела, как люди скатывались по откосам земляной выемки к полотну дороги; как мчались, ища укрытия, одни прочь от моста, другие — под мост. Вой самолета в этот момент уже был вспорот пронзительно острым свистом, который она узнала или поняла. Она не могла спрятать своего лица — подбородок ее был вздернут вверх плечом Цветухина, крепко прижавшегося к ней.

Она только зажмурилась, бровями притиснув сцепленные изо всей силы веки. Но хотя она ничего больше не хотела видеть, в сознании расставаясь с собой, белая вспышка света проколола ее веки, и глаза сами по себе открылись на ничтожное мгновение, чтобы тотчас опять

туго закрыться. Это было уже другое мгновение — мгновение взрыва, всю ее содрогнувшего.

Качнулся от удара по устоям мост. Воздушный пласт, отодранный от земли взрывом, понесся сам сдирать с нее все, что ему было посылно. Следом за ним раскатывался грохот.

Анна Тихоновна упала, как показалось ей, сваленная Цветухиным, придавившим ее всей своей тяжестью к дощатому настилу моста. Она словно забылась. Но в этом забытьи продолжало странно чудиться ей мгновение вспышки, когда против воли открылись у нее глаза: она тогда увидела на том месте, где были раненые, высоко в воздухе громадный конус земли и вместе с землей летящую липу с черной кроной.

Потом видение исчезло. Она почувствовала боль в пояснице, попробовала приподняться на локте.

— Живы? — спросила она не то себя, не то Цветухина.

Он отстранился от нее, неожиданно вскочил на колени, ухватил ее за руки.

— Ты как? Ничего? — говорил он с воскресшей энергией, стараясь помочь ей встать. — Больно?.. Где?.. Ну, как-нибудь!.. Подымайся.

Он все сильнее тянул ее. Лицо ее сморщилось от боли, но она дала себя прислонить боком к перилам. Он нагнулся к ее уху.

— Милая, ну, пожалуйста!

Перемогая боль, она начала медленно вставать.

— Вот видишь! — сказал он с одобрением и укоризной. — Теперь идем. Идем, если хочешь жить.

3

Народ уже снова двигался. Точно возвещая спасение, гудели автомобили. С мольбами, требованиями, криками цеплялись за них люди, и чем ближе к концу моста, тем больше редела толпа, быстрее делалось движение, громче вокруг голоса.

— Не было такого приказа! — кричал из кабины грузовика шофер. — Эвакуировать! Не давалась такая команда!

— Народ скомандовал!

— Да ведь она на восьмом месяце!..

— Что зря болтать — юнкерс! Юнкерс пятьдесят-семь — с одним мотором.

— А этот что — двухмоторный?

— Я говорю — хенкель это! Хенкель сто одиннадцать.

— Ножку повредили ему, милая, ножку!..

— Потерялся он. Мать потерял...

Никто не оглядывался. Что позади — то позади. Все взоры тянулись вперед. На выходе с моста люди кидались по спускам насыпи, и там, внизу, становилось просторнее. По шоссе шли теперь немногие, оставив дорогу машинам, с шумом набавлявшим ход.

Анна Тихоновна и Цветухин тоже сбежали с насыпи и на равнине остановились передохнуть. Цветухин вытер рукавом лицо. Он ободрился, осмотрел себя, заправил рубаху за пояс, обошел вокруг Анны Тихоновны, осторожно дотронулся до ее пояса.

— Не болит больше?

Она поколебалась, приглядываясь к нему, потом ответила со старательной улыбкой:

— Не очень. Видали, могу даже бегать.

— Я думал, не выберемся. А ты совсем молодчина! — похвалил он.

— Это вы молодец, — сказала она.

— Проклятый мост! — вздохнул он с облегчением.

Они пошли, и сначала, правда, было легче. Им не мешали шагать, и с каждым шагом они удалялись от города, и перестала душить едкая гарь пожаров. Но они шли не одни — река беженцев влекла их, множество голосов либо отвечало их мыслям, либо заставляло думать о том, что раньше не приходило в голову. И оттого, что чужие страдания неотступно следовали с ними, их собственные страдания все тягостнее возрастали.

— Если мы... умрем, — остановившись, проговорил Цветухин с предышкой после каждого слова, — то умрем... от жажды.

Это была не его жажда — это была жажда всех, кто тащил узлы, толкал коляски, нес детей на спинах или плелся с пустыми руками. Прошел слух, будто где-то совсем близко — на кладбище или не доходя до него — есть родник. Потом, как по цепи, передали, что чуть в стороне от тракта должно быть цветководство с колодцами.

Цветухин обнадеженно прибавлял шаг, чтобы через короткое время опять кое-как перебирать ногами и вслушиваться в стонущие детские припевы, готовый сам застонать, как ребенок: «Мам! Попить!..»

Уже добрались до кладбищенской стены — далеко по равнине протянувшейся приземистой кирпичной ограды, побеленной известью. Стали говорить, что родника на кладбище нет, но сейчас же за кладбищем протекает ручей, в котором, глядишь, можно и выкупаться. Нетрудно было простить эти слухи, рождаемые материнскими утешениями: дети вспоминали, что мать говорит всегда правду, и минуту плакали потише. Взрослые же чувствовали ложь, но знали твердо, что впереди будет не только вода, а должно быть все для жизни, так как уходили и, может быть, уже ушли от смерти.

Рассекая медленное шествие толпы, стала вплетаться в нее цепочка красноармейцев — вряд ли полные два взвода молодых пехотинцев при винтовках с примкнутыми штыками. Тех, кто не успевал дать им дорогу, они обходили, и марш их был нестройным, разорванным — они то догоняли друг друга, то мешкали по-трое, четверо перед нечаянным препятствием. Тогда очутившиеся рядом с ними люди слышали их отрывистые разговоры, и слова красноармейцев передавались молвой дальше.

— Приказ-то — к старой границе? — расслышала Анна Тихоновна негромкий вопрос бойца к сержанту.

— Повторять тебе, что ли? — обрезал сержант. — Приказание товарища командира — занять оборону в районе кладбища.

Он скомандовал цепи подтянуться, крикнул:

— Посторонись, граждане!..

Анна Тихоновна обернулась к Цветухину. Глаза их встретились.

— Ты слышала? Отступают, — сказал он.

— Нет, — возразила она поспешно, — нет, я слышала — будут обороняться.

— Все равно, — сказал он, опять останавливаясь. — Я больше не могу.

Она погладила его по плечу.

— Ну, постоим немного. Хорошо?

Поодаль от них красноармеец, сидя на земле, разматывал портянку. Другой стоял над ним и, засунув руку в снятый сапог товарища, прощупывал стельку.

— Нет там ничего. Ты стряхни хорошенько портянку.

Несколько беженцев задержалось около них. Светлоглазый старичок, с повязанной носовым платком, как видно лысой, головой, сочувственно произнес:

— Получилось, товарищи военные, обманули вас немцы-то?

Тот, который держал сапог, покосился на старичка, кинул сапог на-земь, сказал сердито:

— Мало, что ль, предателей!

— По казармам прицельным огнем бьют,— добавил занятый переобуванием.

Проглаживая ладонью портянку и принимаясь обвертывать ступню, он продолжал, ни к кому не обращаясь:

— Вчера в гаубичном парке всю технику приказали на козла поставить. И горячее слили. Смотр, говорили, ожидается. Он и грянул... смотр!..

Старичок, отщипывая что-то из аккуратной кошелки, совал в беззубый рот, пожевывал, с любопытством слушал.

— Это который парк в Северном городке? — спросил он.

— А тебе не все равно — который? — одернул старичка сердитый красноармеец.

— Пошли живей, Славка! — прикрикнул он и метнул глазом на старичка.— Лазутчики! Только и гляди...

Оба они побежали, локтями придерживая винтовки за спиной.

— Все ищут виноватых... Ветра в поле...— снисходительно сказал старичок, что-то опять закладывая шепотью в рот.

Цветухин смотрел на Анну Тихоновну. Не надо было слов — лицо умоляюще говорило за него, что он изнемогал. Она повела его к кладбищенской стене. Под простертым из-за стены навесом кленовых ветвей они опустили на траву и здесь в неожиданной тени впервые оглядели себя.

В грязных пятнах измятой, жалкой одежды, потрясенные и нищие, они молчали, не понимая, означала ли эта минута конец испытанию или ею начинается новое, еще горше пережитого.

Егор Павлович отвалился на спину, вытянулся во весь рост, закрыл глаза. Анна Тихоновна разглядывала его заострившийся, будто выросший нос, впалые виски, раскрытые губы в белых сухих шелушинках, неподвижно торчавший горбик кадыка. Если ей было так тяжело, что она не могла бы встать на ноги, то что же происходило с ним? Не умирал ли он? Но он дышал размереннее, тише. Надо было дать ему покой. Пусть даже подремлет, рассудила она почти с безразличием. Не отдохнув, нельзя идти дальше. Пусть заснет.

Она решила не беспокоить его, может быть единственно потому, что сама ничего не ощущала, кроме истощения. Земля тянула ее к себе, и она хотела тоже прилечь, когда заметила смятение в потоке беженцев. Люди бросились к кладбищу и стали падать у самой его стены, стараясь прилипнуть к ней, сжаться, и если бы только было можно — вдавить себя в ее кирпичи. Равнина вокруг опустела. Только по дороге неслись друг за другом в пыли безудержные грузовики.

Кровь жаром охватила Анну Тихоновну, тело ее вскинулось, она встала на колени и замерла — прямая — осторожная. Какое-то словцо летело над нею, подхваченное, повторенное разноголосом, и она вдруг поняла его смысл:

— Наши! Наши! — громче и громче кричали голоса, и люди, которые только что кидались на землю, изо всех сил прижимаясь к стене, вскакивали и бежали назад, к дороге, обгоняя один другого, задирая вверх головы, размахивая над ними кто платком, кто рукой, кто чем попало.

Построенная угольником, пронеслась синим небом тройка истребителей и скрылась вдаль над городом.

— Наши! — не унимались голоса, как будто эти три самолета в небе обещали избавить людей от земных мучений и горя.

— Наши! — не переставала вторить про себя Анна Тихоновна, положив высоко на грудь руки с раздвинутыми пальцами и глядя кверху полными слез глазами. Она как подскочила, чтобы куда-то бежать, и стала на колени, так и стояла недвижимо, пока взгляд ее сам собою не опустился на Цветухина.

— Егор Павлыч! Видели? Наши! — воскликнула она.

Он лежал по-прежнему, как смертельно усталый и отдавшийся покою человек. Потом его губы шевельнулись, точно готовясь к улыбке, и он, приоткрывая веки, не спеша выговорил:

— Наше, наше с тобой кладбище. Наше.

Она закричала на него:

— Не смейте! Нет, нет, не смейте этого думать!

Скопившиеся слезы потекли у нее быстро-быстро, она размазала их по-детски, кулаками и с такой же детской, плачущей злостью вскрикнула еще раз:

— Не смейте! Я... я сейчас же устрою вас на машину! Сейчас!

Это была решимость, приходящая наперекор отчаянню. Но слова, которые вырвались у нее, значили не больше того, что она видела: прямо против нее, на дороге, грузовик с парусиновым тентом, сделав дватри рывка, откатился к обочине и стал. Она побежала к нему.

Едва он остановился, его обступили беженцы и вокруг засуетились дети, пытаясь заглянуть под тент. Водитель-красноармеец, открыв капот, что-то ощупывал на моторе. Нетерпеливый голос раздался через открытую дверцу:

— Чего там у тебя?

Водитель приподнял голову, собираясь ответить, но тут же отскочил с обочины на дорогу, сорвал с себя пилотку, замахал ею ближнему легковому автомобилю.

— Товарищ лейтенант! — крикнул он через плечо. — Наша эмка! С товарищем комполка.

Лейтенант выпрыгнул из кабины. Наспех застегивая на гимнастерке непослушные пуговицы, он решительно раздвигал плечами загородивших дорогу людей. Ему навстречу отмеривал саженные шаги сутулый длинный командир в галфе, похожих на два огромных флакона горлышком книзу, в фуражке артиллериста. Шофер эмки бегом перегнал марширующего командира, подлетел к грузовику и вместе с его водителем уткнулся в мотор за ответом — почему потерялась искра.

В полушаге от лейтенанта, еще больше сутулясь, но на голову выше его, комполка стоял, слушая рапорт, и смотрел не в лицо рапортующего, а то на его оттопыренную портупею, то на пуговки расстегнутого воротника.

— По причине непрекращения артобстрела тяжелыми орудиями, а также бомбежки авиации, — чеканил лейтенант, не переводя духа, — выезд через ворота не представлялся возможным, в результате чего первая автомашина с погруженными документами отбыла в тыл через сломанный забор позади двора в сопровождении помначсвязи по радио младшего лейтенанта Осенника, после отбытия которого товарищ помначштаба полка приказал грузить оставшиеся сундуки с документами на прибывший из парковой батареи другой «ЗИС», каковые сундуки были погружены и через указанный пролом забора в моем сопровождении согласно приказанию...

— Постойте, — негромко сказал комполка, по-прежнему не глядя на лейтенанта. — Коротко: все ли документы вывезены?

— Так точно, товарищ майор. С окончанием погрузки автомашины товарищ помначштаба отдал мне приказание в совершенно дословном виде: теперь все, и ты, товарищ особоуполномоченный, катись сейчас без оглядки до станции Жабинка, где будешь ожидать дальнейших при-

казаний. В настоящий момент, находясь в пути следования и в результате непредвиденной неисправности двигателя...

— Перестаньте,— снова прервал майор.

Его лицо, немолодое, исхудалое, отразило смущение, похожее на застенчивость человека, собравшегося объясниться в любви, но неопытного в ее делах. Он взял двумя пальцами портупею лейтенанта и, словно через силу, заглянул ему в глаза.

— Потери? — спросил он, смолкнув и потом, одолевая неловкость, принудил себя к пояснению:— В личном составе потери... значительны?

Тогда лейтенант качнулся на носках вперед и, сбившись с картонного языка рапортичек, испуганно сказал в подбородок майора:

— Очень большие потери. В ворота было не выехать, Убитые, раненые. Кто выбежит из казармы на двор — тут же и попал под огонь. А кто в казарме — больше от бомбежки.

— Из комсостава — тоже?

— И комсостав. А бойцов прямо-таки даже много.

Майор опять опустил взгляд, отнял пальцы от портупеи лейтенанта, переложил их на пуговицу его воротника. Лейтенант машинально потянулся к той же пуговице, руки встретились, и он вдруг крепко сдвинул длиннопалую кисть майора, прижав ее к своей груди.

— Как же теперь с полком, товарищ майор? — спросил он, еле сдерживая свою нечаянную горячность и вытаращенными глазами выпытывая, что скрывалось за взглядом командира.

Майор высвободил пальцы, уткнул руки в карманы, отчего его галифе круглее распузырились, и он проговорил немного вбок:

— Я одобряю приказание помощника начштаба. Полк выполнит свой долг. Двигайтесь на станцию Жабинка, товарищ особоуполномоченный.

Он замолчал, но ему хотелось что-то договорить — он медленно справлялся с растерянностью. Лейтенант дышал ему в подбородок, и он слегка попятился.

— Невозможно было дозвониться до штаба. Связь оказалась нарушена сразу после...

— Так точно, нарушена,— с исправной отчетливостью подтвердил лейтенант, вспомнив о своем месте.

И это «так точно» службиста облегчило майора — он досказал свою мысль как бы из вежливости, почти небрежно:

— Я отправил связного с приказаниями. Он прибыл назад, доложил, что принято решение штаб эвакуировать. Правильное решение,— дополнил он снова куда-то вбок,— единственно верное решение в данной обстановке...

Разговор занял не больше минуты, но пока тянулась эта минута, привлеченные остановкой грузовика беженцы образовали собою на обочине дороги стенку, и она незаметно, с большой уважительностью подступала к майору, постепенно огибая его с флангов.

В молчании людей чувствовалось, что они понимают разницу между ними и двумя военными, ведущими срочную важную беседу. Нет-нет долетавшие до сторожких ушей беженцев слова содержали в себе особенный, совсем отличный от интересов беженской толпы смысл. Военные говорили о приказаниях, решениях, документах и штабах, о комсоставе, бойцах и связных, о погрузках и путях следования. Военные заняты были делом, не терпящим помех и, несомненно, спасительным в той обстановке, которую они называли «данной». В то же время каждый беженец думал, что дело военных должно было быть спасительным не только для них, но и для всех тех, ради спасения кого существовали сами военные. Они обязаны были спасти себя, чтобы спасти всех. И хо-

тя все понимали, что важная беседа военных требует к себе почтения, каждый беженец знал, что его интересы только по виду отличаются от интересов военных, потому что военные бежали так же, как он. Разница же, которая существовала между одинаково бежавшими, состояла в том, что одни могли быстро ехать, другие — только волочиться пешком.

Анна Тихоновна успела вовремя вклиниться в толпу беженцев и стояла на их фланге, все больше наступавшем на майора. Ей казалось, судьба столкнула ее недаром с большим начальником, каким был командир полка. Одного жеста его было довольно, чтобы дать ей с Цветухиной место не только на грузовике, но и в легковой командирской машине. Она собрала всю свою волю, выжидая мига, в который раньше, чем кто-нибудь в толпе раскроет рот, она шагнет к майору и выложит ему неотразимую фразу: я, народная артистка республики Анна Улина, прилетела вчера из Москвы в Брест и умоляю вас, товарищ майор...

Такой миг явно пробил, когда Анна Тихоновна уловила в речи майора слово «эвакуировать» (эвакуировать штаб — едва слышно произнес он). Слово кольнуло ее, как реплика на сцене колет актера, и она с одного вдоха набрала всю свою грудь воздуха, чтобы вступить со своей готовой фразой. Майор еще досказывал что-то, и Анна Тихоновна слышала, как он проговорил «в данной обстановке», и она сделала свой решительный шаг к нему, и в это время позади треснули один за другим два кратких разрыва, похожих на внезапные удары грозы.

Майор, глядя прямо через голову лейтенанта, вдруг во весь голос сказал:

— Пристрелка к дороге.

Лейтенант обернулся назад, немедленно ответил:

— Так точно, товарищ майор. Пристрелка с целью перерезать нашу коммуникацию. Два недолета. Ясно наблюдаются трассирующие пули.

Все беженцы как по команде поворотились лицом к кладбищу. Над его темно-зеленым растянутым покровом деревьев летели, плавно опускаясь, светящиеся изумрудами точки. Сразу в четырех, пяти местах высоко зажглись брызнувшие стрелками белые огни и вновь протрещали грозные разряды.

— Шрапнель! — в странном каком-то восторге выпалил лейтенант своему комполку.

— Дорогой товарищ командир, я приехала... народная артистка... приехала... — осекающимся голосом начала Анна Тихоновна, с дрожью протягивая руку к локтю майора.

Он отдернул локоть, размеренно повторил приказание лейтенанту двигаться на Жабинку, наспех тронул длинными пальцами козырек своей красивой фуражки, сделал полуоборот к шоферу, крикнул:

— Киселев! За руль!

Никто уже не смотрел, как он замаршировал к своей эмке, учащая и все шире вытягивая шаги, как лапами плескались его галифе и как его тонкая, дугой согнувшаяся фигура влилась в отворенную дверцу автомобиля.

Народ врасыпную убегал с дороги. Кладбищенская стена была единственной защитой, и все, кого обстрел настигнул невдалеке, ринулись к ней.

Анна Тихоновна с разбегу почти упала подле Егора Павловича. Он сидел на прежнем месте, упираясь кулаками в землю, откинув корпус назад. Приоткрытый рот его подергивался от обиды. Он часто мигал. Ему все же хотелось проявить спокойствие, и он слегка высокомерно приподнял брови.

— Пора перестать метаться, Аночка. Еще ни один мудрец не угадал, где ему суждено...

Она не дала кончить:

— Да, да! Скорей подвигайтесь к стенке!

Он тут же послушался. Они подползли и прислонились спинами к выступу цоколя.

Несколько тяжелых разрывов грянуло далеко позади них, перекатываясь над кладбищем. Протяжно донесся жалостный скрип сломленных деревьев. Зашумела листва.

Цветухин прижал плечо Анны Тихоновны своим плечом к стене.

— По-твоему, это старая кладка? — спросил он.

— Очень.

— Я думаю, ничего, что стена невысока?

— Ничего.

Разрывы снарядов начали раздаваться залпами. Все короче делались между ними паузы. Все ближе они надвигались и вот шагнули через кладбище: над шоссе разорвался первый снаряд.

Цветухин с Анной Тихоновной оцепенело глядели прямо перед собой, на дорогу.

Бойко катившийся легковой газик стал замедлять бег. У него хватило раската дотянуться до грузовика с тентом — он стал ему в затылок. В ту же секунду из газика выскочили человек шесть, непонятно как умещавшихся в крошечном кузовке. Они легко, как тени, перебежали через дорогу и юрко скрылись за ее насыпью. У грузовика уже не видно было ни лейтенанта, ни шофера.

Вдруг близко хлопнул как будто очень слабый разрыв. Там, где скрылись подъехавшие на газике люди, свистя, взлетели желтые комья грунта. Газик, точно игрушка со стола ребенка, перевертываясь, скатился с дороги. Пошатнулся грузовик. Ключья содранного с него тента заболтались на обнаженных каркасных дугах. Взбросило из кузова в воздух связки и листы бумаг.

Анна Тихоновна спрятала лицо в поджатые колени. Она чувствовала, что и Цветухин сделал то же — его согнутое тело плотно подвалилось к ней.

Разрывы нахлынули и слились в оглушительный стон, поглотив всю окрестность. Стена дрогнула. Казалось, где-то совсем рядом посыпались с тяжелым треском камни: обломки их, точно лопатой брошенная щебенка, простучали о землю у самых ног Анны Тихоновны.

Она долго не двигалась, потом чуть-чуть подняла лицо. Народ бежал от стены кто куда. Донесли крики. Красный туман пыли медленно расплывался, и в нем покачивались сбитые с ветвей кленовые листья. Разрывы снарядов стали удаляться — артиллерия передвигала обстрел к городу.

Анна Тихоновна взглянула на Цветухина. Он опять прислонился к стене. Голова его опиралась на грудь. Он смотрел исподлобья как будто ничего не понимающими глазами. На раздвинутых коленях лежали ладонями вверх руки. Кончики пальцев слабо подергивались.

И тут она увидела на правом его рукаве отливающее блеском черное пятно. Оно проступало полосой от сгиба локтя к запястью, и ясно видно было, как полоса ширится по синей материи и все жирнее отливает мокрым блеском. Из-под манжеты вытекла и поползла в ладонь струйка темной крови.

Страх не отступил, а словно весь перелился в испуг перед одной этой стружкой крови, начавшей заполнять ладонь Егора Павловича. Мысль, что он погибает, обдала Анну Тихоновну холодом и будто пробудила ее.

Она расстегнула его манжету, осторожно вздернула и закатала рукав. Кровь едва заметно пульсирующими толчками выбрасывалась из рассеченной локтевой вены.

Анна Тихоновна огляделась, растерянно что-то ища, провела руками по своему платью. Вдруг она резко откинула подол, оборвала резинку чулка, стянула его с ноги, отбросив далеко в сторону скинутую туфлю. Как можно выше она подняла закатанный липкий рукав Егора Павловича, трижды перехватила чулок вокруг предплечья и затянула узлом с такою силой, что услышала саднящую боль под своими ногтями. Секунду она следила, как стихает, останавливается струйка крови. Расстегнув на груди Егора Павловича рубаху, она согнула его руку, заложила кисть глубоко за пазуху.

— Надо держать так! — строго сказала ему.

Он застонал негромко, будто стыдясь, что не может не постонать. Потом чуть слышно, но отчетливо выговорил:

— Спасибо.

Он был бледен. В глазах его исчезло выражение непонимания, они влажно светились и казались ласковыми, почти счастливыми.

— Не бросай меня, — сказал он немного слышнее.

У нее сжалось горло. Она положила ладони на его коленку и подержала их, слегка надавив. Справившись с волнением, она ответила твердо:

— Я возьму тебя к себе домой.

Медленная улыбка появилась на его губах, он опустил веки.

Она отняла руки и увидела на его измазанных чесучовых брюках темно-красный след своих пальцев. Мгновенно уткнув их в землю, она принялась настойчиво, долго оттирать кровь о траву.

— Вот я и услышал от тебя — «ты», — все еще странно улыбаясь, сказал Егор Павлович.

Она помолчала, разглядывая зеленые от травы пальцы.

— Можете вы идти? — спросила она опять строго. — Надо скорее перевязать рану.

— У меня крылья за спиной, — усмехнулся он через силу.

И она горько отозвалась ему:

— Тогда летим.

Она помогла Егору Павловичу встать и пошла по левую руку от него, стараясь быть ему опорой, когда шаги слабели и он пошатывался. Она пробовала окликать людей, которые их обгоняли, спрашивала — нет ли бинта или тряпки, не выручат ли раненого. Иной отвечал, что сам гол как сокол. Иной проходил глух и нем. Она изредка махала рукой какому-нибудь автомобилю. Но это делали все, кто шел по сторонам дороги, и автомобилям было не до пеших попутчиков.

Кладбище осталось позади. Потянулось поле с редкими деревцами и домиками кое-где. Жара переходила в зной.

Егор Павлович еле брел и жаловался на головную боль. Вести его дальше Анне Тихоновне стало не под силу. Она уложила его под каким-то деревом, села рядом, взяла его голову себе на грудь, несколько раз погладила по волосам, отлепляя со лба прилипшие прядки и почему-то вспомнив, как ярко лоснилась когда-то его молодая черная грива. Потом решила, что он заснул, что это очень хорошо. Ее тоже клонило в дремоту, и она невольно поддалась ей.

Очнувшись она от шума. Что-то хлопало, завывало, и она сперва подумала в испуге — не начался ли вновь обстрел. Но неподалеку дымилось рыжее облако, в нем шарами появлялись непроницаемые клубы сажи, и слышался грохот, похожий на тарыхтение по мостовой таратай-

ки, и обрывистые стуки, и одновременно женские голоса. Из облака вырвались двое юношей, один в апельсинной рубашке, другой в небесно-лазурной, и было удивительно, как эти маркие цвета не померкли в дыму и саже. Анна Тихоновна стала следить, как юноши помчались мимо нее, будто играючи в веселые перегонки; как, подбежав к одинокой избенке, они взялись набирать охапки дровишек из поленницы, выложенной по ее завалине; как выскочила на двор женщина и, размахивая хворостиной, пошла на похитителей, а они обратились в бегство со своей добычей.

Облако дыма тем временем разрядилось, из него проступил грузовик с газогенератором, слегка умерившим свои грозные извержения. Вся машина была забита женщинами в цветистых платочках или модных шляпках. Они стояли в кузове, сидели на его бортах. Две-три худенькие девушки, прыгнув на землю, по-птичььи одергивали и отряхивали светлые свои платья. Шофер и в паре с ним еще паренек пробовали завести мотор с ручки, а он, взрычав, смолкал, как пес, которому лень огрызаться. Перед открытой дверцей кабины толстяк в клетчатых штанах на подтяжках с ожесточением колот чурочки легким топориком.

Анна Тихоновна спустила голову Егора Павловича на землю, сказала: «Я сейчас» — и пошла к машине.

Все сразу затихло, приостановилось вокруг грузовика, и ей показалось, ее встретили злые лица. Она не знала, с чего лучше начать, оглядывала всех молча, и так же молча смотрели на нее эти чуждые, неприязненные люди.

— У меня раненый, и нечем перевязать,— сказала она виновато.— Помогите. Пожалуйста.

Она чувствовала, что если скажет еще слово, то заплачет. Но ей непременно хотелось сказать — она была убеждена, что недостает главного слова. И она с такой мукой искала его, что когда услышала, как вопросительно кто-то назвал ее фамилию, не поверила ушам.

— Хоть носовой платок! — вырвалось у нее неожиданно, и она зажала руками лицо.

Тогда сильный женский голос прозвенел над ней из кузова:

— Анна Тихоновна! Да вы ли это!

Ее кто-то обнял, и тотчас вперебивку заговорил, завоскличал обок с нею изумленный, обрадованный хор:

— Мы ведь заезжали за вами. Комната ваша вся как есть разбита!

— Товарищи! Это же Улина!

— А мы думали, вас убили!..

— А кто это ранен?

— Администратор-то поехал за вами! Сказал, привезет вас в театр.

Мы и ждали.

— Товарищи! «Не будь я Миша» ранен!

— Черта в ступе, ранишь такого!

— Где, где он,— рычал толстяк, тряся топориком над своей головой.— Дайте мне этого презренного, я его добыю!

— Мы и так как сельди в бочке,— сказал кто-то недовольно.

— Одной селедкой больше! — возразили ему.

— Ну да, да! Не верите? Мы и есть та самая труппа! Половина труппы. А другая уехала вперед.

— Осталось полтруппа, а полтруппа неизвестно где,— каламбурил толстяк.

— Анна Тихоновна! Господи! Как мы вас ждали!

Она озиралась с застывшей улыбкой, в слезах, не в состоянии перевести дыхание. Девушки около нее тоже плакали и одна — курносенькая, круглобокая — простодушно вытерла ей своим платочком щеки и сказала жалостно:

— Вы в одном чулке, товарищ Улина.

— Где же ваш раненый? — крикнули с машины.

— Да это ранен Цветухин! — с жаром воскликнула Анна Тихоновна. — Артист Цветухин!

— Цветухин? — будто с угрозой спросил толстяк. — Егор? Где он?

Она показала на дерево. Все стали смотреть туда, потихоньку отходя от грузовика и заслоняясь от солнца.

— Ах, бог мой, вон под самым деревом! Вон лежит! — испуганно закричала курносенькая.

Толстяк бросил топорик, приставил ко рту руки, протрубил:

— Егор! Мила-ай! Ступай скорей сюда! Опаздываем на репетицию!

Кто-то засмеялся, но Анна Тихоновна, словно всерьез приняв слова актера, взыскательно поглядела в его одутловатое лицо.

— Сколько же времени?

— Оно, правда, торопиться некуда, — успокоил толстяк. — Нет еще семи, дорогая моя.

— Как? Все еще так рано? — тихо переспросила она.

Он с сочувствием покачал головой и нагнулся за своим топориком.

Молодежь уже бежала к дереву, и Анна Тихоновна, спохватившись, бросилась следом.

Цветухин спал. Она дотронулась до его плеча и потербила с боязнью, как ребенка, который пугается спросонок.

— Нас берут в машину, Егор Павлыч!

Он открыл глаза и как будто не вдруг узнал ее, но заметил наклонившихся к нему людей, пришел в себя и сказал ей:

— Ах, это ты?

— Это наши друзья. Нас повезут. Сделают перевязку, — твердила она.

Ему помогли встать. Двое юношей в цветных рубашках скрестили свои руки.

— Садитесь, садитесь, пожалуйста, мы донесем... понесем вас, садитесь, — говорили они с горячей, но не очень смелой готовностью.

Но Егор Павлович приподнял здоровую руку, ласкательно потряс кистью и отказался гордо:

— Не смотрите, что я слаб... Я пойду. Пойду сам... Душа моя кипит... Кипит возвышенно!

— Ах, зачем вы это, зачем?! — с болью остановила Анна Тихоновна.

Его повели, и она шла справа, чтобы защитить раненую руку, а молодые люди поддерживали его слева и со спины так почтительно, точно священнодействовали.

Толстяк приблизился им навстречу. Он поцеловал Цветухина, который, как успели подметить перемигнувшиеся юноши, едва ли признал его.

— Эх, милай! Немного от тебя осталось, — напрямик сказал актер. — А мы проскочили, крещенные в четырех бомбежках. Солоно пришлось... Поедем, милай, господь милостив. Отведаем вместе из этой солоницы. Соль земли горька, милай.

Егор Павлович ничего не ответил на сердечную тираду. Но когда его довели до машины, он очень ясно проговорил два слова:

— Умоляю. Пить!

Толстяк велел подать свой маленький чемоданчик, и актрисы с актерами торопливо переставляли в кузове багаж, пока не напали на то, что нужно.

— Вот, матушка,— сказал толстяк, доставая бутылку с водой и протягивая Анне Тихоновне.— Можете оба отпить ровно половину. Ни капель больше. А половину я спрячу на другой подобный акт милосердия.

Анна Тихоновна быстро передала Цветухину бутылку. Курносенькая девушка предложила ему кружечку:

— Только извините, это у меня зубная...

Но он уже сжал губами горлышко бутылки, запрокинув голову, и всем стало видно, как по его шее начал жадно скользить вверх и вниз горбом выпяченный кадык.

Анна Тихоновна отвернулась и опять натуго закрыла лицо руками. Плечи ее дергались.

Большая, многолюдная колымага табора, похожего на цыганский, со страшным своим коптящим самоваром, непослушным мотором и приращенными с чужой усадьбы дровами для чурок, шумно готовилась в неизвестную и неизбежную дорогу.

(Окончание следует)



НИЛ ГИЛЕВИЧ

★

ЗАМОК

Выбирает
замок для дверей
человек,
Выбирает замок,
да такой, чтоб навек!
Самый крепкий из всех,
самый хитрый замок,
Чтоб ключи подобрать
вор-грабитель не смог.

Мне досадно,
ведь как-то и я тут задет:
Обзавелся замком
по квартире сосед.
Будто червь недоверия
выполз за дверь —
Было просто жильё,
стала крепость теперь.

Что твоя мне нажива,
подумай, сосед,
Если в сердце моем
целый край,
целый свет!
Если мыслью-мечтой
перекинул я мост
В синь, в безмежную высь,
до неведомых звезд!

Что мне лебедь,
прибитый тобою к стене?..
Сотни рек и озер
улыбаются мне!
Недра пуши дремучей
и зелень дубрав...
Под замками ль,
скажи,
эта уйма добра?

Мир корысти, наживы
не годы — века,
Чтобы ниже еще
был поклон бедняка,

В ржавых пальцах пробоев,
жесток и суров,
Мертвой хваткой держал
сотни тысяч замков,
Вместе с золотом
пряча
и подлость и грязь,
Над призывами к братству
скрипуче смеясь.

Оттого ль,
что отцы,
этот мир бросив ниц,
Разбивали замки
на воротах темниц,
Оттого ль,
что на камни
их кровь пролилась,
Когда солнце
штыком
отмыкалось для нас,
Оттого ль,
что я просто родился таким,—
С юных лет
ненавижу
любые замки!

Знай, сосед:
уже сын твой
иль, может быть, внук
Эту вещь
отшвырнет,
чтоб не пачкала рук.
Примененья в быту
не найдет ей народ,
Разве сплетнику только
повесит на рот...
Человек на земле
будет жить без замков!
Ведь замки —
свояки
сбитых рабских оков.

Перевел с белорусского А. Корчагин.



С. СЛАВИЧ

★

РАССКАЗЫ

Нас много—ты и я...

Памяти Владимира Бондарца.

1

Снег покрыл еще не замерзшую землю. Высокие колеса тяжело нагруженной фуры медленно катились по нетронутой пелене и безжалостно мяли ее, добираясь до густой, жирной грязи.

Следы колес вели от окраины города, над которым повис зимний, пробирающий до костей туман.

Рядом с фурой плелся немец солдат. Униформа не придавала ему ни подтянутости, ни лихости, напротив — как это иногда бывает, она еще больше подчеркивала, что он немолод, обрюзг и устал.

На шее немца болтался карабин — видно было, что он ему в тягость. Поверх серо-зеленой суконной пилотки был повязан кусок шерстяной ткани — он закрывал уши.

Время от времени солдат раздраженно произносил несколько слов.

— Все-таки это свинство, что нам до сих пор не выдали меховых шапок...

Другой солдат был молодой, краснощекий. Ему надоело это нытье, и он, не отвечая, насвистывал песенку.

— Пожалел бы лошадей,— сказал первый.— Они еле плетутся. Проклятая дорога!

Дело в том, что молодой солдат сидел на облучке, зажав карабин между колен и удобно откинувшись на спинку. Даже в этот хмурый день было заметно, как старательно начищены его сапоги. Может быть, поэтому он и не хотел месить грязь.

— Слышишь? — спросил старший.

— Оставь меня со своими клячами в покое.

— Да я не об этом. Ты прислушайся. Слышишь?

Молодой насторожился.

— Что это?

С верхом нагруженная фура была покрыта брезентом. Сейчас из-под него слышался стон. Старик откинул край брезента, и стал виден груз, который с таким трудом тащили лошади. Это были одеревенелые, сложенные, как дрова, трупы людей в грязной и рваной красноармейской форме.

— «Что это, что это»,— передразнил старший.— То, что эта свинья Ганс опять свалил сюда несколько полупокойников из своего лазарета еще живыми.

— А ты видишь, который из них стонет? — деловито осведомился молодой, взяв карабин в руки.

— Не пугай лошадей,— недовольно сказал старший немец и опустил брезент.

Вожжи были намотаны на рычаг тормоза, лошадьми никто не управлял — они хорошо знали дорогу. Фура остановилась возле противотанкового рва, который протянулся, насколько хватал глаз, с юга на север. Во многих местах он осыпался, был размыт дождями и тальми водами, зарос бурьяном. В одном месте ров был засыпан. Судя по всему, недавно. Здесь лошади и остановились.

Молодой солдат, взявшись за вожжи, развернул фуру на краю обрыва так, чтобы ее легко было опрокинуть, сбросил брезент и, опершись на карабин, рассматривал застывшие в самых неожиданных положениях трупы. Его товарищ, раскуривая трубку, исподлобья наблюдал за ним.

— Ищешь? — буркнул он. — Тебе еще не надоело все это?

Молодой не ответил. Выбрав место, где снег казался тверже, он спрыгнул на землю. Осторожно, так, чтобы не запачкать сапоги.

Фура опрокинулась.

— Засыпать будем? — спросил старший.

— К черту! — решительно ответил молодой. — Сделаем еще несколько рейсов, а потом пригоним команду из лагеря. Пусть сами за собой убирают.

Назад они возвращались, сидя на облучке рядом.

На следующий день груженная фура снова остановилась у противотанкового рва. Молодой солдат постоял некоторое время на краю обрыва, перекатывая сигарету из одного угла рта в другой. Он внимательно смотрел вниз. Потом сказал:

— А ты знаешь, его здесь нет.

— Кого?

— Да мне вчера показалось, что там кто-то шевелился.

— Не может быть.

— Он лежал вот здесь. Я заметил. На нем была прожженная ватная куртка. Сейчас ее не видно. — Молодой солдат выплюнул сигарету, она полетела в ров. — Неужели он уполз?..

2

...Начинало смеркаться, а с наступлением темноты наиболее осторожные из немцев часовых стреляли по каждому, кто откликнулся по-русски. Поэтому человек спешил. На спине у него обвис небольшой мешок из грубой парусины. В такт шагам он машинально тыкал в снег суковатой палкой. Левой ногой старался ступать поосторожней: побуревший кирзовый сапог был обмотан проводом — оторвалась подошва. Казалось, будто человек прихрамывает. Тощие ноги болтались в голенищах. Короткое пальто (с чужого плеча) было застегнуто не на пуговицы, а на грубо пришитые суровыми нитками крючки и туго стянуто брезентовым красноармейским поясом с облезшей луженой пряжкой. На голове у путника была бесформенная выгоревшая серая шапка из искусственного меха. Впереди темнело пятнышко с дыркой посредине — все, что осталось от красноармейской звездочки.

Сапоги, пояс и шапка вызвали подозрение, что это солдат, пробирающийся домой из плена. Так в первый момент думали проявлявшие особое усердие и бдительность полицейские из «своих», с повязками на

рукавах. Эта же мысль мелькала у настороженных полевых жандармов с приметными бляхами на груди, она же заставляла солдат, охранявших мосты и железнодорожные переезды, всякий раз окликать прохожего:

— Э, Иван! Komm mal her! Passierschein¹ — понимаешь? Документ.

Пленных и других лиц без документов или с сомнительными документами надлежало задерживать.

Но когда «Иван» суетливым движением расстегивал верхние крючки пальто и вытаскивал помятую бумажку, из которой явствовало, что ему шестнадцать лет, немец разочарованно махал рукой: давай, мол, иди дальше. Странное дело, это слово «давай» знал почти каждый из них. Некоторые, желая развлечься зрелищем удирающего «Ивана», рывкали:

— Aber los, aber schnell, aber² быстро, быстро!..

«Быстро» было другое русское слово, которое тоже знал почти каждый солдат.

Однако этого путника подгонять вряд ли стоило. Он и без того торопился.

Приближался вечер.

Несколько успокаивало то, что город был уже виден, а ему нужно было на окраину, куда можно без особенного риска добраться и в темноте, после наступления комендантского часа.

Воздух стал холоднее и жестче. Небо затянулось тучами, а город казался вымершим — в нем не загорелось ни одного огня. Дорогу приходилось угадывать. Прохожий вертел головой, чтобы не прозевать место, где дорога пересекает противотанковый ров. Здесь нужно было свернуть и добираться домой напрямик, через поле. Отыскать тропу он не надеялся: ее наверняка занесло снегом.

Темнота и тишина, в которой слишком громким казалось даже собственное дыхание, делали человека маленьким и слабым. И когда он, споткнувшись о что-то лежавшее на пути, упал, сердце его отчаянно забилось. Пошарив руками, он ощутил не бревно, не камень, а что-то податливое и мягкое. Вскочив, бросился, не разбирая дороги, вперед, снова споткнулся и упал — на этот раз оттого, что порвалась веревка, которой была привязана подошва. Кругом было все так же тихо — ни голосов, ни шорохов. Но память успела сохранить то, что он расслышал при первом своем падении: похожее на стон трудное дыхание лежавшего на земле человека.

Кто он? Почему лежит один в поле?

Невероятного усилия стоило заставить себя вернуться назад. И все же вернуться было необходимо — это была не мысль, а побуждение, которое он испытал всем своим существом.

Лежавший на дороге не был немцем. На нем была рваная, тоже из жесткого искусственного меха шапка, завязанная под подбородком, стеганая телогрейка с торчащими из дыр клочьями ваты, красноармейские штаны с тесемками у шиколоток и заскорузлые башмаки. И это все. Ни узелка, ни котомки. Наткнувшись на его лицо, парень нащупал короткую жесткую бороду.

«Что же теперь?» — шевельнулась опять-таки не мысль, а скорее какое-то тоскливое чувство. Еще минуту назад он мог медленно и осторожно продолжать свой путь, заботясь только о том, чтобы не наткнуться на окраине города на патруль. А сейчас нужно решать, что делать с этим человеком. Парень потряс его за плечи, повернул, попытался

¹ Иди сюда! Удостоверение.

² Ну давай, ну быстро!

посадить — человек оставался безучастным. Тогда он просунул руки ему под мышки, приподнял, перехватил за пояс, взвалил себе на спину (тот оказался нетяжелым) и, с трудом передвигая ноги, поплелся дальше.

3

Дверь открывали долго.

Вначале приподнялся край занавески в зарешеченном окне Никитичны. Потом в щелку пробился слабый желтоватый свет. Затем послышалось шарканье в сенцах. Старуха вынула палку, которую засовывали в дверную ручку, отодвинула щеколду, откинула крючок, повернула ключ внутреннего замка, но снять цепочку сразу не решилась.

— Степан, ты? — шепотом спросила Никитична, отворив дверь на длину цепочки.

— Да откройте же... — с трудом сказал парень.

Он едва держался на ногах. Руки задеревенели. Чувствовал: еще минута — и свалится вместе с человеком, которого из последних сил ташил на спине.

Старуха засуетилась.

— Да что это с тобой, Степа? Кто это у тебя?

— Тише... — выдал из себя Степан и повернулся к ней спиной. — Возьмите его.

Он хотел только одного: распрямиться, свободно вздохнуть и лечь.

И все-таки, освободившись от груза, он сначала оглянулся по сторонам (улица была темна, тиха, пустынна; где-то постреливали; на воротах трепыхался небрежно наклеенный лист бумаги, но там вечно висели приказы всех этих бесчисленных ортскомендатуры, фельдкомендатуры, штандарткомендатуры, шефа СС и полиции, шефа вспомогательной полиции, шефа биржи труда, бургомистра). Только после этого Степан зашел в дом. Хвагаясь за стены и опрокидывая что-то в узком коридоре, добрался до комнаты Никитичны, где уже лежал на полу принесенный им человек, проговорил:

— Помогите ему. Он еще живой... — И, все еще цепляясь за стенку, сполз вниз.

Несколькими глотками горячего чая Никитична привела Степана в себя. Она велела ему опустить руки в ведро с холодной водой, чтобы отошли от мороза, и занялась «тем» человеком.

— Сегодня ночуйте у меня, — говорила она между делом, и Степан понял, что принесенный им человек жив. — В твоей-то комнате хуже чем в леднике...

На шум заглянула другая соседка.

— Ты где подобрал его?

— Чем спрашивать, помогла бы лучше, — оборвала Никитична. Она стаскивала со «старика», как окрестила про себя выбранного Степаном человека, прожженную на спине ватную телогрейку. Под ней оказалась гимнастерка. Она попробовала снять гимнастерку, но ткань расплзлась в руках.

Старик был невероятно худ. Грязная кожа приросла к безобразно выпирающим ребрам. Покрывавшие грудь густые волосы шевелились.

— Он кто же? Военнопленный, что ли?

— Человек он, голубушка, — отрезала Никитична. — Обовшивел-то как, бедняга... Потерла бы ты ему лучше ноги. Ишь пальцы как побелели.

— А может, он командир или комиссар... Мы все можем пострадать...

— Шла бы ты спать, голубушка,— попросила Никитична.— Комната у меня махонькая, и без тебя повернуться никак... Бери, Степа, варежку, три ему пальцы.

Ночью старик пришел в себя. Он пришел в себя, но был чрезвычайно слаб. Открыв глаза, он без удивления и вопроса скользнул взглядом по лицам окружающих, шевельнул неловко подвернувшейся рукой и настолько устал от этих усилий, что тут же снова закрыл глаза. В состоянии такого же равнодушия ко всему он пробыл и следующий день. Это был не сон, не беспамятство, а какое-то странное забытье.

Когда он открыл глаза на следующий день, его взгляд был осмысленным и вопрошающим. Однако он никого ни о чем не спросил и только внимательно ко всему присматривался, пытаясь, видимо, понять или вспомнить, что с ним случилось. Устав от этих мыслей, он уснул. Не забылся, как раньше, не впал в беспамятство, а по-настоящему заснул, глубоко и ровно дыша. Никитична не преминула отметить это удивленным:

— Ты гляди-кась — никак выжил... Ну, теперь харчи только подавай, а где их взять?

Степан впервые по-настоящему рассмотрел его. Это был уже немолодой человек с грязновато-серой от седины бородой, всклокоченными волосами, узким худым лицом, высоким, туго обтянутым морщинистой кожей лбом и глубоко запавшими, будто провалившимися, воспаленными глазами.

Прошло несколько дней. Хоть и очень плохо было с едой, но старик поправлялся.

Однажды под вечер в Степанову каморку заглянула соседка.

— Там, на воротах, новый приказ комендатуры налепили. Ты почитай.

На воротах, на большом листе бумаги, распластался орел с презрительно повернутой в сторону головой. Под ним — убористый ряд строчек. Из приказа явствовало, что в течение последнего времени на территории, занятую германской армией, были сброшены советские парашютисты-диверсанты. Часть из них, говорилось в приказе, сама отдалась в руки германских властей и тем обеспечила снисходительное отношение к себе, другие задержаны войсками, полицией и населением, но некоторые все еще скрываются под видом военнопленных, избегнувших заключения в лагеря, гражданских лиц и так далее. Затем говорилось, что всем парашютистам, которые в течение трех дней после опубликования этого приказа заявят о себе соответствующим германским властям, гарантируется сохранение жизни, хорошее обращение и питание. Те же, кто не сделает этого, по законам военного времени будут расстреляны как шпионы. Будут расстреляны также укрывавшие их лица. Предписывалось немедленно сообщать о появлении подозрительных людей в населенных пунктах, дворах и домах, памятуя, что только этим можно избежать суровой ответственности и казни заложников...

У Степана защемило в груди. Осторожно, чтобы не побеспокоить большого, он зашел в комнату и, вздрогнув, остановился на пороге: тот сидел на кровати и, видимо, ждал его. Тихо, но внятно он попросил:

— Расскажи мне, что у вас происходит... О каком приказе у вас разговор был?

— Приказ? — Степан вздохнул.— Приказ — это плохое дело. Немцы ищут наших парашютистов...

— Каких «наших»? — Было в этом вопросе что-то настороженное и ожидающее.

— Ну, в общем русских, красных, — объяснил Степан. — Об этом и приказ. Стоит кому-нибудь капнуть, что у нас живет неизвестный без документов, немцы всех расстреляют. У них это быстро.

— И соседи могут донести?

— Да нет же, — раздраженно ответил Степан. — Никто никуда не пойдет, понимают, что никакой вы не парашютист. Вот только паникует кое-кто.

Изможденное бородатое лицо человека, сидевшего на кровати, сделалось похожим на темный лик иконы.

— Ну вот, теперь все понятно, — сказал он совсем тихо. — Значит, спас ты меня.

— Бросьте вы это...

— А бросать, милый, больше вроде бы и нечего. Теперь мне, судя по всему, уходить отсюда надо.

— Куда? — спросил Степан.

— Это ты правильно спрашиваешь — куда? — Человек опустил ноги с кровати, встал, сделал несколько шагов и снова сел. — Я третий день думаю над этим «куда». Может, ты что подскажешь?

— Я планов ваших не знаю, — сдержанно ответил Степан.

И опять наступило молчание. Человек не отозвался. Тогда Степан объяснил:

— Люди по-разному рассуждают. Одни хотят просто пересидеть это время, другие в лес глядят, а третьи идут на восток.

— Ах, вот ты о чем! Тогда предположим, что я не хочу пересидеть...

— А вы это серьезно? — недоверчиво спросил Степан.

С бесконечной усталостью человек ответил:

— Милый мальчик, разве я похож на шутника?

И тогда Степана будто прорвало:

— Пропади он пропадом, этот город! Сколько здесь хороших людей перевешали и расстреляли, сколько здесь от голода померло! Не могу больше так жить, не хочу бояться каждой сволочи... Я уйду вместе с вами...

4

И снова дорога. Теперь это была настоящая зимняя дорога. Снег на ней лежал плотный, накатанный, скользкий, с желтыми пятнами от лошадей, черными — от автомобильного масла. Такой же она была и две и три зимы назад — взбиралась на те же холмы, проходила через те же села. И точно так же дуб с неопавшими рыжими листьями нависал над ней, и заячьи следы петляли по обочине, и занесенный снегом сухой бурьян торчал в канаве, и то же холодное солнце отсвечивало в колеях, до блеска отполированных полозьями саней.

И однако это была совсем иная дорога. Теперь здесь хозяевами были немцы. Они поставили свои указатели и таблички с понятными только им цифрами и условными значками, они испещрили ее широкими следами мощных дизельных автомашин, каких на ней раньше не видели.

На дороге появились люди, именовавшиеся жандармами, полицейскими. Сами эти слова, для многих здесь никогда не бывшие живой реальностью, звучали дико и невероятно. Даже с детства знакомый бревенчатый мост через овраг казался совсем другим, когда на нем стоял чужой солдат.

Вид у солдата был скучающий и равнодушный, когда он смотрел на проходивших мимо закутанных в тряпье, согнувшихся под тяжестью ноши женщин. Разве это женщины? Рабочий скот. Мужчины вызывали к себе отношение презрительное и в то же время настроенное.

Днем, если к тому же пост находился в более или менее безопасном месте, в солдатской душе безраздельно господствовало презрение. Карабин болтался за спиной, и затвор его стоял на предохранителе. Когда же приближался вечер и вступало в свои права тревожное одиночество, настороженность оттесняла все остальное. И трудно сказать, что в большей степени вызывало это чувство — просто надвигающаяся темнота или то, что она заставляла солдата под небом не только чужим, а враждебным, среди неохватных просторов, в которых менялись вдруг все представления о собственной силе, о чьей-то слабости и о том, что далеко, а что близко.

Снятый с предохранителя карабин оказывался в руках, и, даже не получив еще ответа на свой окрик, солдат стрелял в темноту.

Они шли. Вначале они хотели только одного — не видеть немцев, однако это было почти невозможно. Им казалось, что они просто стремятся уйти от опасности, но уходили от нее не куда-нибудь — на восток. Это получалось как-то само собой. По утрам солнце неизменно светило им в глаза, потом, не поднимаясь высоко, оказывалось справа, а под вечер они втапывали в снег собственные тени.

Ночевали где придется. Однажды их пристанищем стала скирда соломы. В ней кто-то прорыл нору, достаточно вместительную, чтобы приютить двух человек. Сделано это было еще осенью, когда солома не слежалась. Сейчас скирда была одета ледяным панцирем. С трудом они надергали соломы, чтобы закрыть вход в нору.

— Оказывается, люди по-прежнему сеют хлеб,— не то удивился, не то просто отметил вслух старик.

И на самом деле казалось странным, что люди могут заниматься таким обычным, таким добрым делом — сеять хлеб.

— Немцы заставляют,— отозвался Степан.— И потом жевать-то все равно что-то надо.

— А скирда плохонькая, не то, что до войны были. Весной чего доброго расплзется. Клали, видать, бабы.

В узкой норе вдвоем можно было лежать только на боку. Степан поднял воротник и втянул в него голову. Там, снаружи, негромко, но зло посвистывал ветер. Зябли ноги. Прижимаясь к спине старика, Степан чувствовал, что тот не спит, прислушивается.

— Это мыши шуршат,— успокоил он его.— Есть такие мыши — полевки.

Степан был уверен в безопасности ночлега. Скирда стояла в неприютном месте, в стороне от дороги. Да и дорога оказалась спокойной. За целый день на ней встретилась одна-единственная автоколонна. В двух небольших селах, укрывшихся в балочках от степных ветров, немцев не было. Где-то неподалеку должно быть третье село, но решили заночевать в скирде, увидев, что засветло не дойти, а ночью незнакомых в избу не пустят.

Возвращаясь к разговору о хлебе, Степан спросил:

— А вы сами городской или сельский?

Старик не спал, конечно, не спал, но и не ответил. Степан уже решил, что он просто не хочет говорить, когда слышалось:

— А ты как думаешь?

И это разозлило. Нежелание старика говорить серьезно было обидным. Уже второй раз у них не получался разговор. В первый раз Степан сказал:

— А ведь я даже не знаю, как вас зовут...

Старик долго молчал. Они шли рядом, и Степан видел, что он о чем-то раздумывает.

— Зови меня дядей Костей. Так будет лучше всего.

Недоверие обидело, и старик это понял. Немного спустя он попытался затеять разговор.

— Ты мне, Степан, все равно что отец и мать. Ты меня еще раз на свет родил.

Степан понял: старик почувствовал себя виноватым и хочет эту вину загладить. Но ведь проще всего было ответить на вопрос — сказать, как его зовут. Степан раздраженно повел плечами и зашагал быстрее. Потом не выдержал, оглянулся: старик отстал. Он вообще немного волочил правую ногу, а теперь хромота стала заметней. Дышал он тяжело, через рот, глаза, как это бывает у птиц, были полуприкрыты. Вот вот упадет. И совершенно неожиданно Степан вдруг почувствовал себя в чем-то виноватым... Он сделал несколько шагов навстречу старику, взял его за руку, сказал:

— Давайте отдохнем. Спешить-то нам некуда.

А сам подумал: «Пропадет он без меня».

Отдышавшись, старик открыл глаза — усталые, но пронзительные и блестящие. Что они напоминали Степану, эти глаза? И он вспомнил, как однажды, еще до войны, живший по соседству доктор Николай Павлович принес домой с охоты подстреленную птицу. Это был не то коршун, не то сокол, не то еще что-то в этом роде. Доктор хотел сделать из нее чучело. Женщины подняли крик: «Немедленно выбрось эту гадость!» Птица все время норовила схватить кого-нибудь. Он успокоил их: «Я сейчас же добью ее».

Степан помнил, как это было. Птица лежала на земле. Перебитое крыло неестественно вывернулось. Когтистые лапы были связаны. Было ли ей больно? Не могло не быть. Но птица ничем этого не выказывала. Подняв голову, она безотрывно смотрела немигающими глазами — пронзительными, блестящими и, как казалось Степану, бесстрашными...

Старик постарался улыбнуться и сказал:

— Плохой у тебя попутчик, Степан. Покалеченная нога у меня разболелась.

Этот разговор был несколько дней назад. Теперь, лежа в скирде, они как бы вернулись к нему. Не дождавшись ответа на свое «а ты как думаешь», старик сказал:

— Ты все еще обижаешься на меня... Оно и верно — негоже мне что-то скрывать от тебя.

Оба они по-прежнему лежали на боку — иначе было невозможно. Степан уткнулся лицом в спину старика. Положение, не располагающее к беседе, но «дядя Костя» не обращал на это внимания.

— Ты думаешь, у меня какие-то секреты. А я просто не хочу тебе на плечи еще один груз взваливать. Вот, скажем, остановят нас немцы, спросят: «Кто вы?» Обо мне ты скажешь: «Это дядя Костя». На худой конец ответишь: «Ничего я о нем не знаю». И это будет правда. Тебе же легче. А когда что-то знаешь, нужно скрывать, заставляя себя забыть. Очень это трудно — заставляя себя под палками забыть то, что ты хорошо помнишь. Я на себе попробовал. Все время думаешь, как бы не сказать чего лишнего. А так — не знаю, и все. И не нужно прикусывать язык, не нужно бояться за себя. Так все-таки легче...

Под скирдой шуршала неугомонная мышь, в степи тонко посвистывал вестер. Напряженный слух подсказывал и другие звуки — заставляющий вздрагивать волчий вой, шорох от чьих-то осторожных шагов, — но все они оказывались все тем же: шелестом соломы, которую грызла мышь, и несмелым подвыванием ветра.

— Вот такие-то дела, мой дорогой. Ты меня понял?

Некоторое время старик ждал ответа Степана, но потом прислушался к его дыханию — оно было ровным и чистым — и понял, что парень спит.

5

Утро следующего дня было солнечным, морозным, ликующим. Негрудно было себе представить, сколько радости оно доставило бы людям в прежние времена. Но это утро вызывало лишь мысли о том, как беспомощен и слаб человек. Степан видел, что мороз отнимает у старика последние ничтожные силы. Солнце казалось отвратительным в своей жестокости: столько лишнего, ненужного света — и ни капли тепла!

Они долго шли, прежде чем впереди показалось село, а ведь Степан знал — до него только несколько километров. Он бывал здесь раньше.

Начались полосы лесопосадок, окаймлявшие прямоугольники совхозных полей. Вдоль проселка торчали почерневшие столбы с оборванными, свившимися в кольца проводами. Раньше столбы всегда гудели. Теперь они безжизненно молчали.

— А вот здесь позапрошлым летом упал самолет...

Степан думал, что старик заинтересуется, начнет спрашивать как и что, но тот едва переставлял ноги. Степан пыгался отыскать глазами обломки самолета — ведь должно было что-то от него остаться, — но так ничего и не нашел. А падение самолета столкнуло его с первой смертью, которую он увидел в этой войне. Всей школой они работали тогда на уборке урожая. Фронт был еще далеко. Доходили слухи, будто немцы бомбят город, но и до города была сотня километров. Война почти не оставила в селе мужчин. Похоронные в то время еще не приходили. Видимо, их некогда было писать. Мальчишки испытывали угрызения совести от того, что они здесь, и боялись, что война закончится слишком быстро и им не удастся показать себя.

Самолет упал на жнивье, неподалеку от дороги, и ребята километра два бежали к нему по полям. Машина почему-то не загорелась. На земле она казалась маленькой, а обломки фанеры и металла выглядели беспомощно. Все это не укладывалось в представление о столько раз виденных в кино грозных стальных птицах. Летчик был мертв.

Потом Степан видел много мертвых. Их улицу перегораживала баррикада из мешков с песком. За ней залегли красноармейцы. Они отстреливались недолго, а когда ушли, один остался. Он лежал дня три — немцы почему-то не разрешили похоронить, — рядом валялись каска и противогаз. Руки он прижимал к груди, где на выцветшей гимнастерке запеклось большое пятно крови. Ноги в голубых трикотажных обмотках (почему голубых?) были широко раскинуты. Смотреть на него было страшно.

Еще страшнее было смотреть на разбитый ополченский танк. Его сделали на одном из заводов города из трактора. Танкистами стали трое заводских ребят. Одного из них Степан немного знал. Это был тихий парень с ржавыми волосами и веснушчатым лицом. Он снимал угол через несколько дворов. Степан однажды слышал, как его хозяйка жаловалась Никитичне, что вот, мол, парень возится с фотографией, загадил всю комнату, что у нее издохла любимая кошка, напившись не то проявителя, не то закрепителя...

Танк этот стрелял из пушки и пулемета по немцам, что были на площади, возле универсама. Степан видел его уже сгоревшим. Заменявшая люк стальная дверца была открыта. Из нее наполовину высунулся об-

горевший человек. Двое других лежали в машине на куче стреляных гильз. Кто из них был тем самым парнем, Степан так и не узнал.

Видел он и других убитых, однако летчик запомнился больше всех. Одна из женщин, собравшихся возле разбитой машины, сказала: — Кто-то теперь поплачет...

Из-за лесополосы показалась вначале серая куча деревьев. Из нее торчал облезлый церковный купол. До войны в церкви был уютный и холодный клуб, где вечно кочующий киномеханик крутил по субботам с вечера и далеко за полночь постоянно рвущиеся ленты. Вокруг виднелась беспорядочная россыпь домов. Впрочем, беспорядочной она показалась бы только тому, кто попал сюда впервые. Рядом с церковью Степан сразу отыскал глазами одноэтажный кирпичный дом — контору совхоза, а в давние времена — поповское жилье. Помнится, дом этот содержался неряшливо, был запущен и обшарпан: краска на полах облезла, да и сами полы давно пора было перестилать, на крылечке не было перил, на стенах засиженные мухами плакаты призывали множить ряды ворошиловских стрелков, бороться с долгоносиком и дружно подписываться на новый государственный заем.

Раньше по утрам, когда народ отправлялся на работу, и по вечерам на «нарядах», когда бригадирам давали задания на завтра, здесь бывало шумно, накурено. То и дело звонил телефон в директорском кабинете. Директор Фома Алексеевич откликался на звонки голосом тихим и хриплым — говорили, что он чем-то неизлечимо болен. Суетился «Зензибер» — так прозвали смешного, шумливого бригадира Сафонова. Приехавшие на работу ребята и девочки («городские» — называли их) думали, что Зензибер — его фамилия. Кто-то даже обратился: «Товарищ Зензибер», — и только после шума, поднятого бригадиром, одна из местных девчат, смеясь, объяснила, что зензибер — это певчая птичка, а Сафонова так прозвали за говорливость.

Раньше здесь стучала костяшками бухгалтерша, рослая, темноволосая, с чуть заметными усиками. У нее была высокая грудь и стянутая широким блестящим поясом талия.

Но все это — раньше. А что теперь в этом доме?

Неподалеку был детский сад с просторным, огороженным штaketником двором. Под деревьями стояли маленькие раскладушки. А что здесь сейчас?

Что сейчас вообще в этом селе, знакомом и чужом одновременно?

Неподалеку от первых хат они увидели столб с фанерным щитом. На щите было написано: «Gruschewka».

6

По улице шел немец с туго набитой брезентовой сумкой. Самый обычный немец — среднего роста, лет сорока пяти. Некоторую значительность ему придавали очки в тонкой никелированной оправе. Они поблескивали под козырьком меховой шапки, покрытой зеленовато-серым эрзац-сукном. Просторная зимняя шинель была из такого же сукна. Погон чистый, без ничего, — солдат.

Немец вертел головой по сторонам. Потом остановился перед двором, который отличался от соседских разве что большей запущенностью. Заметно было, что хозяина там давно уже нет: солома на крыше прогнила, покрылась сплошной черной коркой, сарай в глубине двора начал разваливаться, и жалко покосился плетень. Двор был весь открыт постороннему глазу — ворот не было. На столбах торчали ржавые крючья петель. Снег здесь не расчищали с начала зимы. От двери протянулось несколь-

ко узеньких тропок. Одна выходила на улицу. По ней и направился солдат. Постучав в дверь, крикнул:

— Алло, пан!

Никто не отзывался. Тогда он постучал щеколдой. Дверь открылась. На пороге появилась женщина, казавшаяся скорее преждевременно постаревшей, нежели старой. Увидев немца, она шагнула во двор, как бы показывая, что предпочитает вести разговор там. В глазах ее были неприязненное ожидание и, пожалуй, страх.

— О, матка! Хорошо. Мне надо...— Солдат сделал руками движениис, имитирующее стирку.— Понимаешь? — Потом похлопал по брезентовой сумке.— Рубашка тут. Ладно? — Он показал два пальца.— Два дня хватит? — Немец довольно бойко говорил по-русски, лишь иногда испытывая затруднения от нехватки слов.— Что еще надо?

— Мыла нет.

— О, Seife!¹ — воскликнул солдат и опять похлопал по сумке.— Мыло тут.— Он протянул сумку, и женщина была вынуждена взять ее.

Еще раз подняв два пальца, немец повторил:

— Два дня,— и сделал несколько шагов по тропке. Потом, будто вспомнив что-то, обернулся и сказал неожиданно: — Не надо бояться.

С минуту Христина смотрела ему вслед (немец шел быстро и весело), потом зябко повела плечами и пошла в хату. С печки свесилась белобрысая лохматая голова.

— Кто приходил?

— Немец. Видать, из тех, что вчера приехали на машинах.

— Курки-яйки искал?

— Принес барахло, велел постирать. «Не надо бояться...» — передразнила она.— Тьфу, нечисть!

— Что ты, мам? — не понял мальчишка.

— Слезал бы уж. Хватит зад на печи греть. Пошел бы хворосту принеc. Ишь как хата выстудилась.

— Так сапоги ж развалились.— В голосе сына слышалась обида.

— Мои надень. А я пока натру кукурузы и намну макухи — лепешки будем печь.

Христина вынула из-под лавки ручную мельницу-терку и насыпала между железными цилиндрами пригоршню зерен кукурузы.

— Кого еще нелегкая несет? Спешит кто-то.

Мальчик нырнул в сапоги — голенища оказались выше колен — и, неловко ковыляя, зашаркал по земляному полу.

— А где куфайка?

— Где клал, там и возьми,— сердито отозвалась мать.

Наконец он нашел ватную стеганую телогрейку с красноармейскими петлицами на воротнике, влез в нее и несмело подошел к матери.

— Закати рукава.

Она сегодня была не в духе, а в таких случаях нетрудно схлопотать и затрещину. Но Христина глянула на него — на нелепую, жалкую фигурку с восковым лицом, давно не стриженными, торчащими во все стороны лохмами, с висящими до колен рукавами — и вдруг залилась слезами.

— Сыночек ты мой... Сиротинушка несчастная...

Уткнувшись в подол матери, мальчик тоже начал всхлипывать.

В это время на замерзшее окно легла тень, в стекло негромко постучали.

Вытирая глаза фартуком, Христина сказала:

¹ О, мыло!

— Пойди глянь, кто там.

Сын почти сразу же вернулся. Широко открыв глаза, он прошептал:

— Мам, это Степан...

— Какой Степан?

— Тот, что жил у нас, когда городские приезжали хлеб убирать.

— Чего ж ты испугался?

— Так с ним еще кто-то. Дед — бородатый, страшный...

Сунув ноги в шлепанцы, Христина вышла в сени.

Когда полтора года назад Степан был здесь, он тоже не видел изобилия. Мужем Христины был Федор Засядько, тот самый бригадир трактористов, под взглядами которого таяла высокоградная бухгалтерша. Дома он почти не жил. С весны по осень — на полевом стане, зимой — в общежитии при ремонтных мастерских. В хозяйстве пользы от него не было никакой, хотя зарабатывали трактористы неплохо. Да, изобилия и тогда Степан не видел, но сейчас перед глазами была разруха и нищета. Этот жалкий, полуразвалившийся сарай, эта крыша с выпирающими ребрами стропил, этот занесенный снегом двор...

— Здравствуй, тезка,— сказал он, как говорил когда-то (мальчика тоже звали Степаном), и сам понял неуместность этой не шутки даже— подобия шутки.

Впрочем, вид у него и особенно у старика был такой, что, что бы они ни сказали, это все равно прозвучало бы мольбой о помощи.

Христина могла не пустить их к себе. Куда пускать? В эту холодную, похожую на прошлогодний гриб хату? А чем кормить? Они не попросят есть, но у них лица, руки опухли от голода. От голода у них сведены челюсти и болезненно блестят глаза. Когда Степан произнес: «Нам бы только переночевать»,— он говорил правду. Но правда была и в догадке Христины: ни завтра, ни послезавтра, ни, может быть, через неделю старик не сможет подняться, а кукуруза кончается, и макухи осталось полтора круга.

Она могла не пустить их к себе, но сама мысль об этом была страшна Степану. Когда выяснилось, что их путь лежит через это село, он сразу подумал: «Очень кстати. Есть где переночевать, а может быть, и отдохнуть день-другой». Однако если бы ему тогда сказали, что это невозможно, Степан не особенно огорчился бы: «Подумаешь, пойдем дальше». Теперь об этом не могло быть и речи. Куда — дальше? Старик едва стоит на ногах. Он привел его сюда потому, что больше некуда, потому, что здесь люди хоть немного знакомые. Степан хотел объяснить, что старику никак нельзя идти дальше. Он готов был рассказать, какой ценой остался в живых этот человек, мог напомнить о Федоре, который сейчас, быть может, идет такой же дорогой. Но никакие слова не понадобились. Христина отступила на шаг и открыла дверь.

7

— Умерла? — переспросил Степан и теперь понял, кого в избе не хватало. Оказывается, умерла старшая дочь Христины и Федора Катя, которая в год начала войны должна была идти в школу.

«Бсленькая была такая, в розовом платице»,— только и смог он вспомнить.

— Убило ее?

— Нет. Поболели они у меня в первую зиму, как пришли немцы. Сначала Степка, а потом она... Степка выдюжил, а она... Царство ей небесное...

Христина говорила тихо, покорно, и Степан обратил внимание на то, чего не заметил вначале. В углу, перед образами, едва теплилась красноватой точкой лампада. Помнится, иконы и раньше висели здесь, но тогда они как-то не привлекали к себе внимания. Можно было думать, что они остались от дедов-прадедов и не снимают их просто по привычке. Сейчас маслено поблескивающие фальшивым золотом оклады были украшены бумажными цветами, вышитое полотенце, обрамлявшее образа, было свежо, аккуратно расправлено, и вот — горела лампада. Это был, пожалуй, единственный угол в хате, на котором не лежала печатать запустения.

— В церковь ходите, тетя Христя? — осторожно спросил Степан.

Странное дело, ее он называл «тетей», а мужа — просто Федором.

Христина ответила не сразу и неохотно:

— Какая там церковь... Так, в одной хате иногда народ собирается.

— И давно вы это?

В вопросе Степана неожиданно для него самого зазвучало превосходство человека, который заметил за другим какую-то слабость. Он тотчас понял неуместность этого тона, устыдился его, испугался, не обидится ли хозяйка. А она, сразу став строже, сухо ответила:

— Ты никак исповедовать меня собрался...

Близко подвинувшись к крохотному каганцу, Христина чинила какую-то одежку. Коптящее, тусклое пламя все время колебалось, раскачивая упавшие на стены и потолок огромные тени. Окна были плотно завешены, хотя этого никто не требовал. Люди боялись своего света, прятали его: он привлекал внимание.

В хате было тепло. На печи тихонько посапывал мальчик. Старик лежал на широкой лавке неподвижно и беззвучно.

Пламя каганца казалось живым и несчастным, ему хотелось помочь. Когда оно почти совсем сходило на нет, Христина иголкой подтягивала фитиль, и огонек веселел. А красная точка внутри лампы как бы и не была огнем вовсе. Ее свет ничего не освещал, ничем не помогал человеку.

— А куда вы идете? — неожиданно спросила Христина. — Дед этот кем тебе доводится?

— Это дядя Костя. Сосед и родич мой. В городе жить совсем невозможно стало. Вот и идем, как цыгане. Куда? Туда! — Степан махнул рукой. — Откуда? Оттуда! — Он махнул в противоположную сторону. Его захватские слова и жесты совсем не вязались с видом обоих путников.

Христина вздохнула.

— Сколько вас, мужиков, за этот год через село прошло — видимо-невидимо. Сколько бездомных людей на земле развелось... И каждый идет, не знает куда.

Неподвижно лежавший на лавке старик зашевелился, поднял седую всклокоченную голову, с трудом сел и сказал:

— Это только видимость, будто не знает. Перед человеком всегда две дороги: прямо или в сторону. А сейчас в особенности. Прямо или в сторону.

Христина досадливо отмахнулась.

— Загадками, отец, говоришь. Сами-то куда идете? Молчишь? Вот так-то проще. Парень правильно сказал — как цыгане. А еще правильной — как телята, что от стада отбились. Бродят телята, волков ищут. А их и искать не надо. К нам вчера на трех машинах приехали...

— Чего это они? — насторожился Степан.

— У них спросить нужно... Хозяинуют, делают, что хотят. Как их голько господь бог терпит... — Христина с яростью оторвала нитку и встала из-за стола.

— А ты на бога сильно надеешься? — спросил старик так, что не понять было: серьезно или насмешливо.

— А на кого мне, на вас надеяться? — Христина заговорила громким злым шепотом. — Аники-воины... В церкви клуб устроили перед войной. Попа на Соловки отправили. Я-то знаю, что мой Федька в этом клубе вытворял. О боге и о матери только тогда и вспоминали, когда выругаться хотелось... Баб, стариков, детей бросили... Аники-воины... Разбежались... А батюшка наш теперешний и сейчас не боится — за победы православного воинства службы правит... Так на кого мне надеяться?

Степану казалось, что слова падают, как камни, и спрятаться от них в тесной хате негде. А старик хоть бы что.

— На кого надеяться, спрашиваешь? На себя надейся. Поп за православное воинство молится? Что ж, и ты на воинство надейся, хоть молитвы ему и без надобности. Оно и без них обратную дорогу найдет...

Порешили на том, что завтра с утра Степан срежет покрышки с колес разбитого автомобиля, застрявшего неподалеку в грязи и брошенного немцами. Дядя Костя утверждал, что, умеючи, можно из этих покрышек делать отличные подошвы и подметки. Христина обещала обойти соседей, справиться — нет ли какой сапожной работы. А на почин дела хватало — нужно было привести в порядок хозяйкины (одни на двоих с сыном) сапоги, да и Степанова обувь давно уже требовала ремонта.

8

Утром Степан вместе с тезкой, сыном Христины, отправился за село — срезать покрышки с автомобиля. Хозяйка ушла из дому еще раньше. Дядю Костю они оставили, как говорил Степка-младший, углы стеречь.

Стоял сухой, ломкий мороз, который все схватывал, стягивал. Улицы были пустыньны. Но почти из каждой трубы тянулся к небу колеблющийся, несмелый дымок. Только это говорило, что под каждой соломенной крышей идет своя жизнь. Раньше было село чем-то единым, целым. А теперь — две сотни дворов, как бы случайно оказавшихся вместе, две сотни раковин, из которых улитки не смеют высунуть рожки. Что объединяло живущих здесь людей, кроме настороженности, не покидавшей их теперь даже во сне, кроме затаенного, глухого и тяжелого чувства к чужеземцам?

Села не было — вдоль дороги рассыпались отдельные домики. И дувалось: вот было зеркало, потом одним ударом его разбили вдребезги. Казалось: попробуй соедини осколки снова вместе. Однако же каждый кусочек этого зеркала отражал все то же небо, все то же солнце. Может, так было и с людьми.

Работа оказалась трудной. Присохшая к резине грязь задубела. Потом пришлось резать плотный волокнистый корд. Степан совершенно измучился, пока отодрал от покрышки несколько хороших кусков. Затем выпотрошил скат окончательно, вынув камеру. Из нее, прикинул он, если удастся добыть или приготовить резиновый клей, можно сделать несколько пар отличных чунь. Степка-младший все это время пританцовывал вокруг от холода и мешал, стараясь помочь. В одно из мгновений Степан вдруг приметил: «Как похож на Федора!» — и спросил:

— Про отца давно не слышать?

Мальчик перестал размахивать руками.

— Так его ж убило...

Он сказал это удивленно: неужели не знаешь? И продолжал рассказывать:

— Они отступали на тракторах, а немцы налетели и разбомбили.

Степка говорил быстро, оживленно; он был слишком мал, чтобы по-настоящему чувствовать потерю.

Когда оба Степана вернулись, старик был не один. Зайдя со двора в полутемную комнату, старший Степан сначала не понял, кто это большой и черный сидит у стола. А когда понял — то был поп, — оробел и ступешивался. К людям церкви он всегда относился с некоторой робостью. Не понимал их и не знал, чего от них можно ожидать. Впрочем, близко стиливаться с ними ему никогда и не приходилось.

Большой и черный — это было только первое впечатление. Таким его делала одежда. Присмотревшись внимательнее, Степан обнаружил, что священник — не старый еще человек среднего роста, с рыжеватыми бородой и усами. Бороденка у него была жиденькая и закрывала только небольшую часть побитого оспой лица. Особенно заметны были оспины на длинном носу с подвижными ноздрями. Поп производил какое-то несерьезное впечатление, и это помогло Степану быстро оправиться. Даже сидя, этот человек все время как бы находился в движении. Он шевелил пальцами, гладил бороду, колени, потирал руки, морщил лоб. Правда, все это без суетливости, но Степану все равно было неприятно. Глаза у попа были светлые, козы, но цепкие, внимательные. Бесцеремонно опустив ими Степана, он спросил:

— Это и есть ваш племянник?

Дядя Костя ответил:

— Да.

— Значит, он и пойдет со мной?

— Пусть только отогреется.

«Куда это еще?» — подумал Степан с неприязнью.

Минуту спустя поп заговорил снова:

— Да... Хороший город...

«О чем он?» — не понял Степан. Видимо, продолжался разговор, прерванный их приходом.

— Я два раза был в нем до войны, — продолжал поп, шевеля пальцами. — Однажды целую неделю прожил в гостинице на этой — как она называется? — большой, обсаженной каштанами площади. Отличная была гостиница... Интересно, она уцелела?..

«О нашем городе расспрашивает», — подумал Степан равнодушно.

— ...Горячая и холодная вода в умывальнике, лифт, ковровые дорожки... Но как же называется площадь?

На этот раз в голосе попа прозвучала показавшаяся Степану странной настойчивость. Он обращался к дяде Косте, а тот занялся изучением только что принесенных кусков резины и будто не замечал вопросов, будто ничего не слышал. И здесь Степан словно прозрел. Перестали покалывать почувствовавшие тепло пальцы. Да ведь все это притворство! Старику просто нечего отвечать, оттого он и притворяется, что не слышит вопросов. Он же не знает города, он его, по сути, не видел! И поп, этот подлый поп, только разыгрывает любопытство и забывчивость. Он допрашивает старика, тычет его носом: никакой, мол, ты не местный горожанин и не сапожник. Ты просто сбежал. Вот только откуда? Сейчас он прямо спросит: «Откуда?» Наверняка поп помнит, что и гостиница и площадь называются одинаково...

— Советская, — хрипло сказал Степан. — Эта площадь называется Советская.

Поп с улыбкой посмотрел на него своими козыми глазами. «Тварь», — подумал Степан с отвращением.

— Называлась, вы хотите сказать? — Он уже не шевелил пальцами, а наматывал на один из них конец кушой бороденки. — Сейчас ей, конечно, вернули старое название.

В разговор вмешался старик.

— Но люди больше привыкли к этому.

Степану не понравился мимолетный, но внимательный взгляд, который бросил при этом старик на попа. Чего суется, если не знает? А поп, как бы ничего не заметив, вернулся к прежнему:

— А какой ресторан был в гостинице... Вы помните?

Он спрашивал старика. Тот пожал плечами.

— Да, ничего себе был ресторан.

«Купил, купил его подлый поп, — подумал Степан. — Теперь все». Что «все», он не знал. Но он знал, что никакого ресторана в гостинице не было. Номера начинались с первого этажа. Это, несомненно, было известно и священнику, потому что больше тот ни о чем не спрашивал. Он, видимо, уяснил себе то, что хотел уяснить, и теперь молча размышлял. Неожиданно поп сказал:

— Вот так одолевают иногда мирские воспоминания. Ведь я до войны был бухгалтером. Приходилось ездить. То «утрясать» баланс, то добиваться нового финансирования, то ссориться с дебиторами...

Странно звучали эти слова, когда их произносил человек в черном подряснике, с крестом на груди, с длинными волосами. Степан попытался представить себе попа в роли бухгалтера и не смог. Весь этот полный недомолвок разговор тяготил Степана. Как можно так «загонять на лед» другого человека, выворачивать его наизнанку, пряча в то же время собственное естество! Есть же такие мастера. В темноте осветит лицо прожогого фонариком, ослепит, высмотрит что-то и скроется. А человек стоит в растерянности, с таким чувством, будто его обокрали.

Не зная, как прекратить это, Степан сказал:

— Я уже отогрелся.

— Ну что ж, пойдем, мальчик, возьмем сапоги. — Поп, кряхтя, поднялся с лавки.

Когда они ушли, дядя Костя достал из котомки сапожный инструмент, потом пошел в сарай, нашел завалявшееся березовое полено, вместе со Степкой-маленьким разыскал пилу.

— Будем шпильки делать.

— А что это? — не понял мальчик.

— Гвозди деревянные, чтобы подметки прибивать.

Вдвоем они взялись отпиливать от полена тоненький кружок. За этим делом и застала их Христина.

— Ничего, хозяйка, что в хате мастерскую устроили? Кончим, опилки сами заметем.

Старик сказал это почти весело. Дело, видимо, оживило его.

— Бог в помощь, — ответила женщина.

— Опять ты его вспоминаешь... Эй, парень! — прикрикнул старик на мальчика. — Гляди, пила пальцы отхватит, она зубастая. — И снова Христина: — А он о тебе что-то не очень помнит...

— Кого же мне еще вспоминать?

— То-то и оно, — оживился старик. — Хватаетесь за бога, когда вроде бы ничего больше не остается...

Скрипнув дверью, в хату зашел Степан. Он положил сапоги на лавку.

— Когда будут готовы, велел, чтобы вы сами на квартиру доставили. А это задаток за работу. — Он достал из-за пазухи круглый хлеб и завернутый в тряпочку кусок сала.

— Отдай хозяйке, — сказал дядя Костя, — в общий котел.

Когда Христина вышла, наигранная лихость оставила Степана, он будто слинял, перешел на громкий шепот:

— Давайте удирать отсюда, пока не поздно.

— Чего это ты? Или задаток мал? — Дядя Костя попробовал усмехнуться, но усмешка получилась угрюмой.

— Не нравится мне здесь. Этот поп все высматривает, вынюхивает... Где шли? Что делали? Что собираемся делать?

Но старик слушал спокойно, даже холодновато.

— И все?

— Немцев полно. А старостой знаете кто? Зензибер.

— Кто?

— Совхозный бригадир Сафонов.

— Ты что, боишься его?

Степана прорвало. Старик говорил, будто подначивая, будто показывая свое превосходство.

— Не домой прошусь. Или не понимаете? Вперед пошли. Вы, я вижу, сильно храбрый.— Он говорил громко.— По лагерям соскучились. Или в Германию захотелось?

Его перебила Христина, которая неслышно зашла в комнату:

— Будет лаяться. Садитесь обедать.— Она слышала весь разговор.

Старика Христина посадила в голове стола, на хозяйском месте. Степан отметил это. Сама она хлебала из одной миски с сыном, подвигая ему ложкой плававшие в юшке кусочки сала.

— Помолиться перед обедом забыла? Или нас стесняешься? — спросил дядя Костя.

— А ты мне что, отец или свекор? — ответила Христина, отламывая кусочек от своего хлеба и подкладывая сыну.

«Ну и вредный старик»,— подумал Степан беззлобно. Горячая хлебка как-то сразу сделала его добрым.

Старик ел неторопливо и негромко. Деревянная ложка была, видно, непривычна ему. Громче всех, сопя и причмокивая, хлебал Степка-маленький. Он уже облизал свою ложку и остаток похлебки — несколько капель — выпил прямо из миски, через край. Дядя Костя время от времени поглядывал на него и, когда мальчик кончил есть, дал ему немного своего хлеба.

— Это тебе на закуску.

Христина хотела было возразить, но он сказал:

— Ребенку больше нашего нужно. Он растет.

После обеда Христина пошарила на полке, где была свалена всякая всячина, и положила на стол мешочек.

— Закуривайте. А то, я вижу, у вас своего курева нет. Федору в дорогу готовила, а он второпях забыл.

Старик взял в шепотку золотистой махорки, понюхал и с сожалением сказал:

— Спасибо хозяйка. Жаль добро переводить. Не курю я.

Странное дело: Христину это огорчило. Мужчина все-таки должен курить.

Остаток дня занимались делом: Степан приводил в порядок куски резины — заготовки для будущих подметок, старик крошил отпиленные от березового полена кружки. Вначале он расщеплял кружки на тонкие пластины, заострял эти пластины с одной стороны, а затем ловкими, уверенными движениями крошил их, превращая в маленькие деревянные гвозди, источавшие едва заметный щекоочущий запах. Степка-маленький без матери (она ушла из дому) совсем осмелел, лез руками под самый

нож, сгребая шпильки в кучу. Наконец их высыпали на сковороду, разровняли тонким слоем и поставили сушить.

У Степана работа шла медленнее, и дядя Костя пришел ему на помощь. Он показывал, как нужно делать, и все у него получалось так легко и просто, что Степан подумал: «А он вроде и впрямь сапожник!» Раньше Степан считал инструмент, который они ташат с собой, чем-то вроде маскировки и с тревогой думал: а что будет, если какой-нибудь полицейский, скажем, задержит их и заставит починить себе сапоги? Старик, выходит, не так уж и беспомощен. И однако Степан был уверен: никакой он не сапожник.

— Где вы научились этому? — спросил он дядю Костю.

— Чему жизнь не научит! — не то шутя, не то серьезно откликнулся тот. — Ну ладно, давай выполним свой долг — починим сапоги этому юноше, хозяйскому сыну.

Степану это понравилось.

— Тезка, — скомандовал он, — тащи сюда свои колеса!

К приходу Христины сапоги были готовы. Узнав об этом, она неожиданно расплакалась.

— Спасибо, люди добрые, что о сиротке позаботились.

Старик с напускной сердитостью отмахнулся.

Свет погасили рано, но еще долго не спали, переговариваясь в темноте. Больше говорили Степан с дядей Костей. На парня вдруг нашла охота спрашивать о самом разном. И старик отвечал, рассказывал, чувствуя, что Христина тоже слушает. Говорил неторопливо и сам, видимо, испытывал какое-то удовольствие от своего рассказа, будто вспоминал что-то почти забытое, далекое. Его не перебивали, и, когда он замолчал, в комнате долго еще было тихо. Дядя Костя решил, что Христина и Степан заснули, как это уже было во время ночлега в скирде, но спустя немного парень спросил:

— А вот скажите, почему так получается: мы уже столько идем, много сел прошли, а партизан ни разу не встретили...

Вопрос Степана был неожиданным, но еще неожиданней было то, что в разговор вмешалась Христина.

— А зачем они тебе понадобились? — недружелюбно спросила она.

— Да я так просто...

— То-то и есть, что «так просто». «Так просто» их здесь оставили, «так просто» выловили немцы и «так просто» повесили...

— Кого же это «их»? — спросил старик.

— Кого же еще? Тех, про кого вы спрашиваете.

И она рассказала, как несколько месяцев назад всех жителей села согнали на площадь. Там стояла окруженная солдатами крытая машина. Из нее вышли двое. Затем еще двое вынесли обвисшего у них на руках товарища. По толпе прошел стон. Все узнали односельчан. Тот, что не мог идти, был директор совхоза Фома Алексеевич. Арестованных повели в клуб — бывшую церковь. Там на перилах колокольни висели заранее приготовленные петли. Их было пять.

Человеку связывали руки и ноги, надевали петлю, табличку с надписью «Партизан», и двое солдат осторожно опускали связанного за перила. Первый попытался сопротивляться, и его оглушили ударом по голове.

Фома Алексеевич был последним. Неожиданно рванувшись вперед (и откуда только взялись силы!), он крикнул что-то про Сталина и родину.

— Ни за шапову душу пропали,— тихо продолжала Христина.— И какой это вредитель приказал им остаться здесь! Это в наших местах, где и лесов настоящих нет. Ведь укрыться-то негде. И потом — какой из Фомы Алексеевича партизан! Большой человек... И ведь его ж знал тут каждый...

— А как Зензибер стал у вас старостой? — спросил Степан.

— Он скоро после этого в селе появился.

9

На следующий день снова пришел поп.

— Хозяйки нет? — спросил он и сел на прежнее место у стола, потирая озябшие руки.— Как работа?

— Вашими молитвами,— ответил старик, занимавшийся как раз поповскими сапогами.

Работая, он чему-то улыбался, потом спохватился:

— Извините, это я собственным мыслям...

— Вспомнили что-нибудь веселое?

— Какое там веселье! — махнул рукой старик. Он вколотил еще несколько шпилек и удовлетворенно сообщил: — Вот один ваш сапог и готов. Задаток, значит, мы отработали.— Дядя Костя подмигнул Степану, но тот по-прежнему хмурился.— А вы знаете,— продолжал он,— прихожане вас хвалят. Смелый, говорят, у нас батюшка...

Степан насторожился: что это еще старик придумал?

— ...Не боится, говорят, возносить к престолу всевышнего молитвы о даровании победы православному воинству.

— Неразумные овцы стада божьего,— смиренно отозвался поп.

Старик углубился в изучение второго сапога, как бы говоря: «Если есть дело, выкладывайте». Но дела у попа, наверно, все-таки никакого не было, потому что сказал он самое обычное и даже скучное:

— А не успеете ли вы починить мне еще одну пару сапог?

Дядя Костя оторвался от работы.

— Простите, не понял. Что значит — успеем ли?

Поп объяснил:

— Я это к тому, что не знаю, долго ли вы еще будете в этом селе. Правда, спешить, по-видимому, некуда, здесь спокойно. А километрах в пятидесяти начинаются большие леса, и там, знаете, шалят...— Помолчав, он добавил: — Пошаливают...— И опять замолчал, будто приглашая вступить в разговор. Дядя Костя, однако, не спешил принять это предложение, и священник продолжал, словно размышляя вслух: — Конечно, и здесь спокойствие относительное. Господин Сафонов, сельский староста, сказал вчера, что германское командование намерено сделать Грушевку главной опорной базой для борьбы с партизанами. А ему можно верить. У него отличные отношения с районной комендатурой после того случая с задержанием в Дальнем бору группы местных активистов. Слыхали об этой истории? Говорят, эта операция стала возможной благодаря ему...— Рассказывая, поп теребил конец бороды, морщил лоб, его козы глаза ничего не выражали. А Степан замер: значит, это Зензибер выдал Фому Алексеевича...— Вообще, должен сказать, господин Сафонов — интересная личность. Глядя на него, невольно думаешь об удивительной способности, дарованной господом живым существам,— умении приспособливаться... Как-то пришлось мне читать о ребенке, попавшем в среду диких зверей. Он прижился среди них. Дара речи — драгоценного, так сказать, приобретения человека — младенец, разумеется, лишился, ибо вокруг не было подобных ему, зато научился подвывать по-звериному. И знаете, невероятно страдал оттого, что вой этот полу-

чался у него не совсем так, как у животных, а хуже. Забавная история, не правда ли? Конечно, она не имеет никакого отношения к предмету нашего разговора, но господин Сафонов, видимо, тоже страдает и потому проявляет особое рвение.

Недомолвки и словесные кружева, которые плел поп, еще с первого раза раздражали Степана. Но сейчас он не выдержал и ворвался в разговор, как шенок в куриный выводок:

— Страдает ваш Зензибер потому, что не научился как следует кричать «хайль»? Или мало ему заплатили?

Священник замолчал, еще выше поднял брови, так, что лоб его окончательно сморщился, стал совсем маленьким, и удивленно посмотрел на дядю Костю: простите, мол, но разве я дал повод понимать меня таким образом?

Старик ничем не проявил своих чувств.

— А в лесах шалют? — только переспросил он, с особым смаком произнося это слово — «шалют».

— Да, пошаливают, — осуждающе ответил священник. — Совсем недавно совершено нападение на комендатуру в соседнем Черновском районе.

— Вы говорите, в Черновском? — встrepенулcя дядя Костя.

— А вы бывали в тех местах? — тут же засек его священник. Старик не ответил, и тогда поп как бы подвел итог всему разговору: — Одним словом, я вижу, вы вряд ли успеете починить мне вторую пару сапог.

Дядя Костя согласился:

— Пожалуй, это верно.

Священник поднялся. Уходя, он напомнил:

— Так вы занесете сапоги ко мне сами.

— Когда это лучше всего сделать?

Теперь они стояли рядом и смотрели друг другу в глаза — два таких разных человека.

Наконец священник ответил:

— Об этом вам скажет Христина. — И, путаясь в полах длинной рясы, ушел.

В тот же день состоялась еще одна встреча.

За окном послышался скрип снега. «Возвращается Христина!» Но то была не она, потому что в дверь постучали. Степан шагнул к двери, но она уже открылась. На пороге стоял немец.

Степан удивился: так это стучался, прося разрешения войти, немец? Ни о чем похожем он до сих пор не слышал. Они стучат в дверь только тогда, когда она заперта, — с требованием отворить. Они стучат также прикладами, чтобы взломать дверь. Но стучаться из вежливости!.. Нет, про такое он еще не слышал.

Немец между тем зашел в хату. Он был невысок ростом и, шагая через порог, только из осторожности нагнул голову под притолокой. Блестнув очками в тонкой никелированной оправе, солдат повернулся к дяде Косте.

— О, пан! А где есть матка?

Видимо, он удивился, встретив столько мужчин в доме.

Вперед вылез Степан. Вначале он развел руками: матки, мол, нет, — а потом махнул рукой: ушла.

— Ах так... — Немец понимающе кивнул головой и, немного помедлив, спросил: — Надолго?

Это было ошеломляюще: он спросил по-русски, самым что ни на есть русским словом.

— На речку. Белье полоскать.

— Так...— повторил немец и опять повернулся к дяде Косте (он, видно, считал его хозяином).— Я могу ждать?

Странно, но Степан вздохнул с облегчением: солдат говорил по-русски нечисто. Старик вместо ответа пожал плечами: как хотите.

Не дожидаясь приглашения, а может быть, не рассчитывая на него, немец сел, но тут же вскочил:

— На речку? Мыть вещи?

— Полоскать,— объяснил Степан.

— Но сегодня, сегодня,— сказал немец,— зимно, холодно. Это мои вещи.

— Это все, что вас беспокоит? — Старик угрюмо усмехнулся.— Тогда не волнуйтесь. Здесь женщины всегда полошут белье в реке. Так что вы ни при чем...

Он думал, что сказанное будет слишком сложно, и солдат не поймет, но тот посмотрел на старика внимательней прежнего, кивнул и снова сел. Немец помолчал немного, морща лоб (наверное, подбирал слова), и наконец сказал:

— На востоке женщины... immer...— Он вопросительно посмотрел на старика.

— Всегда,— подсказал дядя Костя.

— О! Всегда. Всегда работают тяжело.

На лице старика сохранялась все та же угрюмая усмешка. Он как бы закончил мысль немца:

— А мужчины ничего не делают.

Солдат с интересом смотрел на него, переваривая сказанное, потом, когда смысл дошел, хлопнул себя по колену и громко засмеялся. Успокоившись, он ткнул пальцем в сторону дяди Кости.

— Вы хитрый.— И, достав сигареты, предложил угощаться.

Старик отрицательно покачал головой, а Степан объяснил:

— Не курим.

Затянувшись, немец приложил палец к груди и назвал себя:

— Карл.

Это было приглашение, и его поняли. Парень откликнулся первым:

— Степан.

— О, Стефан,— сказал немец.

Старик усмехнулся и тоже назвал себя:

— Дядя Костя.

— Дядя Костя? — повторил вслед за ним Карл. Он произносил мяг-

ко — «дядья».

— Константин.— Это Степан назвал имя полностью.

— О, Константин! — воскликнул немец.— Я знаю. Byzanz! Konstantin Porphyrogenetos! Konstantin der Große!..¹

— Ну, мы попроще,— сказал старик.

— Вы меня поняли? Вы знаете язык? — удивился солдат.

— Но ведь и вы говорите по-русски,— уклонился от прямого ответа дядя Костя.

— О, когда я был студентом, я учил его, чтобы знать Достоевского. Вы знаете? Это был великий человек. Много говорить не надо. Вы меня понимаете.— Маленький рот немца, сдавленный подушечками щек, странно округлялся, когда он произносил хоть и знакомые, но чужие, непривычно звучащие слова.

— Вы инженер, доктор? — осторожно спросил старик.

¹ Византия! Константин «агринородный» Константин Великий!

— Я учитель,— торжественно ответил немец.— В гимназиум я учил детей германской литературе.

Бесшумно появилась Христина. Она открыла дверь, даже не звякнув щеколдой. Увидев немца, побледнела, губы у нее задрожали, она обессиленно прислонилась к дверному косяку. Карл заметил это и засуетился.

— О, matka! Хорошо. Не надо бояться.

Он сказал, что придет за бельем завтра вечером, а то, что она не успела приготовить его, неважно.

— Сегодня-завтра... Мы имеем время ждать.— И он снова повторил: — Не надо бояться.

У него был виноватый вид, и он заторопился.

Степан, наблюдая эту сцену, не переставал удивляться. «Хороший немец?» — думал он и пожимал плечами. Это выглядело неправдоподобно, хотя и раньше ему приходилось изредка слышать, что вот какой-то немец дал пару галет соседскому пацану или что-нибудь в этом роде. Сам он ничего подобного не наблюдал.

А Христина, едва ушел немец, тихо, судорожно заплакала и с трудом спросила:

— Где Степка?

— Не приходил еще. Степан, а ну пойди поищи тезку.

Степан вышел.

— Что случилось?

— Ох, думала за мной, окаянный, пришел.

— Но что же случилось? — В голосе дяди Кости зазвучало раздражение. Вид плачущей женщины выводил его из себя.— Ради бога...

Христина опустила за стол, прижала руки к груди и ничего не могла сказать членораздельного, только кивала головой и время от времени бормотала:

— Да, да, да...

Оказывается, когда она полоскала белье, пролетел над селом советский самолет и сбросил листовки. Зензибер объявил всем, что пристрелит любого, у кого найдет «афишку», даже немцам не будет сообщать. Но большинство листовок ветром унесло за речку. Сельские мальчишки побежали туда. Христине показалось, что среди ребят был и Степка. Сафонов заметил детей. Когда ребята возвращались, он решил их перехватить. Подпустил поближе, а потом крикнул, почему-то по-немецки: «Хальт!»

Видно, хотел, чтобы получилось пострашнее и внушительнее. Ребята кинулись врассыпную. Сафонов погнался за ними, но помешала хромота. Упал. Поднялся злее злой собаки и матерщинил последними словами. Подошел к вербе, снял винтовку, и Христина поняла, что он хочет делать. Чуть поодаль высокий берег становился пологим. Ребятам это место не обойти, а там они будут как на ладони. Он будет стрелять. Христина подумала о Степке и хотела закричать, нельзя было не крикнуть, но этот аспид был рядом. Христина видела его — он застрелил бы ее, если б она крикнула. Ребята должны были вот-вот выбежать на берег. Тогда Христина (она сама не знала, как это получилось, просто не думала об этом) изо всей силы ударила его сзади по голове дубовым вальком, которым колотила белье. Сафонов сразу же упал. А она, обеспамятев, все еще продолжала бить его по голове.

Рассказывая, Христина дрожала, как от озноба, временами суетливо поправляла платок, куталась в него, застегивала и расстегивала пуговицы.

— Когда это было?

Старик дал ей напиток, Христина немного пришла в себя.

— Только что...

— Кто-нибудь видел?

Она отрицательно замотала головой.

— Ты его там и оставила?

Она кивнула.

Старик глянул в окно. Начиало вечереть.

— Что-то долго Степан ищет тезку,— сказал он, раздумывая, и наконец принял решение: — Поднимайся, пошли.

Христина послушно встала.

На берегу никого не оказалось, и следы показывали, что после Христины никто сюда не приходил. Во льду темнела прорубь.

Нужно было спешить, а Христина, когда старик попросил помочь, с ужасом отпрянула от трупа. Она не могла себя заставить не только прикоснуться — смотреть на него. Но дядя Костя прикрикнул, и она подчинилась. Они опустили тело в прорубь так, чтобы его быстрее затянуло под лед. Потом старик шапкой разровнял следы, проверил, не осталось ли пятен крови вокруг, поднял валец и тут же отметил про себя: «Тяжелая штука, подходящая...» Короткое колебание вызвал у него карабин. Был соблазн тоже отправить его в прорубь. Но когда он взял его в руки, шелкнул затвором и вдруг впервые за долгое время почувствовал себя человеком — черт возьми, человеком, который отныне не намерен кого-либо бояться,— то понял, что не сможет его выбросить. Он надел ремень карабина на плечо и сказал:

— Бежим отсюда, пока нас не заметили.

Он снова чувствовал себя молодым и сильным, он готов был помяться над теми, кто считал его стариком. Запоздавшую досаду вызывало то, что не сообразил снять с убитого подсумок с патронами, не обыскал его — в карманах могли оказаться пистолет, граната. Однако черт с ним! Карабин с одной обоймой — для начала тоже неплохо.

10

На этот раз Карл не спешил уходить. Уже давно он опорожнил свою брезентовую сумку, вынув хлеб, кусок мыла, пачку искусственного меда, которую вручил Степке-маленькому, затем сложил в сумку выстиранное Христиной белье, а уходить все не собирался. Курил трубочку и с любопытством наблюдал работу старика и Степана. Те сапожничали. Наконец, немец сказал:

— Вы очень бедный народ. То, чем вы живете, для европейца — смерть.

Не докурив, он выколотил трубку и достал сигареты. Распахнулась шинель, и стала видна на борту мундира пришитая наискось вверх красная ленточка. «Орден»,— догадался Степан.

— Eisernes Kreuz zweite Klasse¹. Понимаешь?

— Польша? Франция? — спросил старик.

— Ostfront. Russland². Контратака русских. Я был... пулеметчик...

— Понятно,— кивнул головой старик.

Странное чувство испытывал он при этом. «Контратака русских...» Не одна ли из тех контратак, в которых и ему приходилось участвовать? И не этот ли немец пулеметчик подсек его, когда он, не зная иного способа поднять залегших под огнем бойцов, крича и размахивая наганом, рванулся вперед? Спросить бы об этом... Нет... Он должен бы испыты-

¹ Железный крест второй степени.

² Восточный фронт. Россия.

вать просто ненависть к этому сидящему рядом чужому солдату, желание убить его. Но все оказывалось гораздо сложнее.

Вдруг Карл спросил старика:

— Вы, конечно, служили в своей армии. Кем вы были?

Ответа он ждал с любопытством.

Дядя Костя знал, что рано или поздно такой вопрос возникнет, и все-таки не был готов к нему. Однако отвечать нужно, и он сказал:

— Вы уверены в этом?

Сказал и тут же на себя обозлился. Разговоры, похожие на игру в кошки-мышки, стали невыносимы для него после того, как он снова держал в руках оружие.

Карл пожал плечами.

— Я понимаю вас. Вы мне не можете доверять.— Он добавил по-немецки, будто размышляя вслух: — Мы плохо показали себя в этой войне. Мы перестали быть честными солдатами.

— Удивительно слышать это от немца...— Больше старик ничего не мог сказать.

— Что поделаешь...— Солдат снова пожал плечами и запахнул шинель, словно для того, чтобы не видеть ленточку на мундире.— Schicksaal. Как это по-русски? Судьба? Да, судьба. Понимаете, когда очень быстро едет поезд... Как это по-русски? Мчится? Да, когда мчится поезд, разве может остановить его человек, запертый в теплушке? Самое большое, что он может сделать... Впрочем, что он может сделать? Ждать...

— Ждать? Чего?— Это спросил старик.— Остановки? Или крушения?

В глазах немца вдруг появилась какая-то цепкость, да затянулся он из трубки глубже обыкновенного. Во всем остальном он был тот же, что и минуту назад, но Степан сжался в предчувствии того, что сейчас это спокойствие взорвется, и он увидит наконец здесь, в закопченной, плохо освещенной комнате, немца — настоящего, такого, какими он их привык видеть за эти долгие месяцы. Напряжение испытывал и старик. Он снова взялся за работу — методично вгонял в подметку шпильку за шпилькой. Занятый своими мыслями, Степан, не прекращавший разделявать ножом куски автомобильного ската, порезал палец, сунул его в рот, отсасывая солоноватую кровь. Немец (глаза его опять стали спокойными и задумчивыми) достал из кармана и бросил ему эрзац-бинт — бумажную ленту, — выколотил трубку и медленно, подбирая слова, сказал:

— Вы говорите опасные вещи.

И опять Степан напрягся. Успокаивала его эта лента из пористой бумаги, которую бросил немец.

— Я солдат, и мне не подобает это слушать.

Помолчав, он внушительно добавил:

— Мы здесь, мы в Африке, Франции, Скандинавии. Это вам ничего не говорит?

Однако вопрос звучал риторически, и старик ничего не ответил. Они сидели, каждый занимаясь своим делом (немец снова попыхивал трубочкой), каждый думая о своем. Потом Карл спросил:

— А что может сделать человек, запертый в теплушке? Ведь поезд летит во всю мочь.

Выражение его лица при этом оставалось безразличным, но то, как он говорил — все так же медленно, тщательно подбирая слова, — против его воли придавало сказанному значение.

Старик отложил в сторону молоток и поднял голову. Свет копилки подчеркивал каждую морщину на его лице, глаза смотрели требовательно и строго.

— Что может сделать человек? Я знаю, что наши люди, которых увозили в плен в таких поездах, прорезали полы вагонов, бросались между рельсов...

Немец перебил его:

— И попадали под колеса?

Старик улыбнулся с совершенно невероятным, презрительным превосходством, и Степан почувствовал, как сердце восторженно, гулко заколотилось от этой улыбки. Каким-то почти неуловимым движением старик расправил плечи (сколько скрытого смысла увидел в этом неприметном движении Степан) и сказал:

— Некоторые оставались живы...

Немец поднялся.

— До свидания. Нужно уходить. *Zu spät*. Поздно.

Он стоял посреди комнаты. Обыкновенный, маленький человек, который — так думал старик — был бы, возможно, совсем другим, не будь на нем шинели. Шинель подчиняет, обязывает, даже меняет походку. Она — танк, подводная лодка, бронированная кабина самолета. В нее залезают, чтобы стрелять.

Карл сказал:

— Вы умный человек, но вы смотрите на меня в бинокль. На таком расстоянии это ничего не даст. Только заболит голова.

Прощаясь, он приложил руку к шапке.

— *Auf wiedersehen*.— Карл повернулся к Христине: — До свидания, matka.— И уже возле двери добавил: — Не надо бояться..

11

На следующий день Христина сказала:

— Батюшка велел сегодня принести сапоги.

Дядя Костя начал собираться. Надо было показать ему дорогу, и Степан тоже поднялся.

— Не нужно,— остановил старик.— Меня проводит Христина.

Почему Христина? Степан остался один, и вот, как всегда, когда делать нечего, в голову полезли разные мысли, вспомнились горести и обиды. Растормошил его Степка-маленький, который пришел немного погодя. Настроение у него было под стать тезкиному: мать встретила на улице и загнала в хату. Последнее время Христина боялась выпускать сына из дому.

Вначале Степка сопел и хныкал. Потом разыскал кусок твердой, как жернов, макухи и с ожесточением вгрызся в нее, подшморгнув носом. Это заняло, развлекло его.

— А у тебя была когда-нибудь ворона? — ни с того ни с сего спросил он.

Степан посмотрел с удивлением. Мальчик вертел в пальцах черное перо.

— А у меня была. Это от нее осталось. Хочешь, возьми себе.

— Какая ворона? — по-прежнему ничего не понимал Степан.

— Кара. С подбитым крылом. Она жила у нас. Я учил ее разговаривать.

— Где же она делась?

Мальчик виновато вздохнул.

— Я съел.

— Как это?

— А так. Заболели мы с Катькой и ничего не стали есть. Тогда мамка спрашивает: «Хотите, курицу сварю?» Я говорю: «Хочу». А Катька: «Где

ты ее возьмешь? Немцы всех переловили». «Найду»,— говорит мамка. Принесла она нам суп, а Катька говорит: «Покажи голову куриную, тогда буду есть». Мамка ругала ее, заставляла, только Катька все равно есть не захотела и померла. Я сам все поел. А когда выздоровел, нашел в сарае Карину голову отрубленную и перья. Это из нее мамка куриный суп варила,— закончил Степка с сожалением.— Так я и не научил ее разговаривать.

— Ну и как суп из вороны? — полюбопытствовал Степан.

— Ничего. Подходящий. Потом варили бурду из макухи — та хуже. Живот от нее болит.

Оба были голодны и, видимо, долго еще говорили бы о еде, но вернулись старшие. Старик казался озабоченным.

— Будем собираться,— сказал он.— Уходить нужно.

— Куда?

— Дальше. Отсиживаться нам нечего. Войну не пересидишь. В ночь и пойдем.

— В ночь? Где ж это мы блуждать будем?

Уходить на ночь глядя, по совести говоря, не хотелось. Несколько раз Степан порывался снова заговорить об этом, но сдерживал себя. Так до самого вечера и промолчали. Только Степка-маленький затеял какую-то тихую игру на печке и разговаривал сам с собой. Потом он заснул.

Вышли из дому, когда уже совсем стемнело. У Степана зарябило в глазах от великого множества звезд. Они были всюду, даже в снегу. Навстречу тишине и морозу откуда-то изнутри поднялось чувство одиночества и тревоги. Привычно отыскились над горизонтом три знакомые яркие звезды. Они показались сегодня похожими на звено самолетов-истребителей, развернувшихся для атаки.

— Снег хрустит. Это плохо,— вполголоса сказал старик. Он велел Степану подождать и скрылся за углом хаты.

Когда старик вернулся, Степан вздрогнул: на плече у дяди Кости висел карабин. «Откуда?» — изумился он, но спрашивать было некогда.

— Ну, мы пошли,— сказал старик и протянул Христине руку, а она, будто не видя этой руки, потянулась к нему, неловко обняла его, потом обняла Степана.

— Идите.

И это было все. Они опять остались вдвоем.

Охранять, собственно, было нечего. Разве что этот столб с надписью «Rauchen verboten!»¹. Вряд ли кто-нибудь решится посягнуть на три грузовика и несколько бочек с бензином. Но порядок есть порядок. Военное имущество положено охранять.

Карл прислонился к столбу. До смены оставалось полчаса. Очень хотелось курить. Но от этого можно удержаться. Очень не хотелось думать. От этого удержаться было невозможно. Правда, имелось два средства заставить мозги работать вхолостую: отсчитывать секунды или вспоминать старые стихи.

Очень хотелось курить.

Послышался скрип снега. Или это только показалось? Неужели идет смена? Значит часы отстают. Карл зашагал навстречу.

Раз, два, три, четыре... шесть... восемь...

Время быстрее идет, когда считаешь шаги... Девять, десять... Подняв голову, Карл встретился с чужими глазами. Они его остановили.

¹ «Курить запрещается!»

И сразу разрушилась тишина, зазвенело в ушах. И самое невероятное заключалось в том, что это были знакомые глаза. В руках у русского старика была винтовка.

...Христина боялась оставлять сына одного, старик это понимал и даже не просил, чтобы она их проводила. В конце концов выйти из села не так уж трудно. Ему казалось, что дорогу он запомнил, да и Степан здесь бывал раньше. Чтобы не делать крюк, решили село пересечь. Рискованно? Вряд ли. Патрулей немцы не выставляли, а часовые вроде были только у бывшей конторы, где разместились солдаты, и у складов. И вдруг эта встреча. Бежать было бесполезно. Нужно было бить. Но вместо того чтобы ударить его, старик смотрел прямо в лицо Карлу и видел, как в стеклышках его очков дрожали звезды. Он смотрел на него с тоской, ожиданием и непонятной надеждой. Понимая, нет, не понимая, а скорее чувствуя, что делает не то, что нужно, он подался вперед, шагнул к Карлу, протянул руку, чтобы коснуться его, чтобы сказать: «Ну, решайся. Смелее».

На что «решайся»? Что — «смелее»? Об этом не думалось, это подразумевалось. Впрочем, подразумевалось, кажется, одним только стариком. Даже Степан (он был рядом) не понимал его медлительности и страдал, чувствуя, как с каждым ударом сердца все гуще, все липче становится опасность.

Старик подался вперед (карабин он держал наперевес), шагнул к немцу, протянул руку, и тогда тот будто ожил. Вначале он просто отшатнулся, но уже в следующее мгновение движения его стали четкими и как бы автоматическими.

Дядя Костя опередил его на один только миг. Он свалил немца гулким выстрелом...

— Жалко человека,— сказал старик.

Но это он сказал уже утром, когда позади остались беспорядочная стрельба, бешеный бег по закоулкам села и боязнь погони.

— Зачем же вы его убили? — насмешливо спросил Степан.

У него теперь тоже был карабин, и он то надевал его на плечо, то нес в руках, то поглаживал, то старательно прижимал к боку локтем. Размышления старика казались Степану пустословием, никчемным делом.

— Зачем, ты спрашиваешь? Я не мог иначе. Я защищался.

— Глупости все это,— с той же насмешливостью отрезал Степан и строго добавил: — Не защищались мы, а нападали. И правильно делали.

Неожиданно Степану пришла еще одна мысль.

— Вы говорите: «Я не мог иначе». А может, он тоже не мог.

— Это ты правильно,— согласился дядя Костя.— Потому и жалко, что не смог.

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем.

— Не может быть. Человек всегда о чем-то думает.

— Это правда. Тогда я об отце.

— Матери у тебя нет?

— Бросила нас еще до войны.

— А отец? Я никогда не спрашивал тебя об отце.

— Если жив, он на фронте. Его забрали в армию, когда я был на селе. Вернулся домой и нашел только записку.

— Что он писал?

— Велел добраться к тетке Клавдии в Таганрог. Туда, писал, немцы наверняка не дойдут.

— Дошли.

— Все равно не успел я никуда уехать — немцы пришли. Как-то незаметно пришли. Чудно было. В первые дни даже плакаты старые оставались висеть. У нас большущий плакат висел — «Три богатыря». На материи нарисованный. Знаете, открытка такая есть — «Три богатыря»?

— Не открытка, а картина.

— Не знаю. Я картины не видел. Я видел открытку. Еще эти три богатыря на обертке от шоколадных конфет нарисованы. Только там настоящие богатыри, а на плакате других нарисовали... Чего смеетесь — не верите?

— Нет, это я так, своим мыслям.

— А рядом другой плакат. Работага нарисован с ружьем и гранатой. А под ним надпись: «Все на защиту родного города!» На перекрестках баррикад из мешков с песком понастроили. Мешки хорошие, новые, видно для муки или для сахара были приготовлены. Никому не нужными баррикады оказались. Понапрасну мешки сгнили.

— Нет, не везде так было...

— Я знаю. Просто обидно, что у нас так вышло. Что ж оно дальше будет?

— А ты не знаешь?

— Знаю.

— Ну вот. Чего ж спрашивать?

— Как чего! Легче делается, когда кто-то говорит хорошее. Интересно, а на фронте трудней, чем здесь?

— И трудней и легче. Легче потому, что знаешь — немец впереди, а здесь они со всех сторон.

— А трудней?

— Трудней потому, что там с немцем всегда грудь с грудью, а здесь можно укрыться, выждать.

— А далеко фронт сейчас?

— Говорят, на Дону.

— Это сколько поездом отсюда ехать?

— Почти сутки.

— А если пешком?

Старик нехотя ответил:

— Как мы идем, может хватить как раз до конца жизни.

Степан сначала не понял.

— Долго что-то...— Потом сказал полувопросительно: — Конеч жизни мог быть у нас и в Грушевке вчера ночью...

Дядя Костя промолчал. Пропала охота расспрашивать и у Степана.

Второй день они шли по пустынной степи, далеко обходя села, чуждаясь людей и дорог, тянули свой след от одного леска к другому. Почти всякий раз, выходя на опушку, они видели далеко на востоке темное пятно следующего леса, и всякий раз старик говорил:

— Скоро начнутся настоящие леса...

И Степан мечтал об этих «настоящих лесах», в глубине которых вырыты землянки и блиндажи, а в них живут лихие, отчаянные люди. Эти люди не сутулятся, не опускают глаза при встрече с немцами, а встают у них на дороге. Как ночные птицы, они ведут особую жизнь. А в этой жизни — зарева пожаров, взрывы, засады, неожиданные перестрелки... Когда же они начнутся, настоящие леса?

— А сейчас мы куда идем?

— Это верно. Ты должен знать. Если со мной что случится, иди в

Чернов. На Зеленой улице, пятнадцать — запомни это: Зеленая улица, пятнадцать — спросишь Анну Федосеевну...

— Кого?

— Анну Федосеевну.

— Так это же...

— Погоди, не перебивай. И скажешь: «Отец Василий просил узнать насчет лампадного масла».

— Какой это Василий? Уж не грушевский ли поп?

— Он самый. Запомнил, что нужно сказать?

— А что там запоминать — грушевскому батюшке понадобилось лампадное масло. Только почему же оно у бухгалтерши?

— У какой бухгалтерши?

— Так ведь Анна Федосеевна — та самая совхозная бухгалтерша.

— Сейчас это неважно. А слова запомни точно: «Отец Василий просил узнать насчет лампадного масла». Запомнил?

— Так это что — вроде пароль? А мы с вами вроде пошли по цепочке?

— По какой цепочке?

— По верным людям. От одного к другому. Уж не отец ли Василий сосватал вам эту жену?

— Что мелешь? Какую жену?

— Ну как в песне: «Наши жены — ружья заряжены...»

— Карабин я сам добыл. Священнику он не нужен. Знаешь поговорку: «На шута попу гармонь, когда у него есть колокола».

— А поп-то он хоть настоящий?

— И это сейчас неважно.

— А для меня важно. Липовый он поп.

— Чему же туг смеяться?

— Ну как же! Представляю, как он грехи отпускает и молебны служит. Смехота. А Христина к нему, как к всамделишному...

— Смешно?

— Ей-богу.

— А ты вспомни, что его в любое время схватить и повесить могут.

— Ну уж такого не повесишь. Хитер.

И Степан опять подумал о тех людях в настоящих лесах. Среди них должны быть и такие, как этот поп, и еще другие, разные, незаметные, может быть без автоматов и гранат, и все равно — солдаты.

В Чернов они пришли воскресным утром. Городок был пустоват, но какая-то приглушенная жизнь билась в нем. На станции пересвистывались паровозы. Они были непривычно маленькими и ни в какое сравнение не могли идти с громадами наших «ФД». Казалось, что шестидесятитонным пульманам неловко и тесно на перешитой немцами узкой колее. Русские надписи «Сев.-Кав. ж. д.», «Ю. ж. д.», «Од. ж. д.» и советский герб на боках вагонов были небрежно покрашены, и рядом написано: «Deutsche Reichsbahn»¹. Были здесь и другие вагоны, на которых так же небрежно были покрашены надписи на польском, французском языках. По перрону и путям ходили похожие в черной форменной одежде на грачей железнодорожники.

В развалинах вокзала копошилась группа пленных. Они были оборванные, серые, медлительные. Охранявшие их солдаты были немолодые, скучные люди с длинными, изготовленными, видимо, еще в первую мировую войну винтовками. На пленных болтались шинели без хлястиков,

¹ Немецкие имперские дороги.

с поднятыми воротниками. Одни из них кирками ковыряли стены, другие подходили, совали под мышку кирпич-второй, спотыкаясь, брели по тропинке, проложенной в развалинах, и на ровном месте складывали кирпичи штабелями. Некоторые несли свой груз в полё шинели. Это выглядело по-бабьи. Возвращались они еще медленней, и это бесило руководившего работами немца из организации Тодта.

Немца раздражала медлительность пленных, однако люди, то ли окончательно отупев, не слышали его, то ли просто не обращали внимания на крики. И тодтовец понял, что кричать сразу на всех бесполезно. Он бросился к одному, особенно неповоротливому. Догнав пленного, дал ему затрещину. Грязный, опухший человек в короткой шинели и натянутой на уши пилотке словно ждал этого — свалился податливо, сразу. Немец пнул его ногой. Упавший не шевелился. Остальные продолжали свой путь, ни на йоту не прибавив шагу, как смертельно уставшие лошади, на которых уже не действует удар кнутом.

Степан еле слышно вскрикнул, а старик прижался спиной к столбу, возле которого они остановились.

Потом они ходили по базару. Это был жалкий базар. Зерно здесь продавали стаканами, мерзлую картошку — штуками. Сбившись в кучку, чем-то торговали из-под полы мадьяры. Подошел вооруженный полицай — здоровый, мордастый детина в кубанке и синей шинели с рядом блестящих металлических пуговиц посредине. Завязалась трусливая перебранка на какой-то мешанине из трех языков. Полицай просил мадьяр уйти и в то же время боялся их, а те, продолжая торговлю, зло поглядывали на него и осторожно огрызались: они не понимали, что это за птица перед ними. Но показался патруль полевой жандармерии, и мадьяр будто ветром сдуло. Полицай, за которым осталось поле сражения, вытянулся и козырнул жандармам. Казалось, будь у него хвост, он завилял бы им. Жандармы, не замечая его, величественно проследовали дальше.

Ветер мел снег, перемешанный с песком и пылью, забивал поры полупавшейся от морозов земли, гремел прибитым над ларьком куском жести, на котором были нарисованы окорока, колбасы и старательно выведены слова: «Продовольственные товары В. Ф. Андреева». И это было смешно. Смешно, несмотря ни на что. Да и можно ли было серьезно думать о человеке, решившем, что он снова обладатель фиты, ятя и «собственного торгового дома».

Не было видно собак — этой неперменной принадлежности любого базара. И старик подумал, куда же они подевались — перебили немцы или съели жители?

Зеленая начиналась здесь же, у Базарной площади. Домики на ней, как и повсюду в городе, были небольшие, одноэтажные, с прочными ставнями и высокими заборами. Хотя время едва перевалило за полдень, ставни везде были закрыты. Улицу занесло сугробами. Здесь было совсем тихо, и потому особенно отчетливо слышался несмелый, дребезжащий звон церковного колокола. Да еще кричали галки на верхушках высоких голых тополей.

Степан гадал, узнает ли его бухгалтерша. Вот если бы узнала! На это он надеялся больше, чем на слова, которые велел передать поп. Эта женщина относилась к нему неплохо. Видимо потому, что он жил на квартире у Федора. Вот уж не думал он, что придется так вот идти к ней, ждать от нее помощи. А может, все это выдумки и никакой помощи не будет? Может, и поп и бухгалтерша вовсе не те люди, за кого они их принимают...

...Дома под номером пятнадцатым на Зеленой улице не оказалось. Был тринадцатый, был семнадцатый, а между ними — даже не присыпанное снегом пепелище. Среди головешек торчала печь. Сколько таких оставшихся на пожарищах печей довелось уже увидеть! Приходилось идти через сожженные села, где не было ни одного целого дома и только торчали печи. Некогда в таких раскаленных соломой, кизяками или хворостом печах бабы пекли на капустных листах хлебы, орудовали перед ними рогачами, переставляя закопченные чугуны с борщом и картошкой или глечики с молоком. Но в сожженных селах эти одиноко торчавшие печи были понятны и обыкновенны. Удивление вызывал скорее какой-нибудь чудом уцелевший дом. Здесь было наоборот, и Степан хотел возле пожарища остановиться.

— Иди дальше, — сказал старик. — Не задерживайся.

Он, видимо, боялся слезки.

И они прошли мимо пахнущего дымом пустыря, мимо деревьев с обожженными ветками, мимо разгороженного двора, где не оставалось даже столбов от ворот. Через несколько дворов старик постучался в калитку.

— Пустите погреться, — сказал он вышедшему на стук бородачу. — А если можно, то и переночевать.

— Рано вы на ночлег запросились, — ответил бородач, у которого сквозь растительность на щеках пробивался здоровый румянец.

— А мы такие, что и днем переночуем, — подмигнул старик.

— Ловкий народ. — Бородач одобрительно хохотнул. — Платить будете?

— А как же! Задаром ваши клопы нас есть не будут.

— По красненькой с носу.

Старик присвистнул.

— Однако дорого ваши клопы ценят свою работу.

— Как хотите! — Бородач повернулся к ним спиной.

— Ладно. Годится. Пошли в хату.

Уже в доме, получив деньги, бородач спросил:

— А документы у вас имеются?

— А зачем они тебе? — удивился старик.

— Время такое. Комендатура теребит. А я не хочу быть у них на заметке.

— Ты один не хочешь?

— На всех остальных мне плевать. Пусть о себе сами думают. А у меня положение особое. Я здесь чужой — приймак. На меня и так косятся.

— А где же хозяйка?

— К вечеру придет. Никуда не денется.

— Что же ты делаешь здесь, приймак.

— Живу.

— Работаеть? Служишь?

— На кой оно мне. Я в стороне от этих дел. Мне никто не нужен.

Лишь бы меня не трогали.

— А трогают?

— В Германию хотели забрать.

— Откупился?

— Всякое было. Потом в полицию вербовали.

— Не пошел?

— Как видите.

— А что дальше будет?

— Пока вот бороду запустил...

— Не поможет. Все равно больше тридцати пяти тебе не дать.— Старик посмотрел на приймака оценивающе.— В лагерях, видно, не был. Попал в окружение — и сразу в приимы...

— Точно. Повезло.

— А если русские придут?

— Не один я такой. Да и придут ли?

— Я говорю «если»...

— Тогда и будем смотреть. Я против них ничего не сделал.

— А для них?

Степан заерзал: старик переступил в разговоре опасную грань. Приймак поднялся.

— Вот что, божьи страннички, не нравитесь вы мне. У нас по соседству квартировала одна такая же, с подковырками. Бабенция что надо, да не в свое дело полезла. Неделю назад ее забрало гестапо. А дом немцы сожгли. Так вот, я погорельцем быть не собираюсь. Ясно? Давайте сразу условимся: чи вас послать, чи вы сами пойдете?..

Старик изобразил на лице усмешку.

— Пойдем сами.

13

Местность переменялась. Много ли времени прошло с тех пор, как они тронулись в путь, а все вокруг стало иным. Не степь, а леса были впереди. А лес настраивает на ожидание. Оттого и дорога мерялась веселей. Не хаты-мазанки с почерневшими стрехами, а рубленные из кругляка, иногда обшитые тесом избы стояли в селах. Крыши на них тоже были тесовые или из дранки. Все это выглядело сумрачней и вместе с тем основательней, тверже, замкнутей. Немцы держались здесь вместе, не расставались с оружием, полицейские размещались обычно в бывшем здании школы. Дом в таком случае обносили двойным плетнем, промежуток между оградами засыпали землей, устраивали бойницы, из которых торчали пулеметные морды. Да и сами полицейские отличались от «степных» и «городских», промышлявших главным образом самогон, куря яйца, еврейское и прочее барахло. То была трусливая шайка мародеров, немцы презирали их, мало доверяли им и даже время от времени вешали или расстреливали одного-двоих из такой шайки. А эти старались во всем походить на хозяев, были подтянутой, безжалостней. Несмотря на разномастную одежду, в них было что-то солдатское. Их стесняло, даже тяготило то, что они русские, но от этого никуда не уйдешь. А как здорово было походить на немцев, хотя бы потому, что тем дозволено все! Свои обнесенные изгородями казармы в селах, примыкающих к «настоящим» лесам, они называли «штюцпунктами», к взводным обращались «господин цугфюрер», гражданскую публику именовали «цивилистами». Им нравились эти слова, проводившие грань между ними и теми, кто были, к сожалению, их соотечественниками. Маршируя, они пели «Как при лужку, при луне...», но с гораздо большим удовольствием песенку про Лили Марлен и еще одну, которая кончалась припевом: «Гай-ли, гай-ло, гай-ла...» Припев не имел смысла, он просто отбивал маршевый ритм, но для них все это было преисполнено высшего значения.

Они шли немецким строем — в колонне по три, пели немецкую песню, «господин цугфюрер», совсем как немец, подсчитывал шаг:

— Айн, цво, драй! Айн, цво, драй! Линкс! Линкс! Линкс!..

И русский «ТТ» висел у него не по-русски — слева, на животе.

На все это было тошно и стыдно смотреть. Всегда возникал вопрос: кем были эти люди раньше? Почему они стали такими?

А старик приободрился. Теперь он не спешил уходить из сел, задерживался кое-где на полдня, а то и на день, раскладывал в избе сапожный инструмент, принимался за работу, вязывался в разговоры. А однажды исчез до вечера, оставив Степана одного.

— Ты не ходи: молодой. Еще схватят да угонят куда-нибудь на работы...

Вернулся он веселый, разговорчивый. Обозленный Степан вначале ничего не мог понять, но потом вздрогнул от отвращения: от старика пахло водкой. А тот хоть бы что, словно хвастаясь, говорил:

— Магарыч был. Самому господину шефу пимы подшивал...

— Что? — не понял Степан.

— Пимы. Ну валенки, по-вашему. Это в Сибири так говорят.

— А вы сибирский? Не знал, — отозвался Степан, не пряча презрения.

— Не похож разве? — с той же игривостью переспросил дядя Костя. Улыбаясь, он подмигнул Степану, и тот не выдержал:

— Перестаньте!

Крикнул, да так и остался с открытым ртом: перед ним был совсем другой старик. Будто сдернули с него маску и снова открылось прежнее, обросшее седыми волосами лицо с уставшими глазами.

— Это ты верно — хватит, — сказал дядя Костя негромко и спокойно. — Сам-то я не смог остановиться. Видать, слаб стал. Стакан первача поднесли мне сегодня в полиции. Отказаться нельзя было. Немец шеф похвалил работу, приказал налить и показывает на картину: за него, мол. А там портрет одной личности с усиками и подпись: «Гитлер-освободитель»

— А вы? — с ожиданием спросил Степан.

— Я? — старик еле заметно улыбнулся. — Выпил и даже закусил.

Весь вид Степана выражал разочарование. Нет, он бы этого не сделал. У него хватило бы смелости... Дядя Костя его понял. Устало поморщившись и потерев лоб, он присел рядом.

— Вот что. Я хочу, чтобы ты кое-что понял. Когда-нибудь найдутся люди, которые будут рассказывать об этой войне очень красиво. И может, это по-своему будет правильно. Они покажут кавалеристов, которые с саблями наголо атаковали танки, покажут людей, умирающих с песней. Было это? Было. Я сам видел.

— С саблями против танков?

— Да. Я сам видел. Они покажут много красивого. А о вшах, о плене, о том, как подыхали с голоду, будут больше помалкивать. Ну что тут красивого? А люди любят вспоминать о себе красивое. И кто-нибудь расскажет о человеке, которого враги заставляли выпить за их победу, но он отказался и погиб, а может, чудом спасся. Это тоже красиво. Я сам, когда только попал в плен, сделал бы так же, плюнул бы в поганую рожу. А сегодня вот выпил. А раньше полез бы драться. И пристрелил бы меня немец не за понюшку табаку. А я зря помирать не собираюсь и тебе не советую. Много еще дел на земле. Я помирать буду, когда другого выхода не останется. С толком буду помирать. Понял?

Степан не ответил. С чем-то он был не согласен, но спорить не хотел или не мог. Старик это почувствовал.

— Ну ладно. Об этом довольно. Поговорим в другой раз. А теперь займемся делом. Память у тебя молодая. Я сейчас расскажу кое-что, а ты постарайся хорошенько запомнить. Слушай: Село Волково. Опорный пункт в школе. Гарнизон — восемьдесят полицейских и пятеро немцев. Три станковых пулемета. Самое уязвимое место со стороны площади — здесь они нападения не ожидают... Запомнил? Повтори. Дальше: Воз-

движенское. Комендатура, около роты немцев и столько же полицейских, минометная батарея...

Старик перечислил еще несколько сел, через которые они прошли, потом назвал другие, незнакомые Степану.

— А это вы откуда знаете? — усомнился тот.

Но дядя Костя, досадливо поморщившись, даже не ответил. Да и что он мог ответить? Разве что пересказать разговоры немцев и полицейских, слышанные за это время. Он мог бы, правда, вспомнить, как примерял валенки шеф полиции в Волкове. Примерял и слушал доклад своего помощника. Вначале, когда старик зашел в кабинет, помощник замолчал, но шеф сказал:

— Продолжайте.

И тот продолжал докладывать.

— А теперь, Штимме, расскажите, как мыслит господин комендант провести нашими жалкими силами прочес этого необъятного леса? Неужели он всерьез надеется на полк мадьяр и батальон этого русского отребья! И разве хватит ему недели на подготовку? А боеприпасы и горючее?!

Дядя Костя выслушал и это, в который раз дивясь беспечной самоуверенности немцев. Ему не стоило большого труда скрыть от них и свой интерес и то, что он понимает язык. Он продолжал думать о беспечности и неосторожности немцев, когда услышал:

— Я понял вас, Штимме, отлично понял. Все решается очень просто.— Шеф говорил это медленно и отчетливо.— Сейчас, когда старик наклонится, чтобы взять валенок, выстрелите ему в затылок. Постарайтесь, чтобы ковер не запачкало кровью.

Он говорил медленно и слишком уж отчетливо. В этом был его просчет: дядя Костя угадал ловушку, не оглянувшись, ничем не выдал, что понял. И все-таки никогда еще ему не было так тяжело нагибаться. Шея у него одеревенела, а кожа и волосы на затылке, казалось, зашевелились. Ведь это было только его предположение насчет ловушки. С таким же успехом Штимме мог и выстрелить. Но не выстрелил. А шеф приказал дать сапожнику за работу стакан водки.

— Обмоем, — улыбаясь, сказал он по-русски.— С меня причитается магарыч.

Вот тогда-то дядя Костя и выпил. Он мог бы рассказать об этом Степану, но стоило ли?

Старик был непривычно оживлен, в пути время от времени оглядывался по сторонам, озирая окрестности, словно пытался вспомнить или узнать что-то. В одном ничем не приметном лесочке он остановился. Это случилось и раньше — дядя Костя быстро уставал, и Степан, как всегда, дожидался его. Место было обычное — косягор, густо заросший молодыми пушистыми сосенками, среди которых там и сям, будто колонны, возвышались стволы могучих деревьев. Их жидкие кроны казались убогими и несоразмерно маленькими. Зато тела этих мачтовых сосен — стройные, сильные — были великолепны. Погода стояла пасмурная, над самой землей ползли вязкие облака, застревая, путаясь в вершинах деревьев. Степану было скучно, зябко.

— Голова небось болит с похмелья? — спросил он.

Дядя Костя напряженно и тревожно смотрел вокруг. Потом он быстро зашагал вперед и так же внезапно остановился возле самой большой сосны. Дерево это как бы пыталось остановить дорогу, и та была вынуждена обойти его. Ствол сосны был покрыт крупными полупрозрачными чешуйками. Потрогав их рукой, старик сказал:

— А вот здесь меня первый раз ранили...

Это было неожиданно и непонятно.

— Что?

— Ранили меня здесь первый раз, говорю.

— Когда?

— Давно. Двенадцать лет назад. Вот из тех кустов били. Из обреза. Почти в упор.

И он пошел дальше неторопливым шагом человека, знающего, куда идет.

— До села пять верст. Там заночуем.

— Есть знакомые? — осторожно спросил Степан. Он хорошо усвоил правило, преподнесенное однажды стариком: «Пусть каждый говорит о себе то, что сам хочет», — и не лез с расспросами.

Дядя Костя ответил коротко:

— Понщем.

— Вот здесь, — сказал он и поднялся на крыльцо:

Дверь была открыта, и они прошли в пустые сенцы. Но и сюда никто не вышел. В доме было тихо.

В комнате их встретила молодая еще женщина. Она стояла спиной к печи и смотрела на них настороженно, ожидающе, недружелюбно. И казалось, все в доме было таким. В углу, возле печки, стояли рогачи, крючок для сковородок, кочерга на длинной деревянной ручке — самый мирный бабий инструмент. Но даже он выглядел враждебно, как какое-то старинное, бесполезное, даже смешное, однако сохранившее свой угрожающий вид оружие.

У женщины было скуластое лицо и грубоватый нос, у нее были глаза, которые не позволяли скрывать мысли. Очень темные, блестящие, горячие глаза. Сжав губы, она ждала, что скажут эти незнакомые люди.

И старик (напряжение, владевшее женщиной, в еще большей степени передалось ему) проговорил:

— Я знал Дарью Ильиничну. Разве она больше не живет здесь?

Вопрос остался без ответа, и по выражению лица старика Степан увидел, что им нужно уходить отсюда. Но потом послышался шорох, и откуда-то появилось небольшое существо, закутанное в грубошерстный черный старушечий платок.

— Мама умерла, — сказала оно тихо. — Вас я никогда не видела. Откуда вы знаете ее?

Для Степана весь этот разговор был непонятен, но он видел, что дело совсем не в покойнице, что старик спросил о ней потому, что встретил не тех, кого надеялся встретить; что же касается женщин, то их волновало одно: «Кто вы такие и что вам нужно?»

— Вы меня просто не помните, — ответил старик. — И я вас, наверное, не узнал бы. Вам было около пяти лет, когда я последний раз был в этом доме. Вы Надя. Да?

Женщина возле печи по-прежнему молчала, а закутанное в платок существо сделало едва приметное движение, из которого можно было заключить, что оно действительно — Надя.

— Я пришел сюда, — продолжал старик, — потому, что знал — Дарья Ильинична поможет нам. Как же теперь?

Было ясно, что обращается он к женщине — старшей в доме, но отозвалась опять Надя.

— Это, — она посмотрела на женщину, — Мария Петровна. После смерти мамы она мне все равно что мать.

Теперь должна была что-то сказать женщина; это понимали все. И она неохотно сказала:

— Оставайтесь.

Но она все еще была насторожена и ждала чего-то.

А Степан стоял возле двери и думал, что лучше бы им все-таки уйти. Простой раз, когда они пришли к Христине, старик был очень слаб и просто некуда было деваться, а сегодня лучше бы уйти. Если сейчас женщины встретили их так, что они скажут, увидев оружие?

Старик между тем говорил:

— Павел, наверное, рассказывал вам обо мне («Это что еще за Павел?» — подумал Степан), мы были с ним друзья. Когда он вернется с войны и узнает, что приходил человек, который в тридцатом году был вместе с ним ранен, он за меня еще раз скажет вам спасибо. Неужели вам Павел не рассказывал обо мне? Не может быть. Вспомните про учителя, которого сюда прислали в двадцать девятом году... Помните, что делалось тогда здесь?

Женщина смотрела на старика, будто хотела вывернуть его наизнанку. Надя что-то напряженно припоминала. А дядя Костя продолжал:

— Я знаю Павла и потому пришел к вам. Нам нужно кому-то довериться. Нам нужна помощь. Помогите нам.

Старик волновался. Неужели они не видят этого? Никогда он не говорил таких слов.

А эта баба вцепилась в него подозрительным, испытующим взглядом, каким на барахолке разглядывают торгующего: а не фармазон ли он? Да ради чего старик это терпит? Неужели только для того, чтобы снова услышать слово, которое наконец повторила женщина:

— Оставайтесь.

14

Чердак наполовину был забит сеном. Его разровняли, сделали изголовье, застелили рядом. Хозяйка дала вытертый, порванный в нескольких местах, но все еще теплый полушубок. Немного спустя на чердак поднялась Надя с котелком горячей картошки в «мундире». Пока ели, она сидела рядом, зябко кутаясь в свой старушечий платок.

— Нужно сходить забрать оружие,— сказал Степан.

Девушка не удивилась, ничего не ответила, ушла («Советуются!» — почему-то недоброжелательно подумал Степан), потом вернулась уже одетой.

— Пойдем.

Прямо от задней стены дома начинался заросший кустарником пустырь; торцом изба смотрела на широкую улицу, в конце которой возвышалось обнесенное колючей проволокой белое двухэтажное здание полиции.

Осторожно спустившись по стремянке, Степан выглянул в приоткрытую дверь. Лунный свет с непривычки казался слишком ярким, и на блестящем снегу лежали резкие тени. Степан не сразу заметил возле сарая Надю. Вначале он увидел, как пришла в движение, изменила свои очертания, двинулась на него тень, и это заставило его вздрогнуть.

Здесь, рядом, Надя показалась Степану еще меньше. Она молча шла следом. Достав из снега свой карабин, Степан взял его на ремень. Второй карабин подняла девушка. Краем платка вытерла снег с затвора и сказала:

— Немецкий...

Степану послышалось в этом удивление. Еще бы! Русскую винтовку можно было найти, купить, выменять, немецкую же — только взять, добыть у немца.

Возвращались так же молча. Нечаянно зацепив ветку, Степан обсыпал Надю снегом, обернулся к ней на ходу и в первый раз — да, по сути,

впервые — увидел ее. Он раньше не думал, какая она, но сейчас вдруг понял, что представлял ее себе другой. Степан увидел сейчас обыкновенное девичье личико: вначале ровный, а в самом конце вдруг ставший курносый нос, ямочки на щеках, невысокий, опущенный светлыми завитками лоб, пухлые, готовые и от обиды, и от удивления, и от радости округлиться губы, нежное горло, перехваченное у подбородка складочками, какие бывают у совсем маленьких детей и называются «перевязочками»... Одним словом, если говорить о чертах характера, которые могут быть под стать такому лицу, то ими, пожалуй, окажутся легкомыслие и смешливость. Тем более удивляло недоверчивое, жесткое, очень взрослое и рассудительное выражение, которое прочно лежало на нем.

Степан не задумывался об этих тонкостях и не искал их причины, он просто увидел несоответствие и поразился ему. А еще вернее — не увидел, а ощутил его. И при этом испытал уже знакомое подхлестывающее желание — показать себя не таким, каков он есть, а таким, каким ему хотелось бы быть.

Впрочем, и это не совсем точно. В нем смешались и неожиданный интерес к незнакомой, а потому кажущейся непонятной девушке, и удивление ее спокойствию, и уверенность в том, что она знает нечто неизвестное ему, Степану. А стремление подняться над собой, увидеть себя хотя бы в чуть-чуть другом свете было только итогом, результатом этих чувств.

Он понял, сколько смысла Надя вложила в слово «немецкий», говоря о карабине. Он мог бы подтвердить ее догадки о нелегком пути, который им уже довелось пройти. Ему хотелось заговорить с ней, сказать ей что-то значительное, важное и неожиданное, но он не знал ничего такого.

Надя остановилась возле двора, чтобы осмотреться и убедиться в том, что нет опасности. Она не могла не волноваться. Ведь если непосредственной опасности и не было, все равно происходящее было необычным. А лицо ее не было ни взволнованным, ни даже сосредоточенным. Оно казалось равнодушным.

Прикоснувшись к Степану (это был приказ: «Подожди», — и он понял его), девушка пересекла двор и зашла в дом. Когда заходила, дверь не скрипнула. Степан обратил на это внимание. Спустя минуту она позвала его. Все эти предосторожности, разумная неторопливость опять-таки говорили об опасности, но, еще раз глянув Наде в лицо, Степан увидел все то же похожее на равнодушие спокойствие, и на этот раз не смог примириться с ним. Он наклонился к ней, столкнулся с удивленным, настроженным взглядом и вспомнил слышанные от кого-то слова:

— Ты хороший человек..Спасибо тебе.

Сказал это, так как не знал других, особенных слов, которые нужны были в эту минуту. Но девушка, похоже, поняла его, и в ее глазах не стало настороженности.

Надя взяла у него один карабин и сказала самое обыкновенное:

— Полезай. Я тебе его подам.

Но Степан знал, что это совсем не обыкновенно, чувствовал, что она смотрит на него как раз так, как ему хотелось бы, видит в нем старшего, более сильного, способного защитить. И, поднимаясь по стремянке на чердак, он радовался своей легкости и ловкости, ему доставляло удовольствие даже еле слышное поскрипывание лестницы под тяжестью тела, потому что тяжесть эта, мышцы, оружие,— сила.

Протягивая карабин, Надя сказала шепотом:

— Держи! — И совсем уже неслышно: — Спокойной ночи.

Только оказавшись наверху, Степан вспомнил о старике — тот ждал его. А затем напомнила о себе хозяйка. Она поднялась на чердак.

— Устроились? — И, не дожидаясь ответа, сообщила: — Возле трубы я поставила ведро.

— Зачем? — удивился Степан.

— Для надобностей, — суховато объяснила Мария Петровна и добавила: — Спите.

Степана бросила в краску самая мысль об этом ведре. Оно его оскорбляло. Что же касается сна, то он знал, что будет бодрствовать еще долго.

Луна с трудом помещалась в раме маленького слухового окна. Степану казалось, что смотреть на нее можно бесконечно. Но стало зябко, и он забрался к старику под полушубок. А в тепле уже ничто не в силах было помешать ему заснуть.

Проснувшись, Степан обнаружил, что старика рядом нет. На чердаке было еще темно. Только осмотревшись, он заметил едва сереющий квадрат слухового окошка. Пошарил руками и нашел у изголовья с той стороны, где спал старик, что-то холодное, круглое, гладкое. Поднес к глазам и наконец понял, что это граната какой-то неизвестной марки. Кольцо заменил кусок твердой кожи, верхняя часть напоминала формой крышку от чайника. Нечто подобное приходилось видеть не то у мадьяр, не то у румын. Странно, откуда эта граната у старика?

Вылезать из-под теплого полушубка не хотелось, но и лежать больше не имело смысла. Степан подошел к окну. За ним светало.

Осторожно заскрипела лестница. Старик? Но то была Надя. Она по-прежнему куталась в свой платок, однако теперь Степан замечал не только это. Ему казалось, что девушка смотрит на него несмело, ожидающе, и это настраивало его самого на такой же тревожный лад.

Возле окна Степан заметил консервную банку, взял в руки.

— Вы курите поосторожней, чтобы пожара не наделать, — тихо сказала Надя.

Он сначала не понял, но, заглянув в банку, едва не выронил ее от удивления: там лежали окурки немецких сигарет и грубых, свернутых из газеты махорочных цигарок. Видимо, ею пользовались как пепельницей.

Нельзя было говорить громко, поэтому Степан ответил так же тихо, хотя это и далось ему нелегко:

— А мы не курим. Ни я, ни дядя Костя. — И протянул коробку Наде.

Она должна была понять, что это вопрос: «Кто? Кто? Кто жил здесь до них?» И тут же ему стало ясно, что ответа не будет. И это словно отбросило его назад, к вчерашнему вечеру, когда они вдвоем со стариком стояли на пороге чужого дома, не зная, поверят ли им. И Надя почувствовала перемену в нем. Она не желала ничего объяснить — это было досадно, но вместе с тем ее молчание давало Степану какую-то власть над ней. Почему? Каким образом? — невозможно объяснить, но Степан знал эту свою власть, и ощущение собственной силы сделало его снисходительным, добрым. Ведь в конце концов он верит ей. Степан взял банку и снова поставил в уголок возле окна. И с неожиданной легкостью он положил девушке руку на плечо. Надя ее не сбросила, она как бы признала какое-то его право. И это было величайшим чудом, с каким когда-либо сталкивался Степан.

Уже рассвело, и он с восхищением смотрел на опустившую голову девушку, не пытаясь понять, что произошло или происходит с ним, забыв обо всем, кроме того, что только что совершилось чудо: два таких раз-

ных, вчера еще совсем чужих человека, кажется, стали вдруг нужны один другому. Кажется? Да, это было так.

Слова не сказали бы Степану больше, чем теплота плеча под рукой. Он чувствовал напряжение, с каким стояла девушка.

И вдруг она сказала:

— Не нужно. Ведь не такая я, как ты думаешь...

Но это не обидело Степана. Он знал: пусть она не такая, как я думаю. Это значит, что она лучше.

А Надя уже ушла. Бесшумно скользнула мимо и исчезла.

Возвратившись, дядя Костя сразу же взялся за оружие. Он не стал рассказывать, где был, но Степану и без того было ясно: беседовал с хозяйкой.

— Давай-ка займемся учбой,— предложил он.— До вечера все равно еще далеко, да и пригодится тебе это. Ты из винтовки когда-нибудь стрелял?

Степан признался:

— В школе. Из малокалиберки.

— Ничего,— успокоил его старик,— разница невелика. У этой сильнее отдача. Мы слегка разберем их и приведем в порядок, а то ведь где им только не приходилось валяться. Не отказали бы в нужную минуту.

— Патронов все равно мало,— заметил Степан.

— Да уж сколько есть. Живы будем — раздобудем. А на первый случай авось хватит.— Он говорил и одновременно показывал, как вынимается у винтовки затвор.— Вот и все. Понял? Немного сложнее, чем в нашей трехлинейной образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого, но тоже просто. В армии тебя этому целый год учили бы. А я — за пять минут. Ценишь? — Старик подмигнул Степану.— Попробуй теперь сам.

А в то время, когда Степан пробовал, дядя Костя, будто между прочим, сказал:

— Вечером пойдем отсюда. Нечего засиживаться. Верно?

Кивнув головой, Степан спросил:

— Наугад или по адресу?

— А тебе что, бродить надоело? Скажут нам, куда идти.

— Понятно. Сами пойдем?

— А тебе со стариком скучно? Или присмотрел попутчицу?

И здесь, неизвестно почему, Степан вспыхнул:

— Глупости вы говорите!

Дядю Костю это и удивило и обидело. Не глядя на Степана, он еще раз осмотрел обе винтовки, лучше уложил сапожный инструмент в сумке, повертел в руках гранату и неожиданно поднял на Степана острый, добирающийся до самой сути, все понимающий взгляд.

Ничего вроде не произошло, и однако ощущение неправоты осталось у Степана, как соринка в глазу. Он знал, что должен что-то сделать. Показал старику консервную банку с окурками. Тот все понял. Степан видел это по его лицу. И если старик ничего не сказал, просто пожал плечами, то значит он просто не желает вмешиваться в чужие дела. Здесь скрывался кто-то раньше? Ну и пусть. Ему-то какое дело!

Он хотел знать, о чем думает сейчас старик. Он спрашивал себя об этом, глядя в окно. А за окном было утро. Неподалеку, в конце широкой улицы, белело здание школы. Оно было обнесено колючей проволокой. Ворота заменял проволочный ерш, оттянутый сейчас в сторону. Возле него топтался часовой. Окна нижнего этажа снаружи были заколочены досками — наверное, для того, чтобы в них нельзя было бросить

гранату. Двор был пуст, и только время от времени по нему пробегал в дальний угол, к дощатой уборной, немец или полицейский.

Было безветренно и солнечно. Степан глянул на кусок крыши, видный из окна. Снег на нем оплавился и казался мокрым. Внизу хлопнула дверь — появилась Надя. Степан увидел ее лицо — между бровей залегла складка. Оно показалось ему необыкновенным. Пустые ведра на коромысле покачивались в такт ее шагам. Колодец был, видимо, далеко — Надя вернулась не скоро. Потом Степан долго и напрасно ждал, не выйдет ли она снова. Сменился часовой возле проволочного ерша, протарактел мотоцикл с коляской (на нем ехало трое немцев), к школьному крыльцу подошел крытый грузовик, в него залезло человек двадцать полицейских, и, осторожно позвякивая цепями, машина отправилась вслед за мотоциклом. Куда?

Через несколько минут где-то за селом вспыхнула яростная ружейная и автоматная пальба. Она неожиданно возникла и так же внезапно оборвалась, оставив после себя тревожную пустоту. По-видимому, тревогу испытывали не только Степан и старик. Надя вышла во двор, постояла, зябко кутаясь в платок, потом украдкой глянула на чердачное окно и махнула рукой: не обращайтесь, мол, внимания. Когда она смотрела вверх, на лбу появились морщинки.

Нет, Надя была совсем не та, что вчера.

15

Это было странное состояние. Сон и бодрствование незаметно переходили друг в друга. Иногда старик пробуждался полностью, чтобы распрямить затекшие ноги и стряхнуть головную боль, смотрел в окно — день еще продолжался. Степан спал рядом, свернувшись калачиком, натянув на лоб шапку и засунув руки под мышки.

В одно из таких пробуждений он нашел рядом завернутый в тряпки чугунок с едой. Поели. Старик заставлял себя есть. Он чувствовал, как на него мягко, но неотвратимо наваливается хворь, и с нетерпением дожидался вечера, возможности уйти. Верилось, что сейчас еще болезнь можно опередить, успеть сделать все, что нужно.

Рядом с чугуном лежали рукавицы. Грубые, но теплые мужские рукавицы из серого шинельного сукна. Сукно было потертым, не новым, но пошиты рукавицы были совсем недавно, может быть только что. Их никто еще ни разу не надевал. Поняв это, старик подумал о Наде. Значит, это она принесла им обед, но разбудить не решилась.

— Это тебе, — сказал он, протягивая рукавицы Степану.

Тот посмотрел на него удивленно, и старик видел, как недоверие в его глазах сменяется пониманием и радостью. Старик достал из кармана свои старые рукавицы. Степановых рваных и мокрых перчаток не оказалось. Значит, это действительно ему! И дядя Костя понял, почему Надя не стала их будить. Как знакомы ему эти наивные способы выражения чувств! И теперь он смотрел на Степана удивленно, будто видел его впервые, чуть насмешливо и с доброй завистью. А тот с нарочитой небрежностью померил рукавицы, потом засунул их в карманы, потом снова надел и растянулся на сене.

Надя появилась на чердаке, когда стемнело.

— Пора собираться? — спросил дядя Костя.

— Лучше уйти попозже, ночью. Я провожу вас.

— Тогда посиди с нами.

Она осталась.

Те немногие, даже слабые звуки, которые возникали в тишине, привлекали к себе внимание. Было слышно, как внизу прошла по комнате

хозяйка, как она передвинула табуретку. Но это были свои, домашние звуки. А потом послышался скрип снега. Степан и этим звукам вначале не придавал значения, но Надя вдруг подалась вперед. Звякнула шеколда на калитке. Шли по меньшей мере двое. Мужчины. Переговаривались.

Снег скрипел уже во дворе.

Надя рванулась к люку, ведущему с чердака, но сразу же замерла: спускаться было поздно, на крыльце кто-то стучал сапогами, по-видимому, сбивая с них снег. Для старика же этот бесцеремонный и грубый топот подкованных железом сапог по промерзшим доскам крыльца звучал успокоительно. Когда приходят арестовывать или обыскивать, сапог не чистят.

Хозяйка вышла в сени.

— Кого это нечистая сила носит?

Говорила она с откровенной злостью, но спокойно. Старик заметили это.

— Открывай, тетя Мань, солдатики-соколики на постой просят. А постой не простой — на единую ночь...

Сказано это было хмельно, молодо и весело.

Девушку била дрожь. Старик осторожно потянулся за карабином.

Хозяйка отворила дверь, но, видимо, стала на пороге, потому что в сени никто не вошел.

— Ты кому это так говоришь? Ты чего повадился пьяный ходить? Думаешь, если вырос здоровый да ружье подцепил, так и море по колено? Да я тебя сейчас рогачом как пугану...

В ответ послышался раскатистый хохот.

— Вот за это я и люблю тетю Маню. Самого черта не боится. Огонь баба. Нравится, Трофим?

— Попробовать бы надо,— басом ответил тот, кого назвали Трофимом.

Смех стал еще раскатистей.

— И не совестно тебе, Жорка? — сказала хозяйка.— Молодой парень, а совсем охальником стал. И чему вас в полиции учат? К женщинам приставать?

«Так вот вы кто! — подумал дядя Костя.— О полиции хозяйка могла бы не вспоминать — ей-то известно, кто это. Раз вспомнила — значит, специально для нас...» Карабин лежал у старика на коленях.

Смех прекратился.

— Ладно. Разговорчики! Зови в дом, хозяйка. Будет на пороге торчать. Надежда дома? Пусть закуску готовит.

— Нет ее.

— Ах, старая история! Услышала, что Жорка идет, и спряталась. Найдем. Поищем, Трофим?

В сени прыгнул луч электрического фонарика. Пошарил по стенам, за дверьми, пересчитал ступени лестницы и стал торчком в чердачном люке, возле которого замерли Степан и Надя. Луч был неширокий, но точно очерченный, резкий. Казалось, его можно потрогать рукой. Можно было рассмотреть пылинки, еле слышно мельтешившие в нем. Степан совсем затаился, чтобы пар от дыхания не попал в этот луч. Степан чувствовал, как дрожит Надя. У человека, который стоял внизу с фонариком, рука тоже дрожала. Это было заметно по лучу.

— Хорошо,— послышался ровный голос хозяйки. Ровный, но какой-то не свойственный ей голос.— Идите. Переверните все вверх дном. Бейте горшки, ломайте лавки. До чего ж мне все это надоело!

Под конец она сорвалась, последние слова почти выкрикнула, хлоп-

нула дверью и зашла в комнату. Фонарик погас. Жорка с Трофимом пошли вслед за ней.

Старик решил: первая опасность вроде миновала. Нужно ждать, что произойдет дальше. Ждать, ни во что не вмешиваясь, и прислушиваться к хозяйке. Здесь командует она.

В комнате говорили громко, поэтому почти все было слышно.

— Чего пристал к девке? — спрашивала хозяйка.

— А ты не знаешь, чего к ним пристают? — вмешивался Трофим.

— Любовь! — говорил с хохотком Жорка.

— Чего лапищи расставил! Пусти!

— Побаловаться захотелось, — слышался бас Трофима.

«Плохо дело. Ай, плохо дело», — думал старик.

— Ты бы сучку поймал и баловался... Пусти!

На мгновение стало тихо. Боже мой, как тихо было в селе, в окрестных лесах, на небе! Даже ветра не было слышно. А потом звук удара, негромкий женский крик, приглушенный грохот и снова тишина. Какая тишина! И сразу же спокойный Трофимов голос:

— Я тебе покажу сучку. Я тебя отучу огрызаться. Я тебя сделаю шелковой. Поднимайся, накрывай на стол.

— Ай-ай-ай, — говорил Жорка. — И чего вы не поделили? Ну чего вам ссориться? Давайте лучше выпьем. А ты, Троша, полегче. Кулачище у тебя что обух. Помнить должен. Ты, тетя Мань, не обижайся на него. Он добрый, только горячий. Ты помягче с ним, по-хорошему. А теперь покличь Надежду, не доводи нас до греха.

Хозяйка молчала.

— Не хочешь? Тогда я поищу сам. Вас оставлю вдвоем, а сам поищу Надежду. Ты меня понял, Троша? Скучать не будешь.

Женщина молчала.

Старик подвинулся к самому люку. Он ждал: сейчас должен выйти Жорка — и приготовился свалить его первым же выстрелом. Степан оставил Надю и метнулся за своим карабином. Старик приложился удобней к прикладу. Он был уверен в себе. Расчет был прост: после выстрела Трофим наверняка тоже бросится в дверь... Или не бросится?

Не окажись положение таким безвыходным, старик ни за что не решился бы стрелять в доме. После этого женщинам придется немедленно уходить, а им (он это уже знал) следовало непременно остаться. Убить полицейского здесь — значило, кроме того, навлечь несчастье на все село. Назавтра начнется расправа. Пострадают прежде всего соседи. Кто они?..

Но обо всем этом старик думал до того, как принял решение. Теперь ничего другого не оставалось. Сейчас Жорка выйдет искать Надежду и оставит Трошу развлекаться с хозяйкой...

Рядом оказался Степан и потянулся к отверстию люка. Куда! Сейчас выйдет Жорка — что он с ним драку собирается затевать!..

— Назад! — придушенно прошипел старик, схватив Степана за ворот. — Назад!

Чертов сопляк! Сейчас выйдет Жорка. В освещенном дверном проеме он будет как на ладошке. Нужно будет бить не медля, в упор, а тут возись с этим сопляком.

Степан нащупывал ногами верхнюю перекладину лестницы и пытался освободиться от хватки старика. «Сдрейфил старик, сдрейфил...» Неожиданно он получил толчок и опрокинулся на спину. «Надя? — ужаснулся Степан. — За что?» «Правильно, — подумал старик. — Молодец девка. А сейчас он выйдет...» В комнате слышались шаги, дядя Костя приложился щекой к холодной скользкой деревяшке, чтобы бить в упор,

сразу. Но ничего из этого не вышло. Еще в то мгновение, когда только открылась дверь, он заметил, что по лестнице вниз торопливо спускается Надя.

Жорка от души хохотал.

— Замерзла, голубушка? Ну иди, я тебя погрею. Или боязно одной на чердаке сидеть? Или за мной соскучилась?

Теперь дядя Костя мог разглядеть его. Здоровый парень с рыжеватым выбивающимся из-под кубанки чубом.

— Ты глянть, Троша, сама пришла. А я ее искать собрался. Где, думаю, моя ясочка запропастилась...

Он был крепко выпивши. На нем ладно сидела темно-синяя венгерка, отороченная по бортам серой смушкой.

— А я думаю: кто там на чердаке возится так, что потолок, гляди, рухнет?.. Теть Мань, разливай шнапс. Всем по полному. Кто старое помянет, оба глаза вон. Троша, музыку!

Хлопнула дверь, и в сенях снова стало темно.

Все случилось слишком быстро. Старик был огорошен, но вместе с тем он понимал, что Надя поступила, видимо, правильно. Сам он ничего подобного посоветовать не мог, не смел, не имел права. Но уж если она решилась, это было правильно. Хотя бы потому, что появилась возможность подумать и найти что-то.

А Степан был раздавлен. Этот толчок, от которого он упал, и то, как Надя рванулась вниз, то, как она молчала потом, — все было невыносимо. Легко представить, что она думала. Ах, какие вы, мол, защитники! Рядом глумятся над приютившей вас женщиной, а вы... Боже ты мой! До чего же об этом тошно думать! А ведь виноват во всем старик, только старик. Рассудительность, осторожность! Ерунда. Трусость — вот как это называется!

А внизу плакался под аккордеон, жаловался на свою несчастную судьбу Жорка. В песне его голос звучал звонко и неожиданно красиво. Да и сама песня была удивительна — протяжная, диковатая.

Трофим был пьянее Жорки. Это было заметно по аккордеону — он забегал вперед.

Потом Жорка плясал. Держался на ногах он еще крепко, плясал, судя по чечетке, легко.

Внизу громко разговаривали. Лежа ничком на сене, Степан ловил каждое слово.

— Ты, тетя Мань, спрашиваешь, чего я хожу к Надежде... А может, я не могу не ходить. Может, у меня любовь...

Трофим надрывался от хохота, а Степан стискивал зубы: вот как просто это, оказывается, говорится.

— Про меня говорят: «Жорка — зверь, Жорка — бандит», а у меня, может, любовь...

«Он таки здорово нализался», — подумал старик.

— Я, может, женился бы на ней, если б она не была порченой...

«Что такое?» — не понял Степан.

И здесь впервые снова заговорила хозяйка:

— Корова до сих пор не доена. Надежда, ступай! Загремела посуда.

— Постой! — крикнул Жорка.

«Сейчас начнется», — решил старик и подвинулся к Степану.

— Без меня пальцем не смей шевельнуть. Понял? — Рука старика казалась тяжелой, хотелось ее сбросить. — Понял?

Степан не отозвался.

Хлопнула дверь, и в сени выскочила Надя. Жорка бросился за ней. В комнате, жалобно взвизгнув, упал с лавки аккордеон. Дверь закрылась. Надя не успела выбежать во двор, и Жорка схватил ее. Как и вчера, луна светила прямо в сени. Надя молча отбивалась, упершись руками ему в грудь, а Жорка, чуть пошатываясь, старался сломить ее. Степан слышал:

— Ну чего ты, чего... Что бережешь... Целый взвод выдержала, а меня одного боишься... Я ж хочу по-хорошему...— И вдруг разъяренный крик: — Ах ты так!..

Сорвав платок, он схватил Надю за волосы и гнул к полу, гнул к полу. Степан нащупал ногами первую, вторую ступеньки лестницы. Одной рукой он держался стены, в другой был карабин. У него было пусто и холодно в голове. Он спешил.

Но в это время неподалеку от хаты, где-то совсем рядом, гулко лопнул выстрел. Его подхватило и понесло эхо. И почти сразу же, будто это был сигнал и кто-то ждал сигнала, со стороны школы ударил пулемет. Над селом взлетела яркая осветительная ракета. Она забила свет луны и бросила на землю свои тени.

Жорка тут же кинулся в комнату за оружием. Надя, когда он отпустил ее, упала.

А старик, стараясь не лязгать затвором, перезаряжал карабин и ругал Степана. Он таки чуть не ввязался в эту глупую, явно проигрышную свалку! Старик уже забыл, что мысль о том, чтобы проломить крышу, высунуть наружу карабин и выстрелить в воздух — счастливая мысль! — пришла ему только сейчас, что не родись она, он, может быть, первым бросился бы вниз и затеял, видимо, проигрышную, но не такую уж и пустую драку.

Жорка выскочил на улицу, когда ракета догорала. Из школы по нему дали очередь, и он упал.

— А-а-а! — кричал Трофим. — Убили! Что делаете, гады! Своего убили!

Он пытался тащить Жорку, не бросая аккордеона. Мехи растянулись, и с каждым шагом инструмент издавал нелепые, дико звучащие в этой ночи всхлипывания. Трофим не успел уйти далеко, когда выстрелил Степан. Аккордеон всхлипнул последний раз. После этого были слышны только выстрелы. Стреляли из школы.

16

Старик спешил, стараясь обогнать болезнь, но у той были длиннее ноги, шире шаг. Он знал, что выдержит, сколько нужно, и все-таки спешил, потому что усталость надвигалась слишком быстро. Придавало сил то, что ночная дорога была безопасна. Вдвоем со Степаном они были здесь полными хозяевами.

Дорога шла через снежные, похожие на замерзшие озера поляны, протыкала насквозь небольшие пострадавшие от порубок леса. Еще совсем недалеко отсюда на ней были следы тягачей, автомашин, танкэв, здесь это была гужевая дорога, но старик спешил туда, где она, подобно реке в истоках, совсем суживалась и как бы мелела, где она дробилась на ручьи-тропинки, которые терялись в великом лесу. На одной из таких тропок их окликнут:

— Стой! Кто идет?

И они ответят:

— Свои.

Они поспешат рассказать все, что узнали, увидели и сделали. Да и о сделанном им есть что сказать. И тогда кто-то назовет их:

— Товарищи...

Черт возьми, как редко мы раньше задумывались над смыслом этого слова. Оно сделалось очень обычным и даже затертым официальным обращением ко всякому.

Немцы мужчин называли «пан», к женщинам обращались — «матка». И хотя люди быстро ко всему привыкают, к этому привыкнуть оказалось невозможным.

Совсем чужим, враждебным было слово «господин». Оно пахло нафталином, пылью и подлостью. Слово «товарищ» стало опасным, и это сразу очистило с него налет обычности. Нет, теперь далеко не каждый был и хотел быть «товарищем». Обычное слово сделалось вместилищем множества чувств и надежд, напоминанием о никогда прежде не виданном, пересекшем весь континент фронте, о спешащих к нему с востока поездах, о залитых светом заводских цехах, о селах, где бабы, инвалиды, старики и дети управляют с хозяйством, о семье, которая считает тебя погибшим.

— Вот так, дорогой товарищ,— сказал старик.

— Да, так,— согласился Степан, отвечая на собственные мысли.— Как вы думаете — с ними ничего не случится?

— Думаю, что нет.

— Напрасно они с нами не пошли.

— Как знать. Им виднее.

— Вы слышали, что сказал Жорка?

— Наде?

— Да.

— Слышал.

— Ну и что?

Степан шел рядом и не смотрел на него. «Ну и что?» — спрашивал он, как мог равнодушнее. Но и в этом старик понимал его. Может, лучше бы сказать «нет, не слышал»? Может, ему от этого стало бы легче?

Он ждет утешения и советов. Но в чем утешать и что советовать? Разве это не тот случай, когда каждый решает сам за себя, когда каждый воюет сам за себя и должен быть готов, если понадобится, сразиться со всем миром! «Ну и что?» — спрашивал Степан с напускным спокойствием, но старик знал цену этому спокойствию.

— Ничего,— ответил он ему.— Ничего.

Надя не пошла их провожать. Степан не увидел ее и когда забежал со двора в хату. Старик и хозяйка торопили, нужно было уходить, и все-таки он еще раз забежал в хату. Он был уверен, что Надя где-то здесь, в комнате, даже чувствовал, как она смотрит на него. Или это только казалось? Во всяком случае, он больше не увидел ее. Она не смогла, не захотела этого. Ну и пусть.

Их никто не провожал. Хозяйка сказала напоследок:

— Возле хутора держитесь поосторожней.

Старик знал это место. Когда-то хутор был лесным, потом начались порубки, раскорчевки, и он оказался зеленым островком среди полей. На хуторе могли быть и свои и немцы. Здесь устраивали засады, перехватывали, обстреливали друг друга.

— Развилку за хутором знаете? — спросила хозяйка.

Старик помнил развилку.

— Свернете на ней вправо. После этого никуда не сворачивайте и никого не ищите. Версты через две вас остановят.

Хутор нужно было миновать затемно. Старик решил, что лучше всего обойти его тоже справа. Это он уже сам решил.

Смушала неопределенность. Мало приятного — идти до тех пор, пока тебя не остановят. Но он понимал хозяйку, он был благодарен ей и за это. Большого она не могла сказать, даже если и знала больше.

Они шли по пустынной дороге и думали о разном: Степан — о минувшем вечере, старик — может быть, о завтрашнем утре. Они слышали только самих себя и старались ступать осторожно. Стрельба уже прекратилась, и казалось, что кто-то в темноте напряженно прислушивается: не раздастся ли где звук, чтобы послать туда пулю. Пересекли пустырь и вышли за село. Сразу стало легче. «Вот так бы и не встречать никого до самого хутора», — подумал старик. Это было простое, очень обыкновенное желание. Но в нем прорывалась и далеко упрятанная от самого себя мечта о покое, о доброй, удобной жизни, которая так быстро насточертевает, когда наконец приходит. Это верно, она скоро начинает казаться скучной, и появляется желание перемен, но как же думается о тепле, о чае, о хлебе, о книге, о свете, если долго бываешь их лишен! И потом, почему прежде он и сам считал это скучным? Почему в его молодые годы, когда модно было менять кондовые имена на более броские, когда крамольным считалось носить галстук, почему тогда мечтать об удобной жизни было стыдным? Уж не потому ли, что мечтать о ней оказывалось просто бесполезным? Почему эти строчки: «И вечный бой, покой нам только снится» — воспринимались как заповедь, данная на все грядущие времена, «ныне, присно и во веки веков»? Разве человек, черт возьми, не должен в конце концов начать жить спокойно и удобно?

Но такие мысли старик запрещал себе — они расслабляли. Сейчас он хотел одного — спокойно пройти свой ночной путь. Однако и это оказалось неосуществимым. Они услышали частое поскрипывание снега. Следом за ними кто-то бежал. Бежал или гнался. Они зашли глубже в тень. Старик присел: ночью снизу лучше видно. Но слух сказал ему больше: человек был один. Они уже слышали тяжелое, запаленное дыхание. Снег скрипел совсем рядом, когда Степан шепотом крикнул:

— Надя!

А потом они молчали, и старику пришлось их выручать. Ей, думалось ему, следовало объяснить, почему она здесь, и старик сделал это за нее:

— Ты все-таки пришла показать нам дорогу?

Она молчала. Да и Степан словно выдохся в этом крике. Она молчала не потому ли, что понимала ненужность, никчемность оправданий? В чем оправдываться, зачем лгать? Разве не ясно, почему она здесь?

Старик понимал, что значило для нее оказаться здесь после всего того, что сказал Жорка. Но понимал ли Степан? В конце концов это было главным.

— Ты долго не сможешь идти. Скоро тебе возвращаться.

Старик говорил это Наде, в действительности же он ждал и как бы требовал чего-то от Степана. А тот молчал. Он чувствовал себя и виноватым и в чем-то обманувшимся. И бессилён был разобраться в этом. С минувшего вечера жизнь стала невероятно сложной и запутанной. Это было неожиданно и тягостно. Совсем недавно Надя не захотела его видеть, а вот теперь пришла сама. И он не знал, что сильнее в нем — радость от того, что она их догнала, или горечь и боль от услышанного в этот вечер.

И еще одна мысль пришла в голову: а что, если Надя здесь потому, что ей грозит опасность? Как он сразу не подумал об этом! И Степан спросил:

— В селе спокойно?

Надя кивнула. Они шли рядом.

— Мать осталась дома?

И тут же Степан вспомнил о Жорке: «Тетя Маня»...

Надя кивнула еще раз, но что ей было сейчас до матери!

— На вас немцы ничего не подумают?

Вначале она пожала плечами, потом отрицательно покачала головой. «Не подумают ли чего немцы?..» — сейчас ей и это было безразлично.

— Оба убиты?

— Да.

— Тебе плохо?

Она первый раз за это время подняла голову и посмотрела на него. Да, плохо, очень плохо. И зачем он спрашивает об этом?

— Вам лучше бы уйти с нами.

Старик ушел вперед. Он снова прихрамывал. Это старик сказал: «Скоро возвращаться...» Нужно возвращаться. И это — все. Ничего, собственно, не было и ничего не будет. Никто никому ничего не обещал и ни на что не рассчитывал. Так откуда же это чувство горькой потери, тяжелой обиды?

Надя схватила Степана за руку и остановила. Он насторожился, боясь, не сделала бы она лишнего. А Надя вынула из-под платка и положила ему в руку что-то тяжелое. Поднеся вещь к лицу, Степан увидел, что это парабеллум в кобуре из толстой темной кожи. И удивительно — ему стало легче. Правильно! Это старик одобрил бы. Он сказал бы: «Правильно. Нужно дарить друг другу хлеб или оружие. К черту слезы, цветы, пестрые кисеты и трогательные расставанья!»

— Ты за этим догоняла нас? — сказал Степан.

Она не ответила. Пусть, если хочет, думает, что за этим.

— Мать знает, где ты?

Надя покачала головой: нет.

Степан положил ей руку на плечо. Надя, беззвучно плача, прижалась к ней лицом. Потом неожиданно повернулась и побежала. Через несколько шагов остановилась и побежала снова... Степан не видел, как она плачет, и это было, пожалуй, к лучшему. Все равно он был бессилён помочь ей.

Степан не трогался с места до тех пор, пока было слышно частое поскрипывание снега. Погом расстегнул пояс с луженой красноармейской пряжкой, надел на него кобуру и, широко шагая, стал догонять старика.

17

К хутору они подходили в самый темный предрассветный час, но старик каким-то чутьем угадал, что пора сворачивать, и круто взял от дороги вправо. На снегу образовалась тонкая, со звоном ломавшаяся корка. Ноги цеплялись за нее. Иногда на пути колючей стеной вставал кустарник. Идти было трудно.

Степан топтал след. Время от времени он останавливался, чтобы подождать старика. Ждать приходилось всякий раз дольше.

Старик с тревогой поглядывал на небо. Вначале оно посинело. Потом на нем проступила кровь и стала расплзаться все шире. Потом небо покрылось синими, красными, малиновыми разводами и сделалось похожим на полинявшую ткань. Потом он увидел впереди лес, но идти до него было еще порядочно. Лес обрывался круто, как берег. И состояние у старика было такое, будто он не идет, а выползает на этот берег.

Старик чувствовал, как на него наваливается тупое безразличие ко всему. Но то, что он еще понимал это, было само по себе хорошо. Плохо, что Степан шагал слишком широко, и старик не всегда попадал след в след. Но и это он понимал, хотя никак не мог попросить его шагать короче.

Для каждого следующего шага приходилось высоко поднимать ногу, вытаскивать ее из снега. Тяжело. И вдруг он как бы пошел по воздуху, высоко и легко поднимая ноги. Послышался смех Степана.

— Вы что, заснули на ходу? Проснитесь! Мы уже вышли на дорогу.

Этот толчок придавал ему сил. Действительно смешно. По дороге он ступал, как по глубокому снегу.

Старик посмотрел на небо. Разноцветные линялые разводы на нем исчезли. Небо ровно синело над лесом. И с каждой секундой мощь света, набирающего разгон на весь день, возрастала. Солнце, словно выпущенный под водой мяч, стремилось из глубин ночи к горизонту. Еще немного, и его выбросит на поверхность.

Хутор оставался позади, развилка дорог тоже. Впереди был совсем уже близкий лес.

— Пошли,— сказал Степан,— пошли скорее.

Им овладело нетерпение. Так торопится человек, увидев издали крыльцо родного дома.

И в это время они услышали выстрел и свист пули, похожий на короткий, несмелый птичий свист. Стреляли от развилки.

Они бросились бежать.

Сначала после выстрела все было спокойно. Степан, пробежав немного, глянул на старика и перешел на шаг. Но тот из последних сил продолжал бежать.

«Думаете, нас увидели?» — хотел спросить Степан, но вопрос не понадобился: в морозном воздухе послышалось несколько громких хлопков, и это вспугнуло целую стайку быстрых, коротко пересвистнувших птиц. Одна пуля взметнула фонтанчик снега у самых ног Степана. Стрелявших не было видно (воздух над землей все еще оставался серым), но хлопки раздались с трех сторон. Старик это заметил и понял: их пытаются отрезать от леса. А его крутой берег чернел совсем близко.

Стрелявших не было видно, и это придавало Степану надежду: значит, те их тоже не видят... Небо над лесом угрожающе яснило. «Что стоило выйти на несколько минут раньше,— подумал Степан,— или идти чуть-чуть быстрее, чтобы теперь не бежать...»

Старик упал.

— Ранило? — бросился к нему Степан.

Но ведь выстрела не было.

— Беги один — прорвешься! — прохрипел старик.

И сразу хлопнуло несколько выстрелов. Степан схватил старика под мышки и потащил с собой. Он собирался рвануться изо всех сил, он знал, что это еще не все, он верил, что мир достаточно справедлив для того, чтобы не дать им умереть. Он бросился вперед, сделал несколько шагов, но удар по спине сшиб его. Степан вместе со стариком упал в снег. Это разъярило его, он попытался подняться и почувствовал разрывающую тело пополам боль, которая подчинила его себе полностью, не оставляя места ни для чего больше.

Какое-то время они лежали. Потом старик спросил:

— Можешь ползти?

И они поползли к похожему на воронку от бомбы углублению неподалеку от дороги.

Старик действовал как мог расчетливо. На небо смотреть было больше незачем: свет съедал остатки серого тумана над землей. Старик положил удобней карабин и достал гранату.

Из-под снега торчал ломкий серый стебель какого-то бурьяна. Легкий ветер чуть шевелил его. И старик вдруг понял, что это утро — последнее в его жизни.

Над лесом появился краешек солнца, и снег красновато заблестел, когда старик заметил первого из преследователей. Вскинув карабин, он выстрелил. Запахло порохом.

— Одного уже нету. А их не больше чем пятеро.

Даже в шепоте Степан угадывал знакомый тон старика, ту манеру, в какой он говорил с попом, Карлом, с приймаком. Но сейчас она не вызвала у него раздражения. Он только сказал:

— А нас?

— Нас? Ого! Степа! Нас много — ты и я...

Степан заметил медленно движущуюся по полю фигуру и начал целиться.

Старик выстрелил снова, потом еще раз и тихо выругался. Степан лежал на противоположном краю воронки и не видел, что произошло, но понял: старик промахнулся. Фигурка, за которой следил Степан, после выстрела исчезла.

Боль отпустила, и Степан, обрадовавшись, чуть шевельнулся, но тут же едва удержался от стога.

Фигурка не появлялась, и это беспокоило его. Но потом он заметил на снегу движущееся пятно. Немец упрямо полз, пробивая путь в снегу, потом на мгновение приподнялся и нелепо (так показалось) взмахнул рукой, будто звал к себе. «Бросил гранату», — понял Степан и выстрелил. Разрыв гранаты, выстрел Степана, автоматная очередь прозвучали почти одновременно.

Оглянувшись назад, старик увидел, что Степан прижался головой к снегу. словно родник из-под камня, из-под головы выбивалась струйка крови.

В Степановом карабине оставались патроны, и старик взял его. Заметив кобуру, достал из нее парабеллум, не удивляясь и не спрашивая себя, откуда он. Люди удивляются, спрашивают себя о чем-то, когда собираются жить, а старик знал, что его время исчерпано. Он просто расстрелял патроны. Ему было все равно, что с ним сделают после смерти, но он знал, что не должен даваться живым. И он не хотел встречать смерть лежа. Многие тысячи его соотечественников поднимались в то утро в атаки. Старик их не видел, но это не имело значения. Он был одним из многих. Он чувствовал себя одним из многих. И это придало сил. Сжав гранату, старик поднялся, переступил похожий на бруствер окопа сугроб и шагнул навстречу выстрелам.

Сверчок

Да, я считаю, что передвигаться по земле нужно пешком или на попутных машинах. Так увидишь в сто раз больше. Но в то утро был рейсовый автобус. Накануне шел дождь, и я пожалел себя. Уж больно не хотелось мокнуть на развилке дорог у выезда из Керчи никому не нужным и несчастным.

Автобус на Феодосию уходил в шесть тридцать. Это меня устраивало. Почему-то устраивало и то, что автобус был маленький, потре-

панний. Люблю выдавшие виды машины. В каждой из них живет свой сверчок. Где-то в обшивке или кузове отошла гайка или болт, металл трется о металл или о дерево, чуть поскрипывает, пищит, будто сверчок поет. Самого шофера такой «сверчок» вначале раздражает (шоферы не любят потрепанных машин), он ищет его, как правило не находит и наконец привыкает к вечной дорожной песенке, как привыкает к строгим взглядам автоинспекторов.

Пассажиры были самые разные. Вначале меня удивил лохматый старик в сером бушлате, на петлицах которого белели буквочки: «ФЗО». Я не понимаю людей, которые напиваются с самого утра. А старик пришел на автостанцию в шесть утра уже совершенно пьяный. Только потом я вспомнил, что вчера было воскресенье — пасха. Видно, старик просто еще не очухался после вчерашнего. Он скоро заснул.

Заснул и хлипкий паренек в кирзовых сапогах и солдатской шинели без погон. У него был остренький нос и уставшее лицо. Я подумал, что его, наверное, недавно демобилизовали из армии по болезни.

Как истинный джентльмен, старался развлекать свою пухленькую, унизанную кольцами, обвешанную серьгами и бусами соседку капитан второго ранга. У него были туфли с узкими носами и складка на клеше острая, как форштевень крейсера. Но флотский юмор не веселил соседку; оглядываясь, я всякий раз натывался на ее взгляд и даже начал жалеть, что не сел с ней рядом.

В автобусе разместился также целый выводок девчат. Они ехали одной компанией. Им было весело, они болтали о разном. А две скучали. Они были чуть завиты, чуть подкрашены. Это их портило, потому что были они еще слишком молоды. Маленькая блондинка стояла на подножке. Она, видно, не хотела, чтобы под дождем намочла ее новая сиреневая шляпка, покупка которой была, наверно, немаловажным событием. Она стояла на подножке и время от времени осторожными, бережными прикосновениями поправляла редкие кудряшки на лбу — свою первую завивку. Ее подруга была рослая, красивая девушка со смелыми бровями. Такую легко обмануть в первый раз. Но парень, который пришел провожать ее, не смог или не успел этого сделать.

Я забыл сказать, что этих двух провожали парни. Только этих. Остальные казались совсем девчонками, хотя были не моложе их. У одной девчонки были по-детски заспанные глаза и на щеке след от подушки. Она едва успела после сна ополоснуть лицо и не опоздать на автобус.

Девчата чирикали, как стая воробьев на рассвете, а две их подруги скучали. И виноваты в этом были парни. Они были тихие и несмелые. Они только курили и смотрели на девушек. И я подумал: разве так нужно держать себя с девушками?

А потом появилась какая-то рыжая чудачка. Она мне не понравилась. В ней все было слишком: и помада, и цвет волос, и покрой одежды. Больно уж она старалась «подать» себя. Современная одежда — вообще сплошное шарлатанство, людей она меняет неузнаваемо. Рыжая овладела техникой этого мошенничества в совершенстве. И я подумал: а как бы она выглядела в синем спецовочном халатике, в простой юбочке, в вылинявшей от стирки кофточке?

...Автобус храбро продирался сквозь дождь, молодо отфыркивался, разбрызгав очередную лужу, а в утробе его продолжалась своя жизнь, вроде бы ему и не подчиненная. Вскрикивал, бормотал что-то во сне старик. Он был смешон и жалок в этом купленном на толчке или подаренном внуком-«фезеошником» бушлате. В армии о таких вещах пишут: «х. б.— б. у.» — хлопчатобумажный, бывший в употреблении. Слю-

нявила палец и прикладывала его к капроновому чулку (видимо, спустилась петля) рыжая девица. Тихо шептались о чем-то (должно быть, о своих, вежливо с ними попрощавшихся парнях) те две девушки. Блондинка сняла сиреневую шляпку и, удивительное дело, сразу похорошела. Выводок их подружек уже не просто беспорядочно чирикал, а хором пел заунывную песню о несчастной любви. Это было смешно — у них были розовые рожицы и многого не понимающие глаза. Да, это было смешно; но все-таки песня звучала как предчувствие. Капитан второго ранга истощил запас своего флотского остроумия и занялся ногтями. У него были большие руки и крупные желтые ногти. Когда он молчал, лицо у него делалось печальным. Может быть, поэтому он и говорил так много. Я глянул на его пухленькую соседку, опять наткнулся на ее взгляд и понял: она что-то хотела мне сказать. Да, она явно хотела что-то сказать, но молчала. Тогда я — какой пижон! — посмотрел на нее многозначительно и требовательно. Женщина покраснела и шевельнулась, будто ей неловко было сидеть. Капитан оставил в покое свои ногти и удивленно посмотрел сначала на нее, потом на меня. Чихать я хотел на этого капитана и на его складку на клеше! Я смотрел на женщину в упор. А она покраснела и вдруг решила.

— Вы меня не поняли,— сказала она.

Капитан смотрел то на нее, то на меня. Я не обращал на него внимания. Он ничего не понимал, и это его злило. Злость ему шла: лицо сразу потеряло скучное, кислое выражение.

— Вы меня не поняли,— повторила женщина.

А моряк улыбнулся и добавил:

— Она хотела сказать, что у вас разорваны штаны.

Я глянул: верно, они были разорваны почти от колена и до самого низа. Я зацепился где-то в автобусе. Оставалось тоже улыбнуться и сказать:

— Спасибо.

Это меня не пугало. Этим меня не смутить.

Но женщина не смеялась.

— Оставь, пожалуйста,— попросила она моряка и снова повернулась ко мне.— Вы меня не поняли. Скажите, вас зовут Николаем?

В этом вопросе были испуг и надежда. Но это тоже не было ново. Меня часто принимали за другого, мне часто говорили, что я на кого-то похож. Я до сих пор помню старуху, которая, всхлипывая, приговаривала:

— Ну до чего же похож! До чего же похож...

Она говорила это, плакала и совала мне в карман шинели кукурузные лепешки. Я напоминал ей внука, вот так же идущего где-то по степи. Другим я напоминал младших сыновей, братьев, и это спасло мне жизнь. Меня кормили за это.

И после войны не раз приходилось слышать все то же:

— Как похож! Как похож!

Теперь я напомнил кого-то этой женщине. Моряк это тоже понял.

Он перестал смеяться и смотрел на меня настороженно. Но я не собирался сводить с ним счеты, как только понял, что это его жена, я только покачал головой:

— Меня зовут иначе.

...Автобус фыркал, будто лошадь, вообразившая себя жеребенком. Иногда он останавливался. На одной из таких остановок в чистом поле нас покинула рыжая модница. От шоссе здесь уходила вправо раскисшая грунтовая дорога. Как большинство степных дорог, она была до жалости гола.

Наша рыжая чудачка осталась одинокой в этой насквозь прошитой мелким дождем степи. Теперь она выглядела совсем иначе. На ней была, видимо, уже не раз перешивавшаяся кофточка и юбка хоть и зауженная, но не новая. Я не спускал с нее глаз. Она попробовала ступить с асфальта на обочину — туфелька провалилась в грязь. Тогда, недолго думая, она сняла туфли, повернулась к машине спиной, подняла узкую юбку и начала снимать чулки. Было еще холодно, как же она пойдет босиком по грязи? Но разве могла она погубить свои выходные туфли! Она шагала широко, по-мужски, подняв одной рукой чуть выше колен подол. Там, где дорога упиралась в горизонт, лежало село. Кем работала там эта девушка? Фельдшером? Учительницей?

Да ведь она же — хороший парень, эта девчонка. «Нужен здоровый смысл! Нужны сапоги!» Чепуха! Она ехала в Керчь, как вы едете в Москву. Она не могла прийти в сапогах к человеку, которому хочет нравиться, встречи с которым ждала целую неделю. И она, черт возьми, не из тех женщин, которым идут сапоги. А сейчас она плевала на все, сейчас она может пойти и босиком.

...В придорожном павильончике нашу машину поджидали два матроса. Автобус подобрал их. Матросы оказались не из тех, кто теряет попусту время. Они быстро сориентировались и оказались рядом с девочками, которых в Керчи провожали ребята. Они их безошибочно выделили из всего девичьего выводка. У морячков был наметанный глаз.

И нужно отдать должное морячкам: они были бескорыстны. Им выходить в Приморском, а это далеко от Феодосии. Они были веселы, деятельны и быстро растормошили девчат, заставили их улыбаться.

...Мне известен тут каждый поворот, и я, не отрываясь, смотрю в окно. Вот в том селе мальчишки недавно подорвались на противотанковой гранате. Они нашли ее в старом окопе. В этой степи я наткнулся недавно на чей-то истлевший скелет. Земля вокруг была усыпана осколками снаряда. Рядом валялась перешибленная пополам винтовка. От нее остались только изъеденные ржавчиной металлические части.

Непобедимые солончаки и живущие надеждами люди, закрывающие солнце пыльные бури и упрямые виноградники, похожие на болота морские заливы и пахнущие таранью рыбацкие села, а после каждого шторма — мертвые чайки на берегу.

Сейчас будет заброшенная буровая вышка. За ней — бетонный колпак дота. Он белеет, как полузасыпанный землей череп с пустыми глазницами. Говорят, этот колпак скоро уберут. А я бы не убирал. Пусть стоит.

Автобус сворачивает с трассы на Семь Колодезей. А за спиной у меня похрапывает старик; вполголоса беседуют с девочками матросы (остальной девичий выводок с настороженностью и любопытством наблюдает за так неожиданно развернувшимися событиями); совсем спяк капитан второго ранга, а у его соседки такое выражение, что, казалось, найдись здесь кто-нибудь готовый пожалеть ее, и она заплакала бы.

На остановке машина опустела. Я спрятался от дождя под навесом, где торговали пирожками, пивом и водкой. Рядом со мной ел крутое яйцо мужчина лет сорока пяти. У него были совершенно седые, коротко остриженные волосы, обветренное лицо и крепкая шея. Руки у него дрожали. Я глянул на лежавшую на прилавке синюю и красную скорлупу от яиц и сказал:

— Крашенки?

Ни слова не говоря, он достал из кармана еще одно — синее — яйцо и дал мне. Я начал его чистить.

Мужчину всего трясло.

— Что делать? — спросил он. — Дрожу весь.

— Опохмелиться надо,— посоветовал я.— Сто граммов водки — и сразу легче станет.

— Нельзя. Вчера я и так самогона перепил. А ведь лечиться приехал в санаторий.

— Сюда? В Семь Колодезей?

— Да нет. Откуда тут санатории! В Феодосию.

— А сюда как попал?

— Длинная история. Кулича хочешь? — Он достал из кармана завернутый в газету кусок кулича, потом сказал: — Черт с ним, давай выпьем.

— Пей сам. Я с утра не пью.

Но он не отставал:

— Как человека прошу — выручи. Один я не стану пить: чокнуться с кем-нибудь нужно. Ты же видишь — дрожу весь. Сам говорил — легче станет.

Мы выпили, и он снова захмелел.

— Длинная, брат, история, как я попал сюда. Шестнадцать лет в этих местах не был. А ведь воевал здесь. Морская пехота. Десант. Слышал, как нас в сорок первом высадили тут? Эх и досталось! Вода ледяная, а немцы бьют с берега так, что в глазах красно. Перебили наших хлопчиков столько, что, если положить всех рядышком, бушлатами пляж от Феодосии до Эльтигена закрыть можно было бы. А меня ранили, взяли в плен, сунули в лагерь. Сбежал я оттуда, конечно, при первой возможности. По степи блуждал, чуть не замерз. И подобрала меня в этих местах, недалеко от Семи Колодезей, одна женщина. Тогда она еще девкой была. Жила с матерью. И был я у нее, пока не вернулись наши, почти полтора года. И жили мы с ней как муж с женой. А потом вернулись наши, и пошел я снова воевать. Опять ранило. Попал в госпиталь. Демобилизовали под чистую. Встретил деваху одну. Вроде ничего. Женился. А через шестнадцать лет вот снова попал сюда.

— Как же это так? — начал было я.

— А вот так,— оборвал меня собеседник. Но молчать он не мог, ему нужно было выговориться, как бабе выплакаться.— И вдруг узнаю, что путевка мне в Феодосию. Судьба, думаю. А прибыл на место, неделю не мог решиться поехать сюда. Жива ль она, здорова? Может, замуж вышла? Приехал. Сначала к соседям зашел. Меня тут все село знает. Вместе лечили, вместе прятали. Говорят: живет одна. Никого у нее нет и не было.

— Как же это так? — снова не выдержал я.

— Да помолчи ты,— перебил он.— Понимать тут нечего. Все ясно. Сначала меня ждала — все-таки полтора года вместе прожили,— а потом уже и никому ненужной стала. Новые невесты подросли, им замуж не за кого выходить было. А она у меня, прямо скажу, не красавица. Эх, да разве в красоте дело?

— Что ж ты не написал, не вернулся?

— Да вот и она о том же. «А ты,— спрашиваю,— почему не написала?» — «Писала,— говорит,— только письмо,— только письмо, видно, тебя не нашло». А где ж ему, бедному, найти меня! Одним словом, глуп я был. А теперь поумнел, да поздно — семья, дети. На мне все держится. А я, как старый дуб,— сверху вроде ничего, а внутри пусто. Сегодня утром говорю: «Эх, вернулся бы я к тебе...» А она плачет: «Не растравляй себя понапрасну. Невозможно это. Последний раз мы с тобой в жизни видимся. Жалею,— говорит,— об одном, что приехал ты ко мне всего на две ночи». И на прощанье поцеловала в плечо, где рубцы от той, первой, раны остались.

Он замолчал, и я тоже не совался с расспросами. Обычно неловко делается, когда седой человек говорит о своей любви, пусть даже не называя этого слова. Но сейчас я не испытывал неловкости. Этот человек через шестнадцать лет снова встретился со своей молодостью. Для женщины, которая сегодня утром целовала его в плечо, он не был седым и старым. И она для него была совсем не той, кого каждый день видят соседи. Всего час назад им было не больше лет, чем тем матросам и девушкам, которые о чем-то вполголоса переговариваются и без конца смеются.

Пора было возвращаться в нетерпеливо сигналивший автобус. Место рядом освободилось, и новый знакомый сел со мной. Он сказал:

— Попросил, чтобы не провожала. Зачем мокнуть под дождем?

Я промолчал, но не согласился с ним. Я считаю, что в таких случаях ни дождь, ни снег, ни ветер не помеха. Впрочем, кто знает, как бы поступил на его месте любой из нас. А когда машина, набирая скорость, проходила мимо автостанции, я заметил возле стены закутанную в темное женскую фигуру. Увидев автобус, она сделала несколько шагов вслед за ним, но тут же остановилась. И чувствовалось, как трудно было этой женщине остановиться. Она не махала нам вслед, а только вытирала с лица капли дождя. Мне было неприятно, что ее заметил также капитан.

— Кого это так трогательно провожают? — сказал он.

Но ему никто не ответил. Нельзя же считать ответом пение сверчка, который завелся в кузове этой старой, как мир, машины и которому было чихать на все, кроме дороги. Он был рабом дороги и, едва автобус трогался в путь, начинал гимны в ее честь. Чем сильнее трясло машину, тем громче он пел. Но кто, кроме шоферов, принимает всерьез эти песни? Я, например, на них не обращаю внимания.

„Мой папа“

Наш двухэтажный дом строился как общежитие (длинный коридор от торца до торца, и по обе стороны коридора — комнаты, комнаты, комнаты), а потом в нем стали селить и семейных. В таких домах единственное, чем бываешь не обижен, так это количеством соседей. Детей у нас с избытком хватало бы на целый детский сад. Хорошие ребята, крикливые. Особенно хорош был соседский Генка. Он жил слева от меня. Комнату справа занимал прораб Александр Максимович — хоть и небольшое, но начальство. Он жил со своей бездетной женой — толстой, тихой женщиной.

Как хорош был этот пятилетний Генка! Сквозь грязь пробивается румянец, крепкие загорелые ноги всегда в синяках, царапинах, ссадинах. Он обещал вырасти здоровым парнем, и я всегда удивлялся этому, глядя на его тшедушного, маленького отца. Тот был не только тшедушен и мал, но и робок, застенчив. Удивлялся я и тому, как этот человек смог отхватить себе такую жену. Эта женщина была явно не для него. Потом мне объяснили: путалась она с половиной поселка, плюнула на всех этих парней, выбрала самого тихого и женила на себе. Не знаю, так ли это. Люди часто бывают несправедливы и злы. Но если даже и так, ни она, ни он не стали в моих глазах хуже.

Не пойму: отчего люди бывают беспричинно злы? Соседка справа, эта тихая, толстая жена прораба Александра Максимовича, услышав

однажды, как Генка с воплем «Ура! Папа пришел!» промчался через весь коридор, сказала:

— Папа! Знал бы он, кто его папа!

— А вы знаете? — спросил я.

— Боюсь, что его мама этого тоже не знает, — ответила она и добавила: — Безнравственная женщина.

Жена нашего прораба работала когда-то официанткой и любила интеллигентные слова. Я официантом никогда не работал, поэтому сказал ей:

— Сволочь. Ведь Генка похож на него.

Толстая, тихая женщина выпучила глаза и отшатнулась, будто увидела ползущую прямо на нее гадюку.

Вырвались эти слова у меня неожиданно, но не случайно. Дело в том, что Генка боготворил отца. Я не люблю этого затасканного слова «боготворил», но иначе тут не скажешь. Слово «папа» не сходило у него с языка. День он начинал гимнами в честь отца. Перегородки между комнатами у нас тонкие, дощатые, обшитые только листами сухой штукатурки, так что хотел я или не хотел, а слушать приходилось.

В Генкином представлении отец мог все. Он был самый смелый, самый сильный, самый умный, он мог сделать все что угодно. Вероятно, дети часто заблуждаются таким образом, но я никогда не встречал более искреннего, более сильного и, я бы сказал, более радостного заблуждения. Я не мог понять, как в этой трудно живущей, лишенной сантиментов семье появился мальчик, восклицающий вдруг:

— Звездочки! Я люблю вас!

Или:

— Дождь! Противный! Перестань сейчас же! Не то папа тебя накажет.

Папа мог сделать и починить игрушку, мог ответить на любой вопрос, мог даже наказать дождь. Я завидовал этому всемогущему папе. Неужели кто-нибудь когда-то и в меня так поверит? Я завидовал даже тому, что Генка был действительно похож на него. (А на меня будет кто-нибудь похож?) Ведь вот же повезло человеку! Сам маленький, хилый, а лет через пятнадцать, когда вымахает у него здоровяк сын, будет хвастать:

— Посмотрите на парня. И я был таким же.

И ведь черт бы его забрал, поверят ему. Поверят. А я, смогу ли я сказать когда-либо что-нибудь такое? Должно быть, это удивительное счастье, когда можешь сказать:

— Посмотрите на парня. И я был таким же.

Наш поселок строился в лесу. Как это часто бывает, во время строительства деревья вырубали, а года два спустя силами общественности начали озеленение. По воскресеньям общественность не скучала — рыла ямки для зеленого друга. Грунт у нас каменистый, и за каждую ямку брались два человека. Везде по два, а нас было трое: Генка, его отец и я.

Генку в то время интересовали вопросы космогонии: откуда взялись на небе звездочки, солнышко и луна? Такие понятия, как вечность и бесконечность вселенной, не укладывались у него в голове, и я сразу почувствовал в нем родственную душу.

— А что там дальше на небе, за звездочками? — спрашивал он.

— Еще звездочки, — отвечал я.

— А за теми звездочками?

— Еще одни звездочки.

— А за самыми-самыми крайними?

— Крайних звездочек не бывает, — утверждал я.

Он мне явно не поверил, но сложил оружие, когда отец не совсем уверенно подтвердил это.

У парня было ценное качество: он непременно стремился докопаться до корня явлений. Когда ямка была готова и работа закончилась, он спросил, откуда берутся деревья.

— Вырастают из семян.

— А откуда берутся семена?

— Вырастают на деревьях.

Я с тоской ожидал, что сейчас он спросит, а откуда взялись самые-самые первые деревья на земле, но Генка неожиданно встрепенулся: — А где мой папа?

Его отец неподалеку от нас о чем-то говорил со своим начальником, прорабом Александром Максимовичем. Мне сразу показалось, что разговор шел неприятный. Александр Максимович напирал и чего-то требовал, Генкин отец, по-видимому, колебался. Он даже не заметил, когда к нему подошел сын. А Генка стоял рядом, вытянул тоненькую шейку, наморщил лоб и поджал губы. У него было сосредоточенное, даже трагическое выражение лица, как в те минуты, когда ему читали сказки о злых и коварных волшебниках.

— Чего боишься? — говорил Александр Максимович. — Бумагу я составил так, что ни одна собака не подкопается. Тебе подписать только надо.

Генкин отец мялся:

— Не могу я, Александр Максимович...

Вид у него был жалкий. В эту минуту он казался особенно маленьким и шуплым. Генка встревоженно посмотрел на отца, взял его за руку, но тот и этого не заметил. Он взял его за руку или протянул ему свою руку? Кто знает, что творилось в пацанской душе!

— Не хочешь, значит? — напирал прораб. — Смотри, потом сам предложишь, да я не захочу.

— Что вы, Александр Максимович! Как не хочу! Не могу. Ведь я на том участке даже ни разу не был.

— А! — с досадой говорил прораб. — Был, не был... Кого это интересует! Не морочь ты мне это самое...

— Как можно, Александр Максимович...

Было тошно смотреть на человека, извивающегося, будто червяк, которого рыболов насаживает на крючок. Поглядывая на Генку, я думал: вот оно, разочарование. Рано оно пришло к тебе, парень. Неужели и во мне когда-нибудь так разочаруются?

А прораб достал из кармана и развернул какую-то бумагу.

— Вот здесь, — говорил он, — и место оставлено для подписи.

Он протягивал бумагу, но Генкин отец не решался взять ее потому, видимо, что знал: если возьмет — подпишет.

— Ну как же так, Александр Максимович...

— Тьфу! — рассердился прораб. — Ну и труслив же ты, братец!

А я, невольный свидетель этого разговора, не отрывал глаз от Генки. Вцепившись отцу в руку, он переводил тревожный непонимающий взгляд с него на Александра Максимовича. Но взрослые его по-прежнему не замечали.

— Последний раз говорю...

Рука Генкиного отца дрогнула, и я подумал: сейчас она медленно потянется за бумагой.

Я не отрывал глаз от Генки. Он смотрел на Александра Максимовича как на изображение Бармалея, — с ненавистью и отвращением. И тот наконец заметил это.

— Чего смотришь на меня, будто волчонок? — попробовал пошутить он.

И тогда Генка (недаром же я люблю этого Генку!), не отпуская руки отца, шагнул вперед и сказал своим великолепным звонким голосом, который будит меня каждое утро:

— А ты не кричи на нас. Мы тебя не боимся. Правда, папа?

И отец вздрогнул. Его рука уже потянулась к бумаге. Я думал, что теперь он отдернет ее назад, он должен был ее отдернуть. Но он взял бумагу, постоял мгновение и, будто приходя в себя, выпрямился. Потом высвободил из Генкиных цепких пальцев вторую руку и как-то слишком уж неторопливо и спокойно разорвал бумагу.

Александр Максимович побагровел, ни слова не говоря, повернулся и пошел прочь. И, что самое странное, вид у него при этом был отнюдь не угрожающий, а, пожалуй, даже растерянный и жалкий.

На следующее утро я, как всегда, проснулся от Генкиных песен, а через полчаса, когда шел на работу, встретил его самого у крыльца. В руках у него была какая-то железка.

— Это ракета, — сообщил Генка. — Тебе нравится моя ракета?

Я сказал, что это лучшая в мире ракета, и даже добавил, что хотел бы, чтобы все остальные ракеты были на нее похожи.

— Нет, — не согласился Генка. — Это не лучшая в мире. Лучшую в мире сделает мой папа сегодня вечером.

— Конечно, — сказал я на ходу. — Сделает. Твой папа молодец.

— Правда? — обрадованно закричал он. — Ведь это же правда? Правда?



ЮРИЙ КУРАНОВ

★

СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Егора

Низко под берегом стояла тихая черная вода. Поперек старицы, растянутая пожелтевшими берестяными поплавками, покачивалась сеть. Сеть была двойная и тоже черная. Течение замерло, но сеть покачивалась, словно в ней беспокойно дремала рыба.

Над берегом горел костер. Сашка лежал в траве, расстегнув свой синий китель и заложив руки за голову. Он смотрел в небо. В небе осторожно держались зеленоватые летние сумерки.

Над рекой в темной прохладе березняка пел соловей. Временами он смолкал и прислушивался к собственному голосу.

— Егора,— позвал Сашка.

— Чего тебе?

— Кто это такое имя для тебя придумал?

— Отец.

— Чудак он у тебя.— Сашка повернул голову и пристально посмотрел на Егору. Веснушчатые тонкие щеки Егоры покраснели от близкого огня. Егора взяла с плеча красную горсть густых прохладных волос и прижала их к щеке.

— Или чудной? Друг у него был, Егором звали. На фронте он отца спас. Вот отец и решил сына родить, да и назвать Егором. А родилась-то я.

Сашка улыбнулся и снова стал глядеть в небо. Сквозь сумерки звезды не просвечивали, только низко над лесами горел один желтый неподвижный огонек.

— Полночь-то какая,— сказал Сашка, приподнимаясь на локте и прищуренно, сквозь тонкие синеватые ресницы, глядя на Егору.

— Какая? — улыбнулась Егора.— Ишь уставился. Чего глядишь-то?

— Да так.

— Так, так. Пойдем сеть вынимать.

— Да ведь сеть-то чужая.

— Говорю тебе, не чужая. Отцова она. Я ведь знаю. Он здесь каждый год сеть держит. Пошли.

От воды поднимался густой синий пар. Сашка и Егора вошли в этот пар с противоположных берегов, так что еле различали друг друга сквозь толщу тумана.

Прямо в платье Егора забрела в дымящуюся воду, и платье поплыло вздутым синим пузырем. Егора локтями втиснула платье в воду, присела

и стала отцеплять свой конец сети глубоко под корягой. Отцепив, она с сетью пошла по грудь через старицу к Сашке.

Вода была теплая, на каждом шагу пузырилась и булькала. Ноги грузили в легкий податливый ил.

Сашка стоял на берегу у самой воды и широкими рывками тащил сеть. По мелкому слою сети здесь и там поблескивали пузатые карасики. Сашка брал их в горсть и швырял назад в старицу. Карасики гулко шлепались в воду.

Скоро в крупном слое сети повисли большие черные окуни, словно выкованные из темной прозрачной стали. Окунь надували горбатые спины, топырили плавники, бились и, казалось, позванивали чешуей.

Егора прямо с середины старицы широкими шагами бросилась к берегу. Она обеими руками на ходу выдирала окуней из сети, натыкалась на плавники и то и дело слизывала с исколотых пальцев кровь. Потом, пригнувшись, она со смехом бегом потащила окуней в мокром грязном подоле к костру.

Бросив рыбу в траву, Егора остановилась над огнем и, поеживаясь, принялась сушить платье. Сашка опять лежал в траве. Сквозь легкие остатки сумерек он смотрел на Егору снизу вверх.

— Ну, теперь бы и уши... — сказал он наконец.

— Ухи, уши. Возьми вон чугунок. — Егора показала рукой в ивняка над старицей. — У отца вечно там чугунок стоит. Чего глядишь-то?

Сашка неохотно поднялся, побрел в кусты и вернулся с чугуном, похожим на огромную печеную луковицу. Егора взяла чугунок и направилась к реке, мимо старицы, по сухой прохладной траве.

Вернулась она не скоро. Шла, прижав обеими руками полный чугунок к животу и широко расставляя ноги. Еще издали она весело закричала:

— Фу ты, леший понеси! Чего глядишь-то? Хоть бы рыбу обдирали. Мужики же пошли...

В это время далеко в лугах послышался быстрый конский топот. Потом топот оборвался, и кто-то молодым, почти мальчишеским голосом завопил:

— Сашка! Саш-ка-а-а!

Сашка насторожился. Крик раздался снова, далеко отдаваясь в лугах и вдоль сосняка. Егора замерла и с тревогой посмотрела в ту сторону, откуда донесся крик. Сашка набрал в грудь воздуха, отвел руки назад, словно собрался взлететь, и ответил:

— Эй-я-я-я!

Вскоре из-за ивняка вывернул парнишка на черной маленькой лошадке. Он поскакал берегом к костру, вопя во все горло, словно за ним гнались: «Сашка!» Конь под парнишкой был какой-то лохматый, с вывернутыми ногами, бежал приседающей рысью — ни дать ни взять леший. Леший остановился возле Сашки, косясь в траву на окуней бурыми глазами с синеватыми жилками.

— Сашка! — закричал парнишка опять. — Побегли в село, у ваших геологов кой-то ногу ли, что ли, сломал. Лететь за врачом надо...

Парнишка бешено вытирался рукавом, поводя под синей широкой рубахой угловатыми плечами и облизывая губы.

— Что ж, — сказал Сашка, глядя на Егору, — так уха и не вышла... — Он застегнул китель и шагнул к ней. — Вечером увидимся.

— Вечером так вечером, — ответила Егора, тоже глядя на Сашку и отступая от него. — Чего глядишь-то?

Парнишка тронул поводья, и Сашка зашагал рядом с конем за старицу, к селу. Егора поглядела им вслед, потопталась на месте, крепко сжала ладонями веснушчатые холодные щеки и крикнула:

— Смотри, а то доброшу! Мне заворотить недолго.

Сашка оглянулся и помахал рукой.

— Ничего. Ты уж давай на пристань. Вечером встретимся.

— Смотри,— сказала Егора и стала заливать костер водой из чугуна.

Утренняя заря широко обдала небо белым предсолнечным светом. Соловей давно уже молчал. Только иногда вдруг чудилось, что он все поет. За лесами то здесь, то там начал раздаваться прозрачный быстрый звон. Это на ночлегах готовили косы к травам.

Егора скатала сеть, спрятала ее в кустах над водой, где обычно ее прятал отец, вернулась к кострищу и задумалась, глядя в землю. Окуни мутно посвечивали в траве прозрачной черной чешуей. Егора перешагнула через окуней и широкими шагами сквозь кусты направилась к дороге, где стоял ее лесовоз.

Машина грузно дремала обочь наезженной бревенчатой дороги, что вела от села к речке, на пристань лесосплава. Прицеп накренился и осел, приплюснутый тяжкими рыжими бревнами. От бревен сухо тянуло сосновой смолой, смола застыла на срезанных сучьях желтыми спекшимися потеками.

Егора обошла вокруг прицепа и влезла в кабину. Она включила мотор и осторожно вывела покачивающуюся, словно сонную, машину на бревенчатую колею. Потом Егора резко взяла скорость. Медные сосны с крошечными зелеными верхушками замелькали по обеим сторонам дороги, как спицы в велосипедном колесе. Сухой резкий ветер упрямо бил в кабину и разворачивал тяжелые Еgorины волосы с затылка на глаза. Егора сняла с верхнего края ветрового стекла шелковую мелкую сетку для волос. Егора ухмыльнулась, вспомнив, что эту шелковую сетку забыл в кабине Сашка. Она положила на руль голые локти и, придерживая баранку локтями, надела сетку себе на голову и спрятала под нее волосы.

На одном из поворотов Егора увидела, как позади, там, где осталось село, поднялась в небо машина, похожая на раздутую ящерицу. Машина покачивалась в воздухе и, поблескивая на солнце огромным горизонтальным винтом, пошла над лесами. Потом машина замерла на месте, как бы приглядываясь к земным дорогам.

— Лети, лети, чего глядишь-то,— сказала Егора той машине и, больше не оглядываясь, погнала лесовоз дальше.

Гости издалёка

От станции Нину Яковлевну подвезли. Перед селом она сошла с грузовика и зашагала обочиной.

По селу дул свежий подъемистый ветер. Вдоль улицы на ветер низко летел серый молодой гусь. За гусем гналась рыжая гладкая собака и крутила на бегу хвостом. Гусь, далеко опередив собаку, сел на дорогу, оглянулся и неуклюже затоптался на месте. Собака подбежала к нему, гусь вытянул шею, заводил красным носом и запишипывал. Собака припала на передние ноги, втянула голову и громко залаяла, делая вид, что злится. Потом она отошла в сторону, как бы освобождая гусю дорогу, и стала. Гусь разбежался, поднял крылья и полетел назад, в село, радостно крича на лету. Собака вскинулась и с лаем помчалась за ним.

Нина Яковлевна улыбнулась, как улыбаются, глядя на играющих детей, и покачала головой. Издали она увидела в центре островерхое, с резьбой, деревянное здание клуба и направилась к нему. Нина Яковлевна ожидала увидеть возле клуба много народу, но никого на крыльце

не было. Только двое мальчишек, белобрысых и босоногих, старались попасть сухими еловыми шишками в круглые матовые фонари над входом.

— Вы что тут делаете? — крикнула Нина Яковлевна и хлопнула в ладоши.

Мальчишки бросили шишки и убежали за угол. У входа к бревенчатой стене была прибита огромная фанерная афиша, по синему фону было написано крупными желтыми буквами:

Сегодня в клубе
открытие выставки
картин русских художников
будет беседа
искусствоведа Нины Яковлевны
Хохотовой
спешите!

Нина Яковлевна прочла объявление, приняла серьезный вид и вошла в клуб. Возле гардеробной перегородки лежал на полу вздутый холщовый мешок, завязанный рогожной бечевкой. Мешок бился изнутри и повизгивал. Нина Яковлевна ухмыльнулась и вошла в фойе.

По всем стенам фойе были развешаны большие красочные репродукции. Перед репродукциями ходило человек десять — девушек, старушек и парней. В стороне стоял старик в фуфайке, мятых кожаных сапогах и глядел под потолок, где сидела на дверном косяке синица. Старик подмигивал, кивал птичке и что-то показывал ей на пальцах.

Остальные разглядывали репродукции, молчали, и в первую минуту никто не обратил на Нину Яковлевну внимания. Нина Яковлевна прошла по фойе и остановилась позади трех девушек, разглядывавших репродукцию с картины Левитана «У омута». Одна из девушек была в белом сарафане с застиранными голубыми цветочками. Девушка переминалась с ноги на ногу и поеживалась.

— Ты бы стала здесь купаться? — спросила девушка подругу.

— Ни в жизнь, еще русалка какая-нибудь схватит, — засмеялась подруга.

— У нас возле старых мельниц такая вода, — сказала третья, — там, говорят, щука с целую лодку ходит.

— Неужели такая страшная картина? — спросила Нина Яковлевна.

Девушки обернулись и замолчали. Потом первая спросила:

— А он был старый, Левитан?

— Да вот какой, — сказала Нина Яковлевна и подвела девушек к висевшей невдалеке репродукции с портрета художника.

Над репродукцией была прибита к стене длинная еловая ветка, и на этой ветке сидела уже перелетевшая сюда синица.

— Какой он тихий, — сказала первая девушка.

— Тихий, — согласился кто-то сзади.

Тут появился старичок в фуфайке и запашистых кожаных сапогах. Он, подмигивая обоими глазами и остро поводя носом, быстро сказал, глядя в подбородок Нине Яковлевне:

— Это, стало быть, вы и есть.

— Я и есть, — улыбнулась Нина Яковлевна.

— Так, — удовлетворенно согласился старик. — А костюмчик-то у него, того, значит, отменный костюмчик. Так, а скажите мне, как вас зовут-то?

— Нина Яковлевна.

— А скажите мне, Нина Яковлевна, сколько на старые деньги такой костюмчик стоил?

Нина Яковлевна улыбнулась, но старик не дал ей сказать, а быстро ответил:

— Не что-либо, а десять рублей. Во какой костюмчик.

К Нине Яковлевне протиснулся сквозь увеличивающуюся голпу подросток и, тихо глядя в пол мягкими голубыми глазами и заметно волнуясь, спросил:

— Вы ничего не можете рассказать про Куинджи?

— Так оно и есть,— поддержал старик,— рассказать про него, значит быть, надо.

— Про секрет про его,— пояснил подросток.

Нина Яковлевна подошла к репродукциям работ Куинджи и стала рассказывать. Рассказывая, она заметила, что произносит слова как-то осторожно и медленно, словно тихий взгляд подростка требовал именно такого тихого разговора.

— Нет в его картинах никакого секрета,— заключила она.— Секрет есть, но это не секрет, просто талант, необыкновенный талант и сердечная любовь к земле нашей, к природе. Вот и все.

Старик пронзительно посмотрел на Нину Яковлевну и придирчиво спросил, указывая крепким пальцем со вздутым ногтем на одну из репродукций:

— А скажите мне, Нина Яковлевна, из какого дерева этот лес растет?

— Тут же написано — из березового, здесь «Березовая роща»,— улыбнулась Нина Яковлевна.

— Береза березе рознь,— сказал старик и строго посмотрел Нине Яковлевне в подбородок,— рознь.

В это время молодой красивый парень в солдатской гимнастерке стал между стариком и Ниной Яковлевной. Он спросил, правда ли, что художник Шишкин не умел рисовать людей и животных. Нина Яковлевна коротко ответила на этот вопрос и упомянула «Утро в сосновом лесу», где медведь Шишкину нарисовал Савицкий. Было видно, что парню хочется еще что-то спросить, но его отталкивал все тот же старик, и парень кряжисто водил широкими плечами, стараясь закрыть спиной старика. Наконец парень сказал:

— А про боярыню Морозову?

— Так оно и есть, значит быть,— выкрикнул старик из-за спины парня,— так и есть рассказать.

— Как же, с удовольствием,— улыбнулась Нина Яковлевна и повела людей к этой репродукции. Все шли за ней степенно и старались не шаркать ногами.

Не успела она закончить рассказ, как перед ней снова вынырнул старик. Отдуваясь и поводя потным носом, он заговорил как бы сам с собой:

— Ага. Так оно и есть. Все как есть. Платочки, платочки. Сани.— И вдруг в упор быстро спросил:— А скажите мне, Нина Яковлевна, какой на свете гриб самый наилучший?

Девушки захихикали, парень принялся снова оттирать старика в сторону, но в коридоре капризно и протяжно завизжал поросенок. Старик мгновенно посерьезнел, важно пригладил ладонями волосы на лбу и ушел в коридор.

Когда Нина Яковлевна вышла из клуба, в чистом небе уже было темно, низко, почти над головой, стремительно и растяписто пролетела сова, вдали по-ночному сторожко лаяли собаки. Невдалеке гуляли по дугу спутанные белые кони. В полутьме кони были серыми.

Нина Яковлевна сошла с крыльца и тихо направилась в сторону, на луг. Она долго стояла на лугу, глядя издали на коней и на широкий месяц, встающий за селом над лесами.

Кто-то прошел стороной к коням. Нине Яковлевне показалось, что это та девушка в белом сарафане. Девушка шагала медленно, опустив голову, в руке девушки позванивала уздечка. Девушка что-то тихо и внимательно пела. Слов песни нельзя было разобрать, но казалось, что поет она об этой тишине, о месяце, белесым светом тронувшем небо, о ребенке за ближним огородом, который засыпает в качалке и еще всхлипывает во сне, и об этих конях, и об осенних травах.

Девушка побродила среди коней, накинула на одного из них уздечку и направилась назад, все напевая. Она заметила наконец Нину Яковлевну, подошла и нерешительно тронула ее за локоть.

— Как-то обидно получилось,— сказала девушка и посмотрела в сторону.

В лунных сумерках детское лицо девушки казалось голубым и прозрачным, оно смотрелось как бы сквозь туман, удивительно простое, с глазами, похожими на маленькие родники.

— Подруга у меня,— сказала девушка,— Капа ее зовут. Такая она, вы бы знали! Так она хотела со мной приехать! К вам. Она книжек сколько читает. И сама рисует. А вот не приехала.

— Что же с ней случилось?

— Знаете, у нас столько ягод,— продолжала девушка, словно не расслышала вопроса,— такие ягоды! И речка песчаная-песчаная...

— Почему же она не приехала?

— Болеет она. Нogu на покосе распоролла. Не то что ходить, а вообще нога распухла. Жизни нет.

— Так поедemте к ней. А далеко?

— Что вы! Какой далеко!— Девушка схватила Нину Яковлевну за руку, потащила в темноту.— Километров десять всего или пятнадцать. Мы одним духом. Конь-то у нас во какой!

Конь стоял в стороне и косил на Нину Яковлевну из-под дуги блестящим круглым глазом.

Дорога идет синей мгlistой рожью. Рожь спит. Нивой бричка взбирается на широкий увал, и впереди открываются леса, спокойные и черные. Вдали среди лесов краснеют крошечные огоньки деревеньки. А еще дальше идут за лесами машины, польхая фарами.

— Это по тракту,— говорит девушка и кнутом показывает на машину,— наш тракт старинный. Сколько тут разбойников раньше было! И теперь еще клады, говорят, остались. Раньше, где красная собака лежала под деревом, значит клад.

Среди ржи совсем недалеко быстро пробегает какая-то осторожная птица. Откуда-то слабо тянет запахом костра. Дорога выходит из нивы и тянется над глубокой ложиной.

— Тут река,— говорит девушка, показывая кнутом вниз, и задумчиво начинает совсем о другом:— Это ведь как здорово! Люди какие на свете бывают, как цветки какие-то. Словно ты сама тыщу лет среди таких людей жила. Я бы таких людей просто целовала. Вот и Капа наша тоже, видно, такая.

Девушка покачивается на передке и забко поводит плечами, и плечи ее при лунном свете кажутся выточенными из темного нежного дерева.

Низом долины поднимается длинный сильный ветер, так что в лесу шумит, словно где-то гулко прорвала плотину вода. И сразу приходит запах свежей осенней листвы. И совсем близко от брички высоко под-

нимается в небо большой желтый лист. Вот ветер уже пропал, а лист все покачивается в воздухе, и переворачивается, и дрожит. При мглнстом свете месяца он сверкает над лесами, словно созданный из тонкого прозрачного льда.

Белки на дороге

Снегопад осторожно приходит в леса. Черный ельник тонет в белой дали снегопада. Ветра нет. Слышен шорох медлительных хлопьев, да мягко поскрипывают на ходу оглобли.

Лелька по затылок ушел в лохматое тепло тулупа, он, Лелька, свернулся в санях, он подремывает и не подремывает. Изредка он глядит на дорогу. Через дорогу то и дело весело пробегают белки, оставляя крошечные следы на свежем снегу. Кажется, что белки мчатся через дорогу кубарем.

Сани мягко покачиваются, словно идут по воде. Лелька свертывает и кладет под голову пустые мешки. От мешков еще пахнет рожью. Широкие кресла розвальной потерто поблескивают. Кресла снизу перетянуты рогожными бечевками. Бечевки кажутся медными.

Снег всюю своей живой глубиной закрывает дали, одевая леса искрящимся шорохом. Лелька закрывает глаза. Он засыпает, словно затягивает песню, как пели в старину ямщики.

Когда он открывает глаза, все так же шелестит снегопад, а в розвальнях у Лельки в ногах сидит на сене женщина. Женщина в бурой гладкой дохе, желтоватом пуховом платке, с красным кожаным чемоданом.

Лелька пристально разглядывает ее и молчит. У женщины необыкновенно веснушчатое лицо с удивительно зелеными глазами и веселым вздернутым носом. Женщина улыбается всем своим молодым лицом и тоже молчит.

Снегопад постепенно редет. Сквозь облака длинным пятном обозначается солнце. Брови и ресницы женщины в посветлевшем воздухе становятся желтыми. Веснушки прозрачают и светятся, словно тонкий бронзовый пепел.

Лелька смеется.

Женщина тоже улыбается.

Навстречу свету по всему лесу бестолково зазвонили синицы. И над самой дорогой вниз головой висит под березой синица. Она вызванивает и смотрит прямо на Лельку. Глаза синицы смеются.

— Вот пройдоха,— говорит Лелька, глядя на синицу.

Женщина кивает головой, соглашается.

На повороте в дорогу упирается высокая еловая просека. Далеко, в конце просеки,— длинные бревенчатые дома деревушки под слоисто заснеженными крышами. Вдоль просеки голубеет слабо наезженная дорога.

— Залесово?— спрашивает женщина, показывая глазами на деревню.

— Оно,— отвечает Лелька.

— Не сворачиваешь?

— Мне дале. Или уж приехала?

Женщина встает в санях во весь свой маленький рост, берет чемодан и спрыгивает на дорогу.

— Спасибо. Ты ехал, я и села. А будить не захотелось.

— А вдруг проехала бы?

— А мне ведь объяснили, что за просекой.

- Ты откуда?
— Городская.
— Из какого?
— Из самого большого. Приходи в гости.
— А куда к тебе приходит?
— Вот сюда.— Женщина показывает синей варежкой на деревушку.— Здесь жить теперь буду.
— Чья же ты будешь?
— Ничья, городская. Приходи.
— Хорошо,— соглашается Лелька,— вот повезу опять семенную рожь, заеду.

Женщина кивает и уходит по просеке под огромными скалисто заснеженными елями. Под елями висят синицы и кричат. Женщина уходит далеко, мелко семеня валенками, словно спеша на высоких каблуках.

Лелька встает в сани и кричит в просеку:

— О-о-о!

Женщина оглядывается и тонко смеется издали. Смех уходит в леса, и с елей осыпается снег.

Конь трогает, Лелька плюхается в сани. Он устраивается поудобней и снова закрывает глаза. Сквозь веки в глаза веснушчато светит солнце. От этого кажется, что лето. Широкие оброженные кресла розвальней поскрипывают между оглоблями. Порой слышно, как фыркает конь, когда дорогу перебегают белка.



Л. ЗАВАЛЬНЮК

★

ВЕСЕЛЫЕ ПРИМЕТЫ

К чему идти планете,
В то и играют дети.

Я вспоминаю свой детсад —
Сплошные войны. Драки.
Девчонки, парни ли — подряд
Мы были все рубаки.
А ныне в общем детвора
Заметно присмирела.
Вот звезды нашего двора —
Совсем другое дело:
Пять знаменитых балерин,
Одна Татьяна Ларина,
Один Ботвинник, Таль один
И двадцать три Гагарина.
К примеру, скажем, мой сосед,
Вернее, сын соседки,
Такой забавный шпингалет,
Ровесник семилетки.
С утра пораньше в «телефон»
Орет на всю планету:
— Упался в заданный район!
Ушиб и ранов нету!
А грамотей какой, беда —
Любая карта бита!
— На Марс летишь?
— Да не, туда,
На это... на орбиту.
Весь вдохновением горит,
Работа не простая.
— Уйдите, дядя, — говорит, —
Сейчас я — дзинь! — взлетаю!
Я без иронии смотрю
И, становясь поэтом,
— До скорой встречи! — говорю, —
С космическим приветом!
Лети к неведомой звезде,
Счастливый сын планеты.
Куда ни глянь, везде, везде
Веселые приметы.

И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ *

25

С Паскиным меня познакомил Мак-Орлан; было это, кажется, в 1928 году. Мы обедали в маленьком ресторане на Монмартре. Я знал и любил рисунки Паскина и разглядывал его с откровенным любопытством. У него было лицо южанина, может быть итальянца; был он одет чересчур корректно для художника: темно-синий костюм, черные лакированные ботинки; хотя к тому времени котелки почти исчезли, Паскин часто ходил в старомодном котелке. За обедом он молчал. Говорил Мак-Орлан, говорил о минувшей войне, о гигантском росте городов, о том, как светится ночью площадь Пигалль, как бродят тени под черными мостами, называя все это «новой романтикой». Паскин сначала слушал, потом начал рисовать на меню Мак-Орлана, меня, голых женщин. Подали кофе, коньяк; он выпил стаканчик, как пьют у нас водку, залпом, и вдруг оживился: «Романтика? Вздор! Несчастье. Зачем строить из дерьма художественные школы? На площади Пигалль сто борделей. Точка. Под мостами спят обыкновенные люди; дай им кровати, они будут голосовать и ходить в воскресенье в церковь. Незачем одевать людей в костюмы, моды меняются. Лучше их раздеть. Голый пупок говорит мне больше, чем все платья. «Романтика»? А по-моему, попросту свинство...» Он выпил еще стакан, и тогда я увидел другого Паскина, шумливого, беспокойного, который славился дебошами. Почему-то я вспомнил друга моей ранней молодости Модильяни.

Потом, встречаясь с Паскиным, иногда серьезным, печальным, даже робким, иногда буйным, я понял, что не ошибся при первой встрече: чем-то он напоминал Модильяни. Может быть, внезапным переходом от замкнутости, молчаливости, от сосредоточенной работы к разгулу? Может быть, страстью неизменно рисовать на клочках бумаги? Может быть, тем, что оба были всегда окружены людьми и оба узнали всю меру одиночества?

Паскин попал на Монпарнас, когда драма была доиграна. Далско от «Ротонды» шли другие драмы. Он появился внезапно и слишком поздно, как заблудившаяся звезда. Ему бы сидеть с Моди, они друг друга поняли бы. А Паскин тогда был далеко — в Вене, в Мюнхене, в Нью-Йорке.

Он прожил жизнь как бродяга. У него в Париже были различные знакомства; то он встречался с писателями, художниками, с Дереном, Вламенком, с Сальмоном, Мак-Орланом, с сюрреалистами; то нырял в другой мир, пил с бродячими циркачами, с проститутками, с жуликами

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 9 и 10 с. г.

Все знали, что он знаменитый художник, что его работы висят в музеях; а он рвал свои рисунки, рисовал и рвал; и мало кто знал, откуда он взялся, где провел сорок лет своей жизни, есть ли у него родина, дом, семья.

Паскина звали Юлиус Пинкас, и родился он в Видине — это маленький болгарский городок на Дунае. Он был сыном торговца, еврея-сефарда (как Модильяни), — предки Паскина когда-то жили в Гренаде и были выселены Фердинандом-Католиком в 1492 году. Это, следовательно, очень давняя история. Но вот, когда в 1945 году я приехал в Софию и за ужином меня посадили рядом с бывшим партизаном, не знавшим русского языка, вдруг выяснилось, что мы можем объяснить по-испански: партизан был сефардом. В детстве Паскин дома говорил по-испански, а во дворе с ребятами — по-болгарски. Недавно я получил из Болгарии письмо от школьного товарища Паскина, он мне прислал фотографию дома, где учился маленький Пинкас.

Паскин уехал в Вену учиться живописи; в Мюнхене рисовал для «Симплициссимуса»; добрался до Америки, узнал нужду. Потом на него посыпались деньги; он их тратил мгновенно, раздавал случайным собутыльникам, устраивал нелепые кутежи, одаривал натурщиц. Он как бы не верил своей славе, не доверял и себе — часто сердито говорил о своих работах.

Как-то он позвал меня: «Будут друзья...» Еще не дойдя до его дома, я услышал вырывающийся сквозь окна рев. «Друзей» оказалось слишком много; даже на лестнице стояли люди со стаканами. Гости сидели или лежали на рисунках. Звенела румба: это был воистину бал на площади.

Помню ту же мастерскую на бульваре Клиши в обычный день; диваны и пуфы, пыльные, тусклые; на них Паскин сажал натурщиц; беспорядок, пустые бутылки, засохшие цветы, книги, дамские перчатки, засохшие палитры; а на мольберте начатый холст: две голые женщины. Краски у Паскина были всегда приглушенными; казалось, что недописанный холст уже пожух.

На чем основывалось распространенное представление о чувственности, об эротике Паскина? Может быть, поражало, что он всегда рисует или пишет женское тело, может быть, сбивал с толку образ жизни Паскина — он неожиданно появлялся, окруженный дюжиной женщин. А был он романтиком, влюблялся по старинке, безоружный, беззащитный перед предметом любви; и если задуматься над его рисунками, они говорят не о сладострастии, а скорее об отчаянии; все эти коротконогие, пухлые девушки с обиженными глазами похожи на поломанные куклы, на странный кукольный госпиталь, который я видел в Неаполе.

Удивительно — он все время был в гуще художественных споров, школ, направлений и как будто ничего не заметил: ни «Голубого всадника», ни кубизма, ни шумливых сюрреалистов. Прочитав в журнале статью, где его называли вожаком «парижской школы» и где указывали, что «парижская школа» создана не парижанами, не французами, Паскин смеялся и предлагал критикам создать новое направление «пентоортоксенофагизм» — пятикратное прямое пожирание иностранцев.

Я сидел над книгами об экономике, а вечером шел в бар «Куполь»; часто туда приходил Паскин. Он все больше и больше мрачнел; говорили о неурядицах в его личной жизни; пил он много, но вдруг замыкался в мастерской и отчаянно работал.

Он знал, что мне нравятся его вещи, и однажды ночью сказал: «Мне нужно с вами поговорить. Мы должны вместе сделать книгу. Вы будете писать мне письма, а я буду отвечать рисунками — я не умею отвечать, как вы, едкими фразами, я не писатель. Это будет замечательная книга! Мы скажем всю правду — откровенно, без прикрас. Почему я должен делать иллюстрации к чужим книгам? Это глупо! Я сделал иллюстрации

к рассказам Поля Морана, они меня не интересуют. Я иллюстрировал библию. Зачем? Я не знаком с царицей Савской... Вы мне будете писать о чем хотите, а я вам буду отвечать. Знаете, почему мы должны с вами сделать книгу? Это будет книга о людях; теперь говорят о чем угодно, а о людях забыли. Только не откладывайте. Потом будет поздно...»

Я согласился, но все откладывал, откладывал — хотел дописать роман о Крейгере. (Было это в начале 1930 года.)

В яркое весеннее утро я развернул газету — короткая телеграмма: «Поэт Маяковский покончил жизнь самоубийством». Мы тогда еще не были приучены к потерям, и я обмер. Я не спрашивал себя почему, не гадал, просто видел перед собой огромного, живого Владимира Владимировича и не мог представить, что его больше нет.

Может быть, недели две спустя, точно не помню, я увидел в «Куполе» Паскина. Он что-то кричал, потом увидел меня, сразу притих, молча поздоровался, ни о чем не спросил. Мне рассказывали, что он много работает — готовится к большой выставке.

Прошло еще несколько недель, и вечером в «Куполь» вбежал Фотинский, едва выговорил: «Паскин... Никто не знал... На четвертый день взломали дверь...»

Паскин, как Есенин, пробовал разрезать жилу бритвой. Он тоже написал кровью, не на бумаге — на стене: «Прощай, Люси!» А потом, как Есенин, повесился. На столе лежало аккуратно написанное завещание. Паскин покончил с собой в тот самый день, когда должно было состояться открытие его выставки.

Хоронили его далеко — на кладбище Сен-Уэн; за гробом шли знаменитые художники, писатели, натурщицы, бродячие музыканты, проститутки, нищие. Потом гуськом мы проходили мимо могилы, и каждый кидал на гроб ослепительный летний цветок. И снова нельзя было представить себе, что больше не будет ни печального человека в запущенной мастерской, ни серо-розоватых обиженных женщин на недописанном холсте, ни криков в «Куполе», ни котелка, ни нашей книги — только холодные залы музеев...

Осенью 1945 года я был в Бухаресте. Портье сказал, что меня хочет видеть господин Пинкас. Я вспомнил, что у Паскина был богатый брат, осевший в Румынии; братья не встречались, кажется и не переписывались.

Господин Пинкас приехал ко мне в экипаже, запряженном двумя лошадаками, и повез в ресторан «Капша». Это было переходное время: во дворце еще сидел король Михай, в ресторане «Капша» еще хранились для старых посетителей пыльные бутылки котнара, еще господин Пинкас мог выезжать в своем экипаже.

Он рассказал мне историю своей жизни: «Я думал, что мой брат — сумасшедший, он занялся искусством и потом повесился. А я был богат. Жалко, что я не могу вам показать, какие деревья, какие птицы были в моем парке. Я женился на румынской аристократке. И вот настал фашизм... Я хотел спасти мое добро и переписал все на имя моей жены — она была не только чистой арийкой, но из громкой боярской семьи. Стоило ей получить все бумаги, как она меня сразу бросила. У меня больше нет денег. Есть квартира, мебель, экипаж. Я знаю, что скоро отберут и это. Вчера меня хотели уничтожить как еврея, завтра начнут уничтожать как эксплуататора. Да, теперь я вижу, что брат был куда умнее. Я читал во французской газете, что его рисунки продают на аукционах, он карандашом делал настоящие деньги. А у меня оказалась фальшивая монета. Потом он вовремя повесился. Нет, сумасшедший — это я!»

Пинкас знал, что я был другом Паскина, он вспомнил далекое детство, расчувствовался и подарил мне два рисунка своего брата: «У меня

довольно много его вещей. Торговать ими я не собираюсь. Я хочу их отдать в музей...»

Рассказ о двух братьях звучит как назидательная притча для деловых подростков. А я сейчас думаю о другом: почему среди моих знакомых, среди моих друзей — писателей, художников — столько добровольно распрощались с жизнью? Разными они были и жили в разных мирах; несхожие судьбы, нельзя сопоставить ни глубоких причин, приведших к развязке, ни непосредственного повода — у каждого была своя «капля», которая, по досужим домыслам, «переполняет чашу». И все же в чем разгадка? (Я не хочу сейчас перечислять всех — слишком это тяжело.)

Паскин в последние годы не знал нужды. К нему на поклон приходили критики, торговцы картинами, издатели. Он покончил жизнь самоубийством в сорок пять лет, мог бы жить и жить. Вероятно, на отсутствии силы сопротивления сказались прошлые невзгоды и обиды. Дело, однако, не только в этом. Когда-то Пастернак говорил, что «строки с кровью убивают». Вряд ли он думал при этом о фатальной расплате подлинных художников, просто чувствовал на себе, что поэзия дается нелегко. Без обостренной чувствительности не может быть художника, даже если он состоит в десяти союзах или ассоциациях. Для того чтобы привычные слова волновали, чтобы ожил холст или камень, нужны дыхание, страсть; выходит, что художник сгорает быстрее — он живет за двоих, ведь помимо творчества есть у него своя кудлатая, запутанная жизнь, как у всех людей, право же не меньше.

Существует юридическое понятие «вредное производство»; рабочим, занятым трудом, вредным для здоровья, выдают специальную одежду, молоко, сокращают рабочий день. Искусство тоже «вредное производство», но поэтов или художников никто не пытается оградить, часто забывают, что по самому характеру профессии царпина для них может оказаться смертельной.

А потом идешь в длинной веренице мимо могилы и бросаешь цветок...

26

1931 год был в Париже невеселым: экономический кризис ширился; разорялись лавочки, закрывались цехи заводов. Начали шуметь разные фашистские организации — «Боевые кресты», «Патриотическая молодежь», «Французская солидарность». Во главе правительства стоял хитрый оверньек Пьер Лаваль. Министр колоний Поль Рейно разъезжал по заморским вотчинам, и в кино показывали, как он пьет чай во дворце аннамского императора. Состоялись президентские выборы; Бриана провалили — он был чересчур видной фигурой, парламентарии предпочли мало кому известного Думера. Торжественно похоронили маршала Жоффра, и газеты вспомнили про победу на Марне. Впрочем, куда больше места газеты уделяли свежей победе: на состязании самых красивых девушек звание «мисс Европы» было присвоено француженке. Германия продолжала вооружаться. Парижане восхищались кинозвездой Марлен Дитрих. Роялисты, собравшись на площади Конкорд, приветствовали короля Альфонса XIII, которого испанцы выгнали из Испании. В связи с безработицей участились самоубийства.

Открылась международная колониальная выставка. Венсенский лес был переполнен посетителями. Построили пагоды, дворцы, бутафорские деревни. Негры должны были на виду у всех работать, есть, спать; женщины кормили грудью детишек. Зеваки толпились вокруг, как в зоопарке.

Голландский павильон поразил меня деловой откровенностью. На стенах были диаграммы: индонезийцы работали, а деньги текли в окошко

сберегательной кассы, над которым значилось: «Нидерланды». Другая карта показывала, как колонизаторы держат в повиновении Индонезию: красные лампочки означали военные посты, зеленые — полицейские.

Французы хвастали Индокитаем, Тунисом, Марокко, Сенегалом, Алжиром.

Я написал статью, предлагая устроить бутафорский «белый город», в котором европейцы жили бы натуральной жизнью: «Парламент — депутат произносит пылкую речь; биржа — рев маклеров; «салон красоты» — даме массируют зад; бордель — посетитель на четвереньках лает; академия — «бессмертные» в опереточных мундирах приветствуют друг друга». Я говорил, что такой деревне обеспечен успех в Азии и в Африке, и кончал статью довольно здравой мыслью о близком конце колониальных империй. Потом я узнал, что за эту статью меня собирались выслать из Франции.

А я, не зная о гневe властей, я спокойно бродил с фотоаппаратом «лейка» по улицам Парижа: снимал дома, уличные сцены, людей. Это было подлинной страстью.

Я не люблю ни живописи, похожей на цветные фотографии, ни фотоснимков, пытающихся сойти за художественные произведения, все это мне кажется суррогатами, шарлатанством.

Почему же я увлекся фотографией? Я говорил в начале этой книги, что в наше время стали редкими дневники, откровенные и содержательные письма. Может быть, именно поэтому читатели набрасываются на человеческие документы, на дневники Анны Франк, на тетрадки кашинской школьницы Ины Константиновой, ставшей потом партизанкой, на предсмертные письма французских заложников. (Я помню слова Бабеля: «Самое интересное из всего, что я читал, — это чужие письма...»)

Художник изучает свою модель, ищет не обманчивого внешнего сходства, а раскрытия в портрете сущности модели. Когда человек позирует, с его лица постепенно исчезают меняющиеся оттенки, лицо лишается того, что мы обычно называем «выражением». Не раз ночью в последних поездах метро я разглядывал лица усталых людей, в них не было ничего преходящего, выступали характерные черты.

Другое дело фотография: она ценна не глубоким раскрытием сущности, а тем, что предательски подмечает беглое выражение, позу, жест. Живопись статична, а фотография говорит о минуте, о моменте — на то она и «моментальная».

Человек, которого фотографируют, однако, не похож на себя: заметив наведенный на него объектив, он тотчас меняется. Это делает столь неправдоподобными молодоженов в витрине провинциального фотоаппарата. В снимках, где люди стараются прибрать свое лицо, как прибирают для гостей комнату, нет ни постоянного характера модели, ни достоверности минуты.

Я очень люблю воспоминания Горького; в них много подсмотренного тайком; можно ли забыть, как Чехов старался шляпой поймать солнечный зайчик на скамейке? Ясно, что если бы Антон Павлович заметил Горького, он тотчас прекратил бы игру.

Фотографии, которые меня увлекали, были человеческими документами, и не будь на свете бокового видоискателя, я не стал бы бродить с аппаратом по улицам парижских окраин.

Боковой видоискатель построен по принципу перископа. Люди не догадывались, что я их снимаю; порой они удивлялись, почему меня заинтересовала голая стена или пустая скамейка: я ведь никогда не поворачивался лицом к тем, кого снимал. Конечно, строгий моралист может меня осудить, но таково ремесло писателя — мы только и делаем, что стараемся заглянуть в щелку чужой жизни.

У меня не было амбиции фоторепортера. В книге «Мой Париж», где собраны сделанные мною фотографии, нет ни одной «актуальной». (Дату выдает только огромное воззвание на стене: «Друг народа». «Семнадцать лет после агрессии. Великое покаяние. Победителям, дважды обкраденным. В ответ на предложение Гувера мы выдвигаем наш пятилетний план». Это воззвание было подписано парфюмером Коти, издававшим фашистскую газету «Друг народа».)

Туристов возят на Елисейские поля, на площадь Оперы, на Большие Бульвары; я туда не ходил с моей «лейкой», а фотографировал рабочие районы: Бельвилль, Менильмонтан, Итали, Вожирар — тот Париж, который полюбил в ранней молодости.

Он печален, порой трагичен и всегда лиричен: старые дома, старухи на скамейках вяжут, рядом с ними целуются влюбленные, уличные писсуары, продавщицы цветов, рабочие рестораны, мамы с детьми, художники, консержки, бродяги, сумасшедшие, рыболовы, букинисты, каменщики, мечтатели.

Десять лет спустя я написал роман «Падение Парижа»; в нем вдоволь горечи и любви. А вот что я писал в 1931 году: «Я не думаю, что Париж несчастнее других городов. Я даже склонен думать, что он их счастливее. Сколько голодных в Берлине? Сколько бездомных в сыром, темном Лондоне? Но Париж я люблю за его несчастье, оно стоит иного благополучия. Мой Париж заполнен серыми, склизкими домами, в них винтовые лестницы и колтун непонятных страстей. Люди здесь любят неуютно и заведомо ложно, как герои Расина, они умеют смеяться ничуть не хуже старика Вольтера, они мочатся, где попало, с нескрываемым удовлетворением; у них иммунитет после четырех революций и четырехсот любовей... Я люблю Париж за то, что в нем все выдуманно... Можно стать гением — никто не поможет, никто не возмутится, никто не будет чересчур изумлен. Можно и умереть с голоду — это частное дело. Разрешается кидать окурки на пол, сидеть повсюду в шляпе, ругать президента республики и целоваться, где вздумается. Это не параграфы конституции, а нравы театральной труппы. Сколько раз здесь уже прошла человеческая комедия, и она неизменно идет с аншлагом. Все выдуманно в этом городе, все, кроме улыбки. У Парижа странная улыбка, едва заметная, улыбка невзначай. Бедняк спит на скамье, вот он проснулся, подбирает окурки, затягивается и улыбается. Ради такой улыбки стоит исходить сотни городов. Серые парижские дома умеют улыбаться столь же неожиданно. За эту улыбку я и люблю Париж, все в нем выдуманно, кроме выдумки, выдумка здесь понятна и оправдана».

Парижане живут на улице, и это облегчало мою работу: я снимал влюбленных, людей, которые сплетничают, мечтают, ссорятся, пишут письма, танцуют, падают на мостовую замертво. В те годы на улицах спали безработные, и я заснял многих из них. Вот лежит один на скамейке; над ним две вывески: «Бюро похоронных процессий» и «Свадебные кареты»...

Иллюстрированный еженедельник «Вю» напечатал страницу моих фотографий консержек. Нужно сказать, что многие из консержек отличаются крутым нравом. Я снял одну очень сердитую на пороге дома, готовую шваброй отразить атаку. Эта женщина разгневалась, требовала в редакции, чтобы ей сообщили мой адрес, хотела пустить швабру в ход. (Должен сказать, что не все консержки таковы. После того как перевели на французский язык отрывки из первой части этой книги, я получил письмо от мужа консержки того дома на улице Котентен, где я прожил много лет; он писал, что читает журнал общества дружбы «Франция—СССР», ласково вспоминал нас, даже моих собак.)

Альбом моих фотографий с написанным мною текстом был издан в

Москве. Эль Лисицкий сделал обложку и фотомонтаж — я снимаю с помощью бокового видоискателя, причем у меня четыре руки: две держат фотоаппарат, другие две стучат на пишущей машинке. Редактором книги был Б. Ф. Малкин, тот самый, которому Маяковский писал: «Когда, убоясь футуристической рыси, в колеса вставляли палки нам, — мы взмаливались: «Спаси нас, отче Борисе!» И враги рсточались перед бешеным Малкиным». Я неожиданно очутился среди «левых» начала двадцатых годов.

«Лейку» я вскоре забросил: не было на нее времени. Во время «странной войны» ко мне пришел инспектор «Сюртэ» и сказал: «У вас приспособление для сигнализации вражеским самолетам». Он направился в угол, где стоял покрытый пылью обыкновенный аппарат для увеличения фотографий, и долго его рассматривал.

Я рассказал о книге «Мой Париж», конечно, не потому, что считаю себя хорошим фотографом, да и не из-за желания поделиться с читателями сплетнями о самом себе. Когда я смотрю на сделанные мною тридцать лет назад фотографии, я думаю о моем ремесле — о литературе. Конечно, моя книга фотографий узка — это не весь Париж, это только мой Париж того времени. Парижей множество. Щелкать затвором легче, чем писать, и я мог бы снимать все, что мне попадалось на глаза, но снимал я только то, что выражало мои мысли и чувства. Я фотографировал не чужой мне город и не пытался выдать наблюдения туриста за реальную жизнь: я знал назубок улицы, скамейки, людей, которых снимал.

Д. Заславский писал: «Книга Эренбурга разоблачает Париж, но она разоблачает и самого Эренбурга... Эренбурга привлекают задворки... Боковой видоискатель оказал плохую услугу Эренбургу. Он снимает действительно только то, что «в стороне».

Некоторые французы, в свою очередь разглядывая фотографии, говорили, что я тенденциозен. Я им отвечал, что имеется множество книг, показывающих другой Париж и сделанных опытными профессионалами.

Я думаю, что все сказанное относится не только к фотографии, но и к литературе, не только к Парижу, но и к другим городам. Мне это кажется очевидным, но вот я пишу уже полвека и слышу все то же: «Не то снимаете, товарищ! Повернитесь-ка налево, там достойная модель с добротной, твердо заученной улыбкой...»

27

Осенью 1931 года в моей жизни произошло важное событие: я увидел впервые Испанию. Поездка в эту страну была для меня не одним из многочисленных путешествий, но открытием; она помогла мне многое понять и на многое решиться.

Испания давно притягивала меня к себе. Как часто бывает, я начал ее понимать через искусство. В музеях различных городов я долго простаивал перед холстами Веласкеса, Сурбарана, Эль Греко, Гойи. В годы первой мировой войны я научился читать по-испански, переводил отрывки из «Романсеро», из поэм Гонсало де Берсео, протоиерея Итского Хуана Руиса, Хорхе Манрике, Кеведо. В произведениях этих не похожих друг на друга поэтов меня привлекали некоторые общие черты, присущие национальному гению Испании (их можно найти и в «Дон Кихоте», и в драмах Кальдерона, и в живописи): жестокий реализм, неизменная прония, суровость камней Кастилии или Арагона и одновременно сухой зной человеческого тела, приподнятость без пафоса, мысль без риторики, красота в уродстве, да и уродство красоты.

Конечно, поскольку я с годами менялся, менялось и мое восприятие поэтов или художников. Когда мне было двадцать лет, я воспринимал

холсты Эль Греко как откровение. Объясняется это не только близостью Греко к живописи начала нашего века, но и его неистовством, изумительным выражением человеческих страданий, взлета и бессилия — я тогда зачитывался Достоевским. Странная судьба Греко: он родился на Крите, где, скованная догмами Византии, жила страсть обобранной и приращенной Эллады. Ему было тридцать шесть лет, когда он приехал в Испанию, там он нашел себя: критянин выразил одну из существенных черт испанского характера. В сорок лет я к нему охладел; его удлинённые святые и мученики начали мне казаться изнеженными, манерными, а жестокая пестрота красок отталкивала. Осенью 1936 года, очутившись снова в Толедо во время уличных боев, я захотел проверить свои впечатления и попросил одного из дружинников провести меня в церковь, где хранится картина «Похороны графа Оргаса». Церковь оказалась запечатанной, но дружинник меня впустил, потом запер меня и сказал, что вернется через три часа. Тогда-то я понял, почему я разлюбил Греко: слишком много было вокруг подлинной человеческой беды. Учась, мы одновременно разучиваемся, и я разучился понимать живопись Греко. Некоторые страницы Достоевского, потрясавшие меня в молодости, кажутся мне теперь аффектированными. Все это, разумеется, относится к моей биографии, а не к истории искусства или литературы, я знаю, что и Греко и Достоевский — величайшие художники; но, видимо, они лучше воспринимаются в эпохи внешнего спокойствия, когда люди ищут в искусстве иступления, чрезмерности.

Гойю, напротив, я полюбил в зрелом возрасте, и опять-таки, вероятно, этому способствовала эпоха. Когда-то он мне казался фантастом, творцом неправдоподобного, живописным Эдгаром По. Жизнь, однако, опрокидывала наивные представления о границах возможного, и я вдруг понял, что Гойя прежде всего реалист. Я убежден, что короли, королевы, графы, герцогини были именно такими, какими он их изобразил. Его видения войны меня потрясают, хотя я видел войны куда более страшные, чем наполеоновские, — ведь Гойю интересовали не мундиры, не знамена, не полководцы, а оскал, судорога, безумие. Изобразив расстрел испанских повстанцев солдатами Наполеона, он передал не только всю меру человеческого страдания, но и гнев художника. Он назвал свои кошмары «капризами», но его призраки и по сей день гуляют, убивают, едят, отрывают, загромождают землю. Он не боялся показаться тенденциозным; но никогда он не упрощал, да и не суживал мира. Я часто вспоминаю его диптих, находящийся в музее Лилля: молодая красотка читает письмо своего поклонника, которое ей передала служанка, и вот пятьдесят лет спустя — две старухи, а над ними смерть с метлой, готовая просто, по-деловому вымести человеческий сор. Гойя часто думал о смерти, и его картины перекликаются со стихами поэта XV века Хорхе Манрике, написанными после кончины отца: «Наша жизнь — это реки, а смерть — это море, берет оно столько рек, туда уходит навеки наша радость и горе, все, чем жил человек... Итак, столько пешек передвинув на шахматном поле и страсть утоляя, итак, низвергнув столько властелинов, сражаясь по доброй воле за короля, итак, изведав различные испытания, которых перечислить нет силы теперь, он заперся в своем замке Оканья, и смерть постучала в дверь...» (Как здесь не вспомнить «старушку» Вардовского, которая вошла без пропуска в Кремль?)

Часто говорят об отъединенности Испании, о ее обособленности, а между тем испанский гений, при всем его своеобразии, неизменно подходил к тем вопросам, которые терзают людей, где бы они ни жили. Сколько писали, доказывали, что «Дон Кихот» — едкая сатира на давно забытый литературный жанр! Но вот прошли века, и на злосчастном

Россинанте рыцарь Печального образа легче объезжает мир, чем герои, которые уже в пеленках летали на скоростных самолетах.

Роман Сервантеса известен всем, но мало кто знает о Хуане Руисе, протонере из Иты. Это поразительный поэт; он жил за сто лет до Франсуа Вийона и выразил всю сложность, всю раздвоенность предстоящего долгого дня. Трудно в точности определить, где он кощунствует и где исповедуется, где издевается и где плачет горькими слезами. Он все описывает откровенно, все называет своим именем, и одновременно у него всегда второй план, четвертое измерение, поэзия; именно в этом я вижу особенность испанского реализма, да и самого характера Испании.

Я начал, может быть, с конца, но теперь мне будет легче объяснить, какую роль сыграла Испания в моей жизни.

Альфонса XIII прогнали в апреле 1931 года, а мы получили визы только осенью: консулу не нравились ни советские паспорта, ни мои книги.

Власти не знали, как с нами быть: угостить стаканчиком мансанильи или посадить в каталажку. Министры были новичками, а полицейские могли похвастать трудовым стажем. Республиканцы все переименовывали — учреждения, улицы, гостиницы; но люди, служившие королю, оставались на своих постах. В Мадриде на вокзале нас задержали и повели в участок, долго изучали наш несложный багаж — искали бомбы, револьверы, листовки. Потом нас неизменно сопровождали полицейские; время от времени они забывали про конспирацию и вынимали из карманов бляхи, свидетельствовавшие об их служебном положении.

Заместитель министра внутренних дел меня любезно принял, поулыбался и попросил представить ему список городов, которые мы намерены посетить. Когда мы приезжали в какой-либо город, нас на вокзале уже ждали полицейские и представители левой интеллигенции; последние узнавали о моем приезде от полицейских, жаждавших поделиться сенсацией, — я ведь был первым советским гражданином, который приехал в Бадахос, Самору или Сан-Фернандо. Я набрал в Мадриде сотни рекомендательных писем, чтобы сразу найти в любом городе собеседников. Письма мне давали испанские писатели, издатель моих книг коммунист Русес, радикальные журналисты, депутаты, случайные знакомые.

Я приехал в захолустный городок Эстремадуры Касерес и разослал несколько рекомендательных писем. Вскоре хозяйка гостиницы сказала, что ко мне пришли. Я увидел двух элегантных бездельников, похожих на провинциальных адвокатов (почему-то больше всего писем было к адвокатам), протянул им руку; они растерялись и вытащили из карманов бляхи: «Мы полиция». Произошел смешной разговор: полицейские со страхом спросили меня, не собираюсь ли я навсегда поселиться в Касересе, и, узнав, что я через два или три дня уеду, растрогались, долго меня благодарили.

Революции почти всегда начинаются идиллически: люди поют, митингуют, обнимают друг друга. Я приехал, когда эпоха лобызаний кончилась. Каждый день гражданская гвардия стреляла в «нарушителей порядка». Вспыхивали забастовки. Когда я был в Бадахосе, там стреляли. Стреляли и в Мадриде: разгоняли демонстрацию. В Севилье я увидел губернатора, который говорил: «Пора дать отпор рабочим...» Я был на заседании кортесов; выступал Мигель Унамуно, он красиво говорил о душе народа, о справедливости. В тот самый день в Эстремадуре гвардейцы застрелили бедняка, осмелившегося подобрать желуди с земли беглого маркиза.

В Мадриде, в Малаге чернели сожженные весной монастыри и церкви: люди мстили за гнет, за оброки и требы, за злую духоту исповедален,

за разбитую жизнь, за туман, века простоявший над страной. Нигде католическая церковь не была такой всемогущей и такой свирепой. В соборе Малаги женщины ползали по плитам, вымаливая прощение, а узколицый монах с черными злыми глазами твердил о близком возмездии. Католические газеты расписывали «чудеса»: богородица появлялась почти так же часто, как гвардейцы, и неизменно осуждала республику.

Я побывал в горном районе Лас Урдес; там жили люди, отрезанные от мира и никогда в жизни не евшие досыта. Молодые матери походили на десятилетних девочек, тридцатилетние — на дряхлых старух. Трудно было себе представить, что в ста километрах богатые бездельники причмокивают, разглядывая красоток Саламанки. В школьной тетрадке я увидел диктовку «наш благодетель король», а на следующей странице — «наша благодетельница республика трудящихся».

Испания официально именовалась «республикой трудящихся всех классов»; это название было придумано не юмористом, а вполне серьезными депутатами кортесов. Трудящиеся различных классов трудились по-разному. Я проезжал по огромным поместьям в Эстремадуре, в Андалузии. Земля по большей части оставалась невозделанной. Аристократы жили в Мадриде, в Париже или в Биаррице. Управляющие нанимали батраков; в договоре значилось, что рабочие должны трудиться «от зари до зари». Буржуазия была ленивой, жила по старинке. Я видел допотопные фабрики. Молодые шеголы в блистательных ботинках не знали, что им делать; ходовым выражением было «убить время». Республика мало что изменила: голодные продолжали голодать, богачи глупо, по-провинциальному роскошествовали. Сальвадор Мадарьяга, либеральный писатель, был профессором, депутатом, послом и представителем Испании в Лиге наций, он получал в год четыреста семьдесят тысяч песет. Я разговаривал с андалузскими батраками, которые не выработывали в год и одной тысячи песет. «Трудящийся» герцог Орначуэлос обладал шестьюдесятью тысячами гектаров: он любил охоту и приезжал в свою вотчину на одну неделю. В Мурсии жил некто Сьерва; ему принадлежала земля, оцениваемая в двадцать пять миллионов песет. Он занимался политикой и расстреливал забастовщиков. После революции он отбыл за границу, оставив на посту управляющего, который продолжал собирать деньги за аренду. Все были объявлены трудящимися: держатель акций, феодалы, монахи, сутенеры.

Я поехал с доктором из Саморы, добрым и справедливым человеком, в глушь, в Санабрию. Мы доехали до озера, дальше дороги не было, нужно было ехать на осле. Маленькая деревня с длинным именем Сан-Мартин де Кастаньеда поразила меня редкой даже для Испании нищетой. Среди лачуг мы увидели развалины монастыря. Когда-то крестьяне платили монахам оброк — «форо». Монахи давно перекочевали в более удобные места, а крестьяне продолжали выплачивать две тысячи пятьсот песет «трудящемуся» бездельнику, адвокату Хосе Сан-Рамон де Бобилья, прадед которого перекупил у монахов право обирать крестьян. Потом мы направились в другую деревню — Риваделага. Ее жители не платили «форо», но земли у них не было; они ютились в курных избах и ели горох. Деревня стояла на берегу озера, изобилующего форелями, но озеро принадлежало богатой мадридской домовладелице; управляющий зорко следил, чтобы голодные крестьяне не похитили рыбешки. Одна крестьянка с горечью сказала доктору: «Что же, дон Франсиско, республика сюда еще не доехала?..»

(После моей поездки в Испанию я написал книгу о том, что увидел. Еще до выхода этой книги в Москве ее издали в Испании под названием «Испания — республика трудящихся». Доктор из Саморы поехал с моей

книгой в Риваделаго и прочитал крестьянам главу, где я рассказывал о голоде, об озере, о мадридской даме. Крестьяне на следующий день окружили дом управляющего и потребовали, чтобы он тотчас отказался от прав на рыбу. Пошли телеграммы в Мадрид, и перепуганная домовладелица уступила. Крестьяне прислали мне благодарственное письмо, приглашали в Риваделаго, обещали накормить форелями. К чему скрывать — это письмо меня обрадовало, ведь очень редко писатель видит, что его книга что-то на свете изменила. Обычно книги меняют людей, а это процесс долгий и незаметный. Здесь же я понял, что помог крестьянам Риваделаго уничтожить вековую несправедливость. Пусть мое участие в этом деле и было случайным, пусть деревня маленькая, да и победа была недолгой (вряд ли фашисты оставили форель бунтовщикам), все равно я порой вспоминаю эту историю и радуюсь.)

Гражданская гвардия продолжала стрелять. Депутаты продолжали произносить красивые речи. Народ был безоружен. Социалисты колебались. Анархисты швыряли бомбы. В маленькой андалузской деревне я присутствовал при жарком споре учителя с мэром: учитель был за Третий Интернационал, мэром — за Второй. Вдруг в спор вмешался батрак: «Я за Первый Интернационал — за товарища Мигэля Бакунина...» В крохотной газете, которую издавали батраки Хереса, я прочитал, что испанцы должны вдохновляться принципами Кропоткина. В Барселоне я познакомился с руководителем ФАИ (Федерация анархистов Иберии), Дуррути. Мы сидели в кафе. Дуррути показал мне револьвер, ручные гранаты: «Не боитесь? Я ведь живым не сдамся...» Его суждения были вдоволь фантастическими, но он меня сразу пленил мужеством, чистотой, душевным благородством. Я не знал тогда, что пять лет спустя на арагонском фронте он наведет на меня свой револьвер: «Сейчас я тебя застрелю» — и что в итоге мы подружимся...

Я тогда еще многого не знал; но одно было ясно: это — первый акт трагедии, за ним неизбежно должны последовать другие. Помню, в Мадриде мне показали сердитого военного: «Вот Санхурхо...» Конечно, я не мог предвидеть, что он вместе с Франко и Мола пять лет спустя залетит Испанию кровью, но в 1931 году я писал: «Командующий гражданской гвардией генерал Санхурхо работает молча. Сорок восемь тысяч гвардейцев время от времени постреливают, они готовятся к всеобщему и массовому расстрелу».

Говоря об осени 1931 года, о фарсе и о трагедии, я еще не сказал о самом главном: о народе. В этой книге я порой пытаюсь показать людей, которых я встретил на своем пути, пытаюсь это сделать с любовью, с верностью, быть не бесстрастным летописцем, а человеком, вспоминающим друзей, которых больше нет в живых. Рассказываю я о людях, читателю более или менее известных, — о писателях, художниках, общественных деятелях. (Есть, конечно, в моем сердце и другие дорогие мне образы; их знают только близкие, я не могу подкрепить мои признания ссылками на книги или на полотна.) Об Испании мне хотелось бы рассказать как о близком, дорогом мне человеке.

Годы гражданской войны я провел в Испании и тогда по-настоящему узнал ее народ; но полюбил я его сразу — в 1931-м. Пабло Неруда назвал одну из своих книг «Испания в сердце». Эти слова мне хочется повторить: Испания действительно в моем сердце, и не случайно, не на время, не гостя, освещенная бенгальским огнем исторических событий, не квартирантка, окруженная фотографиями и репортерами, нет, своя, близкая и в громкие годы и в немые, запретная, скованная, теперь я вправе это сказать — в сердце до самой смерти.

Немало страниц этой книги будет посвящено испанской войне. А сейчас я рассказываю о моей первой встрече с Испанией. Я писал в

1931 году: «У меня скрипучее перо и скверный характер. Я привык говорить о тех призраках, равно гнусных и жалких, которые правят нашим миром, о вымышленных Крейгерах и живых Ольсонах. Я хорошо знаю бедность, приниженную и завистливую, но нет у меня слов, чтобы как следует рассказать о благородной нищете Испании, о крестьянах Санабрии и о батраках Кордовы или Хереса, о рабочих Сан-Фернандо или Сагунто, о бедняках, которые на юге поют заунывные фламенко, а в Каталонии танцуют сердану, о тех, что безоружные идут против гражданской гвардии, о тех, что сидят сейчас в тюрьмах республики, о тех, что борются, и о тех, что улыбаются, о народе суровом, храбром и нежном. Испания — это не Кармен и не тореадоры, не король Альфонс и не дипломатия Лерруса, не романы Бласко Ибаньеса, не все то, что вывозится за границу вместе с аргентинскими сутенерами и малагой из Перпиньяна, нет, Испания — это двадцать миллионов рваных Дон Кихотов, это бесплодные скалы и горькая несправедливость, это песни, грустные, как шелест сухой маслины, это гул стачечников, среди которых нет ни одного «желтого», это доброта, участливость, человечность. Великая страна, она сумела сохранить отроческий пыл, несмотря на все старания инквизиторов и тунеядцев, Бурбонов, шулеров, стряпчих, англичан, наемных убийц и титулованных проходимцев!»

Многое в Испании меня поразило даже при первом, беглом знакомстве с этой страной и прежде всего чувство собственного достоинства в людях нищих, вечно голодных, зачастую неграмотных. В Севилье на скамейке сидели рядом почтенный буржуа и безработный; бедняк вытащил из сумы гороховую колбасу и дружески предложил соседу по скамье. На террасе дорогого мадридского кафе ночью не жились бездельники. Женщина с грудным ребенком пыталась продать лотерейные билеты (один из видов нищенства). Младенец стал плакать; женщина спокойно села в кресло перед пустым столиком и начала кормить ребенка грудью. Никого ее поведение не удивило. Я невольно подумал: а ведь ее обязательно бы прогнали не только из «Кафе де ля пэ», но даже из «Метрополя»...

В нишей деревушке Санабрии я хотел заплатить крестьянке за яблоки; она наотрез отказалась взять деньги. Мой попутчик, испанец, сказал: «Можно дать малышу, но я боюсь, что он сунет монету в рот и проглотит. А дети постарше ни за что не возьмут...» Подросток, чистильщик сапог, увидев, что я стою у табачной лавки, запертой на обеденный перерыв, вытащил из кармана сигарету: кури. Крестьянин возле Мурсии, которому я попытался заплатить за апельсины, покачал головой: «Улыбка дороже песеты».

(Бескорыстность испанских крестьян всегда поражала иностранцев. Мартин Андерсен-Нексе рассказывал мне, что молодые годы он провел в Испании; денег у него не было, и неизменно крестьяне ставили перед ним тарелку супа: «Ешь»...)

Носильщик на вокзале сказал мне: «Я уже сегодня поработал, сейчас позову товарища». Я отнес обувь сапожнику, он спросил жену, есть ли у них деньги на обед, и, узнав, что есть, отослал меня к другому сапожнику. Безработные не получали никаких пособий. Я спрашивал, как они не умирают от голода, мне отвечали: «А товарищи...» Андалузский батрак разрезал хлеб пополам и половину давал безработному соседу. Рабочие Барселоны несли часть полочки в профсоюзы — для безработных — без призывов, без громких фраз, просто, по-человечески.

Я писал, что Испания — это двадцать миллионов Дон Кихотов в лохмотьях. Я возвращаюсь к этому образу не только потому, что люблю роман Сервантеса, но и потому, что в рыцаре Печального образа все

душевное обаяние Испании. Вот строки, написанные мной в 1931 году: «Здесь можно выдать мельницу за врага, и с мельницей пойдут сражаться — это история человеческих заблуждений. Но здесь нельзя выдать человека за мельницу — он не станет послушно махать руками вместо крыльев. Здесь еще живут люди, настоящие живые люди».

Несколько лет спустя, когда большие, передовые, хорошо организованные народы один за другим начали готовиться к капитуляции перед фашизмом, испанский народ принял неравный бой: Дон Кихот остался верен и себе и человеческому достоинству.

Испания помогла мне преодолеть многие сомнения. Я знал, что придется не раз заблуждаться — порой со всеми, порой в одиночку. Пусть так. Только бы не стать винтиком, роботом, бутафорской мельницей!

28

Я смотрю на маленькую выцветшую фотографию. Винный погреб в местечке Монтилья, недалеко от Кордовы. Толстяк хозяин, Люба, Эрнст Толлер. Был такой веселый, легкий день. Мы долго пили вино в прохладном погребе. Толлер рассказывал забавные истории. А хозяин нам говорил, что на свете нет вина лучше, чем монтилья: «Ведь не случайно в Хересе делают вино амонтильядо, но в Монтилье никому не придет в голову изготавливать ахересадо». Это звучало убедительно, можно было, кстати, припомнить рассказ Эдгара По о бочке амонтильядо, можно было попробовать еще один сорт монтилья; можно было на несколько часов забыть о том, что у нас позади и впереди. Мы не спешили уходить, Толлер говорил: «Из рая не уходят, из рая выгоняют»; и вернулись мы в Кордову поздно ночью.

(Во время войны неподалеку от Монтильи стояли войска республиканцев. Нужно было напечатать номер армейской газеты; бумаги не было, и газета вышла на тонких листах, в которые толстяк виноторговец заворачивал бутылки; среди военных сводок виднелись слова: «Монтилья — лучшее вино мира».)

Почему я начал рассказ о Толлере с Монтильи? Ведь я с ним познакомился в 1926 или 1927 году в Берлине; встречались мы в разных городах — в Париже, в Москве, в Лондоне, — вели серьезные беседы. А я вспоминаю несколько дней, проведенных вместе в Андалузии (мы встретились в Севилье и расстались в Алхесирасе), — тогда я видел Толлера счастливым. Он прожил трудную жизнь, спорил, убеждал, проклинал, верил, отчаивался и вместе с тем был мечтателем, шутником, даже сибаритом, и, говоря о поэте-партизане, я прежде всего вспомнил короткий час перекура.

Толлер был красив, походил на итальянца, веселого и печального, неизменно неудачливого героя неореалистических фильмов. Может быть, основной его чертой была необычайная мягкость, а прожил он жизнь очень жесткую. Разные бывают люди: одни вылеплены из воска, другие высечены из камня; это вопрос не убеждений, а природы, и часто человек выбирает путь, мало соответствующий материалу, из которого он сделан. Я знавал людей твердой воли, крепких нервов, решительных, по своему смелых, облюбовавших тыл жизни; сталь ржавела. Толлер был создан для раздумий, для нежной лирики, а он с ранней молодости выбрал трудный путь действия, борьбы.

Прожил он не так уж много — сорок пять лет, но, кажется, не было дня, когда кто-нибудь не писал о его ошибках. Он не протестовал; как-то он сказал мне: «На самом деле я ошибался во сто раз больше, но половины они не знают. Притом, они считают только те глупости, которые я делал в одиночку. А сколько раз ошибались все?..»

Некоторые ошибки Толлера диктовались возрастом, да и временем; он их не только признал, но и перечеркнул поступками. Когда началась первая мировая война, ему еще не было двадцати двух лет; он был, хилым, и его забраковали, но он добился, чтобы его послали на фронт — во Францию: он верил, что Германия защищает правое дело. Барбюсу, когда началась война, было сорок лет, и он верил, что правое дело защищает Франция. Толлер очень быстро понял, что поверил лжи, поддался общему психозу, и начал обличать зачинщиков войны. Его арестовали, посадили в военную тюрьму, потом в сумасшедший дом.

Он был молодым одаренным поэтом: его стихи хвалили Рильке, Томас Манн. Он мог бы писать, прославлять революцию в стихах. А он выбрал другое — стал одним из руководителей Баварской революции, заместителем председателя Центрального Совета рабочих и солдатских депутатов. Критики часто говорили, да и поныне говорят, что у Толлера было недостаточно политической подготовки. Это бесспорно. Но у него был избыток совести — обременительное свойство, за которое его обладатели всегда расплачиваются.

Баварская Советская республика просуществовала всего несколько недель; в Мюнхен ворвались белые. За голову Толлера была обещана крупная награда, и его выдали. На суде он сказал: «Битва начата, и никаким штыком, никаким военно-полевым судом капиталистических правительств не задушить революцию!» Ему было двадцать шесть лет, и пять лет он просидел в Нидершенфельдской тюрьме. Я помню, с каким волнением мы глядели в Берлине пьесу Толлера, написанную им в тюрьме: это было письмо, переданное на волю.

Германская реакция в те годы побеждала повсюду: не только в Баварии, но и в Берлине, в Саксонии, в Гамбурге; слов нет, белый генерал Эпп умел лучше вести военные операции, нежели поэт Толлер. Можно пожалеть, что у баварцев не нашлось своего Щорса или Чапаева, но нелепо винить Толлера: он знал, что бой неравный и что впереди не почести, не власть, а расправа усмирителей. Его называли «сентиментальным революционером»; но ведь в революцию он пришел не из подпольных кружков, где годами обдумывали тактику, разрабатывали планы, а из поэзии; в политике он остался до конца своей жизни самоучкой.

Когда он вышел в 1924 году из тюрьмы, у него было крупное литературное имя; его пьесы шли в театрах различных стран. Может быть, их успех объяснялся не только художественными достоинствами, но и остротой тем; может быть, зрители порой аплодировали не тексту, а биографии автора; но Толлер не был в литературе ни самозванцем, ни случайным гостем. О нем тепло отзывались не похожие друг на друга писатели — Томас Манн, Горький, Ромен Роллан, Синклер Льюис, Фейхтвангер. Он мог бы засесть за работу и стать солидным, почитаемым всеми писателем. Но жила в нем вечная неуспокоенность. Солдатом революции он не стал, да и не мог стать, но продолжал партизанить; совесть оказалась сильнее привязанности к тысячам мелочей легкой и беззаботной жизни.

Он был очень сложным человеком; не будь у него редкого обаяния, наверно, он восстановил бы против себя всех; но противники неожиданно смягчались. Один очень придирчивый критик при мне говорил: «Но ведь это — Толлер! Что с него требовать?..»

Помню путаный и хороший разговор в Кордове. Перед этим мы долго бродили по городу; местный урбанист нам объяснял, что извилистые улицы старой Кордовы были запланированы опытными архитекторами — арабами и евреями: даже в июльский полдень на одной стороне

улиц обязательно тень. Наш разговор начался с этого. Толлер восхищался: «Они думали о простых пешеходах!» Потом мы заговорили об отношениях между человеком и обществом. Толлер усмехнулся: «Я написал об этом несколько слабых пьес. Может быть, я и не драматург, но меня тянет к театру — иллюзия действия... Репутацию создать легко. Ибсен это замечательно показал: «Враг народа» — честнейший человек... Но сколько честолюбцев, эгоистов, пустышек кричат о «правах личности»! Они путают карты... Нужно бороться за такое общество, где у каждого человека право и на солнце и на тень... Благодетели все предписывают оптом — солнце так солнце, тень так тень... Я видел, как власть, даже эфемерная, деформирует человека...» Он рассказывал смешные истории о своем прошлом, о немецких писателях и вдруг помрачнел: «Боюсь, что победят нацисты. Вы знаете, что это значит? Война...» Он вспомнил книгу о ласточках, которую написал в тюрьме: «Нет, я не о моих стихах. Но вы помните письмо рабочего, каменщика? Начальник тюрьмы отдал приказ уничтожить ласточкины гнезда, и рабочий, сидевший в соседней камере, написал, что ласточки их выют с трудом, они вообще честные и трудолюбивые птицы. Конечно, письмо не переубедило начальника тюрьмы. Это крохотная картина войны: уничтожение гнезд... Страшно подумать о будущем!..»

В Испании он рассказал мне, что хочет написать пьесу: современный Дон Кихот и Санчо Панса в мире денег, спеси, тупости. Пьесы этой он не написал. Он говорил Фейхтвангеру, что работает над романом о Демосфене — человеке, который хочет отстоять культуру Эллады от варварства. Он не написал и романа. Его всегда лихорадило; он что-то начинал и бросал — слишком беспокойным было время, слишком отзывчивым сердце.

За границей Толлер всегда защищал Советский Союз, даже когда ему что-либо у нас и не нравилось. У него были в Москве друзья, с ними он подолгу, откровенно беседовал. При последней встрече он сказал мне, что если есть у него надежда, то это — Москва.

В книге о своей юности, написанной в 1933 году — после прихода Гитлера к власти, — Толлер писал о своей любви к Германии; его признания сродни признаниям Тувима: «Разве я не люблю эту страну? Разве среди пышных ландшафтов средиземноморского побережья я не тосковал по скупым песчаным лесам с сосной, по тихим, затерянным озерам германского севера? Разве не захватывали меня в детские годы стихи Гёте и Гельдерлина?.. Немецкий язык — разве он не мой язык, язык, на котором я думаю и чувствую, не часть моего существа, не родина, вскормившая и вырастившая меня?.. Во всех странах поднимают голову слепой национализм и смешное расовое высокомерие. Неужели я дам увлечь себя психозу наших дней?.. Слова «я горжусь тем, что я — немец», или «я горжусь тем, что я — еврей», кажутся мне такими же бессмысленными, как если бы человек сказал: «Я горжусь тем, что у меня карие глаза...»

Нет, он не поддался безумию эпохи: остался подлинным интернационалистом. Незадолго до трагической развязки, больной, отчаявшийся, он с каким-то исступлением собирал деньги на голодавших детей Испании. вырывал фунты или доллары у людей себялюбивых, равнодушных, собрал за короткий срок свыше миллиона долларов. Даже черствые люди мягчали, когда с ними говорил Толлер, — от него исходило добро.

Незадолго до начала испанской войны, в июне 1936 года, я был в Лондоне на собрании комитета Антифашистского объединения писателей. Толлер повел меня после заедания к себе; он жил в маленьком домике на окраине города. Как всегда, он был занят множеством неотложных и

кропотливых дел, как всегда, окружен людьми и одинок, еще более одинок, чем в камере тюрьмы,— в этом он мне признался сразу. Я нашел его осунувшимся, помрачневшим. Его раздражало пренебрежительное, как ему казалось, отношение к немецкой эмиграции англичан и французов. Газеты писали о Гитлере если не благожелательно, то сдержанно, и Толлер сердито отчеркивал красным карандашом статьи, потом швырял газеты на пол. Он вдруг по-детски пожаловался, что в Лондоне очень холодно зимой, нельзя согреться, помню его слова: «Теперь на дворе зима длиннее, чем в Москве, длиннее, чем в Лапландии,— на десять или двадцать лет. Есть люди с крепкими корнями — они выдержат. А другие вымерзают, один за другим...»

Толлер продержался еще три года. Я видел его в последний раз в Париже. На минуту мне показалось, что он выглядит лучше; он пробовал даже шутить. Тогда-то он и собирал деньги на испанских детей. Когда мы прощались, он спросил меня: «Вы спите без сновторного?.. Ужасно ночью — все видишь острее, чем днем... Ну, ладно... Скоро, наверно, увидимся. Я решил оставить Америку — слишком далеко, там нельзя даже заикнуться о том, что происходит на свете,— удивляются, рекомендуют невропатолога... До свидания!..»

Мы больше не встретились. Весной 1939 года в Нью-Йорке был конгресс Пэн-клубов. На парадном обеде Толлер попытался растрогать всех, напомнил о судьбе Мюзамы, Осецкого, Тухольского. Несколько дней спустя, 22 мая, он повесился в ванной комнате.

Я вспоминаю Толлера и тихо улыбаюсь: добрый человек, друг, поэт, не только в книгах — в жизни. Я люблю его книгу стихов, написанную в тюрьме «Книгу ласточек». «Строители готических соборов, гордитесь вы. Дробили камень бедняки, и стеклодувы, полные тоски, скрывали солнце горечью узоров, и колокола отливали медь, и к небу рвался свод, чтоб умереть, — вы посвящали ваши камни смерти. А ласточки, роняя свист и вздох, из глины строят, прутиков, соломы и жизни посвящают те хоромы — земное счастье, теплое гнездо». Толлер сам ходил на ласточку, может быть на ту «одну», что прилетает слишком рано и не делает весны.

29

В 1931 году я дважды побывал в Берлине — в начале года и осенью. Ничего исключительного тогда не происходило; во главе правительства стоял умеренный католик Брюнинг; несмотря на кризис, жизнь внешне текла по-прежнему. Однако в моей памяти эти поездки остались сном нелепым и вместе с тем полным значения, который, проснувшись среди ночи, тщетно пытаешься распутать. Мне трудно связно рассказать о Берлине 1931 года; будет честнее, если я попытаюсь восстановить отдельные разрозненные картины, сами по себе не столь примечательные, но запомнившиеся; они объяснят, почему я рассказываю о тех поездках.

В купе сидит немолодой немец с выбритым затылком и стоячим воротничком; он читает пухлую газету. Я уже знаю, что он — коммивояжер, продает какие-то усовершенствованные блокноты. Я его спрашиваю, когда мы должны приехать в Берлин. Он достает из портфеля расписание: «В одиннадцать часов тридцать минут тридцать секунд». Потом он снова берет газету и тихо, бесстрастно говорит: «Это конец... Конец абсолютно всего...»

Издатель радикального журнала «Нейес тагебух» угощает писателейужином. Все как полагается: различные бокалы из хрусталя, хорошее вино, цветы, разговоры о последнем романе Фейхтвангера, о моратории

Гувера, о коварных свойствах рейнских вин. Вдруг хозяин говорит, точь-в-точь, как коммивояжер: «А знаете, скоро все кончится...»

Показывают фильм «На Западе без перемен» — по роману Ремарка. Нацисты возмущены: «Немецкие солдаты умирали молча, а герой фильма кричит, как поляк. Это клевета!..» Я уже видел фильм в Лондоне, но приятель уговаривает: «Сегодня нацисты собираются дать битву. Их встретят, как надо...» Мы смотрим фильм. Вдруг раздаются истерические крики. Зажгли свет. Никто никого не бьет; крики, однако, продолжаются. Публика уходит. Оказывается, нацисты выпустили в зале сотню мышей.

Владелец табачной фабрики говорит мне: «Я не знаю, кто победит — нацисты или ваши друзья. В общем мне все равно — я давно перевел деньги в Цюрих. Я теперь увлекаюсь Ганди. Мне нравится Толстой. Но это не ко времени. Немцы хотят диктатуры, величия, а что внутри — неважно. Когда вы покупаете коробку моих сигарет, вы платите больше половины за упаковку... Гугенберг дает деньги на пропаганду против капитализма. Фарс? Нет, он знает немецкий характер... В Цюрихе я открыл маленькое отделение... Там хороший воздух, спокойно. Ромен Роллан писал о Ганди в Швейцарии, я его понимаю...»

Я провел несколько вечеров с Рудольфом (фамилию его я забыл). Это сотрудник «Роте фане», который прекрасно знает северные районы Берлина; он мне многое показал. Рудольф — сын таможенного чиновника-монархиста; был студентом, недоучился; жена его бросила. Политикой он увлекся еще в 1919 году — подростком; рассказал мне, как он повалил здорового нахала, который хотел перекричать Карла Либкнехта. Рудольф очень высокий, сухой, с большим кадыком и голубыми мягкими глазами. Говорит он газетными фразами, все время вставляет «возьмем факты», но меня трогает его голос: он верит в то, что говорит.

Рудольф мне объясняет: «Возьмем факты — семь миллионов безработных! Капитализм разваливается у всех на глазах. Все понимают, что их песенка спета. Ты знаешь, о чем они теперь мечтают? Познакомьтесь с сотрудником вашего торгпредства. Может быть, Москва что-нибудь купит... Вообще Москва в центре внимания. Ты видал, сколько переводов с русского? Вчера я с трудом купил билет на «Путевку в жизнь». Публика архибуржуазная, понятно — у рабочих нет денег. Эмиль Людвиг через две недели едет в Москву — решил написать книгу о Сталине. Мне поручили анкету, я разговаривал с писателями, все идут к нам — Эрнст Глезер, Пливье, Оскар-Мария Граф. Возьмем факты: в прошлом году мы собрали четыре миллиона шестьсот тысяч голосов, нацисты — шесть миллионов четыреста. Но сколько из голосовавших за них в решающую минуту пойдут за нами? Три четверти. Это ведь рабочие, они голосуют за нацистов потому, что ненавидят капитализм. Хорошо, что наше руководство учло настроения масс. Мы теперь выступаем с программой национального освобождения Германии. Рабочие-нацисты начинают к нам прислушиваться. Есть, конечно, оголтелые, но я убежден, что здоровый инстинкт победит. Нет, теперь не 1919-й! Когда ты снова приедешь в Берлин, ты увидишь другую Германию...»

Оскар-Мария Граф толст, благодушен; у него наивные глаза ребенка. Он слушает споры и молчит. Мария Гресхеннер познакомила меня с новым автором «Малика»; зовут его Домеля. Он выдавал себя за принца Гогенцоллерна, попал в тюрьму и написал обо всем этом книгу. Мария рассказывает мне, каким успехом пользуется книга «Фальшивый принц». Автор посмеивается. Он словоохотлив — ему нравятся литература, революция и мужчины, к женщинам он равнодушен...

Курфюрстендамм сияет; здесь не скажешь, что на дворе кризис. В витринах магазинов изысканнейшие вещи. Дорогие рестораны и ка-

фе переполнены. Писатель Вальтер Меринг, печальный шутник, повел меня в ресторан «Какаду». Столики под пальмами. Попугай бодро роняют помет на тарелки. Снобы довольны: им кажется, что они на Таити. Заметив мое смущение, Меринг смеется: «Теперь вы видите, что немцы сошли с ума? Можете не есть, мы пообедаем в обыкновенном ресторане... Попугай — это мелочь. Я думаю о том, как на нас посыплются бомбы... Но что можно сделать? Бьют стекла, пачкают стены, и это не босяки, это философы, каждый громила ссылается на Ницше. Попугай тоже философы». Кругом нас говорят о делах, о театральные премьеры, о светских скандалах, о чем угодно, только не о политике. Меринг стучит ножиком о стакан — пора уходить; и попугай старческим голосом раздраженно повторяет: «Счет! Счет!»

Случайно я встретил левого журналиста, с которым познакомился четыре года назад на съемках «Жанны Ней». Тогда он зло высмеивал националистов, называл Гугенберга «глупым мамонтом». Он пошел в гору: заведует литературным отделом большой газеты; постарел, прихрамывает. Заговариваем о политике. «Все не так просто. Мы многого недооценили... Конечно, среди нацистов имеются темные элементы, но в целом это здоровое явление...» Мой приятель потом рассказывает, что у журналиста неприятности: в нацистской газете была заметка, где говорилось о его прошлом — он не случайно клеветал на Людендорфа, его мать еврейка и у него больные ноги, а это верный признак еврейского происхождения. Журналист теперь занят генеалогией: собирает документы, подтверждающие чистокровность всех его предков.

Северная часть герода не похожа на Курфюрстендамм: здесь кризис виден на домах, на одежде людей, на лицах. Дуют холодные ветры с Балтики; приближается зима. Много бездомных; они спят в различных ночлежках, некоторые на улице; последнее запрещено, но есть глухие аллеи Тиргартена, пустыри, подвалы. Большая витрина закусочной возле Александрплаца; выставлены различные яства — картошка с салом, колбасы, свиная нога. («Колоссально! Всего пятьдесят пять пфеннигов!») Люди подолгу стоят у витрины, смотрят. Некоторые входят и что-то быстро сглазывают.

Один безработный рассказал мне, что получает пособие — девять марок в месяц. К счастью, он одинок. Койка в ночлежке стоит пятьдесят пфеннигов; приходится большей частью ночевать на улице. «У нацистов дают бесплатно суп с мясом, товарищи говорят, что там хорошо, а мне противно...»

Берлин стал эдемом международных педерастов: здесь ничего не стоит раздобыть привлекательного юношу. По вечерам в пассаже Унтер ден Линден, в Тиргартене, около Александрплац бродят молодые безработные; на многих короткие штанишки; они стараются кокетливо улыбаться. Платят им одну-две марки. Я разговорился в закусочной с одним из этих парней. Он рассказал, будто бы в Берлине живет принц Гогенцоллерн, не фальшивый, а настоящий. Увидев юношу, который ему нравится, он его бьет хлыстом, а избив, дает десять марок. Возле дома, где живет принц, бродят юноши — ждут счастья...

Я пошел на собрание нацистов; происходило оно в пивной. Глаза ед дым дешевых сигар. Какой-то нацист, размахивая большими руками, долго кричал, что немцам надоело голодать, что хорошо живут только евреи, что союзники ограбили Германию, нужно расколотить французов и поляков. В России тоже хозяйничают евреи, значит придется всыпать и русским. Гитлер покажет миру, что такое немецкий социализм... Я разглядываю посетителей. Одни пьют пиво, другие сидят перед пустыми столами. Много рабочих, и от этого нестерпимо больно. Конечно, я знал и прежде, что среди нацистов немало рабочих, но одно дело

прочитать об этом в газете, другое — увидеть. Разве скажешь, что этот пожилой рабочий фашист? Хорошее печальное лицо, видно, что ему не сладко. А тот, молодой, похож на товарища, которому Рудольф поручил раздать листовки...

Штаб нацистов — в пивной «Берлинер киндль». На соседней улице другая пивная; там собираются коммунисты. Меня туда привел Рудольф. Протертые бархатные диваны, на стенах олени рога; обыкновенная пивнушка...

Я шел с Рудольфом по глухой улице Нордена. Он что-то досказывал: «Возьмем факты...» Вдруг раздались выстрелы. Рудольф подбежал, крикнул: «Вебер!..» Нацисты застрелили рабочего-коммуниста. Потом не спеша пришел полицейский. Вызвали машину. Долго составляли протокол; я стоял в стороне — ждал Рудольфа. Прибежала старая женщина, громко плакала. Ночь была темной; ветер срывал кепки, последние листья деревьев.

Я вернулся в Париж мрачный: буря надвигалась. В газетной статье я писал: «Капитализм слишком долго, слишком отвратительно разлагается. Гангрена успела поразить живые части тела... Редко история знавала трагедии, равную трагедии германского пролетариата. Сжав зубы от отвращения, он отливал пушки и умирал под Верденом. Женщины рожали дегенератов, слепых, слабоумных. Когда он потребовал права на жизнь, его сумели разъединить, стиснуть... Рабочих снова приучили к нужде и безысходности. Увидав, что они больше не верят социал-демократическим полицейским, из них стали вербовать фашистских погромщиков. Осквернили не только их тело — их душу. Расплата отодвинута, но эта расплата будет жестокой — история умеет мстить».

30

Четверть века назад в «Книге для взрослых» я писал: «В 1931-м мне исполнилось сорок лет. Этот год показался мне обычным. Теперь я вижу, что он позволил мне жить дальше... Это было подготовительным классом новой школы, в нее я записался на пятом десятке».

Я рассказал об Испании и о поездках в Берлин, о долгих блужданиях по северным районам Парижа с фотоаппаратом. Могу добавить, что побывал в Праге, в Вене, в Швейцарии, был на заседании Лиги наций, глядел на Бриана, который то и дело опускал свои мясистые тяжелые веки, слушал спор между немецким министром Курциусом и поляком Залесским. Все говорили о разоружении, и все понимали, что дело идет к войне.

Мы переехали на улицу Котантен, напротив товарной станции Вожирар, где в годы войны я разгружал вагоны с амуницией. Квартира была на первом этаже, и ночи были шумными: мимо окон проезжали грузовики с молоком, бидоны звенели.

В начале года я кончил книгу о кинопромышленности «Фабрика снов». Словом, год был, как я писал, скорее обычным. Однако он действительно многое изменил в моем отношении к людям и к жизни.

Передышка, подаренная мне, как и всем людям моего поколения, уходила к концу. Еще не было бурь, но штиль уже казался неестественным. Друзья, приезжавшие из Советского Союза, рассказывали о раскулачивании, о трудностях, связанных с коллективизацией, о голоде на Украине. После поездок в Берлин я понял, что фашизм наступает и что его противники разъединены. Кризис продолжал усиливаться. Лишения, унижения, голод не всегда способствуют разумным решениям: фашисты вербовали в свои отряды не только обнищавших лавочников или хорохорившихся подростков, но и отчаявшихся, сбитых с толку безработных.

Я недаром занимался королями нефти, стали или спичек: я знал, что, будучи более или менее просвещенными и брезгая общением с фашистами, они обильно снабжают различные фашистские организации деньгами. Страх перед революцией оказался сильнее не только унаследованного свободомыслия, но и простого благоразумия. В Нюрнберге судили маньяков, а виновата была вся правящая верхушка общества. Может быть, некоторые из тех, кто потакал фашистам и поддерживал их, потом и плакали над сожженными книгами, расщепленными городами, погибшими близкими. Фашизм пытались выдать за приبلудного незнакомца, случайно затесавшегося в благопристойные, цивилизованные страны. А у фашизма были щедрые дядюшки, любвеобильные тетушки, которые здравствуют и поныне.

Бой был неминуем: дипломаты знают зоны разъединения, нейтральные или буферные государства; а я понимал, что между нами и фашистами нет даже узенькой полоски «ничьей земли».

Возможно, что в прошлом и бывали эпохи, когда художник мог отстаивать человеческое достоинство, не расставаясь ни на час с искусством. Наше время требовало от любого человека не вдохновенного костра, на котором легко сгореть, а повседневных отречений.

Бог ты мой, сколько раз в жизни я отвечал на стандартные вопросы анкет! Теперь я хочу рассказать не о поступках, не о поездках, даже не о книгах, а о себе. До сорока лет я не мог найти себя — петлял, метался.

Вероятно, я не прав, возлагая все на эпоху. Я ведь встречал писателей, которые целиком выражали свои мысли, чаяния, страсти в книгах, — Томаса Манна, Джойса, Вячеслава Иванова, Валери. Конечно, они многим в жизни увлекались, от многого отшатывались, но орудиями действия для них были книги. Таким был некогда и Бальзак, хотя он мечтал стать депутатом, писал политические памфлеты, разрабатывал проекты финансовых операций, чтобы освободиться от вечных долгов: все это оставалось зыбью на поверхности, и загорался он, только говоря о героях своих романов. А для его современника Стендаля литература была одной из возможных форм участия в жизни, он воевал, увлекался политикой, страстно влюблялся, жил не для того, чтобы лучше узнать страсти других, а для того, чтобы жить.

По-разному бываю скроены не только великие писатели. После «Хулио Хуренито» я стал профессиональным литератором. Писал я очень много; сейчас подсчитал, и даже неловко признаться: с 1922 по 1931 год я написал девятнадцать книг. Поспешность диктовалась не честолюбием, а смятением; изводя бумагу, я изводил самого себя.

Никогда меня не удовлетворяло созерцание, мне хотелось не только размышлять над судьбами вымышленных персонажей, но и самому походить на них. А между тем в то десятилетие, которому посвящена третья часть моей книги, я слишком часто оказывался в роли если не наблюдателя, то болельщика.

В 1931 году я почувствовал, что я не в ладах с самим собой. Я задумался над недавним прошлым и, пока ночные грузовики грохотали, звенели, настойчиво спрашивал себя, как мне дальше жить.

Может показаться странным, что такие вопросы ставил себе не зеленый юноша, который, оборванный и голодный, блуждая по парижским улицам, писал стихи о светопреставлении, да и не тот, растерянный, но вместе с тем задорный молодой интеллигент, которого А. Н. Толстой называл «мексиканским каторжником» и который рассказывал девушкам похождения еще ненаписанного «Хуренито», а сорокалетний литератор, начинавший седеть. Но я уже говорил, что в нашу эпоху, когда события разворачивались с ошеломляющей быстротой, многие люди складывались медленно. Герцену было сорок лет, когда он сел за «Былое и думы»

и начал подводить итоги своей жизни: он никогда не глядел на события из зрительного зала, был актером всех трагедий, которые шли в его время.

Может быть, столь длительные поиски себя объяснялись и тем, что я жил в двух различных мирах, молодость провел в Париже, к началу революции мои вкусы, привязанности, отталкивания успели сложиться. Может быть, сказался характер: я всегда испытывал необходимость проверить то, что многим казалось таблицей умножения.

Конечно, если говорить о пути писателя, я не изменился за один год. В предисловиях к моим книгам в двадцатые годы неизменно указывалось, что, хотя я «опустошенный циник» и «нигилист», меня стоит издавать, потому что я хорошо изображаю «гниение капиталистического мира». В «Хуренито» я действительно искренне высмеивал клерикалов и радикалов, фанатичных коммунистов и ручных социалистов, французских жуиров и русских интеллигентов с их угрызениями совести; но мало-помалу я начал отходить от такого подхода к людям. Вероятно, в этом сказался возраст: исчезала жесткость, свойственная молодости. Мне становилось все труднее и труднее жить одним отрицанием: хотелось найти за глупыми или дурными поступками людей нечто настоящее, человеческое. (Это редко мне удавалось, но я ведь говорю не о литературных достоинствах, а о своих намерениях.)

Однако главным для меня в 1931 году был не подход к персонажам романов. Я мало думал о том, как написать следующую книгу; я спрашивал себя, как мне дальше жить, чтобы годы были не пометками на полях жизни, а самой жизнью.

Каждый человек особенно близко принимает к сердцу те вопросы, которые относятся к его работе, и, конечно же, меня волновали судьбы литературы, искусства. Маяковского больше не было. Громче других раздавались голоса рапповцев. Выставки были заполнены огромными полотнами ахрровцев. Эпоха дерзаний и чудачеств была позади.

Революция приобщила к культуре народ, и естественно, что люди, впервые бравшие в руки роман или впервые приходившие на выставку, не очень разбирались в мастерстве; порой ловкая подделка под искусство их восхищала. Новых читателей, зрителей можно было воспитывать, можно было и лстыть им, говорить, что они — высший суд. Лстыцы, разумеется, нашлись.

Стихотворцы сочиняли стихи на случай. Литературная Энциклопедия объясняла, что путь идет к производственному роману, который заменит все прочие жанры. Намечался тот стиль, который господствовал в течение четверти века: стиль украшательской архитектуры, тех станций метро, где тесно от статуй, неустанных славословий и сатиры, скромно обличающей нерадивого управдома или подвыпившего эстрадника. Конечно, в 1931 году все это было в эмбриональном состоянии. Однако уже появились первые портреты и статуи человека, который, может быть, тогда и не догадывался, что он станет не только объектом, но и создателем «культы личности». Все это сопровождалось тщательным упрощением; та же Литературная Энциклопедия писала, что «Гамлеты бесполезны массе» и что пролетариат «...бросает Дон Кихота в мусорную яму истории».

В начале 1932 года я написал неудачную повесть «Москва слезам не верит». Один из ее героев, советский художник, в прошлом участник гражданской войны, прочитал в московской газете заметку о выставке живописи, подписанную инициалами О. Б.: «Пейзажи Чужакова показывают, что он окончательно оторвался от масс. Это типичное искусство деклассированного отщепенца, которое нужно десяти—двадцати дегенератам буржуазной богемы». Художник размышляет (и его мысли были мыслями автора повести): «Десяти—двадцати... Допустим... А вот

«АХРР» — десяти тысячам?.. Значит, прикажете халтурить?.. Кстати, тот же Рембрандт, скольким он при жизни нравился?.. А теперь экскурсантов загоняете — стой и просвещайся!.. Гражданин О. Б. ... Или, может быть, вы гражданка? Да я не об этом... Я ведь знаю — у вас все поделено: с бабой — как придется, а статейки пописываете — комар носу не подточит. Расход и приход — просят не смешивать. Картин вы, конечно, не пишете — отсталое это дело — и вообще порадовать никого не можете. Если вы — гражданин, сомневаюсь, можете ли вы порадовать гражданку О. Б. или Б. О. Впрочем, не в этом суть. Послушаем чижей. Они поют как дегенераты. Оторвались, скажете, от масс? А горловые связки? Ах, О. Б., они поют потому, что поется. Им веселее, и мне, а не хочешь, не слушай. Разве я настаиваю на моих картинах? Могу опять потесниться... Если вы, О. Б., высчитали, что мои картины не нужны, пожалуйста, могу, например, стены белить. Я ведь сговорчивый. Только на живописи не настаивайте. Это особая статья. Чижи поймут, а вам невозможно... Дураки думают — дважды два, всем по бифштексу, и никаких искусств. А искусство только тогда и начнется — после бифштекса, загрызет оно — не четыре, голубчик, а пять. Или двадцать пять... Пусть какой-то О. Б. и не понимает ни черта в живописи, пусть таких О. Б. тысячи, миллионы — что же, тогда надо расстаться с кистями. Найду для себя другое дело — по времени. Проживем и без картин. А пройдет десять лет... Ну, не десять — сто — какая разница? — тогда поймут...»

Помню разговор с молодой француженкой, актрисой Дениз. Мы говорили о гастролях Мейерхольда, о портрете бабушки Дениз, написанном Ренуаром, о стихах Десноса, об искусстве: ничего не поделаешь — рыбе нужна вода... И вдруг я признался: «Все это так, Дениз, но сейчас дело не в искусстве... Десять лет назад я доказывал, что искусство умирает, мы тогда верили, что старые формы износились — романы, станковая живопись, рампа. Все это было вздором. Теперь начинается реакция... Но можно не писать романов... Я все давно выбрал... Да я и не выбирал — выбора нет...»

Я о многом думал по ночам: о гуманизме, о цели и средствах. Не дурные картины меня тревожили, да и вообще искусство было только частичей в загадках завтрашнего дня — речь шла не о художественном направлении, а о судьбе человека.

В библиотеке можно не брать книги, которая не по душе, можно взять по ошибке и вернуть, не прочитав. А жизнь не библиотека... В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять свое место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что мне было дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук — молчанию.

Критики, которые обо мне писали, указывали на 1933 год, как на дату поворота: они знали книгу «День второй». А я знаю, почему я поехал в Кузнецк, — все было додумано в 1931 году, не перед котлованами строек, а на улице Котантен, под ночное звяканье бидонов...

Весной 1932 года в Париж приехали драматурги В. М. Киршон и А. Н. Афиногенов. Я их водил по Парижу и рассказывал о достопримечательностях города. Они в свою очередь меня посвящали в достопримечательности нашей литературы. Оба были окрылены успехом: в десятках театров шли «Хлеб» Киршона и «Страх» Афиногенова. Однако больше, чем своими произведениями, они гордились победами РАППа. По их словам, РАПП объединил всех «настоящих» советских писателей. Киршон повторял: «Мы столбовая дорога нашей литературы». (Я не знал

тогда, что это выражение принадлежало А. А. Фадееву.) Александр Николаевич Афиногенов был очень высоким, скромным, он улыбался и поддакивал словам Кириона. Владимир Михайлович проповедовал, обличал, саркастически усмехался. Он сказал мне: «Пора вам пересмотреть свои позиции...» Я признался, что свои позиции пересмотрел. «Тогда напишите заявление — вступайте в РАПП». Я ответил, что литературные принципы рапповцев меня мало увлекают и что по столбовым дорогам люди ездят — раньше их везли лошади, теперь — моторы, а писатели по своей природе пешеходы, каждый может идти к общей цели своим путем. Афиногенов улыбнулся: «Оставь его! Может быть, он и прав...»

Мы сидели на камнях старых арен Лютеции. День был жаркий, и, несмотря на утренний час, мы забралась в тень. Я развернул газету: «Телеграмма из Москвы — распустили РАПП...» Мне это сообщение показалось несущественным, ведь сколько раз менялись вывески различных писательских организаций; да и вообще меня интересовала литература, а не литература о литературе, я тогда еще не знал, что такое «оргвыводы». Кирион вскочил: «Не может быть! Выдумки! Какая это газета?..» Я ответил: «Юманите!». Мы собирались посмотреть рабочие районы; но Кирион сказал, что им нужно в посольство. Через день или два они уехали в Москву, хотя рассчитывали остаться дольше. (С Александром Николаевичем я потом часто встречался, подружился и расскажу о нем, когда дойду до 1937 года.)

Я понял, что ликвидация РАППа — дело серьезное, и приободрился: может быть, и впрямь в Москве поняли, что шоссе нужно прокладывать для автотранспорта, а писателям предоставить право идти каждому своей писательской тропой?..

Однако передо мною стоял вопрос: как подойти ближе к жизни, к действию, к борьбе?

В мае ко мне неожиданно пришел сотрудник «Известий» С. А. Раевский; он сообщил мне, что главный редактор и П. Л. Лапинский, с которым я часто встречался в годы войны, предлагают мне стать постоянным парижским корреспондентом газеты. У «Известий» имелся корреспондент — Садуль, бывший в 1917 году членом французской военной миссии в России и перешедший на сторону революции. Стефан Александрович сказал, что Садуль останется на своем посту; но он — француз и недостаточно знает советских читателей. Я должен писать очерки и, если события потребуют, передавать по телеграфу информацию.

Предложение застало меня врасплох: я слишком долго жил не связанный никакой регулярной работой, привык располагать своим временем. Конечно, журналистика меня привлекала: хотелось делать нечто живое; но я боялся, что не справлюсь.

Я пошел к нашему послу В. С. Довгалеvскому, с которым у меня установились дружеские отношения. Это был человек добрый, участливый; разговаривая с ним, я забывал, что он — официальное лицо, посол, а я писатель, не то «правый попутчик», не то «прогнивший циник». Валериан Савельевич превосходно знал Францию; старый большевик, он был политэмигрантом, учился в Тулузе. Французы его ценили; не раз я встречал в посольстве Эррио, который приезжал поговорить с Довгалеvским, иногда и посоветоваться. (Умер Довгалеvский в сорок девять лет от рака. Я тогда горевал, а после не раз думал, что смерть оградила его от многих испытаний.)

Валериан Савельевич уже знал о предложении «Известий» и сразу сказал: «Очень хорошо, здесь и думать не о чем...» Уговорить меня было нетрудно: я ведь мечтал ринуться в бой.

Около восьми лет я исполнял обязанности корреспондента «Известий» — в Париже, потом в Испании, снова в Париже — вплоть до герма-

но-советского пакта; написал сотни очерков и статей, посылал информацию: порой заметки шли без подписи, порой я подписывал их псевдонимами (Поль Жослен и другими). Я научился писать на машинке латинскими буквами для телеграфа; хрипел и терял голос, диктуя статьи по телефону. К рассказам о газетной работе мне придется вернуться еще не раз; теперь я только хочу сказать, что вспоминаю ее с благодарностью; конечно, она отняла много времени, но позволила многое увидеть, узнать различных людей. Да и для писательского ремесла она была хорошей школой; я научился писать коротко — приходилось все время думать, как сэкономить расходы газеты: письма шли долго, почти все статьи я передавал по телефону или по телеграфу. (Сжатость, короткие фразы привлекали меня и прежде. Мне хотелось писать как я думал — без придаточных предложений. Критики меня ругали за «телеграфный стиль», а я считал, что такая речь отвечает не только моим чувствам, но и ритму времени.)

Почти никого не осталось в живых из моих товарищей по работе в «Известиях»... В годы войны, в седьмом отделе одной из армий, меня поразило голос женщины — старшего лейтенанта: он мне показался хорошо знакомым, а лицо было чужим. Мы разговорились. Старший лейтенант работала стенографисткой в «Известиях», когда я ежедневно передавал статьи или сообщения из осажденного Мадрида. Слышимость была плохая, стенографистка то и дело просила: «Не слышно... по буквам...» Я кричал: «Борис, Ольга, Иван...» Иногда со мной хотел поговорить заведующий иностранным отделом, и стенографистка, чтобы нас не разъединили, говорила: «В Москве чудесная погода» или «Ваша дочь вам передает привет». Все это шло под аккомпанемент артиллерии. И вот я встретил знакомую незнакомку, с милым, задушевым голосом, возле Брянска, когда шел артиллерийский бой...

Вернусь к 1932 году. Я начал хлопотать о том, чтобы французские власти меня признали как корреспондента «Известий». Меня вызвали в министерство иностранных дел. Я думал, что со мной хотят разговаривать сотрудники, которым поручена связь с иностранной прессой; но меня отослали в знакомый мне по визовым мытарствам «контроль иностранцев». Там работали не дипломаты, а полицейские, и разговаривали они отнюдь не вежливо. Я увидел на столе огромную папку, на которой значилось: «Илья Эренбург». Чиновник поспешил мне объяснить, что я известен ему с плохой стороны, что корреспондент большевистской газеты будет находиться под особым наблюдением и что при любой попытке нарушить правила я буду выслан из Франции.

Месяца два спустя мне довелось беседовать уже не с полицейскими, помешавшимися в здании министерства иностранных дел, а с настоящими дипломатами. Было это в Москве; меня пригласил на завтрак французский посол Дежан. Среди гостей оказался атташе польского посольства. Дежан посадил рядом с собой Любу и вел с нею вполне мирные разговоры о достоинствах различных французских сыров. А советник посольства (не помню его фамилии) начал меня расспрашивать, что я видел во время моей поездки (я перед этим ездил в Бобринки). Моим рассказом он остался явно недоволен: «Вы отвечаете официально, а мы хотели бы поговорить откровенно. Ведь все знают, что пятилетка провалилась...» Польский атташе подхватил: «Особенно строительство в Бобринках...» Я рассердился: где же дипломатическая вежливость — пригласить на завтрак и вести провокационные разговоры! Я даже не мог оценить вина или сыры. Кофе мы пили в соседнем салоне. Советник посольства неожиданно раскрыл том Малой Советской Энциклопедии и торжествуя начал читать (по слогам, но вполне разборчиво), что там написано про меня. Вспомнив этот эпизод, я теперь раздобыл книгу, вот короткая цитата:

«Вскормленный деклассированной богемой, Эренбург остроумно высмеивает западный капитализм и буржуазию, но не верит в творческие силы пролетариата. Утверждая бессилие научно-социалистической планировки жизни перед лицом стихийного биологического начала человека и пророча бессилие коммунистических планов перед лицом стихии собственности, Эренбург выступил как один из наиболее ярких представителей новобуржуазного крыла литературы». Статья была подписана одним из руководителей покойного РАППа.

Я вдруг понял, почему советник посольства рассчитывал, что я буду ему рассказывать о провале строительства, понял и засмеялся. Я не стал объяснять, что автор заметки — рапповец и что РАПП недавно распущен: для французов энциклопедический словарь это справочник, написано, что Жоффри выиграл битву на Марне, что корова жвачное животное, что Анатолий Франс обладал превосходным стилем, а также иронией, и все это бесспорно по крайней мере на одно поколение. Советник, прочитав, что я — представитель новобуржуазной литературы, решил, что представителю старобуржуазной дипломатии легко со мной сговориться. Как же ему было понять, что энциклопедический словарь пересматривает свои оценки от одного тома до другого?..

В 1932 году я думал, что ликвидирован не только РАПП, но и некоторый стиль литературной критики. Это было наивным, особенно для автора «Хуренито», вступившего в пятый десяток. Вскоре я понял, что ошибался: один из наших критиков написал, что в моих книгах «проступают искаженные тревогой черты классового врага», и называл меня «литературным приказчиком буржуазии». В 1934 году вышел очередной том уже не Малой, а Большой Советской Энциклопедии, и там я прочитал: «Эренбург — типичный выразитель настроений той буржуазной интеллигенции, которая пошла за идеологами «сменовеховства». Как я говорил, восприятия притупляются: в первый раз я растерялся, в десятый рассердился, в сотый примелькавшиеся этикетки оставили меня равнодушным. Я понял, что беспорядочный огонь — одна из особенностей той войны, которая не вчера началась и не завтра кончится: артиллерия частенько бьет по своим. Это, конечно, нехорошо, но ничего тут не поделаешь; от снаряда человек может погибнуть, от обиды он только каменеет; своих убеждений от обиды, даже самой горькой, не переменишь и на сторону врага не перейдешь.

Я понял также, что дело не в моей путаной биографии, не в том, что я долго жил в Париже; столь же случайно, несправедливо, огульно поносили и некоторых других писателей, которые никогда не увлекались средневековьем, не были знакомы с Пикассо и проживали не на улице Котантен, а в московских переулках. Вот почему на Первом съезде советских писателей я мог с полной искренностью сказать: «Мне трудно себе представить путь писателя, как ровное, гладкое, хорошее шоссе. Одно для меня бесспорно: я — рядовой советский писатель. Это — моя радость, это — моя гордость...»

В мае 1932 года Париж был потрясен неожиданным событием: некто Павел Горгулов, уроженец станицы Лабинской, среди бела дня застрелил президента Французской республики Поля Думера. Убийство было совершено накануне парламентских выборов, и правые газеты поспешили объявить, что Горгулов — большевик. Немедленно появился другой казак, по имени Лазарев, который подтвердил, что знает Горгулова как чекиста, работавшего под кличкой «Монгол».

«Известия» поручили мне осветить судебное разбирательство. У меня еще не было карточки журналиста. Выручил меня Семен Борисович Членов, который со всеми был знаком. Председатель суда, один из крупнейших юристов Франции, Дрейфус, разрешил мне присутствовать на процессе в качестве его гостя. Я прошел через служебный ход и сидел не в зале, а позади судей.

Вечером, когда я выходил из помещения суда, меня арестовали: я не мог показать документа, который оправдывал бы мое присутствие на процессе. Меня отвели в префектуру, там подвергли издевательскому допросу и заперли. Я злился: не успею послать телеграмму в газету! Действительно, освободили меня только ночью, и отчет появился в «Известиях» на день позже.

Процесс продолжался три дня; все происходившее казалось неправдоподобным и страшным сном. Я говорил, что некоторые пытались выдать Горгулова за советского агента: «Москва хотела повергнуть Францию в анархию». Имелась и другая версия: Горгулов — агент французской полиции, убийство было организовано для того, чтобы обеспечить успех правых на выборах и сорвать намечающиеся переговоры с Москвой. На самом деле все было проще и сложнее. Преступление было совершено испуганным, отчаявшимся эмигрантом, находившимся на грани безумия. Три дня я глядел на Горгулова, слушал его страстные и нелепые выкрики. Передо мною был человек, которого мог бы выдумать в часы бессонницы Достоевский.

Горгулов был высокого роста, крепок; когда он выкрикивал путаные, сбивчивые проклятия на малопонятном французском языке, присяжные, по виду нотариусы, лавочники, рантье, испуганно ежились.

Его поступок был прежде всего необъясним. В двадцатые годы Каверда убил советского посла Войкова, Конради — Воровского. Горгулов застрелил французского президента Думера, человека правых воззрений, притом семидесятипятилетнего старика. Однако во всем этом была своя логика — ненависти и отчаяния.

На суде раскрылась биография убийцы. Он кончил в Праге медицинский факультет и работал по своей специальности в небольшом городке Моравии. Это было удачей — сколько русских эмигрантов стали черно-рабочими или попросту нищенствовали. Но Горгулов был человеком, не способным приладиться к скромному существованию в чужой стране. Повсюду ему виделась подвохи, унижения. Он считал, что чешские коллеги его затирают, начал пить, буянить, внес в быт чинного города разгул русского кабака.

Да и медицина его не увлекала. Еще в Ростовском университете он посещал литературный кружок. Он занялся поэзией. Одна немолодая, но экзальтированная чешка, с которой он случайно познакомился, поверила в его талант и дала деньги на издание книги. Горгулов выбрал многозначительный псевдоним — Бред. Я читал его книги; кажется, способности у него были, но работать он не умел, да и бредил неинтересно, повторно; его сочинения звучали как отголоски чего-то очень знакомого.

Одновременно он не расставался с политикой; вначале он считал себя социалистом, даже объяснял одному из министров Чехословакии, как отстаивать демократию. Потом его увлек фашизм; он основал «национальную крестьянскую партию»; членов в ней не было, зато имелось красивое знамя — его вышили две русские танцовщицы, работавшие в ночном кабаре.

После нескольких скандалов чехи лишили Горгулова права врачебной практики, и он перекочевал в Париж; здесь он познакомился с Яковлевым, который торговал дамскими чулками и выпускал газету «Набат». Успехи Гитлера в те годы вдохновляли многих. Яковлев, Горгулов с де-

сятком единомышленников по воскресеньям собирались в рабочем кафе Бильянкура, подымали руки вверх и кричали: «Русь, пробудись!»

Горгулов вскоре рассорился с Яковлевым и выпустил программу своей новой партии. Он придумал также религию «натуризм», предлагал быть добрыми, любить природу. Одновременно он призывал вырезать всех коммунистов и евреев. Денег у него не было; он тайком лечил знакомых казаков, заболевших гонореей, и полученные за это франки тратил на издание то книги стихов, то политических листовок.

Он спрашивал себя, что ему делать дальше. Вот перечень его планов: переехать в Харбин, совершить на ракете межпланетное путешествие, убить Довгалецкого, записаться в Иностраннный легион, уехать в Бельгийское Конго, вступить в отряд гитлеровских штурмовиков, подыскать богатую невесту.

Французская полиция узнала, что Горгулов незаконно принимает пациентов; у него отобрали вид на жительство. Он уехал в Монако. Сначала он попробовал выиграть в рулетку. Потом решил, что необходимо освободить Россию от большевиков — другого выхода нет. Он написал писателю Куприну: «Я одинокий одичавший скиф...»

Он ненавидел французов за то, что они ведут переговоры с большевиками, а его, честного казака, верного союзника, выслали из Франции. Где-то он прочитал, что Колчака «предали французы». На стене его комнаты висел портрет Колчака. Горгулов написал на портрете две даты: день смерти русского адмирала и день предстоящей смерти французского президента.

Все последующее таково, что кажется действительно бредом. Горгулов приехал в Париж с двумя револьверами; пошел в собор, молился; потом выпил литр вина; опасаясь полиции — ведь у него нет вида на жительство, — он выбрал третьеразрядную гостиницу, где сдают номера на ночь или на час, для отвода глаз взял с собой проститутку, вскоре ее отослал и всю ночь писал: проклинал коммунистов, чехов, евреев, французов. Потом вышел из гостиницы и убил Думера.

На него трудно было смотреть, он казался затравленным зверем. От него отрекались и Яковлев и другие его единомышленники.

Помню страшную картину. Ночью, при тусклом свете запыленных люстр, судебный зал напоминал театральную постановку: парадные одеяния судей, черные тоги адвокатов, лицо подсудимого, зеленоватое, омертвевшее, — все казалось неестественным. Судья огласил приговор. Горгулов вскочил, сорвал с шеи воротничок, как будто торопился подставить голову под нож гильотины, и крикнул: «Франция мне отказала в виде на жительство!»

Я шел по ночной, пустой улице и думал о судьбе человека. Конечно, Горгулов не мог вызвать участия: скверная жизнь, дикое, бессмысленное преступление. Но я думал о том, что когда-то он был обыкновенным русским мальчонкой, играл на горячей пыльной улице в городки. Страшно, что перед смертью он не нашел других слов, кроме «вида на жительство» — будничной, житейской жалобы эмигранта! Почему он писал о любви к букашкам и хотел вырезать миллионы людей? Почему убил Думера? Почему должен был играть чужую роль в нелепой кровавой мелодраме? За три месяца до преступления он писал своему приятелю Яковлеву: «Во мне осталось только одно чувство — жажда мести». Он жил надеждой: «Только война спасет нас!» Я вспомнил, что Яковлев торгует женскими чулками... Под мирной зыбью европейской жизни проходили страшные течения.

Процесс Горгулова был для меня психологическим введением в тяжелое десятилетие. Слово «война» становилось привычным. Люди повсюду начинали втягиваться в новое, недоброе дело. Запахло кровью.

Летом и осенью 1932 года я много колесил по Советскому Союзу; побывал на строительстве магистрали Москва — Донбасс, в Бобриках, ставших потом Сталиногорском, в Кузнецке, ставшем потом Сталинском, в Свердловске, в Новосибирске, в Томске.

Время было необычайное; вторично шквал потряс нашу страну; но если первый — в годы гражданской войны — казался стихийным, был тесно связан с борьбой между различными классами, с гневом, ненавистью, тоской, то коллективизация и начало строительства тяжелой индустрии, разворотившие жизнь десятков миллионов, были определены точным планом, неотделимы от колонок цифр, подчинены не взрывам народных страстей, а железным законам необходимости.

Снова я увидел узловые станции, забитые людьми с пожитками; шло великое переселение. Орловские или пензенские крестьяне бросали деревни и пробивались на восток: им говорили, что там дают хлеб, воблу, даже сахар.

Комсомольцы, охваченные восторгом, отправлялись на Магнитку или в Кузнецк; они верили, что стоит построить заводы-гиганты — и на земле будет рай. В январские морозы железо жгло руки. Казалось, люди промерзли насквозь; не было ни песен, ни флагов, ни речей. Слово «энтузиазм», как многие другие, обесценено инфляцией; а к годам первой пятилетки другого слова не подберешь, именно энтузиазм вдохновлял молодежь на ежедневные и малоприметные подвиги.

Многие рабочие относились к заводам любовно; они звали домну «Домной Ивановной», мартеновскую печь — «дядей Мартыном». Я спросил одного втузовца, как он представляет себе Париж. Он ответил: «В центре, наверно, огромные заводы, а люди живут вокруг в больших домах, и сообщение хорошее — сотни трамваев...» Он пришел в Новосибирск из деревни, и ему казалось, что города растут вокруг заводов; однако он читал Гюго и спросил меня: «Где же там собор Богоматери?..»

Конечно, среди строителей были разные люди. Приезжали циники, авантюристы, летуны, они кочевали в поисках, как тогда говорили, длинного рубля. Крестьяне недоверчиво глядели на машины; когда рычаг отказывал, они сердились, как на упрямую лошадь, и часто портили машины. Если одних подгоняли высокие чувства, то другие напрягались в надежде получить килограмм сахара или отрез на брюки.

Я увидел эшелоны спецпереселенцев — это были раскулаченные, их везли в Сибирь; они походили на погорельцев. Везли также подмосковных огородников, мелких спекулянтов с Сухаревки, сектантов, растратчиков.

В Ташкенте и в Рязани, в Тамбове и в Семипалатинске вербовщики набирали землекопов, мостовщиков, крестьян, убежавших после коллективизации из деревни.

Я попадал в деревни, где трудно было найти мужчину, — женщины, старики, дети. Многие избы были брошены. Женщины гудели, как расстроенный улей.

Томск был беден, запущен. Заборы разобрали на топливо; тротуаров не было. Люди побойчее уехали в Новосибирск, в Кузнецк. Лишеницы прятали от прохожих лампадки перед иконами. Чай пили без сахара. В буфете продавали Славянскую воду и картонные коробки для конфет.

Бурно росли некоторые города. Заштатный Новониколаевск превратился в шумный Новосибирск. Дома напоминали выставочные навильоны. В ресторане при гостинице ночь напролет хлестали водку. Вокруг города пришельцы строили лачуги, рыли землянки; они торопились — впереди была суровая сибирская зима. Новые поселки называли «Наха-

ловками». Жители острили: «В Америке небоскребы, а у нас землескребы» — это было задолго до высотных зданий.

Жизнь была трудной; все говорили о пайках, о распределителях. В Томске хлеб походил на глину; я вспомнил двадцатый год. На рынке продавали крохотные замызганные кусочки сахара. Профессора между лекциями становились в очереди. Магазины «Торгсина» соблазняли мукой, сахаром, ботинками; но там нужно было расплачиваться золотом — обручальными кольцами, припрятанными царскими монетами. В Кузнецке приезжавшие сразу спрашивали: «Мясо дают?» Тифозный корпус больницы был переполнен: сыпняк снова косил людей. В Томске я видел, как жена профессора варила мыло. Все напоминало тыл войны, но тыл был фронтом: война шла повсюду.

Огромное полотно было написано двумя красками — розовой и черной; надежда жила рядом с отчаянием; энтузиазм и злоба, герои и летуны, просвещение и тьма — эпоха одним давала крылья, других она убивала.

На строительстве магистрали Москва—Донбасс было собрание. Один землекоп, в бараньей шапке, с обветренным лицом, говорил: «Да мы во сто раз счастливее проклятых капиталистов! Они жрут, жрут идохнут — сами не знают, для чего живут. Такой прогадает, смотришь — повесился на крюке. А мы знаем, для чего мы живем: мы строим коммунизм. На нас весь мир смотрит...» Я пошел с ним в столовую. При входе в барак отбирали шапки; выдавали их, когда рабочие сдавали ложки. Шапки валялись грудой на земле; каждый долго разыскивал свою. Я попробовал объяснить заведующему, что это обидно, да и глупо — люди зря тратят время. Он посмотрел на меня пустыми глазами: «За ложки я отвечаю, а не вы».

В Кузнецке я встретил начальника цеха. Он рассказал мне, что восемь лет назад пас в деревне гусей. Его считали талантливым инженером. Он прочитал «Кара-Бугаз» Паустовского и с жаром говорил о стиле.

Я долго разыскивал в старом Кузнецке дом, где жил когда-то Достоевский, наконец нашел; женщины мне сердито ответили: «Нет здесь такого...» Школьники объяснили, что они знают много писателей: Пушкина, Горького, Демьяна Бедного, а Достоевского не проходили.

Крестьяне в селе возле Томска рассказывали: «Приехал сдин, говорит: «Кто хочет строить социализм, пожалуйста, иди добровольно в колхоз, а кто не хочет, пожалуйста, полное у него право. Только я скажу прямо: с такими у нас один разговор — душу вон, кишки на телефон».

В той же деревне я познакомился с девушкой; она после работы читала «Цемент», говорила: «Очень трудно все понять, но я учусь. Я в город поеду. Теперь, если хочешь учиться, все тебе открыто. Такая я счастливая, что не скажешь!..»

По ухамам Новосибирска прыгали новенькие автомобили. В Кузнецк привезли изумительные машины. А строили завод-гигант чуть ли не руками. Были мощные экскаваторы, но я видел, как люди таскали землю на себе. Не хватало кранов, и один молодой рабочий сконструировал деревянный кран. Незадолго до моего приезда рухнули леса, люди упали в ветошку и задохлись. Их хоронили с воинскими почестями.

В Кузнецке работали двести двадцать тысяч строителей. Начальник строительства, старый большевик С. М. Франкфурт, был одержимым, иначе не скажешь, он почти не спал, ел на ходу; нужно было то расследовать причины очередной аварии, то успокоить летунов, которые бросили работу с криком «даешь спецуру», то разместить прибывших самотеком казахов. В его комнате я увидел акварель — Париж в сумерки (Сергей Миронович до революции был политэмигрантом). О начальнике

строительства в те годы много писали; после тридцать седьмого имя Франкфурта исчезло. Главный инженер И. П. Бардин был человеком большой культуры; в молодости он работал в Америке; следил за развитием техники. Он понимал, что задача, возложенная на него, трудна, более того — невыполнима, и знал, что он ее выполнит. При одной из аварий Иван Павлович сломал ногу; быстро, однако, встал с койки и возобновил работу. Мне он показался человеком мягким и хмурым.

Города еще не было, но город разрастался. В бараках показывали фильмы. Открылись распределители, столовые для иностранных специалистов. Начали приезжать из Москвы актеры.

Мою книгу о Кузнецке я начал так: «У людей были воля и отчаяние — они выдержали. Звери отступили. Лошади тяжело дышали и падали. Десятник Скворцов привез легавого кобеля. По ночам кобель выл от голода и тоски; он вскоре сдох. Крысы пытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку; густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловито клопы. Таракан, догадавшись, что ему не найти другого корма, начал кусать человека».

Иностранные специалисты, работавшие в Кузнецке, говорили, что так строить нельзя, нужно было прежде всего провести дороги, построить дома для строителей; да и состав текучий, люди не умеют обращаться с машинами; вся затея обречена на провал. Они судили по учебникам, по своему опыту, по психологии людей, живущих в спокойных странах, и никак не могли понять чужой им страны, ее душевного климата, ее возможностей. Я снова увидел, на что способен наш народ в годы жестоких испытаний. Люди строили заводы в таких условиях, что успех казался чудом, как чудом показалась старшему поколению победа в гражданской войне, когда блокированная, голодная, босая Россия разбила интервентов. Не знаю, является ли это общим человеческим свойством, особенностью русского характера или связано с природой революции, но советские люди неизменно показывали свои лучшие черты в худшие годы.

Несмотря на трудности, казалось бы непреодолимые, цехи заводов быстро подымались. Среди котлованов пооткрывались кинотеатры; устроили школы, клубы. В 1932 году в Кузнецке еще нельзя было сделать шага, чтобы не попасть в яму, но уже пылали первые домны и в литературном объединении юноши спорили, кто писал лучше — Маяковский или Есенин.

Рая, о котором тогда мечтали молодые, они не увидели; но десять лет спустя домны Кузнецка позволили Красной Армии спасти Родину и мир от ярма расистских изуверов.

В жизнь входило новое поколение — юноши и девушки, родившиеся накануне первой мировой войны; для них царь, фабриканты, городские были отвлеченными понятиями. Больше домен и мартеновских печей меня интересовали эти новые люди — будущее нашей страны. Приглядываясь к ним, я увидел множество противоречий. Процесс демократизации культуры длителен и сложен. В первые двадцать пять лет расширение культуры шло за счет ее глубины; всеобщая грамотность на первых порах привела к духовной полуграмотности, к упрощению. Только в годы второй мировой войны началась новая стадия культурного углубления.

Помню, как удивились французские писатели, узнав о тиражах переводов на языки Советского Союза Бальзака, Стендаля, Золя, Мопассана. Конечно, цифры тиражей это не справка о богатом урожае, но это данные о расширении посевной площади. Жажда знаний в те годы не знала предела; я это особенно остро чувствовал, приехав из страны, где жили

Валери, Клодель, Элюар, Сен-Джон Перс, Арагон, Сюпервель, Деснос, много других прекрасных поэтов, которых все признавали и которых мало кто читал.

Летом 1932 года в Москве я получил письмо из небольшого уральского города; писал мне молодой учитель: «...Кстати, спросите французского писателя Дрие ля Рошелля, какой злой дух нашептывает ему разные нелепости вроде следующей: «То, что было жизнью, не представляет абсолютно никакого интереса. Сознание более невозможно, ибо нечего сознавать». (В передаче нашей «Литгазеты» его роман «Блуждающий огонек».) Сообщите ему заодно, что один из миллионов людей, населяющих страну, из которой вы приехали, и небезуспешно пробующий пережить старую жизнь мира по-новому, уверяет его честью, что эта старая жизнь полна «абсолютного» интереса и что, кроме его больного сознания, есть еще нетронутые залежи сознания миллионов, которым предстоит осознать еще бесконечно многое. Скажите ему также, что, по мнению его оппонента с далекого Урала, человеческое сознание только еще готовится к выполнению той великой роли, что определила ему история: роли грамотного переводчика великого языка чувств, состоящего из любви, ненависти, мужества, дерзания, готовности к жертве и т. п., на новый свой язык, освобождающий их от уз догмата, для новой жизни».

(Дрие ля Рошелль тогда вращался в левых кругах, и я его иногда встречал. Я перевел ему письмо уральского учителя; он развел руками: «Зачем же он принимает каждое мое слово всерьез? Это прекрасно и вместе с тем глупо...»

Конечно, учитель, приславший мне письмо, был на десять голов выше рядовых юношей того времени; я привел его размышления отнюдь не как показательные для духовного развития молодых людей в годы первой пятилетки; но в его письме есть прекрасные слова о нетронутых залежах сознания. Именно в те годы целина впервые была тронута.

Один молодой тунгус увидел в Кузнецке велосипед; долго его рассматривал, наконец спросил: «Где мотор?» Он хорошо знал, что люди ездят в автомобилях, летают на самолетах, а велосипедов никогда не видел. В глухих селениях Сибири люди знали о существовании беспроводного телеграфа и, увидав столбы с проводами, удивились — зачем проволока?..

В томском музее я познакомился с молоденькой девушкой, шоркой; она училась на медицинском факультете и принесла в музей деревянного человечка, которого родители ей дали как талисман против лихорадки и злых духов. Она узнала, что в музее собирают предметы старого быта, и принесла экспонат. Она расспрашивала меня о жизни во Франции — много ли там больниц, как борются против алкоголизма, любят ли французы ходить на концерты, сколько лет Ромену Роллану. У нее были глаза доверчивые и пытливые. Наверно, родители просили старого шамана изгнать из непослушливой дочери злого духа.

В одном из клубов Кузнецка был литературный вечер; читали стихи Маяковского; аплодировали. Потом один инженер начал декламировать «Для берегов отчизны дальней». Моя соседка, башкирка, послала записку: «Кто автор?» Потом мы разговорились, она призналась: «Я Пушкина знаю, он написал «Евгения Онегина», а вот таких стихов я никогда не читала. Может быть, я недостаточно культурная, но мне они очень нравятся, даже больше, чем Маяковский... Я не знала, что можно такое писать...»

Передвигаться тогда было трудно; на станции Тайга я застрял на несколько дней. Начальник узла меня разыскал, сказал, что ему нравится «Хулио Хуренито», и дал мне служебный вагон. Правда, с вагоном было

тоже нелегко: ночью его неожиданно отцепляли на какой-нибудь станции и загоняли в тупик. Но я хочу рассказать не о вагоне, а о проводнице — молодой сибирячке Вале. Вагон она боялась оставить даже на час: «Стекла побьют, порежут сиденья...» Она мне рассказала необычную историю. В Кузнецк она приехала из деревни и работала уборщицей. В ее бараке было чисто, кто-то из начальства это заметил, и Вале поручили служебный вагон. Времени было много, она начала читать. Один железнодорожник забыл в вагоне книгу «Диспетчерское руководство движением поездов». Валя мне показала эту книгу, я заглянул и ничего не понял. Валя засмеялась: «Я сначала тоже ничего не могла понять, я ее, кажется, сто раз прочитала и в конце стала разбираться. Взяла учебники математики... Теперь подготовилась, обещали отпустить в рабфак...»

Не скрою, такие встречи меня потрясали. Я начал смотреть с большим доверием на будущее.

Я много говорил о трудностях жизни; всего не расскажешь. В бараках молодожены пытались завесить койку тряпьем. Случайно я был в одном бараке, когда молодой землекоп привел туда девушку (уже начались морозы). У них не было занавески, и он прикрыл лица пиджаком.

Несмотря на суровый быт, рождались новые чувства, мысли; юноши и девушки часто при мне спорили, существует ли вечная любовь, можно ли оправдать ревность, принижает ли комсомолец грусть, нужны ли строителям стихи Лермонтова, музыка, часы одиночества.

Я говорил, что собираюсь написать книгу о молодежи, и мне приносили дневники, письма; рассказывали про работу, про сердечные невзгоды. Иногда я спрашивал и записывал ответы.

Еще до того как я написал повесть «День второй», я опубликовал в парижском литературном журнале «Ля нувелль ревью франсез» некоторые из собранных мною документов. В предисловии я говорил: «Обычно писатель не знакомит читателей с различными материалами, которые помогли ему написать книгу; но мне кажется, что эти документы представляют собой ценность независимо от моей работы. Многим они покажутся более убедительными, чем самый удачный роман...»

Теперь я раздобыл в библиотеке старую книжку французского журнала, перечитал отрывки из дневников, писем, стенограмм и подумал — жизнь изменилась, а вот многие вопросы, которые впервые ставили юноши и девушки в те годы, продолжают волновать нашу молодежь: здесь и споры о том, как избежать узкой специализации, и ужас перед двурушничеством, лицемерием, и проблема подлинной дружбы, и проклятия равнодушию.

В двадцатые годы еще доживала свой век старая, крестьянская Расея. На заводах, в различных учреждениях еще преобладали люди, сформировавшиеся до революции. Начало тридцатых годов стало переломом. Строительство Кузнецка я вспоминаю с трепетом и с восхищением; все там было невыносимо и прекрасно.

Я сказал, что металл Кузнецка помог нашей стране отстоять себя в годы фашистского нашествия. А другой металл — человеческий?.. Строители Кузнецка, как и все их сверстники, прожили нелегкую жизнь. Одни погибли молодыми — кто в 1937-м, кто на фронте. Другие преждевременно стали сутулиться, примолкли — уж слишком много было неожиданных поворотов, к слишком многому приходилось привыкнуть, приспособиться... Теперь тем героям «Дня второго», которые выжили, лет пятьдесят с хвостиком. У этого поколения было мало времени для раздумий. Его утро было романтичным и жестоким — коллективизация, раскулачивание, леса строек. Дальнейшее все помнят. От людей, родив-

шихся накануне первой мировой войны, потребовалось столько мужества, что его хватило бы на несколько поколений, мужества не только в работе или в бою, но в молчании, в недоумении, в тревоге. Я видел этих людей окрыленными в 1932 году. Потом крылья стали не по сезону. Крылья первой пятилетки достались по наследству детям вместе с заводами-гигантами, оплаченными дорогой ценой.

34

До поездки в Кузнецк я читал очерки, рассказы о строительстве. Увидел я не то, о чем читал. Не помню, когда именно в статьях о литературе появилось выражение «лакировать» — кажется, позднее. Толковый словарь так объясняет этот неологизм: «Приукрашать, представлять что-нибудь в лучшем виде, чем есть на самом деле». Между тем действительность не только страшнее, но и прекраснее гех благонравных и назидательных картинок, которые изготавливали, да и продолжают изготавливать «лакировщики».

Кто не помнит романов или фильмов, в которых война изображалась, как маневры — с веселыми солдатами в новеньких гимнастерках, с песнями, с лозунгами, с парадным маршем к победе? Разве под лаком не пропадала глубина красок? Разве можно было, глядя на экран, где падение Берлина показывалось как феерия, понять подвиг советского народа, стоявшего насмерть у Ленинграда, под Москвой, на узкой полоске приволжской земли?

Так было и со строительством Кузнецка или Магнитогорска. Люди строили заводы в неслыханно трудных условиях. Кажется, никто нигде так не строил, да и не будет строить. Фашизм вмешался в нашу жизнь задолго до 1941 года. На Западе шла лихорадочная подготовка к походу на Советский Союз; и первыми окопами были котлованы новостроек.

Я увидел самоотверженность одних, жадность, косность других. Строили все, но строили по-разному: кто по идее, кто по нужде, кто по принуждению. Для многих это было началом строительства не только заводов, но и человеческого сознания. Я назвал мою повесть «День второй». По библейской легенде мир был создан в шесть дней. В первый день свет отделился от тьмы, день от ночи; во второй — твердь от хляби, суша от морей. Человек был создан только на шестой день. Мне казалось, что в создании нового общества годы первой пятилетки были днем вторым: твердь постепенно отделялась от хляби.

А хляби было много (ее всегда больше, чем тверди, как на земном шаре больше морей, нежели суши). Я не хотел об этом умолчать и рядом с Колей Ржановым, Смолиным, Ириной, с лучшими представителями молодого поколения, показал циников, эгоистов, людей, равнодушных ко всему, что не связано с их личной судьбой.

Я всюду не пытался быть бесстрастным летописцем; повесть диктовалась восхищением, любовью, готовностью воевать, чтобы отстоять первые победы нового сознания. Именно поэтому я стремился быть правдивым: действительность не нуждалась в гриме. Я знал, конечно, что многие сочтут мой рассказ за клевету, лишний раз вспомнят, что я «неисправимый скептик», будут говорить, что я захотел исказить прекрасную действительность, то есть не изготовил еще одной олеографии по установленному и одобренному образцу. Но когда я писал, я не думал ни о критиках, ни о редакторах, не гадал, издадут ли мою книгу, писал с волнением: дни и ночи напролет.

Я начал повесть в ноябре, кончил в феврале; некоторые главы переписывал много раз.

Я говорил, что почти каждый день ко мне приходил И. Э. Бабель, читал страницы рукописи, иногда одобрял, иногда говорил: нужно переписать еще раз, есть пустые места, невыписанные углы... Порой, снимая после чтения очки, Исаак Эммануилович лукаво улыбался: «Ну, если напечатают, это будет чудо...»

В повести есть и некоторые итоги моих долгих раздумий. Володя Сафонов — хороший, честный юноша; он учится в Томском университете, потом уезжает в Кузнецк; он начитан, душевно тонок, любит чистой любовью Ирину. Но он не верит в рождение нового сознания; по собственным его признаниям, он отравлен мудростью старых книг и терзается от наивности, от детскости своих товарищей. Он пишет в дневнике: «Я работал на заводе. Учусь. Буду, наверно, честным спецом. Но все это навязано мне извне. Сердцем я никак не участвую в окружающей меня жизни... Для стройки я непригоден. В горном деле это, кажется, называется «пустой породой»... Вы устранили из жизни еретиков, мечтателей, философов, поэтов. Вы установили всеобщую грамотность и столь же всеобщее невежество. После этого вы собираетесь и по шпаргалке лопочете о культуре... Муравьиная куча — образец разумности и логики; но эта куча существовала и тысячу лет назад. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-спецы, муравьи-начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. Шекспир писал не о муравьях. Акрополь построен не муравьями. Закон тяготения нашел не муравей. У муравьев нет ни Сенек, ни Рафаэлей, ни Пушкиных. У них есть куча, они работают...»

Володя встречает французского журналиста, долго его расспрашивает, видит, что и на Западе нет той культуры, которой он жаждет. На студенческом собрании Сафонов собирался обличать наивность и невежество своих товарищей, но вместо этого, под впечатлением разговора с французом, он говорит: «Можно ли сомневаться в том, за кем будущее? Я это чувствую особенно остро, потому что лично я, скорее всего, обречен. Я хочу быть со всеми, стараюсь хорошо работать... Дело не во мне, дело в нас. Я твердо говорю это слово «мы». Мы должны победить... Культура не рента: ее нельзя хранить в шкапу. Она создается ежедневно — каждым словом, каждой мыслью, каждым поступком. Я здесь слышал — вы говорили о музыке, о поэзии. Это и есть рождение культуры, ее рост, мучительный, трудный рост...» Вернувшись домой, он записывает в дневнике: «Самое любопытное, что я говорил искренне. Во всяком случае не от страха. Но я говорил не то, что думал. Или: то, да не то. За меня как будто говорили другие...»

Ирина в неотправленном письме с ним спорит: «...Ты умней других. Больше знаешь. Но ты ничего не делаешь, чтобы жизнь стала лучше. Ты замечаешь только плохое и насмехаешься. Ты думаешь, я сама не вижу, сколько вокруг безобразия? Наша стройка проходит не в прекрасной, чистой лаборатории, но, скажу прямо, на скотном дворе. Малодушие, двурушничество, мелкие интересы! Минутами мне страшно становится за все и за всех. Вот именно поэтому я считаю, что мы должны бороться, а не только усмехаться и рассказывать шепотом глупые анекдоты... Ты мне сказал «человек теперь не может любить». Володенька, ведь это неправда... Жизнь теперь такая тяжелая, такая напряженная, такая большая, что и любовь растет. Трудно, очень трудно теперь любить!.. Вот ты говорил «теперь не любовь, а чугун» и повторял «чугун, чугун» — тебе это почему-то смешно. А это совсем не смешно. Скажи сам, что сейчас важнее: читать твоего Франса или отливать рельсы, чтобы наконец стало в стране немного больше хлеба или ситца? Но люди сейчас не только отливают чугун. Или нет, они только отливают чугун, но в этом чугуне не только кокс и руда, в нем еще что-то другое. Вот как

Сеня «рвется в тьму мелодии», так сейчас рвутся все — выше и выше! Это и домны, и стихи, и любовь...»

Ирина предпочла обреченному Володе живого Колю Ржанова. Но не поэтому Володя кончил жизнь самоубийством. Никто ему не протягивал веревки — ни товарищи, ни старый профессор, к которому он пришел в последний день за советом, ни автор повести. Его довела до отчаяния обостренная совесть. А если кто-нибудь и осудил его, то разве что эпоха, та самая, что по ночам приходила на улицу Котантен и вела со мной нескончаемые беседы.

(Я остановился на Володе, потому что многие критики пытались его выдать за врага. Последнее издание «Дня второго» (1953 год) снабжено примечаниями В. Емельянова, который уверяет, будто Володя был фашистом: он ведь сказал старой библиотекарше, что хотел бы сжечь все книги. Да, Володя однажды признался, что ненавидит книги, как пьяница — водку. Но вряд ли этот книжник напоминает гитлеровского штурмовика. Володя запутался в собственных противоречиях. Будь у него немного меньше совестливости и немного больше цепкости, он не повесился бы, а стал бы уважаемым специалистом.

Я показал в повести не только Колю и его друзей, я показал также летунов, спекулянтов, темных людей, ломающих машины; старался сказать всю правду. Если повесть мне казалась, да и теперь кажется, оптимистической, то не потому, что в итоге величайших испытаний начинали входить в работу цехи, а потому, что эмбрионы людей постепенно становились настоящими людьми.

Повесть кончается словами бывшего партизана: «Поглядите на Колю Ржанова, на других ребят. Я с ними сражался в Кузнецке, когда был прорыв на кауперах. Я с ними боролся за эту дамбу... Я, как старый партизан, скажу, что я могу теперь спокойно умереть, потому что есть у нас, товарищи, настоящие люди...»

В повести нет главного героя; она, как у нас говорят, «калейдоскопична» — проходит бегло множество персонажей. Я увлекался короткими фразами, быстрым монтажом, мелькающими кадрами: мне хотелось найти для нового содержания новую форму.

В июне 1934 года журнал «Литературный критик» устроил в Москве обсуждение «Дня второго». Я впервые присутствовал на собрании, где говорили о моей книге и где мне самому нужно было выступить. Часто в моих воспоминаниях я отзывался с иронией или досадой о своих давних суждениях. А вот я прочитал стенограмму обсуждения «Дня второго» и, как это ни странно, почти со всем, что говорил двадцать семь лет тому назад, согласен и теперь. «Я чувствую себя сегодня, как один из строителей Беломорстроя: грешил, но искупил свои грехи, допущен в ряды сознательных граждан, которые строят социалистическое отечество... Уверенность, что нас, писателей, нужно судить, а мы должны каяться, на мой взгляд, неправильна... Я написал много скверных книг, не умел вынашивать книгу — не хватало зрелости; но никогда я не клеветал на советскую действительность... Теперь некоторые товарищи говорят, что я остановился в «Дне втором» на трудностях, потому что привык к комфорту... Товарищ Франкфурт, начальник строительства, и секретарь горкома считают, что я ничего не «сгущал», а показал трудности, которые были на самом деле... Товарищи здесь говорили, что Володя — умница, но что ему не противопоставлен честный комсомолец с равной эрудицией. Но, товарищи, у нас не шестой день, а второй... Я не знаю, удался ли мне «День второй», но эпигонствовать я не хочу... Мои книги написаны каракулями. Вероятно, мы все в некоторой степени Тредьяковские. Но Тредьяковский сыграл свою роль... Лучше сейчас сделать слабую книгу, но

свою, чем взять немножко от Золя, немножко от Льва Толстого и немножко от советской действительности...»

Я и теперь, в 1961 году, не знаю, удалось ли мне, хотя бы частично, осуществить свой замысел. Может быть, «День второй» — слабая книга, но она не подражательна и была написана по внутренней необходимости.

Дочитав последнюю страницу, Бабель сказал «вышло», в его устах для меня это было большой похвалой. (Когда книгу перевели на французский язык, я получил длинное письмо от Романа Роллана; он писал, что «День второй» помог ему лучше узнать советскую молодежь.)

Я послал рукопись Ирине и попросил отдать ее в издательство «Советская литература». Вскоре Ирина мне сообщила, что рукопись вернула: «Передайте вашему отцу, что он написал плохую и вредную вещь».

Я решился на отчаянный поступок: напечатал в Париже несколько сот нумерованных экземпляров и послал книги в Москву — членам Политбюро, редакторам газет и журналов, писателям.

В тридцатые—сороковые годы судьба книги порой зависела от случайности, от мнения одного человека. Это было лотереей, и мне повезло — несколько месяцев спустя я получил длинную телеграмму от издательства: высылают договор, поздравляют, благодарят.

«День второй» вышел в Москве в апреле 1934 года. «Известия» писали: «Это не «сладкий роман». Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни...» В тот же самый день появилась в «Литературной газете» статья А. Гарри: «Писатель воспевает разнузданную стихию, в данном случае являющуюся стихией, созидающей один из крупнейших в мире металлургических заводов. На фоне стронтельного хаоса живут, любят и страдают маленькие человечки. Кроме того, человечки эти, к сожалению, еще и мыслят. Это уж совсем плохо, потому что мыслят они чрезвычайно беспомощно. В романе И. Эренбурга люди потерялись в хаосе новостройки, они заблудились в канавах, экскаваторах и кранах. Такая странная вещь в романе приключилась не только с «отрицательными» типами, но и с «положительными». А это уже клевета. Вообще говоря, если придирается к роману И. Эренбурга, то можно без труда доказать, что это произведение является апологией австро-марксистской бредни о «пятилетке, построенной на костях ударников». «Известия» возражали: «Что же считает Гарри, что социалистический реализм состоит в том, чтобы художник рисовал лубки, показывал, каким легким делом является постройка социализма?» Этот спор мне кажется взятым из свежих газет...

Все это было свыше года спустя после того, как я дописал «День второй». А в тот самый день, когда я узнал из письма Ирины, что издательство отвергло мою книгу, мне принесли немецкую газету с описанием майского аутодафа. Берлинские студенты, под руководством Геббельса, развели костер перед зданием университета и на нем сжигали ненавистные им книги — по списку, составленному заранее. Среди прочих книг сожгли и переводы моих романов.

Газеты были заполнены ужасающими сообщениями: еврейские погромы, расстрелы коммунистов, концлагеря.

В. С. Довгалецкий, вернувшись из Женевы, рассказывал, как сорвали конференцию по разоружению; в Англию ездил Розенберг; некоторые английские политики стоят за вооружение Германии — рассчитывают,

что нацисты двинутся на Россию. Именно поэтому и подписан «пакт четырех»...

Я был с Жаном-Ришаром Блоком на антифашистском митинге в зале Мютюалите. Зал нервничал, люди вскакивали, сжимали кулаки. Один немец, убежавший из концлагеря, своим рассказом довел многих до слез.

Потом мы сидели в маленьком кафе с профессором Ланжевенон. Печально улыбаясь, он говорил: «До чего все это глупо! Человечество еще не вышло из младенческого возраста — позади у него всего два миллиарда лет...» Я спросил: «А сколько впереди?» — «Десять миллиардов, если оно по глупости не кончит своего существования самоубийством...»

Жан-Ришар горячился, говорил, что нужно создавать повсюду комитеты, действовать, пока не поздно. Мимо кафе проходили рабочие, пели «Это есть наш последний...»

Начиналась новая глава не только истории, но и биографии каждого человека моего поколения, глава, может быть, самая трудная.

1961

Конец третьей книги



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

★

ДОРОГА ИДЕТ В ГОРУ

1. СТАРЫЕ МЕСТА, СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ, ДАВНИЕ ДЕЛА

И вот Острогожск уже позади. Под автомобиль убегает тот самый Воронежско-Бирюченский шлях, который в свое время ел к крепости города Ольшанска, основанного в 1645 году при царе Алексее Михайловиче. Города давно уже нет. Он сыграл роль защитника «от ворога с Крымской земли» и прекратил существование. Теперь на его месте село Ольшан.

По этой же дороге Алексей Кольцов гонял гурты скота, складывая в пути свои душевные песни и никогда не расставаясь с заветной тетрадкой стихов. Именно вблизи этой дороги, на лугу, вечером у огонька, сын прасола Кольцов читал однажды печальные песни крестьянам. А потом Н. В. Станкевич, услышав об этом, пригласил в свое имение удивительного песенника и с восторгом узнал в нем неизвестного еще России поэта.

По этой же дороге мчались когда-то лихие тачанки Малаховского и пронеслась неудержимая лавина конницы Буденного, защищая измученную, голодную, тифозную, но уже несгибаемую Россию, уже непобедимую, потому что она стала свободной.

На этой же дороге грохотали танки с черной свастикой. И та же самая дорога была усеяна потом трупами «незваных гостей» и изуродованными орудиями и бесформенными останками танков.

Так всплыли в памяти большие куски истории России.

А дорога бежит и бежит. Она ведет в село Ольшан, где теперь колхоз «Россия». В таком древнем историческом месте лучшего названия для колхоза не придумать. Пожалуй, и всю историю колхозного движения можно прочитать в этом селе...

И вот уже стою на высоком обрывистом и неприступном берегу Тихой Сосны, на месте древней крепости. Лет десять назад вот так же я смотрел с этой точки на деревни и села в долине реки. Тогда здесь было одиннадцать колхозов, одиннадцать правлений, столько же непонятных севооборотов, пятьдесят семь членов правления, более тридцати бригадиров и заведующих фермами с десятком коров на каждой или и того меньше. Добрая сотня людей ходила в начальстве колхозов, но не было ни молока, ни мяса, скот страдал от бескормицы в большинстве колхозов. Участковый агроном метался из колхозика в колхозик «на своих на двоих»,

составлял планы и собирал отчетность, графам которой числа не было.

Четверть века я знаю колхозы Острогжского района. Перед глазами иной раз встает начало колхозной жизни со всеми сомнениями колхозника, иногда с прямым недоверием посматривающего на хату правления или весьма снисходительно говорящего юнцу агроному ходящую здесь поговорку: «В мае лужи — агроном не нужен». Но чаще всплывают в памяти живые или уже ушедшие в мир иной друзья — колхозники, трактористы, первые комбайнеры и первые председатели, все те, что отдали лучшие годы жизни колхозу с первого дня его основания: получали они два килограмма зерна на трудодень — работали, получали двести граммов — работали, ничего не получали — все равно работали. Это были люди с огромной верой в будущее коллективного хозяйства; трудности государственные они принимали за свои личные. Они искали ошибки и недостатки только в своих собственных делах и говорили о них, не стесняясь в выражениях.

И это тоже история колхозов, история человеческих отношений нового общества, история становления нового человека. Ведь никто же не знал, как практически надо строить социализм! Знали одно: строить обязательно и неизбежно. Из старой России надо было сразу перешагнуть в новую Россию, от рукояток сохи перейти к баранке трактора и управлять им, пока не снимая лаптей. Люди, утверждающие, что это было просто, легко, всегда радостно и весело, ничего не увидели, ничего не смыслят или не хотят осмыслить происшедшее и происходящее. Впрочем, в мастерах по присыпке сахарной пудрой истории колхозной жизни недостатка не было. А ведь когда-то чертовски было трудно колхознику и председателю колхоза.

...Я спешу записать эти строки, потому что вспоминаю. И боюсь забыть.

В 1932 году, весной, получив план сева, я обошел закрепленные за мной поля колхоза имени Сталина Григорьевского сельсовета. Ни одной борозды зяби! Прежде чем посеять, надо было вспахать и заборонить. Чем? В распоряжении был один трактор (три «ХТЗ» на три колхоза!) и десятка два лошадей. Если все пахать, то... Тут же на поле высчитал: если все пахать, то сеять придется до июля, то есть до начала уборки ржи. Это все равно что не сеять половины весеннего клина. Недосев! Страшное для агронома слово, жуткое для колхозника. Решение пришло такое, какое могло прийти только в двадцать шесть лет: не пахать! Все, что можно, не пахать. Поля из-под картофеля, подсолнечника, чечевицы, бахчи не трогать плугом, а прямо сеять после боронования без лишних разговоров. Это было вопиющим нарушением всяких агротехнических инструкций того времени, наполненных словами «запретить», «предупредить», «пресечь попытки», «строго наказывать вплоть до отдачи под суд» и тому подобное. (Печальной памяти «централизованная агротехника» взяла свои истоки из тех лет.) Помню, сеяли — спешили, боялись, как бы начальство не наехало из района. Посеяли во влажную почву. Были дожди. Потом отличные всходы. И затем... «возбудить материал» на агронома за грубое и самовольное нарушение агротехники. Но самое интересное заключалось в том, что урожайность-то в колхозе имени Сталина оказалась самой высокой — тринадцать центнеров вкруговую. Высокий для тех лет урожай. Никакого суда, конечно, не было.

Помню все: пахать было не на чем и нечем.

И еще помню, как в голодном тысяча девятьсот тридцать третьем году стояла у порога правления колхозница и сквозь слезы говорила тихо, просяще и, казалось, безнадежно:

— Как же быть-то? Их пятеро... Корова упала.. Как мне без мужи-

ка-то? Хлеба!— И она протягивала руки ко мне, агроному, приехавшему случайно «в чужой» колхоз, не закрепленный за мной.

Она, может быть, была готова говорить об этом каждому встречному... Мне не забыть ни ее слез, ни ее безвременных морщин. А вечером началось заседание правления. Оно шло до утра: распределяли остатки хлеба, в том числе и... семена. Все до единого килограмма. Не знаю, что бы могло случиться, если бы государство не оказало тогда помощи хлебом и семенами.

Все это было.

А потом пошли то благоприятные, то засушливые годы, пошла ломка полей, вводили и тут же низвергали севообороты, чуть ли не ежегодно землеустраивали колхозы и перевыбирали председателей. Потом стали заводить кое-где пришлых председателей (из того же района), которые, по всем предположениям, не могут «идти в поводу у отсталой массы».

Что скрывать! Хлеб шел со скрипом, не говоря о мясе, молоке и масле. А все-таки хлеб шел. Все больше и больше появлялось новых машин. Все больше и больше появлялось новых людей, несмотря на то, что много способной молодежи уходило из села.

Но мои старые друзья никуда не уходили. Они верили и работали. Великую веру коммуниста надо было иметь, чтобы не только идти самому, но и вести за собой людей тогда, когда в сельском хозяйстве было очень трудно. Очень.

Я знаю многих и многих таких людей. И счастлив, что жил с ними до старости.

Самые интересные из такой вереницы, оставшейся в памяти,— это рядовые труженики да бессменные председатели колхозов — местные и двадцатипятидесятые, многолетний труд которых есть сама живая новая история. Жизнь таких председателей прошла от лозунга «Засеем весь яровой клин» до лозунга «Догоним Америку!». Менялись руководители в колхозах, менялись секретари райкомов и председатели райисполкомов; многие из них уходили из-за малодушия, некоторых «уходили» по собственному желанию, а бессменные стояли, как столпы. Прочный народ — бессменные, крепчайший у них корень. Сила их в огромной вере.

И ехал-то я сюда, в Острогжский район, затем, чтобы увидеть их, бессменных, послушать, посмотреть, что же они тут наделали за последние годы, остались ли их колхозы передовыми и теперь. Но только перед этим мне захотелось вновь постоять на высоком историческом обрыве и окинуть взором заселенную добрыми людьми большую долину, которая вся вместе называется колхоз «Россия», посмотреть на этот кусочек Новой России.

В старых местах вспомнились старые, давние дела, вспомнились старые друзья.

2. ПОЧЕМУ?

Николая Андреевича Бояркина в районе знают все. И я ворошу память: где и при каких обстоятельствах встретил его первый раз? Постепенно вспоминаю: он в тот час выступал на совете МТС.

— П р и н ц и п и л ь н о я с такой расстановкой тракторов не согласен,— сказал он в своей речи. И доказал.

Так с этим словом «принципиально» он и засел у меня в памяти. Только не вспомню, в каком это было году. Давно это было — мы с ним были еще совсем молоды.

И еще всплыло в памяти, как с экскурсией председателей колхозов мы обходили поля госсортоучастка. Я старался объяснять и доказывать,

отвечал на множество вопросов. Бояркин сначала слушал. Потом стал «придирааться»:

— А чего же это у тебя нету яровизированной пшеницы-то?

В уголке губ у него мелькала такая усмешка. Он даже подморгнул мне незаметно для прочих. То была тонкая шутка: яровизированная была, но... она как-то не очень у нас удалась.

После он пристал с вопросами. Ему надо было знать все, что можно взять для своего колхоза. И прямо-таки требовал:

— Ты должен знать, что мне делать на меловых землях. Заставляю пахать только глубоко. И сеять там яровую пшеницу. Ну спашу на двадцать пять сантиметров, ну выверну мел наружу, потом-то что будет? Убить меня тогда мало. Это неправильно. Я так считаю.

Он стоял передо мной молодой, энергичный, кряжистый, всегда откровенный, прямой, с беспокойным сердцем; стоял человек, на плечи которого легла большая ноша, казалось не по его силам. На нем была ситцевая косоворотка с расстегнутой верхней пуговицей, а рука, привыкшая к рукоятке сохи или плуга, но несколько не к письму, слишком часто устанавливала на место новый картуз. Было ему тогда двадцать четыре года, выглядел он юношей. В тот день он сказал неожиданно и грустно:

— Два года подряд засуха. Ежли не дам на трудодни, то... — Он помотал головой и добавил: — Табак дело. А меня заставляют и семена вывозить... Чтоб с семенного участка — и прямо на ссыпку. Неправильно! Это совсем неправильно. Я выполню хлебозаготовку, выполню, но зачем мне мешать?

Юноша думал о людях, о государстве.

Как это было давно! И как это было все-таки недавно!

В двадцать два года он — бригадир. В двадцать три — беспартийный председатель колхоза «Сталинская пятилетка». В тридцать семь лет — председатель укрупненного колхоза имени Дзержинского уже с пятилетним партийным стажем. В сорок три года — председатель еще более крупного колхоза «Россия». Такой путь прошел этот самый юноша в косоворотке, с «дипломом» сельской начальной школы, такова кривая его роста. Только пусть читатель не подумает, что Николай Андреевич скакал из колхоза в колхоз для укрепления, на манер некоторых: все перчисленные на его кривой колхозы — это... один и тот же колхоз, но с разными названиями; просто Николай Андреевич захватил все бывшие одиннадцать колхозиков не сходя с места. Отлучался он из села Ольшана только тогда, когда с запада нагрянули черные тучи со зловещей свастикой. Уходил он старым шляхом, через могучий обрыв древней крепости, и пришел обратно той же дорогой. И принес с собой две раны... Вся остальная жизнь — здесь, в родном селе, в родном колхозе. Вся жизнь! Без остатка. Он и разговаривает с оттенком особого, ольшанского, диалекта, но это не имеет никакого значения.

Десять тысяч гектаров земли в колхозе «Россия», из них шесть тысяч только пашни. Около семи тысяч разных животных, около полтысячи ульев, двадцать шесть тракторов и двадцать один комбайн разных марок, два десятка автомобилей, более двадцати разных стационарных двигателей... Это же больше, чем в свое время имела иная МТС! Три клуба, восемь красных уголков, две библиотеки, свой радиоузел, свой, далеко известный, ольшанский хор. Дай бог иному районному городу столько!

«Вот куда ты пришел, парень в косоворотке. И как-то ты теперь справляешься с такой махиной колхозом?» — подумал я, подъезжая к правлению.

Правление колхоза «Росня» скорее походит на главную контору совхоза: в двух комнатах — счетные работники, по коридору налево — дверь в маленький кабинет секретаря парткома, прямо — дверь в зал заседаний. Тут же в зале письменный стол председателя колхоза Николая Андреевича Бояркина, то есть своего кабинета у него просто-напросто нет: заходи в любое время.

И вот мы уже сидим у секретаря парткома Василия Викторовича Жидкова, в его кабинетке. Сидим старые знакомые. Говорим кое о чем. Так себе: вспоминаем кое-что. И вслух думаем о жизни колхозов. Говорили мы так, говорили и незаметно для себя оказались заваленными годовыми отчетами и разными цифрами, которые подбрасывали нам по нашей же просьбе из бухгалтерии. Мне много приходилось иметь дело с цифрами, поэтому знаю, что иные из них приводят в уныние, а иные поднимают настроение не хуже музыки. В тот день у меня было хорошо на душе, потому что увидел: колхоз растет из года в год.

В 1957 году денежный доход был в 3,7 миллиона, а в 1960 году прыгнул до 6 миллионов рублей. Все обязательства колхоз перевыполняет — молоко, мясо, яйца и прочее; за последние четыре года количество крупного рогатого скота увеличилось почти вдвое: было в 1957 году 1 225 голов, а стало на первое июля 1961 года 2 121 голова. Если разделить эту цифру на все количество дворов в колхозе, то получается 2,2 головы на двор. Прибавьте еще по одной корове на двор в личном пользовании и вы получите три головы крупного рогатого скота на двор. Такого не было за всю долгую историю старинного села! Вот у кого учиться, как увеличивать продажу мяса и в то же время увеличивать поголовье. За первое полугодие этого года уже надоено полторы тысячи килограммов от каждой коровы — это не от десятка, а от сотен коров. Можно бы перечислить много таких прямо-таки воодушевляющих цифр, но... очерк остается очерком, а не сводкой. Одним словом, звание почетное — передовой колхоз.

Но именно за этим победным маршем цифр передо мной и встал вопрос: почему? Почему во многих колхозах хуже? Почему другие колхозы, где председатели по образованию не чета Бояркину, не имеют таких показателей, как здесь? В чем причина отставания некоторых колхозов?

И мне захотелось встретиться со знакомыми председателями. Среди них большинство — тридцатитысячники, многих знаю еще до призыва тридцати тысяч. Кстати, в тот же день в районе проводилось совещание комбайнеров, и я поехал туда в надежде на встречи с председателями, но с тем, чтобы сразу же вернуться в Ольшан и додумать.

3. ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Комбайнеры — народ хлопотный. С ними всегда интересно. Это, так сказать, высшая квалификация сельского механизатора. Они же и самые отчаянные, если надо говорить начистоту о недостатках. Они так насели на «Сельхозтехнику», так расчихвостили эту новую организацию и ее руководителей, что управляющий «Ростом» (районный отдел сельхозтехники) вынужден был признать прямо:

— Со сменой вывесок получился непорядок со снабжением.

Во многих выступлениях комбайнеров слышалась боль сердца.

— Я на бумажку не писал речь... Сейчас еще что-нибудь придумаю, — вслух подбадривал себя комбайнер Загуменный из колхоза имени Ворошилова. — Ведь как оно получится? Мой комбайн «С-4» «разули», а «бобика» (автомобиль «ГАЗ-69»), «бобика» обули комбайновой рези-

ной. Как мне теперь быть? Вот я и кукую на степном корабле. До каких пор?!

Сагайдачный из колхоза «Россия», помогая речи энергичными жестами, выложил всю правду о том, как они дорабатывают дома машины после капитального ремонта, сделанного в РТС. Он говорил о безответственности в этом деле. Он требовал ответственности.

И только один-единственный из всех, Соловьев из колхоза «Память Ленина», заявил о полной готовности и дал громкое обещание за весь колхоз. И в ту же минуту, как только он сошел с трибуны, буквально выскочил комбайнер Сапрыкин (из того же колхоза, что и Соловьев) и взволнованно атаковал своего коллегу:

— Здесь вот... Соловьев заявил о готовности... И, значит, призывал... последовать... Да неправда же это! Мотор лежит в мастерской без шкива! И у второго комбайна мотор не готов! А ведь через день-два мы начинаем уборку... Товарищи! До каких же это пор слушать неправду?! — И он сошел с трибуны.

Зал горячо аплодировал за такую короткую речь. Зал не хотел неправды и печальной памяти парадности со многими восклицаниями. Секретарь райкома партии М. М. Мамонов тоже не хотел неправды — он всем им сказал, что за несколько дней до уборки в районе еще не готово около тридцати комбайнов: нет запасных частей; он согласился с критикой свистопляски со снабжением запасными частями и тут же устроил баньку снабженцам, легкую баньку, потому что и он понимал: не все от них зависит, от районных исполнителей распределения.

О многом договорились люди на этом совещании. Видно было: в районе умеют советоваться с людьми, считают это за самое важное. И слышно было биение сердца народа и большое, огромное чувство ответственности.

А я искал глазами своих знакомых председателей колхозов. Как хотелось, чтобы их сердце билось здесь в такт народному пульсу! Но... их не было. И я стал спрашивать о них, перечисляя фамилии, — где они и что делают.

И что же? Нет их в колхозах. Из всех тридцатитысячников остался только один Жигульский, да и тот уже переведен в другой колхоз.

Где же они теперь? Оказывается, везде. Они рассеялись по всей дорожке — от района до самого областного управления сельского хозяйства, но только не в колхозах.

Из колхоза «Криниченский» тридцатитысячница Е. П. Блакитнова переведена с повышением — председателем Острогжского горсовета, но и там ей не дали развернуться, она уже работает на газопроводе. После нее в колхозе уже третий председатель. Колхоз продолжает хромать — он все время держится на подпорках района, он все еще узкое место. Из колхоза «Родина» тридцатитысячник Н. С. Степанов переведен директором в совхоз «Победа», а оттуда напрямик в областное управление сельского хозяйства.

Иные просто не справились в колхозе, хотя когда-то руководили колхозами. Иные, как Г. И. Казаков из «Памяти Ленина», ушли по собственному желанию обратно в областной город.

А передовыми в районе остались колхозы, где старые, бессменные, с беспокойными сердцами и большой верой председатели, те самые, что живут одной нераздельной жизнью с колхозниками, те самые, у кого радости колхозников — их радости, печали колхозников — их печали; те самые, чья история жизни есть история колхоза, как у Николая Андреевича Бояркина или у Ивана Трофимовича Партолина (о нем позже).

Конечно, кое-кто из читателей скажет мне, что на примере двух-трех районов нельзя делать выводы и что многие тридцатитысячники сделали огромное дело. Да, во многих и многих районах они перевернули все на иной лад, многие из них — такие, как Дмитрий Петрович Горин (колхоз «Подгорное» Воронежской области), из отстающих, слабых, иной раз почти парализованных колхозов сделали лучшие в области колхозы. К ним едут учиться иностранные делегации. О них пишут писатели, и сами они пишут книги. И это великолепно! Великолепно, что горячее сердце передало свой пульс тысячам колхозников. Но будет неправдой, если не сказать о таком частом явлении, когда к подбору тридцатитысячников в некоторых местах подходили с бравой миной, с криками «ура» и «да здравствует», а по существу формально. Так появились целые районы, где в конечном счете тридцатитысячников уже нет или почти нет, но не стало и некоторых способных «местных» председателей.

С такими мыслями я и вернулся в колхоз «Россия», к улыбающемуся, вечно занятому, непоседливому и беспокойному Николаю Андреевичу.

4. «ФУРМАНОВ И ЧАПАЕВ»

И снова мы втроем: Василий Викторович Жидков, Николай Андреевич Бояркин и я. Мы едем по полям. В тот день было тихо, безветренно. Пшеница стояла густой, непробойной и сплошной щеткой — пройти по ней невозможно. Могучая кукуруза набегала на автомобиль, распластав сочные листья-крылья. Каждый шестой гектар пашни здесь занят кукурузой, а всего, на зерно и силос, более тысячи гектаров. И нигде — нигде! — нет плохой кукурузы, ни одного гектара. Только здесь, в поле, понятно становится, откуда у Николая Андреевича тысячи центнеров так называемого переходящего фонда силоса и почему колхоз «так просто» разрешил задачу резкой увеличения поголовья скота. Сахарная свекла, несмотря на бездождие в те недели, казалась вымытой с мылом — с широкими, поблескивающими на солнце листьями. Куда ни поезжай в поле, везде следы добросовестной работы механизаторов, этих тружеников с пчелиным характером, работающих от снега и до снега. И мне вспомнилось выступление комбайнера Сагайдачного на вчерашнем совещании: он говорил как хозяин, он требовал ответственности от других как должного. Механизаторы колхоза «Россия» имеют на это полное право.

Эту мысль я высказал моим спутникам, когда мы остановились полюбоваться посевами. А вопрос «почему» стоял передо мною неотступно: «Почему у других хуже?» И я задал этот вопрос прямо!

— В чем секрет вашей удачи? Скажите оба, что вы думаете. По душам.

Оба переглянулись. Задумались. Николай Андреевич прикладывал лист кукурузы к ладони, Василий Викторович теребил султан крайнего растения.

Василию Викторовичу лет тридцать пять — тридцать шесть. По сравнению с председателем он выглядит совсем молодым. Скромный внешне, он скромен и внутренне. Сколько бы дней мы ни говорили, никогда не скажет о себе. Человек с трудной юностью, трудной жизнью, очень трудной для него войной не умеет говорить о себе. Но мне известна его жизнь. В семье путевого обходчика было десять детей, один из сыновей — Василий. Покупка даже новой рубахи была событием. Латаные

ботинки Василия протоптали нелегкую дорожку до школы и обратно. Окончил семь классов, работал токарем, а затем фрезеровщиком. В 1944 году окончил военно-воздушную школу, летал стрелком-радистом. За два сверхсрочных года службы закончил девятый и десятый классы вечерней школы. Потом окончил трехгодичную партшколу в Тамбове. Потом — учитель физкультуры, председатель Ольшанского сельского Совета, инструктор райкома партии. И вот теперь секретарь райкома колхоза.

Человек работал всегда, с самого детства. И вдруг узнаю, что несколько месяцев назад Василий Викторович окончил заочно экономический факультет сельскохозяйственного института. А мало кто знает, что после того как трагически погиб его отец (попал под поезд), вся огромная семья легла на плечи Василия Викторовича. Самый маленький брат учится сейчас в пятом классе средней школы... Полуслепая мать... И все-таки передо мной стоит человек с большой верой, с неистощимой силой, бодрый духом коммунист.

И как это меня прорвало задавать им двоим такой вопрос: в чем причина их удачи в колхозе! Их жизнь пролетела в моих мыслях молниеносно, а внутренне я уже злился на себя: разве ж не ясно, в чем причина! Вот они — оба здесь. Но вопрос задан.

Николай Андреевич чуть прищурил глаз, сдвинул кепку набок, мне показалось, что он ответит первым. Это уже не тот парень в косоворотке, а слегка располневший, вплотную подобранный к своему полувеку председатель, речь которого уже не сравнить с тою, что была у парня от сохи, который когда-то говорил «принципилярно». И он указал на Василия Викторовича.

— Он лучше знает,— сказал он и улыбнулся.

— Причина удачи? — переспросил Василий Викторович и тут же ответил: — Люди.

Его взгляд встретился с моим. В чистых и честных его глазах не было ни единой искорки хитрости или неуверенности в ответе.

Хорошо знаю о их трогательной дружбе, несмотря на разницу возрастов и несмотря на то, что Николай Андреевич уже был председателем колхоза в то время, когда Вася Жидков бегал в пятый класс школы. Один остался на «базе» начальной школы, потому что жизнь ушла в колхоз, вся, из минуты в минуту; другой окончил три учебных заведения, получил высшее образование без отрыва от работы. И все-таки оба как нельзя лучше дополняют друг друга: природный талант организатора подружил с теоретическим и практическим умом. Мне оставалось дополнить их ответ.

— Люди и вы,— сказал я.— Так?

— Кроме успехов, у нас еще много недостатков,— уклончиво ответил Николай Андреевич, явно смутившись.

— Это, пожалуй, точнее и... важнее,— поддержал его молодой друг.

Прямо с ходу Николай Андреевич сел на своего конька и пошел и пошел о недостатках: подсолнух за железной дорогой не такой, трубы для автопоилок не сумел добыть, и был у него какой-то бригадир, который относился к животноводству как недруг колхоза, и в одной из бригад невероятная себестоимость мяса. Он все видит в таком огромном хозяйстве!

— Ты думаешь, мне не больно смотреть, что один комбайн не готов? — обратился он ко мне и решительно отбросил на затылок кепку — точь-в-точь как тогда, в юности.— Тут душа трещит, а запчастей нету. Эта самая «смена вывески» — РТС, «Сельхозтехника», «Рост-нараст» —

вот она где мне засела! — Он похлопал себя по загривку. — Вот она где! И в печенках еще.

— Ну это, скажем, не ваш недостаток, не колхозный, то есть не от вас зависит.

— Как это не от нас?! — Он прямо-таки ужаснулся. — Как так не от нас? Писать надо. Требовать надо. Чтобверху знали. Кто же там узнает, если мы будем молчать? Раз на душе тревожно, обязаны мы... Сам понимаешь...

— А может быть, Николай Андреевич, зря так-то... — сказал Василий Викторович. — Ведь колхозы за последний год получили запасных частей чуть ли не вдвое больше, чем в прошлом году. Знаешь, как в некоторых колхозах зверски обращаются с машинами? До полного износу, до аварийного состояния. Не тут ли гвоздь?

— И тут гвоздь есть тоже. Согласен. Судить надо за такое отношение к машинам! — Он уже горячился. — Большое дело, государственное: колхозная машина! А кое-где никто за нее не отвечает. Но факт есть факт: в «Сельхозтехнике» и в «Росте» пока еще непорядок со снабжением. Уж не напутал ли тут чего-нибудь Госплан. Как это так? Новая организация сделана для того, чтобы было лучше, а стало со снабжением хуже. Это же факт? Факт.

Разговор продолжался и в автомобиле. Обсуждали и вопросы планирования. Самая интересная фраза Николая Андреевича из последнего разговора на эту тему была такой:

— Думать надо.

Что ж, я посоветуюсь с другими председателями. И тоже подумаю. Но об этом несколько позже.

Мы ехали по полю мимо великолепных, просто даже радостных хлебов. У лесной полосы уже стояли наготове комбайны и тракторы, ожидая только приказа к выступлению. Хлеб готов — завтра косить. Но не было у обоих руководителей огромного хозяйства той спешки, нервозности и суеты, какие часто бывают в других местах в те же дни. Они оба знают что-то такое, чего не знают многие другие. Они просто умеют что-то, чего не умеют некоторые другие. Один — организатор, другой — идейный руководитель. Они уважают друг друга крепко, по-братски. Почему-то мне вспомнились Фурманов и Чапаев, а в голове стояли точные, как мне кажется, слова: «Люди и вы». Ничего, что они сами не приняли этой формулы, все равно это так и есть.

И еще подумалось: «Как часто в некоторых колхозах секретарь партийной организации следует на запятках у председателя. Как часто они, секретари, оказываются ниже председателя по образованию, уровню развития, экономическим знаниям. А вот здесь, в «России», наоборот: «Фурманов и Чапаев».

Кто знает, может быть, и в этом есть часть ответа на вопрос «почему». Над этим стоит подумать.

5. О ЗОЛОТЫХ РУКАХ

Незадолго до уборки в колхозе «Россия» вечером состоялось многочеловечное собрание: колхозники сошлись для чествования своих передовиков. Десять человек — лучших из лучших — были окружены теплотой сотен сердец, вниманием и любовью. Каждый из них получил ценный подарок. Их приветствовали от души колхозники и руководители. Они отвечали на это с волнением. Не было длинных речей, но были горячие слова.

Мария Николаевна Гуляева работает в животноводстве тридцать лет, из них дояркой — шестнадцать лет. Ей пятьдесят три года. Ее уважают и любят все от мала до велика. С большим почтением и какой-то особой теплотой всегда говорят о ней председатель колхоза и секретарь парткома, уже знакомые читателю.

Призывно подняв руку, она сказала в заключение своей короткой ответной речи:

— Работать всю жизнь... До последнего дня...

Соломонида Ивановна Букалова двадцать один год работает дояркой. Двадцать один год! Сейчас она уходит на пенсию, но сама себе подыскала преемницу. Ей и передает почетная труженица свой опыт и своих коров. Это ее родная дочь Варя.

Соломонида Ивановна тоже ответила на поток тепла, исходящего из сердец колхозников, несколькими словами. Все видели: у нее дрожали руки от волнения. Дрожали рабочие руки, золотые руки! И это волнение передалось всем присутствующим, как волны необыкновенной силы, волны души человеческой. Видел, как у Николая Андреевича Бояркина подкатился ком к горлу и тоже была внутренняя дрожь. И как этому не быть! Ведь Соломонида Ивановна и Мария Николаевна хорошо знают, как начинал работать их бессменный председатель, а он знает их смолоду, начавших свой трудовой путь в саманной развалюшке, называвшейся тогда «фирма». Он и сейчас стоит, этот первый колхозный сарай-«фирма».

Помню, мы, как-то остановившись около этого здания, переглянулись с Василием Викторовичем, а он сказал:

— Это было давно.

И все было понятно, потому что рядом очень хорошее здание молочно-товарной фермы и разные постройки, сделанные навек.

На том вечере люди с золотыми руками мало говорили о себе — они больше благодарили, обещали всем работать лучше. Убеленные сединами и совсем юные, почти школьники, были предметом восхищения. В клубе по стенам вывешены плакаты, рассказывающие о жизни и достижениях этих великолепных людей колхоза. Им подносили букеты цветов, их окружили цветами. И среди цветов — юные, стройные комсомолы, слава им!

Катя Соколова за первое полугодие надоила 2060 килограммов молока от каждой коровы; Вера Расторгуева — 1900, Мария Соколова — 1876, Надя Рослякова — 1821 килограмм. Все они члены ВЛКСМ. Можно бы перечислять еще и еще.

Откуда столько комсомольцев-передовиков в одном колхозе? Оказывается, в колхозе «Россия» есть комсомольско-молодежная молочно-товарная ферма. Здесь ее называют «Центральная». Она, пожалуй, центральная не только в колхозе, а и среди окружающих колхозов. На ферме из двадцати восьми доярок девятнадцать комсомольцев; заведующий фермой, Николай Николаевич Тютерев, тоже комсомолец. Они всегда ведут за собой остальные фермы колхоза.

Хороша, очень хороша родилась задумка в парткоме о работе с молодежью! Но сколько кропотливого повседневного труда положено в парткоме, чтобы так объединить людей разных возрастов единой верой в успех.

И вот эти лучшие люди сидели на вечере чествования и жизнью своей, трудом учили других. Некоторые из них не знают, что такое война, другие помнят три войны. Некоторые не знают, что такое нужда, другие помнят вкус лепешек из лебеды и шавеля. Но зато все, все до единого,

знают, что они пришли к тому, чего никому никогда ни при каких обстоятельствах не отдадут, пришли к тому порогу, с которого открываются явственно видимые черты коммунизма; они все знают: им строить этот дом — им в нем и жить. Попробуйте здесь рекомендовать председателя, который не собирается жить с ними долго, до коммунизма, — не получится, не примут. В колхозе «Россия» не получится. Или попробуйте коммунистам колхоза рекомендовать секретаря парткома, который явно через год-два повернет оглобли, — тоже не получится.

Их, коммунистов, в колхозе девяносто четыре, вместе с кандидатами. Если начертить кривую роста колхоза и рядом кривую роста партийной организации, то они до удивления идут рядом, одинаково, круто вверх. С 1957 года по настоящее время вступили в партию сорок пять человек, из них двадцать два человека за последние полтора года. Сила! Горы свернуть можно.

И прямо скажем, Василий Викторович и Николай Андреевич свертывают горы — они все время идут впереди и ведут за собой. Прав он, Василий Викторович, когда определил причины успеха одним словом: «Люди». Думаю, прав и я, когда сказал: «Люди и вы». Но, к сожалению, не в каждом колхозе можно добавить это самое «и вы».

И после всего этого я не смог выбросить вопрос «почему».

Почему в некоторых других колхозах я не видел той теплоты и веры в людей, которая сама есть счастье? Почему в них еще далеки от тех удивительно волнующих встреч с золотыми руками, тех встреч, что в колхозе «Россия» называют вечерами чествования? Почему кое-где председатель колхоза фактически превращается в единоначальника, к которому иной раз трудно попасть колхознику на прием? Почему? Может быть, потому, что партийная организация колхоза не вошла еще в каждый дом колхозника, а рекомендованному райкомом в председатели товарищу якобы надо обеспечить авторитет во всех случаях?

Возможно. Вполне возможно. Над этим тоже надо подумать.

И мы думали. Говорили по душам на берегу реки Тихая Сосна.

Есть места на этой реке необычайной красоты. Одно из них — Изосимово, где теперь птицеферма колхоза «Россия». Было тихо-тихо, не шевелились даже листья на деревьях. На склоне разгуливали тысячи кур. По реке плавали тысячи уток. От птиц все белым-бело. А сизый вечер, цвета голубиного крыла, опускался над долиной реки. Зеленый луг, белые птицы, сизый вечер, синеватая река — это было прелестно и незабываемо.

— Как же здорово на земле! — сказал Николай Андреевич.

Среди этой тишины и неповторимой красоты земной послышался призывный женский голос, сочный, музыкальный:

— Ути-ути-ути! Ути-ути-ути!

И вся река отозвалась тысячеголосым утиным кряканьем. Из-за поворота реки показалась лодка, а на ней во весь рост стояла женщина в белом. Это она подавала команду «домой». А несчетное число больших и маленьких уток разом заголосило — домой, домой. Ониплыли впереди лодки, позади, с боков, вылезали из камыша и травы.

— На ночлег собираются. Ух ты! Крику-то сколько, — сказал Василий Викторович, кивнув в сторону фермы.

— Вот так и живем, значит, — утвердил нашу беседу Николай Андреевич.

У меня в ушах все еще звучали слова: «Как же здорово на земле!»

Вот так они и живут. И страстно хотят, чтобы всем на земле было хорошо. Для этого они живут — коммунисты.

Мы сидели на берегу втроем. Кажется, обо всем переговорили за эти дни. Мне не хотелось уезжать. Очень не хотелось оставлять эти места, этих добрых двух друзей, у которых многому можно научиться, и этот сизый вечер, по-настоящему русский, родной, эти могучие поля и луга.

Птичий гомон умолк как-то сразу. И такая глухая тишина вновь оказалась вокруг, так спокойно стало на душе, что хотелось только молчать. Молчать и слушать величественную тишину... Мы сидели прямо на траве. И было хорошо.

Мне показалось, что я услышал биение сердец двух друзей.

6. КОРЕНЬ ВОПРОСА

В колхоз «Красная звезда» приехал ранним утром, еще до солнца. Знаю здесь каждую дорожку, каждый куст.

Очень хорошо зорькой, холодком, побыть в полях. Солнце, еще не показываясь из-за горизонта, осветило почти половину неба. Вторая половина совсем синяя. С восточной стороны цветы клевера розовые, с западной — еще почти темные. Кукуруза с одного бока уже лоснится, кажется — подсвечивает чуть, а с другого — густо-темно-зеленая, издали почти черная. Росы нет, сухо. И очень, очень тихо. И прохладно. Воздух чист и прозрачен. Лес, на краю поля, молчит, кажется — сосредоточенно и спокойно ждет солнца. Подсолнечник, как по команде, повернул шляпки туда, откуда вот-вот выйдет источник его жизни и всего живого на земле. Все ждет солнца. И я жду. Смотрю, думаю и жду... И оно взошло. Земля, казалось, вздохнула. Но тишина еще не нарушалась ничем и никем. Хорошо!

У опушки леса, на пенечке, я и расположился с тетрадью в руках. Самое время было для того, чтобы утречком кое-что записать, уложить, как говорится, в порядок «багаж».

Оторвал меня от работы настойчивый и неожиданный звук трактора. Он рассек утреннюю тишину на осколки, выбил из моих рук ручку и тетрадь, затормошил поле беспокойно и требовательно. День начался.

Я посмотрел вниз. С пригорка было видно, как начали скирдовать сено: все механизировано, все рассчитано до подробностей. Смотрел и думал.

Интересно, как сейчас обстоит дело с планированием в колхозах? У кого же искать ответ, как не у Ивана Трофимовича Партолина, бесшменного председателя колхоза «Красная звезда» с 1934 года. Это один из «китов» района, самый крупный — его видно далеко. К тому же с ним тринадцать лет подряд работает в колхозе лучший агроном района Борис Филиппович Аниканов.

К ним я и еду теперь. А по пути продолжаю вспоминать.

Четверть века знаю Ивана Трофимовича. Не раз были у нас с ним всякие откровенные разговоры. Пожалуй, мне знакома и вся его биография. Ему уже шестьдесят четыре года — старейшина председателей всего района. За плечами много: служба в царской армии, ранение, артиллерист Красной Армии с 1918 по 1922 год, потом командир орудия; потом — в единоличном хозяйстве; в 1928 году разделился с братьями и, получив одну лошадь, превратился в ломового извозчика; потом коллективизация, он активный участник организации артели и затем полевод, брига-

дир, председатель колхоза. Вот и все. Но сколько труда, лишений, поисков и беспокойных ночей за этим «вот и все!» У Ивана Трофимовича больше половины сознательной жизни отдано колхозу — вот что скрыто в последнем слове его биографии: «председатель». Эта половина жизни еще видна, даже более видна, и из... цифр.

Недавно мне пришлось познакомиться с интересными цифрами в некоторых колхозах: сколько в день зарабатывает колхозник, то есть какова реальная заработная плата за один рабочий день.

С этого и началась наша беседа.

...Долгонько я не видел Ивана Трофимовича — года два. Но тем интереснее встреча. И вот он стоит передо мной и улыбается с прищуром, отчего морщинки от уголков глаз растекаются лучиками; широкоплечий, с большим лбом, просеченным глубокими вертикальными морщинами над переносьем; брови слегка взлет. Он и раньше был чуть сутуловат — много груза переносили эти плечи! — а теперь, вижу, погнулся еще малость. Взгляд у него внимательный, иногда с хитрецей, как и у каждого умного человека, умудренного жизненным опытом.

Иван Трофимович положил ладони на стол — большие рабочие руки. Эти руки знают, что такое тяжелый труд.

— Как зарабатывают колхозники, спрашиваешь? Это мы разом.— Он перелистал свой годовой отчет, отпечатанный на машинке, и ткнул пальцем.— Вот тут.

Читаю вслух:

— «Денежная оплата одного выходного дня в 1960 году: в полеводстве — двадцать три рубля десять копеек, на молочнотоварной ферме — семнадцать рублей пятьдесят копеек, на свиноферме — пятнадцать рублей девяносто копеек, в огородничестве — пятнадцать рублей тридцать копеек, на овцеводческой ферме — двадцать три рубля восемьдесят копеек, трактористы — сорок один рубль двадцать копеек».

Меня интересовало это слово, «выхододень», еще и раньше. В периодовых колхозах этот показатель стал одним из важных. Ведь стоимость трудодня не определяет фактического заработка колхозника за рабочий день. Точным определением в данном случае служит вся сумма оплаченных трудодней, переведенная в деньги и разделенная на число рабочих дней. Это и есть выхододень.

Вот он какой, выхододень, у Ивана Трофимовича получился!

Над этими цифрами можно задуматься: в них тоже половина сознательной жизни председателя и тринадцать лет жизни агронома. Хорошо помню, как колхозники когда-то давно любимыми путями стремились устроиться на работу в городе. Теперь это для них в прошлом.

— Не уходят теперь из колхоза? — спросил я шутя.

— За уши не оттащишь,— ответил он тоже шуткой.— Ведь к этому заработку надо еще прибавить доход от усадьбы и домашнего хозяйства. Зачем ему уходить? В самом деле, зачем? В высшие учебные заведения уходят, а так — нет. Смыслу нет. Видишь — выхододень? — И он еще раз указал пальцем в отчет.

«Уж не успокоился ли он на этом»,— подумалось мне. И я задал вопрос:

— Думаешь, потолка достигли?

— Да что ты, Николаич! — воскликнул он.— Как мог подумать! — Он развел руками.— Делов непочатый край... Хочешь, скажу тебе самое главное?

— Хочу.

— Так вот. Животноводство-то у нас, кроме овец, кроликов и птицы, пока... бесприбыльно. Полеводством погашаем. Сказал — «потолок»!

— А в чем же дело?

— В себестоимости продукции полеводства, кормов главным образом.

— Вот,— говорю ему,— у Дмитрия Петровича Горина в колхозе «Подгорное» один центнер силоса в прошлом году стоил двадцать копеек в новых деньгах.

— У нас дешевле: восемнадцать копеек. Но и это дорого. Зерно тоже надо делать дешевле. А до потолка — ой-ой сколько!

Иван Трофимович поднял руку и посмотрел вверх так, что было понятно: не видно еще «потолка».

— И что же мешает снижению себестоимости?

При этом вопросе вошел Борис Филиппович Аниканов.

— Вот он нам и поможет разобраться,— сказал Иван Трофимович, хотя по выражению лица было видно, что он и сам знает.

Мы ввели Бориса Филипповича в курс нашего разговора. Он сначала подумал. Этот человек не будет торопиться — не в его характере. С виду он спокоен, с умными, пронзительными глазами. Он остался еще все таким же «плотным брюнетом», каким знаю его давно,— с густыми черными бровями и темным цветом лица не только от загара; но густые волосы сильно присыпаны сединой. Ответил он не сразу, зато прямо-таки отрубил мысль. Тихим, спокойным и уверенным голосом сказал:

— При таком планировании и пренебрежении к севообороту трудно снизить себестоимость продукции скоро. А нужно и можно — скоро.

Для меня, признаюсь, было и раньше кое-что непонятно в планировании культур в колхозах, но впервые я услышал о таком особом значении этого вопроса в снижении себестоимости. Я спросил у Бориса Филипповича:

— Ведь в снижении себестоимости продукции главный рычаг — механизация. Не так ли?

— Согласен,— ответил он.— Но есть и другие факторы. Без них и механизацией не достигнешь. Вот, например, у нас в колхозе: был образцовый севооборот, теперь фактически его нет. При неправильном чередовании, помимо снижения урожая, размножаются сорняки. А чередование идет, как бы сказать, по методу «из двух зол выбирай лучшее». Вот так.

— А поподробнее? — попытался я.

— Валяй начистоту,— поддержал Иван Трофимович.

— Начистоту? — переспросил Борис Филиппович и сел поперек стула, облокотившись на спинку.— Если начистоту, то планирования снизу, как оно должно бы быть, нету. Скажем, в этом году мы могли посеять ячменя только пятьдесят гектаров. Нет, вызвали нас в исполком райсовета, к председателю. Говорят: «Посеете сто двадцать гектаров ячменя». — «Не можем». — «Можете». — «Не можем». — «Можете!» Так ведь и посеяли сто двадцать гектаров. У нас две тысячи восемьсот тридцать гектаров пашни. Из них гриста шестьдесят — песков, четыреста пятьдесят — меловых. Кому же лучше знать, что нам сеять в данном году,— председателю райисполкома или нам здесь, на месте? — И он грустно закончил: — А ведь я скрепя сердце должен уродовать севооборот, идти на явное — понимаете, на явное! — снижение урожая, то есть по вышай себестоимость продукции полеводства, а значит, по вышай и себестоимость продукции животноводства... Да так, весь объявись механизмами, ничего не добьешься.

Иван Трофимович кивал в знак согласия. Он резюмировал:

— Планировать надо только строго в севообороте. Только так.

— А нам каждый год так поправляют планы, что хоть волком вой. Тоже и с урожайностью: дали мы в прошлом году двести десять центнеров сахарной свеклы с гектара, вкруговую, со всей площади. Казалось бы, ну так и так — что поделаешь: маловато для нашего колхоза. Нет-таки вызвали опять. Опять говорят, в райисполкоме же: «Комиссию пошлем, не верим». Едет комиссия. Здравствуйте вам! «Пиши — двести восемьдесят центнеров с гектара...» Или вот по кукурузе: средняя урожайность была двести пятьдесят центнеров с гектара, а райисполком дал в область триста пятьдесят. Дело это, конечно, прошлое, теперь не повторится. Можно бы об этом и не вспоминать. Но о чем это говорить? О недоверии к нам. Зачем так?

Вступил в разговор снова Иван Трофимович:

— Обидно становится, когда тебе не верят ни в планировании, ни в учете урожая. Такое опекуновство пора кончать.

— А как бы вы стали планировать, если бы вас посадить в Госплан? — спрашиваю. — Вообразите, что вы оба сидите там и планируете. Ну?

— Это вообразить трудно, — ответил Иван Трофимович. — А подумать можно. Значит, так... Первым делом мне надо иметь план продажи государству — раз. Второе: устанавливаю потребность внутри колхоза и кормовую базу. Третье: определяю оплату колхозникам. Четвертое: устанавливаю среднюю урожайность, но только не завышенную, избави боже. И тогда выяснится пятое: потребные площади посева по культурам в полях севооборота.

— А мы начинаем с последнего — с площадей по культурам: вот вам цифры площадей, а там как бог на душу положит, — сказал Борис Филиппович.

— По-вашему, выходит, мы планируем вверх ногами, с конца, а не с начала. Так, что ли? — недоумеваю я. — Но как же тогда вас понять: сначала вы говорите, что планировать надо только строго по севообороту, а потом, выходит, это самое последнее, пятое?

— Не так, — категорически отверг Иван Трофимович. — Ты дай мне контрольные цифры один раз. Понимаешь: один раз, а не пять раз в год, как это у нас бывает. Вот задача Госплана. И это самое главное, первое. А то ведь, к слову сказать, не только мы, председатели колхозов, получаем многократные планы и дополнения, а и секретари райкомов-то вертятся как белка в колесе, аж жалость берет. Ты только войди в их положение... Да что там! А надо бы так: получаю я план продажи государству — и все! Остальное мы поведем строго в соответствии с севооборотом. Только мне надо верить. Доверять, не опекать. Понимаешь, какая петрушка получается? Мы, колхоз, должны определять площади посева. И это должно быть стабильно, то есть как укладывается в севообороте.

— А вдруг вы не захотите сеять кукурузу? — полушутя спрашиваю у Ивана Трофимовича.

Ответил за него Борис Филиппович:

— Не-ет! Как же так — не захотите? А что без нее делать? У нас сейчас каждый пятый гектар пашни под кукурузой. Структура площадей посева по культурам уже приблизительно определилась. Ну и надо бы вводить срочно севообороты и, может быть, даже наказывать тех, кто сверху или снизу будет нарушать их и расстраивать. В конце концов дело теперь уже не в том, чтобы увеличивать площади под кукурузой у нас, например, а в том, чтобы получать высокие урожаи на тех площадях, какие уже есть, получать дешевый корм и зерно. Кукуруза вошла

прочно — ее уже не вытолкать никакими судьбами. Как это так — не захотим? Очень даже захотим и столько захотим, сколько вместит севооборот. Будем и дальше улучшать севообороты. Ведь это не тот колхоз, где в любом месте кол воткни — вырастет яблоня.

— Тут она, собака, и зарыта,— сказал Иван Трофимович, встав из-за стола. Он подытожил: — Снижение себестоимости — в высокой культуре земледелия. А она, культура-то, не может прийти без правильного, четкого севооборота. Тут корень вопроса. Пример: если сеять подсолнух по подсолнуху, то ты хоть в десять раз больше дай машин — ничего не выйдет: «волчок» заест, и сорняки задушат.

Он прошелся по комнате и дополнил свою мысль несколькими вопросами:

— Что? И в этом нельзя доверять председателю? И тут надо опекать? И тут надо комиссию присылать из райисполкома? Да полно! Нельзя так.

Он сел и задумался.

Борис Филиппович смотрел в пол и тоже думал.

«Беспокойные сердца у них, неугомонные, требовательные к себе и людям. Вот ведь у них самая высокая оплата выходня, самая низкая себестоимость кормов в районе, они идут впереди всех вместе с колхозом «Россия». Казалось бы, что им еще надо? Нет, им надо все. Им надо, чтобы было лучше и лучше, больше и больше, все выше и выше. Им ли не доверить полностью и планирование и культуру земледелия в колхозе! Наверно, им правда обидно. А ведь они хотят больше дать государству и больше дать колхозникам, они умеют это сочетать. В передовых колхозах так оно и бывает: чем больше колхоз продает государству, тем больше по сравнению с другими он оплачивает труд колхозников...» Такие мысли промелькнули в голове, пока я смотрел минуты две на задумавшихся собеседников.

— А может быть, оно так и будет — по-вашему,— сказал я.

— Тоже так думаю,— согласился Иван Трофимович.— Иначе ничего не придумать.

«У него веры хватит на тысячи людей, которыми он руководит. И знаю, что выхододень он оплатит и в этом году хорошо — ему верят люди, которыми он руководит. Но... не всегда верили люди, которые руководили им,— думалось мне.— А председателя колхоза пора бы оценивать не только по тому, сколько он дает корма животным и сколько надаивает молока, а еще и по тому, какова оплата выходдня. В отстающих колхозах (они, к сожалению, есть) этот показатель не учитывается, вероятно, потому, что он весьма неутешителен. Об этом надо говорить прямо и открыто и, главное, искать причины «нервного расстройства» хозяйства, которое рассчитывает только на энтузиазм колхозников да надеется на то, что городские рабочие к концу года будут на подхвате и помогут убрать урожай. Иван Трофимович знает, как этого не допустить. Он идет впереди, но он не спокоен. Он ищет, беспокойно ищет. Ему можно поверить, потому что половина сознательной жизни отдана колхозу. И Борису Филипповичу верю. Хочется, чтобы верили ему и другие. Воспитаннику Тимирязевской академии, отдавшему колхозу лучшие годы жизни, нельзя не верить».

Так я думал в тот час. Так я думаю и теперь.

...Мы крепко, по-дружески, пожали друг другу руки.

Дорога звала.

7. МАЛЕНЬКАЯ ЭКСКУРСИЯ

И снова в путь. Снова поля, поля и поля. Изредка, у лесной полосы или в лошине, поближе к роднику, увижу пританцовывающую тракторную будку, а вокруг нее множество разных машин и орудий. И я заезжаю, встречаюсь с друзьями, знакомыми. И многое узнаю из того, чего не знал: так быстро движется жизнь и так велики изменения за последние годы.

Побывал и у своего давнего коллеги, агронома М. М. Котлярова, председателя колхоза «Первое мая», где изменения в поле меня поразили. Был и на госсортоучастке, у своего друга Г. В. Марчукова, преданного своему делу до конца дней своих. С удовольствием побыл в тракторном отряде совхоза «Победа», где бригадиром давний мой товарищ по труду в поле Н. С. Устьянов, который, кажется, умер бы, если его заставить просидеть без дела дня три. Встречался со многими трактористами и колхозниками. Все это люди, к кому лежит мое сердце, о ком всегда вспоминаю с благодарностью за их каждодневный почетный и великий труд, о ком надо — очень надо! — писать обязательно. Пусть не посетуют на меня за то, что напишу не сразу...

Тетради полны записей. Сердце полно радости от того, что проехал по старым местам и незаметно для себя протянул нить из прошлого колхозов к настоящему, от того, что мы уже научились делать большие урожаи, от того, что люди уже не те, что были, — они стали лучше, внутренне красивее и внешне бодрее.

У меня было хорошо на душе. Нет, не утерпел! Заскочил еще раз на часок-другой в колхоз «Россия». Вместе с Николаем Андреевичем Бояркиным и Василием Викторовичем Жидковым мы совершили на автомобиле маленькую экскурсию... в прошлое: поехали на то место, где было когда-то имение Н. В. Станкевича. Оно расположено в десятке километров от Ольшана, на границе Воронежской и Белгородской областей.

Еще сохранилось несколько деревьев от бывшего сада помещика, за ними никто не ухаживает, они доживают век уже корявые и причудливо неприглядные — последняя память о прошлом. Развалины древней церквушки, построенной отцом философа В. И. Станкевичем в 1839 году, поросли чертополохом. Мы стояли на маленьком пятачке старой России и смотрели вниз, на луг, чуть задернутый дымкой дали.

Василий Викторович сказал в раздумье:

— Вот на том лугу, наверно, Алексей Васильевич Кольцов и читал мужикам стихи.

— Почему так думаешь? — спросил Николай Андреевич.

— А как же? Ведь он гнал гурт скота. Значит, остановился на ночь, на выпас... А вечером и читал.

— Это он его позвал с луга в помещичий дом? Вот сюда? — Николай Андреевич показал на то место, где был когда-то дом.

— Должно быть, так...

— Во всем Ольшане было двадцать человек грамотных, — проговорил, казалось, без всякой связи Николай Андреевич. — Книжечка такая есть у нас древняя, ее какой-то псаломщик писал — там написано: грамотных двадцать человек... Подумать только!

Разве нам надо было много слов, чтобы понять друг друга!

Разве ж мог иметь в мыслях помещик, хотя бы и такой талантливый и ищущий истины, как Н. В. Станкевич, что вот здесь будут так стоять эти два «мужика», два потомка тех, кто защищал Родину от набегов врага и чьи внуки и правнуки, преклонив колена в помещичьей церквушке, просили бога, чтобы он дал хлеба. Разве ж мог он поду-

мать, что мужики будут управлять всеми окрестными землями как хозяева, что они преобразят землю и... самих себя.

Но это свершилось. Свершилось что-то необыкновенное, великое, чего до сих пор многие там, на Западе, не могут понять. Даже мы сами, прошедшие трудный путь к новому, не всегда как следует оцениваем то, что свершилось в нашей жизни и что случилось с человеком.

Так мы и думали, стоя все рядом.

Через несколько минут мы покинули это место. А еще через некоторое время мы уже въехали в могучую, веселую, густую и радостную озимую пшеницу; потом скрыла от нас горизонт кукуруза. Мы приехали с маленького пятачка старой России в Новую Россию — в колхоз «Россия».

И мне стало спокойно на душе, потому что сельское хозяйство наконец-то стоит на таком подъеме, откуда уже видны величественные дали, показанные Владимиром Ильичем Лениным. Из передовых колхозов, что поднялись выше других, они, эти дали, виднее.

Но на трудном подъеме все равно будут возникать вопросы «почему» и «как надо лучше». Их надо решать возможно быстрее. Когда дорога идет в гору, не надо брать с собой ничего лишнего.

Мы разговаривали об этом как друзья и расстались друзьями.

...И вот я снова в пути. Путь продолжается. Дорога зовет. Дорога идет в гору.

Воронеж.

Июль — август 1961 года.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГЕННАДИЙ ФИШ

★

ФРАМ—ЭТО ЗНАЧИТ ВПЕРЕД

Бюгдой

Когда я первый раз увидел, как улыбается Адам Ниссен, то сразу поверил, что и наяву может быть так, как приснилось Алисе в Стране чудес. Там доброжелателем Алисы был душевный чеширский кот, о приходе которого она всегда догадывалась раньше, потому что в воздухе сначала появлялась его улыбка, а потом уже возникал он сам. А когда он исчезал, то улыбка еще долго таяла и таяла в воздухе.

Я понимаю, что добрая, подкупающая ниссеновская улыбка может успокоить и обнадеежить самого мнительного пациента. Злые языки утверждают, что из-за нее коллеги Адама Ниссена, прощая ему успех у пациентов, избрали его заместителем председателя Союза врачей, хотя он в этом правлении единственный коммунист.

— Я повезу тебя на Бюгдой,— сказал Адам,— и ты увидишь то, что можно увидеть только в Осло, и ни в каком другом городе на всей земле.

Выполняя свое обещание, он заехал за мной в воскресенье утром. Но по дороге на Бюгдой Адаму «приспичило» проведать одну из его пациенток, живущую в Доме стариков.

Этот вполне современный дом построен в прошлом году по последнему слову чело- неколюбивой техники, со всеми возможными удобствами. Лифт поднял нас на шестой этаж, и мы очутились в широком коридоре. Коридор этот, с широким окном и открытой лоджией, проходил по всему этажу из конца в конец дома. Мы позвонили в дверь, и совсем еще бодрая старушка впустила нас в уютную однокомнатную квартиру с большой глубокой нишей.

Видно было, что мебель в новый дом перевезена из старого жилья. Она старомодна, так же как кружевные салфетки на столе и спинках кресел, вышитые пестрыми цветами подушечки на диване и аппликации, висевшие на стене рядом с фотографией усатого норвежца, напоминающего штурмана, и детей — девочки с мячом и большим бантом и мальчика с лыжами в руках. Штурман — покойный муж хозяйки, — оказалось, был при жизни вовсе не морским волком, а конторщиком.

В этом доме есть и двухкомнатные квартиры, но после смерти мужа она переехала в однокомнатную.

— Да, у меня есть дочка — она вышла замуж,— рассказывала хозяйка.— И сын тоже есть, взрослый. У меня и внуки есть. Но у нас не принято родителям жить вместе с женатыми детьми. Ведь совсем другие интересы у разных поколений. Живя вместе, трудно сохранить хорошие отношения. А это самое главное! Да, мне здесь удобно,— продолжала она, показывая отгороженный от комнаты уголок, где стоит электрическая плита, мойка с холодной и горячей водой.— Душ в уборной... Все, что надо!

Дом принадлежит муниципалитету, или, как здесь говорят, коммуна. Квартира казенная. Только вот квартирная плата все же забирает почти половину пенсии.

— Но если рассчитывать каждое эре, то можно еще и друзей угостить чашечкой другой кофе.

Убедившись в том, что со здоровьем подопечной Адама дело обстоит благополучно, мы прощаемся с ней и выходим в коридор. С широкого балкона, которым кончается коридор, как и из окон квартиры старушки, открывается панорама фиорда, усеянного скалистыми островками, видны башни новой ратуши и зеленые холмы, обступающие Осло.

— Да, конечно, мы далеко ушли со времен викингов, когда старость презиралась и смерть не в бою, а дома, в своей постели, считалась постыдной! — говорит Адам, включая мотор автомобиля. — Теперь мы, как видишь, стремимся сделать приятной жизнь старикам. Таких домов построено немало, но все же их чертовски не хватает. Длиннющие очереди. Нет, — вдруг спохватившись, возражает Адам самому себе, — все же не очень далеко ушли мы от викингов — оружие для нас дороже всего. Тратим на него столько средств, сколько хватило бы на то, чтобы все старики получили без очереди такие дома, все молодожены — квартиры, а ребяташки — детские сады.

Мы едем по обезлюдевшим в воскресенье улицам западной окраины столицы.

И вот Бюгдой. Открытая для посетителей летняя резиденция короля, королевская молочная ферма. Сбывая молоко на кооперативный молочный завод, монарх подрабатывает малую толику к своему цивильному листу, подобно андерсеновским королям соедения сказочность звания с обыденностью поведения.

Адам остановил машину у ворот «Народного музея под открытым небом», которым знаменит Бюгдой. Сюда, в парк, из Сетесдаля и Нумандаля, из Тронделага и Телемарка, со всех концов Норвегии привезены до полутораэта срубов старинных крестьянских домов с обиходной утварью, со всем дворовым хозяйством: хлевы и коровники, навесы овчарен, мельницы, конюшни, баньки, амбары с нависающими галерейками вторых этажей. Дома богатеев, с крылечками, изукрашенными узорной резьбой, крытые тесом и дранкой, соседствуют с приземистыми избушками лесорубов, торфяные крыши которых поросли изумрудной травой-муравой.

В самых старых домах, где чада и домочадцы садились за еду вокруг очага посредине рубленной в лапу избы, дым уходил через квадратное отверстие в крыше. В пасторском же доме собирались у камина. Большинству строений здесь лет за триста, а самому древнему — деревянной церкви, перенесенной из Халингдала, — за восемьсот. Это самая старая в мире из сохранившихся деревянных церквей. Крытая галерейка на деревянных колоннах обегает четырехугольный зал, заалтарное помещение. Каждая часть постройки имеет свою крышу. Расположенные на разных уровнях, одни крыши круто поднимаются над другими, создавая своеобразный силуэт пирамиды, и в то же время тяжелая масса снега при этом распределяется на разных плоскостях, крутых, чтобы снег и дождь легче скатывались. Так древние строители сочетали красоту с удобством.

«Народный музей на открытом воздухе» я видел в Бухаресте и Копенгагене, на берегу озера Киш в Риге, на острове Скансен в Стокгольме и на острове Сеурсаари в Хельсинки. А вот этих кораблей — действительно, Адам Эгед-Ниссен прав — нигде в мире не увидишь.

„Драконы“

Неужели на таких утлых посудинах викинги наводили ужас на всю Европу? Пересекали Атлантику? Доходили до берегов Америки?! Трудно поверить!

Это первая мысль, которая приходит при взгляде на сшитую из дубовых досок «быстрокрылую ладью» с гордо поднятым завитком покрытого узорной резьбой носа и такой же высокой кормой...

На таком вот струге норвежский король Улаф Толстый, насаждавший огнем и мечом христианство, бежал от своих соотечественников в Киев, к своему другу Ярославу Мудрому. На таком же струге он вернулся обратно победителем — Святым Улафом.

В Дании, на острове Зеландия, мне довелось видеть Трелеборг — обнесенный земляным валом военный лагерь викингов. Команда каждого струга помещалась в отдельном бревенчатом строении, напоминающем корабль, опрокинутый вверх днищем.

В Ютландии, вблизи Орхуса, я видел кладбище викингов — там каждые тридцать три надгробных камня поставлены так, чтобы общий абрис походил на очертания корабля.

На стенах музея в Оулу, в Суоми я разглядывал полосатый шерстяной парус ладьи викингов. Он служил им также и общим одеялом в дни безветрия и на суше.

И вот теперь передо мной поднятый на металлические стапелы сам корабль, отлично сохранившийся, хотя ему тысяча с лишним лет от роду.

Море поглотило множество таких кораблей, но земля сохранила их. Обряд погребения викингов требовал, чтобы вместе с умершим вождем-конунгом хоронили все то, что было необходимо ему на этом свете. Если вместе со своим вождем воинственные кочевники стелей хоронили боевого коня, то для загробного плавания конунгу без боевого корабля не обойтись.

Из кургана Тюне, близ города Сарпсборга, почти сто лет назад был откопан первый корабль викингов. В 1880 году в кургане на низкой равнине у Санде-Фиорда нашли вторую ладью. И в начале нашего века вблизи от фермы Осеберг выкопали третий корабль, самый сохранившийся. Все они сейчас под крышей музея «Корабли викингов».

Пораженный совершенством формы кораблей, словно их сделал не безвестный плотник своим топором, а высок резцом из мрамора великий скульптор, я понимал в ту минуту Константина Симонова, который, увидев эти острогрудые челны, записал в дневнике:

«Не берусь описывать эти корабли. Чтобы составить о них настоящее представление, их надо видеть. Скажу только, что от них веет духом мужества и силы, в них все прекрасно и вместе с тем нет ничего лишнего».

Их красота, оказывается, неразрывно связана с конструктивной целесообразностью: и поднятый высоко нос — форштевень, легко рассекающий волну, и продолговатый ребристый овал двадцатиметрового корпуса, и расстояние пять метров от борта к борту в самом широком месте. И главное, выдающийся высоко вперед, режущий воду киль, который делал в те времена норвежские суда самыми быстроходными в мире.

Чтобы ни у кого не осталось сомнения, что древние норвежские сагописцы и скальды правы и что норвежцы навевались в Америку лет за пятьсот до путешествия Колумба, в 1893 году, когда в Чикаго открылась Всемирная выставка, норвежцы построили корабль-ладью, точную копию того, что выкопан был из кургана, разве что без узорной, изображающей рыб и змей резьбы. Несколько норвежских парней на этом корабле благополучно переплыли Атлантический океан и привели его в Чикаго.. Это стало одним из интереснейших событий выставки.

Знаменитый русский океанограф А. Книпович считал, что за много веков не было выработано более совершенного типа судов, чем суда викингов. Взяв за гребень, их струг разрезает волну, и вода не заливают его. Он легко идет и под парусами и на веслах. Высокий дубовый киль делает его устойчивым. Вот почему этот вид корабля сохраняется, особенно в северных областях Норвегии, у рыбаков и по сей день.

«Главный недостаток корабля викингов — отсутствие палубы», — говорил полвека назад Книпович. Но и сегодня из восьмидесяти тысяч рыбаков Норвегии больше половины промышляют рыбу на безмоторных, беспалубных судах, схожих с ладьями викингов. Их сечет снег, валят с ног штормы.

— Ничего! Мы, норвежцы, сроднились с морем, такой уж наш норвежский характер, — объясняет Адам.

Но один характер не спас бы викингов от поражений. Главное — превосходство в технике.

Корабельная техника! Странно применять это слово к такому, казалось бы, элементарно простому сооружению, сработанному с помощью одного топора, но это так. В то время, когда другие строили плоскостонные и поэтому малостойчивые, неповоротливые, тихоходные суда, норвежцы первыми стали сооружать остростонные, килевые корабли. Это давало им возможность избегать дрейфа. Суда их стали маневреннее. Внезапность нападения — великое дело! Викинги приближались к врагу быстрее, чем могла долететь весть об их появлении. А если при случайной встрече с более сильным противником надо было уйти — никто не мог догнать их. Это придавало викингам сме-

лость, которая «города берет», уверенность в непобедимости. «Техника» и вера в то, что крылатые девы валькирии уносят души павших в бою в Валгалу, где герои каждое утро, «проводя время», вступают друг с другом в жестокий бой. Но к обеду их раны заживают, и они начинают пировать и бражничать.

„Улитки“

Трудно, наверное, викингам было смириться с христианским раем, где праведные вместе с ангелами распевают псалмы, славящие господа. А ведь таким, наверное, его представляют себе молодые монашенки в темных длинных рясах и белокрылых крахмальных чепцах, те самые, что пришли в музей «Корабли викингов» сразу вслед за нами.

Проходя гурьбой, пристально разглядывают они и резьбу на киле корабля, и резных коньков на спинке ложа королевы, погребенной со всеми своими украшениями и кухонной утварью, кадками для пресной воды — пригодится в посмертной жажде! — на корабле из Гокстадтского кургана.

Это французские монахини. Предки их творили в церквях утвержденную римским папой молитву «Господи, спаси нас от ярости норманнов», а они теперь прибыли с экскурсией в край норманнов и с особым любопытством разглядывают найденные при раскопках в кургане Тюне круглые бронзовые броши с изображением рычащего льва и всадника на коне с копьем наперевес.

Здесь же, в ларьке, они покупают ставшие модными копии этих украшений средневековых скандинавов.

Свои боевые быстроходные суда викинги называли «драконами», мелкие рыбацьи — «улитками». Улитка по-старонорвежски — «шнека». А мне-то думалось, что это название рыбацьеи промысловой лодки прирожденное беломорское, кемское, архангелогородское, с берегов Колы! Шнека из Колы стоит среди других судов и моделей тут же, в норвежском морском музее.

Я говорю Адаму, что хвосты змей и разинутые пасти драконов, вырезанные на стругах викингов, схожи с коньками, выступающими над фронтонами древней деревянной церковки, красота которой так восхитила нас.

— А разве килевидная форма крыш на большинстве старинных деревянных церквей не свидетельствует о том, что их возводили кораблестроители? Они же и принесли свои приемы резьбы и плотничьего мастерства. Так естественно было, когда стали строить церкви, чтобы делом, угодным богу, занялись лучшие, испытанные мастера, — отвечает мой спутник. — В более поздних каменных храмах норвежского элемента почти не было. Правда, я мало разбираюсь в «божественных предметах», хотя прямым моим пращуром был Ганс Эгед. Тот, кто обратил в христианство гренландских эскимосов. В прошлом году, когда открывали памятник у одной из церквей Осло, посвященной ему, я получил приглашение на эту церемонию, хотя все знают, что я неверующий. — Адам заразительно смеется.

Об этом родстве Адама я услышал впервые. Мне была знакома другая, известная всему норвежскому рабочему движению, линия Ниссенов.

Вслед за католическими монахинями мы выходим из музея «Корабли викингов» в цветущий парк и идем осматривать то, чего тоже нигде, кроме Осло, не увидишь — последний прикол «Фрама».

Цепочка Гарибальди

Перед тем как подойти к железобетонной пирамиде со стеклянными полотнищами окон — последнему приколу «Фрама», — мы с Адамом заглянули в ресторанчик на берегу залива и оказались за столиком рядом с пестрой стайкой школьников, с восторгом истреблявших мороженое. В эту жаричу последовать примеру ребят было самым разумным.

— Наверное, ты смахиваешь на святого пращура, потому что на своего более близкого предка, деда, ты совсем не похож, — говорю я, внимательно разглядывая собеседника.

На одной из стен новой ратуши в Осло — огромное полотно (два с половиной на семь с половиной метров) художника Карла Хегберга. Его подарила городу фондовая биржа. По заказу биржевиков живописец изобразил «Мореплавание, коммерцию и индустрию».

А на противоположной стене картина такого же размера — подарок рабочих столицы.

Талантливая кисть художника Рейдара Оулие в своеобразной панораме запечатлела драматические страницы истории рабочего движения от его зарождения — ареста полицией Маркуса Тране и знаменитой забастовки работниц спичечной фабрики, такой же памятной для Осло, как Обуховская оборона для Питера. В центре этого монументального полотна, на фоне демонстрации, во весь рост семеро выдающихся деятелей рабочего класса Норвегии, и среди них человек с волевым лицом, с острой, напоминающей пыхановскую, бородкой.

Каждый раз, проходя на заседание муниципалитета, Адам Ниссен (а он депутат) может взглянуть на своего двоюродного деда — Оскара Эгед-Ниссена.

...В тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году, когда бисмарковская Пруссия бросила войска на Данию, правительство короля Швеции и Норвегии не выполнило своего союзного обязательства и не помогло героически сражавшимся датчанам.

Боевые патриотические песни датчанина Ханса Андерсена были тогда у всех на устах. Горячие призывы молодого Бьернсена, не действуя на правительство, воодушевляли юношество. И немало молодых норвежцев в «частном порядке», минуя кордоны, пробиралось в Данию и создавало там специальные «дружины», чтобы помочь братьям скандинавам в их неважной битве с немецкими милитаристами.

Глубоко возмущенный предательством, разочарованный в идее «скандинавизма», более чем на четверть века, в знак протеста, покинул родину Ибсен.

С Норвегией он прощался стихами:

Страну я будил набатным стихом —
Никто не дрогнул в краю родном.

Я выполнил долг мой, и вот пароход
Меня из Норвегии милой везет...

Веру поэта в лучшее будущее поддерживает встреча на пароходе с норвежской женщиной, которая горда тем, что сын ее сражается в Дании, что он воин норвежской дружины.

В такой же дружине сражались и два молодых врача — братья Кристиан и Оскар Эгед-Ниссены.

Кристиан участвовал и в освобождении Италии, сражаясь в отрядах Джузеппе Гарибальди, а Оскар дрался на баррикадах Парижской коммуны. После освобождения Италии, когда Кристиан возвращался в Норвегию, Гарибальди подарил на память своему верному воину тоненькую золотую цепочку. Дома Кристиан (дед Адама) стал врачом в родном городке Тромсе, намного севернее Полярного круга. Оскар же возглавил рабочее движение в Осло. Умер он пятьдесят лет назад на посту председателя Норвежской рабочей партии.

Сын Кристиана, Адам-Ялмар, забрался еще севернее своего отца — в Варде и стал там почтмейстером.

Варде, самый близкий к России город Норвегии, был удобным местом для пересылки революционной литературы, первым прибежищем политических ссыльных, бежавших с «вечного поселения» в Архангельской губернии.

Многие из транспортов нелегальной литературы, многие из подпольных явок связаны с деятельностью молодого почтмейстера в Варде. После того как Норвегия стала независимой, социалист Адам-Ялмар Ниссен был избран депутатом стортинга. А в начале 1918 года он побывал с рабочей делегацией у Ленина¹. Один из создателей Норвежской компартии, он стал затем ее председателем.

¹ Воспоминания Адама-Ялмара Эгед-Ниссена печатались в «Новом мире» в № 3 за 1960 год.

У почтмейстера Ниссена было много детей и мало денег для того, чтобы дать им всем высшее образование. Поэтому мой друг Адам осенью 1932 года приехал в Москву, где и поступил в медицинский институт. Он попал в зимний набор — мест в общежитии уже не было. Все годы учебы в Москве Адам жил у друзей своего отца, «усыновивших» его, — известной скандинавистки Нины Крымовой и ее мужа Павла Шарманова, — в маленькой, заставленной книгами комнате, где они все с трудом размещались.

В августе 1938 года, получив диплом, молодой врач и молодой коммунист Адам вернулся на родину, чтобы заняться мирной профессией своего прадеда и деда.

Но это оказалось не так просто!

В Норвегии курс обучения на медицинских факультетах — семь с половиной лет, у нас в то время — пять. И Адаму предложили сдать дополнительные экзамены. Чтобы подготовиться к ним, требовалось время и заработок.

Врач китобоев

И Адам нашел выход.

Он нанялся врачом китобойной флотилии. Никто из дипломированных врачей идти туда не хотел.

...В сентябре 1939 года китобойная флотилия отчалила от берегов Норвегии, взяв курс на Антарктику. На флагманском корабле каюту врача занимал обложившийся книгами Адам Ниссен.

Но сдать экзамены ему так и не удалось.

Китобои делали свое дело — били китов, разделяя их на мясо, вытапливая жир, и в свободное время толпились у радиорубки, ловя последние известия с фронтов Европы.

Большинство было уверено, что буря войны и на этот раз не обрушит своих разрушительных волн на нейтральную Норвегию. Они не знали, что на германских военно-морских базах капитан первого ранга Август Тиле готовит крейсер «Лютцов», чтобы захватить в Антарктике норвежские китобойные суда с драгоценным для Германии жиром, а в случае сопротивления — потопить, лишив своих противников и добычи и, главное, тоннажа.

Лишь в последнюю минуту корабль получил другое назначение — поддержать высадку германских десантов в Осло.

Китобойный сезон был закончен, и груженная добычей флотилия готовилась к возвращению, когда около Рио-де-Жанейро 9 апреля 1940 года радист флотилии принял тревожное сообщение: «Вермахт нарушил нейтралитет Норвегии, на улицах Осло идут бои. Правительство эвакуировалось из столицы. Норвегия ждет, что каждый выполнит свой долг...»

Права старая норвежская поговорка — иногда бывает легче выполнить долг, чем понять, в чем он состоит... Здесь же все было ясно — в чем состоит долг и как его выполнить.

Но вот где?

Ясно было также и то, что стране понадобится валюта. Поэтому для начала отправились в Нью-Орлеан, чтобы сдать американским фирмам добычу и получить деньги. В Нью-Орлеане каждый из команды получил точный порядок следования.

Адаму Эггеде-Ниссену предписано было немедленно прибыть в Канаду — там, в районе, отныне названном «Малая Норвегия», формировалась национальная воинская часть.

В Канаде и Исландии

В Галифакс Ниссен добрался на рейсовом пароходе. До срока, обозначенного в приказе, оставалось три дня.

«Посмотрю напоследок Канаду, — решил Адам. — За три дня доеду к месту на автомобиле»

Двое суток за рулем — он был уже не так далеко от цели, когда среди бела дня не заметил, как дорога вдруг исчезла, и автомобиль на большой скорости, перескочив через кювет, ударился о телеграфный столб, перевернулся и встал на колеса...

К собственному удивлению, Адам как ни в чем не бывало вышел из машины, спросил, где почта, и пошел отправлять последнюю штатскую телеграмму: «К сожалению, не могу явиться в срок, немного запоздаю»...

— Но в конце концов я все-таки приехал туда,— улыбается Адам,— и был лекарем в лагере, единственным врачом норвежской армии с советским дипломом, и одновременно проходил военную учебу. Там у меня завелись и новые друзья. Среди них был рядовой Тур Хейердал.

Страстный охотник, Хейердал все свободное время проводил в лесу. И как-то на охоте подстрелил медведицу. А при ней оказался молочный медвежонок. Тур забрал его с собой, выкормил из рожка. Медвежонок словно прикипел к нему. Радовался, когда Тур возвращался с учения, спал с ним на одной постели. Это он считал своей личной привилегией. А когда Тура приехала навестить жена, медвежонок влезал на кровать и занимал место между супругами, расталкивая их. Из-за этого происходили мелкие семейные сцены. «Не могу выбросить медвежонка, я виноват перед ним, убил его мать»,— оправдывался Тур.

Чем бы окончились эти ссоры, неизвестно, но вскоре мы получили новое назначение и должны были покинуть Канаду.

Тур Хейердал отправлялся к главным норвежским воинским силам, расквартированным в Шотландии. Там его сначала как человека, не имевшего воинской специальности (кому нужен в дни войны этнограф?), назначили официантом в офицерской столовой.

Ниссена же перевели в Исландию — врачом авиаэскадрильи, которая патрулировала морские караваны. Там, в Исландии, он встретил свою сестру Герд — знаменитую норвежскую драматическую актрису, жену поэта Нурдаля Грига.

Когда Нурдаль первый раз увидел Герд Эгге-Ниссен, он заинтересовался золотой цепочкой на ее шее. Это была семейная реликвия, перешедшая к ней при конфирмации от деда Кристиана. Узнав, что это подарок Гарибальди, Нурдаль, снимая с шеи Герд цепочку, сказал:

— Дай мне ее. Она должна быть моей.

Герд удивилась.

— Я беру свое... цепочку... И тебя с нею...

И как могла Герд не подарить эту цепочку Нурдалю, который собирался тогда в интербригаду, сражавшуюся на испанской земле за свободу человечества?

В годы войны Григ был военным корреспондентом и часто навещался в Исландию, где жила Герд, где она участвовала в концертах для норвежских воинов. Много норвежских беженцев и правительственных учреждений находилось в то время в Рейкьявике.

Двадцать второго июня (в Исландии в это время белые беззакатные ночи) Ниссен зашел в английский офицерский клуб. Он разговаривал с кем-то из офицеров, когда вдруг включили радиоприемник, настроенный на лондонскую волну, и зазвучала речь Черчилля.

Фашистские полчища обрушились на Россию. После разгрома Советского Союза Гитлер лелеет планы вторжения на Британские острова.

«Поэтому,— говорил Черчилль,— опасность, угрожающая России,— это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же, как и дело, за которое сражается каждый русский, защищая свой очаг и дом,— это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара...»

Когда радио замолкло, старший офицер поднялся с места и провозгласил тост за «нашего нового союзника». И многие стали пожимать руку Ниссену, так как он был единственным коммунистом в офицерском клубе и не считал нужным скрывать это.

— Ты был прав, врач! — сказал ему на улице военный моряк, в котором он узнал своего сослуживца, матроса, одного из самых заядлых спорщиков о политике в кубрике китобойного судна.

— Мы-то хотели выбросить тебя в море, а прав оказался ты! — повторил он.

Зимой тридцать девятого года, введенные в заблуждение антисоветской пропагандой, на всех своих судах «сердобольные» норвежцы собирали пожертвования в пользу Финляндии, которая вела войну с Советским Союзом. И во всей флотилии один только Адам отказался дать на это дело хотя бы эре.

— Вы увидите, что в войне, которую нам наверняка придется вести, Россия будет с нами, а Маннергейм — с Гитлером, — сказал он.

Все были возмущены тогда им. Но только сейчас он узнал, что «сердобольные» норвежцы из судовой команды хотели выбросить его за борт, и удержало их только то соображение, что флотилия останется без медика.

И вот теперь, 22 июня 1941 года, перед ним стоял один из тогдашних заводил и, каюсь, говорил:

— Ты был прав, врач! Один против всех... Молодец!

Мы сроднились с морем

Январь сорок второго года Адам встречал в Исландии с большим душевным подъемом.

Еще бы! Он назначен помощником профессора Крейберга, которому поручено организовать в Канаде медсанбат и полевой госпиталь войск вторжения! Значит, близко возвращение в Норвегию!

Это даже хорошо, что непроглядная ночь всего на час-два сменяется днем, почти неотличимым от сумерек. Вражеским подводным лодкам труднее обнаружить корабль, идущий без огней... Курс их теплохода — одиннадцать тысяч тонн водоизмещения! — лежал на Гренландию, подальше от немецких субмарин; а затем, уже у гренландских берегов, крутой поворот на юг.

Сначала шли с конвоем, потом конвой повернул обратно.

— Через три дня будем в Нью-Йорке, — сказал капитан.

Но в тот же вечер судно торпедировала немецкая подводная лодка.

Команда наложила «заплаты» на проделанное торпедой отверстие. Становилось все темнее, но никто вниз не спускался, и поэтому, когда в половине третьего ночи одна за другой две торпеды сотрясли корабль, люди встретили этот страшный удар на палубе...

...Судно накрывается, ему нанесены смертельные раны. Спущены на воду спасательные шлюпки. Волны подбрасывают их к небу и опускают в пропасть, пурга сечет лица. Во мраке ночи, озаряя языками пламени небо, корабль вспыхивает огромным погребальным костром. Потом костер угасает. И снова мрак поглощает и море, и небо, и шлюпку, плывущую в океане.

Двадцать четыре человека оказались в шлюпке Адама, но несколько из них так наглотались воды, а других опалило пламя пожара, что на помощь девятерых рассчитывать нельзя. Тесно, лежать невозможно, и больные сидели, укрытые брезентом. Среди них капитан в полубредовом состоянии.

— Принимай команду, — сказал Адам Харальду Хансену.

Это был отличный моряк, но дисциплинированный до педантизма.

— Как я могу командовать, если капитан жив и сам дает распоряжения? Потом неприятностей не оберешься!

— Я дам письменную справку, что ты принял команду потому, что капитан болен.

— Давай! Только пиши разборчивей!

Адам работал, как все, и вдобавок еще занимался врачеванием.

Дни эти были так похожи один на другой и отличались от первого только тем, что рацион воды сократили до трети стакана. А пить как назло хотелось все сильнее и сильнее...

Гребцы налегают на весла, и лодка продирается по водяным кручам к берегам Ньюфаундленда. Адам в полудремоте сидит под брезентом. И вдруг что-то застучало,

забарабанило, словно прорвался мешок с горохом и рассыпался по обледенелому брезенту. Дождь. Люди ртом ловят тяжелые капли сладкой небесной воды...

Сигарета переходит изо рта в рот — и никто не затягивается два раза. В карманах наскребли крошки табака — на одну трубку хватит. И, светясь угольком в ночи, трубка тоже кочует изо рта в рот.

На пятые сутки вечером увидели горы.

Радостная ночь — и мрачное утро. Выяснилось: горы эти не земля, а не то сносимый течением кочующий айсберг, не то облако!

Снова налетает шторм. Шлюпку подымает так высоко, как никогда. Кто-то произносит слова молитвы. Адам считает секунды между взлетами на гребень...

Но вот бешенство шторма позади. Над миром опускается мороз. За ночь шлюпка покрывается толстой ледяной коркой. Оледеневают и парус. Грести нельзя. Все забираются под парус и засыпают. Только вахтенный да рулевой бодрствуют.

Ночью (какая по счету!) Адам просыпается. Он чувствует себя безмерно уставшим, слабым, и ему почти тепло. Он хочет снова уснуть и вдруг понимает, что замерзает. Усилием воли заставляет себя подняться, откидывает тяжелый ото льда парус. Рядом лежит моряк из Олесунда, он будит его, и они начинают бороться, чтобы как-нибудь согреться. А когда приходят в себя, им кажется, что притулившийся сбоку Деффи, артиллерист с корабля, слишком уж неподвижен. Они пытаются растолкать его... Но поздно. Он «перешел границу».

И вдруг — самолет!

Все словно обезумели, махали веслами, плащами, стаскивали с себя свитера, которые поярче, размахивали ими. Только бы летчик заметил!

Самолет спикировал на шлюпку, покачал крыльями и, перед тем как уйти, сбросил небольшой пакет, угодивший в море. В нем было два аварийных ленча: четыре бутерброда, два яблока, два апельсина и два термоса с какао и кофе.

— Мне пришлось делить это добро на двадцать две части! Право, никогда в жизни у меня не было такого острого чувства ответственности. Делили даже апельсиновую корку...

Часа через два к ним подошел канадский эсминец. Это случилось на десятый день бедствия. Через сутки эсминец прибыл в Галифакс. Всех положили в больницу, кроме одного...

— Как удивительно, как уверенно чувствуешь себя, когда ступаешь по земле...

«И в первой паре танцевать пошла девица Хансен», — вспомнил я строки народной норвежской песни.

Впрочем, не Адам рассказал мне, что в тот же день он пошел на танцы. Я узнал об этом от его сестры Герд.

Она получила от главнокомандующего норвежской армией, кронпринца Улафа, телеграмму о том, что брат ее в безопасности и что его смелости и самообладанию обязаны спасением столько людей.

— Ну, это он, как полагается всякому штабному, преувеличивает, — отшучивается Адам.

Мечта его наконец осуществилась. Он был в числе первых норвежцев, вернувшихся на родную землю в дни, когда еще бушевала война, среди тех военных, которые высадились на севере, в Финмарке, в Киркинесе, освобожденном от врагов Советской Армией.

Вместе с Адамом сошли на берег Тур Хейердал и другие его товарищи. Не было только рядом того, кто перед войной отбывал воинскую службу в батальоне Альта в Финмарке, того, кто должен был первым вступить на освобожденную землю, — его друга и шурина Нурдаля Грига.

Многие норвежцы в те дни повторяли строки из стихотворения «Утро в Финмарке»:

Я ничего тебе не дал,
Требуй, я выдам сполна!
Всю мою юность и силу
Требуй на подвиг, страна!
Дай мне любить тебя право!

Счастье твое воспою,
Телом от стужи прикрою
Голую землю твою!

(Перевод Д. Самойлова)

Но самого поэта не было среди тех, кто с первого норвежского теплохода сходил на берег в Киркинесе.

Не только радостную телеграмму о подвиге брата довелось получить Герд Эгед-Ниссен. Пришла к ней в Исландию и горькая весть о том, что Нурдаль Григ, который не раз участвовал в воздушных налетах на Германию, в ночь со второго на третье декабря 1943 года погиб во время бомбежки Берлина.

Тело его распознали по тоненькой золотой цепочке на шее, цепочке, подаренной деду Адама и Герд самим Джузеппе Гарibaldi.

...Теперь мне даже как-то странно, что не тогда, в Киркинесе, познакомились мы с Адамом.

Ему засчитали стаж армейского врача, разрешили заниматься практикой, но от злополучных экзаменов не освободили. Он должен был сдать их через два года. Тогда Адам с Дидди, медицинской сестрой-норвежкой, которую он встретил в Америке и которая стала его женой, поселился в маленьком провинциальном городке, где меньше было соблазнов, отвлекающих от учебы. Так он лечил и зубрил. Зубрил и лечил. И лишь сдав экзамены, переехал в Осло, открыл врачебный кабинет, или, как здесь называют, «контору», в рабочем районе города.

На прием к Эгед-Ниссену сейчас попасть не так-то легко, но когда я прихворнул в Осло, мне также довелось стать его пациентом.

Цена трамвайного билета

Через несколько дней после того как Адам показал мне чудеса полуострова Бюгдой, я слушал его выступление на заседании муниципального совета.

Из рабочего района, где я жил, в центр города, к ратуше, добираться надо было трамваем, на котором изображен сплут старинного селенотлегнего замка-крепости Акерхюс с двумя островерхими шпилями. Долгое время это был, а для многих и по сей день остается, символ Осло. Теперь его вытесняет другой, новый символ — сплут завершеного в пятидесятом году здания ратуши, огромные кирпичные кубы которого, напоминающие не то элеватор, не то водонапорные башни, сначала кажутся подчеркнута грубыми, а затем, когда приглядишься, гармоничными и прекрасными.

В одной из высоких башен ратуши муниципальный совет обсуждал, казалось бы, на первый взгляд, маленький, но насущный для трудового человека вопрос об увеличении платы за проезд на трамвае.

С высокой галереи зала заседаний, где находится публика, хорошо были видны места муниципальных советников. Я сидел рядом с Осмундом Бьекхольдом, председателем профсоюза рабочих газовой промышленности Осло. Докладчик — мэр города, член правления рабочей партии — сообщил, что убытки от трамвая, принадлежащего городу, достигают тридцати миллионов крон в год. Он предлагал повысить и без того высокую оплату за проезд с пятидесяти до семидесяти пяти зре.

При этом, объективности ради, унылым голосом он прочел письмо-протест «газовщиков» столицы, подписанное по их поручению Бьекхольдом.

Муниципальные советники-коммунисты предлагают оставить плату за проезд прежнюю, покрыв дефицит из общего бюджета города, то есть главным образом за счет подоходного налога.

— Конечно, мы, владельцы автомобилей и доходов, — съязвил выступавший против этого предложения, — не ездим на трамваях, но должны будем взять на себя расходы тех, кто пользуется ими. А разве милостыня не унижает тех, кто в ней не нуждается?

Слово предоставлено Адаму Эгед-Ниссену. Он говорит спокойно, даже тихо. Вспоминается запись Паскаля: «Хочешь, чтобы тебя слушали, говори тихо», — каждое его слово доходит до аудитории.

Настороженная тишина вдруг разрядилась смехом на левых скамьях. Вспышки смеха повторяются, перекатываются и на правые скамьи. Я снова жалею, что не знаю языка.

Казалось бы, все в порядке — доводы Ниссена действуют. Но Бьекхольд говорит, что это как о стену горох: рабочая партия и консерваторы имеют в совете большинство.

— Основные тяготы от удорожания проезда лягут на людей, получающих зарплату. Они ездят на трамваях на работу, чтобы своим трудом доставлять прибыль предпринимателям. Было бы справедливо, чтобы дефицит покрыли из все возрастающих прибылей, а не из зарплат...

Выступление Адама построено как вопросы и ответы на них, высмеивающие его противников.

После двухчасовых прений, которые заключает докладчик, считающий, что раз на трамваях ездят и жители других городов и иностранцы, незачем предоставлять им дотацию за счет муниципалитета Осло. Принимается предложение с нового года повысить стоимость проезда до семидесяти эре.

Совет переходит к следующему вопросу, а я медленно спускаюсь по лестнице в зал, к картине художника Рейдера Оулие. В центре полотна — знамена бастующих работниц спичечной фабрики и среди них, впереди — Оскар Эггеде-Ниссен.

Так, принимая с течением времени все новые и новые формы, продолжается борьба рабочего класса. Вот и сейчас передо мной разыгралась маленькая схватка в этой битве.

Как передавалась от поколения к поколению цепочка Гарibaldi, передается и эта семейная традиция Ниссенов, благородная традиция интеллигенции, связавшей свою жизнь со справедливой борьбой трудового народа.

Домой я возвращался на трамвае еще за полкроны.

Все это было через несколько дней. И я прошу простить меня за отступление. А в то воскресенье мы побывали в музее «Фрама».

На последнем приколе

Когда на другой день после спуска корабля дома у Нансена собрались друзья, условились не произносить торжественных спичей. Нансен не терпел красноречия. И если по началу чьей-нибудь речи видно было, что она будет длинной и «красивой», двое друзей (об этом заранее просил их хозяин) отодвигали стулья, бежали на кухню и принимались насосом качать воду...

Если вчера еще многие гадали, как будет назван этот корабль — именем ли жены «Ева» или именем дочери «Лив», именем родины «Норвегия» или местом, к которому он устремится — «Северный полюс», — то сегодня за столом оставалось лишь вспоминать, как, взойдя вместе с Нансеном на мостки, Ева сильным ударом разбила о нос корабля бутылку шампанского и громко сказала:

— Фрам — имя ему.

Фрам — значит «вперед»!

Сейчас якоря «Фрама» лежат на бетонном полу. Просмоленная обшивка его сильно выгнутого корпуса, укрепленного на могучих опорах, закрывает от нас — мы идем вдоль днища — высокие мачты. И только поднявшись по железному трапу до уровня палубы, мы видим, что на средней мачте, в тридцать два метра над уровнем моря (высота одиннадцатизэтажного дома), прилажена дозорная бочка, а клотик доходит чуть ли не до вершины крыши.

В корпусе «Фрама» — специальная прорезь, чтобы была видна почти что метровая толщина бортов: двойная обшивка, между которой залит голстый слой вара, сплетение толстых балок и внутренних распорок из дуба, пролежавшего перед тем на складах верфи тридцать лет.

Впрочем, стоит ли вновь рассказывать о том, что так точно и подробно описано самим Нансеном? Деревянное это судно вынесло и трехлетний дрейф и сжатие льдов и вернулось невредимым из своего легендарного плавания, как бы подтверждая правоту поговорки поморов: на деревянных судах плавают железные люди. Тот же, по воле

которого построили «Фрам», — мечтатель, а не фантазер. Смелости его равнялась лишь скрупулезная точность расчёта.

В Петербурге на заседании Русского географического общества, отвечая на вопросы ученых, Нансен сказал:

«Если меня спросят, почему я не выстроил «Фрам» из стали, отвечу: не потому, что я сомневался в возможности делать его достаточно крепким при постройке из стали, но потому, как справедливо замечает адмирал Макаров, что люди всегда склонны доверять больше тому, что они знают».

А норвежцы знают деревянные суда и умеют на них ходить. Викинги отплывали в дальние странствия на дубовых драконах, рыбаки днюют и ночуют в море на сосновых шнеках-улитках. Но и рыбаки и викинги всячески избегали царства льда и снега Нифльхейма, возникшего на севере еще до сотворения Земли. Оттуда шли снег, бури, морозы и всяческие невзгоды. В отличие от христиан, уготовивших для грешников вечный адский пламень преисподней, язычники-скандинавы отправляли своих грешников в царство холода и мрака — Нифльхейм, во владения Хель, дочери бога зла Локки. Зал в ее доме называется несчастьем, ее блюдо — голод, ее нож — жажда, лен — ее раба, медлительность — ее служанка, падение — ее порог, ее постель — печаль... Кто же по своей воле станет стремиться в ее царство?

Но путь «Фрама» по воле Нансена лежал к Нифльхейму.

Его экспедиция была не только делом географа-исследователя, но и борьбой за национальное самоутверждение. Пора наконец считать народ не по числу голов, а по числу горячих сердец. Норвегия должна стать независимой! У нее остались не только саги о древних героях. И сегодня сыны ее могут во имя человечества совершить не меньшее! Ее Орфей — Эдвард Григ — покорила Европу, стихи Бьернсона звучат на всех языках земного шара. Пьесы Генрика Ибсена, лучшего драматурга современности, потрясают всех мыслящих людей на свете. И вот теперь на весь мир звучит имя человека, ученого, уже известного тем, что он свершил то, что почиталось невозможным, — на лыжах пересек Гренландию.

Слава Норвегии — в деяниях ее сынов.

Вот почему стортинг на постройку «Фрама» и экспедицию Нансена вотирует немалые суммы. Вот почему «властитель дум» — Бьернстjerne Бьернсон в стихах, посвященных спуску «Фрама» со ступеней, возглашал:

Прославишь ты Норвегию в веках!

И на всех берегах Норвежского моря народ, провожая «Фрам», выходил навстречу ему на яхтах, на шлюпках, приветствуя и ожидая подвига.

И Нансен не мог не совершить его...

С каким душевным трепетом хожу я по палубе, спускаюсь в трюмы «Фрама», захожу в машинное отделение корабля, имя которого теперь принадлежит истории, так же как имя каравеллы, на которой Колумб открыл Новый Свет, — «Санта Мария», или «Аврора», залпы которой возвестили рождение нового мира.

«Фрам» совершил больше, чем то, к чему его готовили. После первого дрейфа во льдах Арктики он под командой Отто Свердрупы ушел в четырехлетний рейс-экспедицию вдоль ледовитых берегов Америки. А затем трехлетнее плавание и сенсационный успех — «прыжок» Руала Амундсена к Южному полюсу.

Когда во льдах Нансен подымал на «Фраме» «чистое» норвежское знамя (без шведских эмблем), это было актом гражданского мужества, призывом к борьбе. Когда Амундсен на Южном полюсе поднял норвежское знамя, независимость Норвегии была уже отвоевана.

В одной из кают «Фрама» хранится этот национальный флаг, который развевался на Южном полюсе.

Возвращаясь из своей экспедиции в Антарктиду, «Фрам» первым шел через только что открытый Панамский канал.

Одного нет на «Фраме» — такой привычной сейчас, связывающей любую экспедицию (даже ту, которая шла на плоту из бальзовых бревен по Тихому океану) со всем миром, — рации... И сам не ведаешь, что в мире происходит, и о себе вести не подашь.

На столике в каюте Нансена фотография той, «которая дала имя кораблю и имела мужество ждать».

Навигационные приборы, снаряжение путешественников, меховая доха с капюшоном, сапоги из тюленьей кожи, зубо-врачебные щипцы, хирургические ножницы... А среди них — «сооружение», известное теперь всем нашим домашним хозяйкам, так детально описанное Нансеном как вещь, необходимая в любом путешествии на собаках, во льдах, — обыкновеннейший примус... Тогда он был новейшим изобретением скандинавов.

В каждой из шести кают на стене — табличка с фамилиями тех, кто жил в них во времена исторических рейсов «Фрама». Каюта Нансена, каюта Амундсена, каюта Свердрупа. Все норвежцы и среди них русский — Александр Кучин.

Его подозревали в том, что он провозил в Россию революционную литературу. Чтобы спастись от ареста, Кучин бежал в Норвегию и некоторое время занимался океанографией в Бергене, у друга Нансена, профессора-океанографа Хелланда-Хансена.

Нансену так понравился этот энергичный, способный студент, что, помогая Амундсену готовить экспедицию, он посоветовал включить в команду и Кучина, хотя стортинг, субсидировавший эту экспедицию, объявил ее делом чисто норвежским. И Амундсен не раскаялся в том, что он и здесь послушался Нансена.

Через два года после открытия Южного полюса, вернувшись в Россию, Кучин стал капитаном «Геркулеса»; «Геркулес» погиб со всей командой у берегов Таймырского полуострова при попытке пройти от Шпицбергена до Владивостока северо-восточным морским путем...

Только через восемь лет на специально выстроенном для этого корабле Амундсену удалось пройти тем путем, который оказался губительным для Александра Кучина. Этим же путем Амундсен собирался вернуться из Аляски на родину.

И в том и в другом рейсе в экипаже «Мод» радистом (уже была рация) и матросом был русский — Геннадий Олонкин. Амундсен взял его в команду уже у Югорского Шара. На обратном пути с Аляски их осталось четверо — Амундсен, Харальд Свердруп, Вистинг и Олонкин.

История полярных исследований не знает такого примера, когда ответственнейшая и опасная экспедиция предпринималась бы при столь малом числе участников.

«Возможно, что мы подвергались очень большому риску, выходя в море на судне таких размеров, как «Мод», и имея всего лишь четырех человек для управления судном в случае бурной погоды, — писал Амундсен. — Но мы все были людьми испытанными, никто из нас ничуть не опасался, как пойдет дело...»

Геннадий Олонкин остался жить в Норвегии. Еще перед поездкой в Осло я отыскал его адрес. Он работал в метеорологическом институте в Тромсе. Но, приехав туда, я узнал от его жены, что мой тезка болен и лежит в Осло в больнице, где я его и нашел...

Но в тот день на полуострове Бюгдой в доме «Фрама» мне об Олонкине напомнили только фамилии Кучина и Вистинга — того самого, который вместе с Амундсеном, Геннадием Олонкиным, Харальдом Свердрупом четвером шли на шхуне «Мод» от Аляски вдоль северных берегов Сибири в Норвегию.

Вистинг был и на «Фраме», уходящем в Антарктиду, в первой пятерке людей, достигших Южного полюса. Он был первым штурманом на шхуне «Мод» во всех ее плаваниях и участником первого перелета дирижабля «Норге» над Северным полюсом. Когда в 1935 году уже не оставалось в живых ни Фритъофа Нансена, ни Отто Свердрупа, ни Руала Амундсена и стортинг решил сохранить «Фрам» как национальную реликвию, вполне естественно было, что Оскар Вистинг стал директором-хранителем нового музея.

Местом последнего прикола «Фрама» избрали Бюгдой... Соорудили бетонный фундамент. Подвели к берегу прославленный корабль и со всевозможными предосторожностями — кранами и на тросах — вытянули «Фрам» на сушу, чтобы затем возвести над ним огромный бетонный шатер.

На палубе, распоряжаясь работами, направляя их, стоял шестидесятипятилетний штурман «Фрама» Оскар Вистинг, и когда корабль, навеки простившись с соленой волной, встал на железобетонные опоры, сердце старого полярника не выдержало... Оскар Вистинг умер от разрыва сердца на палубе любимого корабля.

Дата эта, 3 декабря 1936 года, отмечена на бронзовом мемориальном барельефе — на внутренней стене бетонного шатра.

Одна из католических монахинь фотографирует сейчас эту памятную доску.

Здесь, и особенно в машинном отделении «Фрама», их темные длинные одеяния и белые крылатые чепцы кажутся живым анахронизмом. Но они, не смущаясь, останавливаются рядом с нами около чучела «Фина» — эскимосской собаки на «Фраме», отличившейся во время второй экспедиции Свердрупа.

„Собачий вопрос“

Нансен был убежден, что если бы он взял с собой больше собак, то непременно дошел бы до Северного полюса. Выступая на самом большом митинге в истории страны, на площади у крепости Акерхюс, перед народом, встречавшим Нансена, Бьернсон обронил шутку:

— Нансен указал путь к Северному полюсу, и теперь достижение полюса — лишь «собачий вопрос»...

Поэт на этом митинге говорил о значении, которое экспедиция имела для всего человечества, и, обращаясь к народу, призвав обнажить головы, воскликнул: «Примите наше спасибо за то, что вы по мере сил потрудились во славу и честь Норвегии, за то, что умножили богатство страны, умножив в народе любовь к ней и веру народа в собственные силы: за все то, что вы сделали для науки, и за то, что превратили нас на время как бы в одну семью, счастливую общим счастьем!»

Но, забывая, что выбор собак — дело человеческого расчета, многие, отмечая в сторону высокие свойства характера тех, кто вышел победителем из ледяных пустынь мрачного царства Нифльхейм, хотели всю честь победы приписать собакам.

Экспедиция Амундсена, опередив английскую экспедицию Скотта, подняла свой флаг на Южном полюсе. Скотт и его спутники погибли на обратном пути, Амундсен с друзьями вернулся невредим и здоров.

И вот на обеде в честь Руала Амундсена в Лондоне, в Королевском географическом обществе, раздраженный неудачей английской экспедиции, не в силах отрицать заслуг Амундсена, председательствующий лорд Керзон сделал все, чтобы умалить их, и свою речь закончил:

— Позволю себе поэтому предложить прокричать троекратное ура в честь собак!

Сей оратор позволял себе хамить и по отношению к Советской стране. Помню многолюдные демонстрации на улицах Петрограда в 1923 году с протестом против его ультиматума. Не знал я тогда, что, сжигая соломенное чучело этого лорда, мы, студенты, не только отвечали на ультиматум, но и как бы вступались за таких людей, как Амундсен и Нансен, подвиг которых лорд хотел принизить.

...Невдалеке от вмерзшего во льды «Фрама» Нансен, уходя с Иохансеном пешком к Северному полюсу, прощался со Свердрупом. Когда он выйдет, где и вообще выйдет ли, было, как говорится, одному богу известно. Свердруп оставался капитаном на дрейфующем «Фраме». Когда окончится дрейф и выйдет ли когда-нибудь «Фрам» в открытую воду, вернется ли из этой самоубийственной, как уверяли многие ученые, экспедиции, — тоже неизвестно... Свердруп провожал своего друга несколько километров по торосам, и когда наступила минута расставания, он сел на край нарта и спросил, не думает ли Нансен после возвращения домой отправиться к Южному полюсу.

— Да... — отвечал тот.

— В таком случае, я надеюсь, ты дождешься моего возвращения? — тихо сказал Свердруп.

На Южный полюс Нансен не взял его только потому, что великодушно уступил «Фрам» Амундсену для этой экспедиции.

В этом прощании, в этой застенчивой просьбе быть еще раз вместе в невероятных трудах и лишениях, осуществляя новую мечту, в этом вечном стремлении вперед — «фрам», — мне кажется, сказались лучшие черты народного норвежского характера.

Весь состав экипажа «Фрама» свидетельствовал о том, что выдержка и самоотвержение полярных исследователей — свойство народное. Первые десять человек Нансен отобрал из сотен желающих, а когда экипаж был укомплектован и оставалась свободной одна только вакансия кочегара, пришел двадцатипятилетний студент Фредерик Иохансен — лейтенант, ушедший из армии, чтобы учиться в университете, чемпион Европы по гимнастике. Ну что ж, раз других вакансий нет, он будет кочегаром. Этот лейтенант, студент, гимнаст, кочегар и стал тем вторым человеком, с которым Нансен отправился пешком к Северному полюсу.

А за год до этого в Тромсе в половине девятого утра на палубу поднялся говорливый весельчак Берндт Бентсен, чтобы «переговорить» с Нансеном. А через полтора часа его, штурмана, вступившего в экипаж в ранге простого матроса, «Фрам» уносил в открытое море, в многолетнее полярное путешествие...

Сколько было желающих разделить труды и участь Нансена!

— Среди тех, кто был в этих экспедициях, только двое не норвежцы — Александр Кучин и Геннадий Олонкин, — говорит Адам.

— Ну что ж, я рад, что при всем различии в истории наших народов есть сходство в характере норвежцев и русских, что не только страны наши, но и сердца рядом! — отвечаю я.

Может быть, поэтому так мила нашей душе Норвегия. И Чехов, и Горький, и Блок, и Твардовский писали о ней с неизменной душевной симпатией...

— Не зря говорят, что датчанин — это француз Скандинавии, швед — англичанин Скандинавии, а норвежец — это русский Скандинавии, — смеется Адам. И, помолчав минуту, добавляет: — Ты прав, в нашем народе много черт, которые для иностранцев, знающих норвежскую литературу, воплощаются в образах волевых людей, не идущих на компромиссы, благородных, цельных натурах — образах Бранда, доктора Штокмана...

Но ведь есть и другой пример норвежского характера, тоже типический, — Пер Гюнт. Вечно сомневающийся, нерешительный, колеблющийся человек, безвольный, половинчатый, мучающийся и мучающий других, не умеющий отличать добро от зла. Его роднит с первым только любовь к дальним путешествиям, путевым приключениям. Если первый характер даже в положении, ведущем к гибели, всегда оптимистичен, то второй, даже благоденствуя, преисполнен скепсиса. И, может быть, лучше всего этот характер после ибсеновского Пер Гюнта выражен в творчестве Гамсуна.

— С этим характером ты здесь не раз встретишься... Помни, я тебя предупредил! — снова смеется Адам.

И монахини тоже улыбаются, делая вид, что вчитываются в текст первой телеграммы, которую послал из Варде Нансен, сообщая, что вернулся после трехлетних скитаний и о том, что «он ожидает скорого возвращения «Фрама».

Нансен вспоминал, как, высадившись на пристани, никем не узанный, он пришел в почтовую контору, положил на стол солидную пачку (несколько десятков) телеграмм и сказал, что ему хотелось бы отправить их возможно скорее. Почтмейстер пытливо поглядел на него, спокойно взял пачку, но как только взгляд его упал на подпись под лежавшей сверху телеграммой, выражение его лица изменилось. Глаза засияли, и он, встав с места, горячо поздравил Нансена со счастливым возвращением.

Разглядывая эту самую первую телеграмму, я вспоминаю, что один из основателей компартии, Адам-Ялмар Эгед-Ниссен, в те годы был почтмейстером в Варде.

— Так это твой отец первый в Норвегии поздравил Нансена с победой?

Но Адам смотрит на часы и говорит, что мы слишком долго ходим по «Фраму». Нас уже, наверное, ждет Анналиса Урбие.

Отец Анналисы Урбие был губернатором Финмарка как раз тогда, когда там служил Адам Ялмар Эгед-Ниссен, который был не только почтмейстером. Он по просьбе русских товарищей организовал в маленькой местной типографии печатание большевистских листовок и брошюр, которые на рыбацких суденышках переправлялись в Россию. Царское правительство заявило протест против существования этой типографии. И, воспользовавшись тем, что Ниссен уехал на сессию стортинга, губернатор Урбие опечатал типографию. Тогда жена Ниссена, мать Адама, посадила своих многочисленных малюток в колясочку и во главе большой группы рабочих, рыбаков, матросов отправилась к типографии, требуя снять печати.

Урбие пришлось уступить.

— Это была, наверное, первая революционная демонстрация, в которой ты принимал участие?

— Нет, меня там не было,— серьезно отвечает Адам.— Герд сидела в этой колясочке, а я родился позже, когда отца назначили почтмейстером в Ставангер. Там меня мать действительно возила на демонстрации.

Пути губернатора Урбие и почтмейстера Ниссена еще раз скрестились в Москве, где Урбие был первым полномочным послом Норвегии в Советском Союзе, а Ниссен прибыл делегатом на конгресс Коминтерна.

И вот теперь дочь губернатора и посла Анналиса Урбие, коммунистка, узница гитлеровских концлагерей, написавшая проникновенную книгу воспоминаний о женском лагере в Равенсбрюке, назначила нам встречу в старинном кабачке художников и артистов — «Бломе», известном и тем, что вот уже скоро сто лет, как там ежегодно присуждается завсегдаю «Большой рыцарский крест Ордена Красного Носа».

Нарисованные лучшими художниками по всем правилам геральдики шуточные гербы этих «рыцарей», среди которых имена Бьернстьерне Бьернсона, Генрика Ибсена, Эдварда Грига, художников Кристиана Крога, Эдварда Мунка, Эрика Вереншельда, скульптора Густава Вигеланда, поэта Оверланда, украшают стены «Блома».

Новая сага о Фритьофе

На рыбацком мотоботе двенадцать человек бежали из Олесунда в Шотландию, чтобы примкнуть к расквартированным там отрядам норвежской армии.

На борту были люди различных профессий, несхожих судеб. Но всех их ждал один конец.

Предатель донес в гестапо о готовящемся побеге. Как назло стояла ясная погода, и в открытом море мотобот не смог уйти от немецкого миноносца.

Это было в те дни, когда рыбацкий поселок Телевог на острове Сотра, вблизи от Бергена, встал в ряд с чешской деревней Лидице и французским селением Орадур.

За то, что в доме одного из рыбаков скрывались несколько патриотов, оказавших вооруженное сопротивление, Телевог был сожжен дотла гестаповцами, часть взрослых мужчин расстреляна, остальные вместе со стариками, женщинами и детьми угнаны в концлагеря и тюрьмы. Мстят за убитого в Телевоге гестаповца, гитлеровцы расстреливали всех, кто был в те дни пойман при попытке бежать из Норвегии.

Среди захваченных на рыбацком мотоботе был молодой журналист Сигурд Эвенсмуу. Он работал в подпольной прессе и, спасаясь от провала, бежал в Англию, так как узнал, что на него «заведено дело». Но именно это обстоятельство и спасло ему жизнь.

При аресте Эвенсмуу опознали и переслали туда, где шло следствие по его «преступной деятельности». Остальных — команду мотобота и беглецов, одиннадцать человек, — тут же расстреляли.

После войны, выйдя из концлагеря, Эвенсмуу написал роман «Они бежали в Англию» — о пережитом, о своих товарищах, о рыбаках с мотобота. Это было взволнованное слово живым о погибших, и роман имел большой успех. Его перевели на многие языки, экранизировали.

Когда несколько лет назад я познакомился в Москве с Сигурдом Эвенсмуу — высо-

ким человеком средних лет, с добрым лицом, внимательными глазами и нервными руками,— я об этом еще ничего не знал. Мне было известно лишь, что он пишет роман о рабочей прессе в предвоенное время.

Теперь, побывав на острове Сотра, в заново отстроенном поселке Телевоге и Олесунде, откуда начал свой злополучный путь рыбацкий мотобот, прожив более месяца в Осло, я знал об Эвенсмуу гораздо больше, чем в дни нашего первого знакомства. С тем большей охотой я принял его приглашение.

Просторный загородный трамвай экебергской линии уносил меня к югу по высокому восточному берегу фиорда, и столица развertyвалась перед глазами по-новому, открывая продолговатые щупальца бесчисленных причалов, каменные громады складов на полуостровах, переплетение корабельных снастей в порту, белокрылые яхты, густо усеянные телами загорающих горожан пляжи и зеленые холмы, окаймляющие Осло.

Нет, думается, не случайно самое высокое место, господствующее над городом — гора Экеберг, отдано здесь мореходной школе. Отсюда прекрасно видны островерхние шпиль старинной крепости, семисотлетний Акерхюс и очертания нового огромного здания ратуши. Но еще километр — и силуэт крепости уже затенен другими строениями, а кубические многоэтажные башни ратуши, кажется, даже выросли. Далеко-далеко; в другом конце города, у самого берега полуострова Бюгдой, виден гигантский пирамидальный шатер, под крышей которого покоится на вечном приколе «Фрам».

Рядом другая пирамида, поменьше, где находится музей мореплавания, но его отсюда не разглядеть. Не виден и стоящий бок о бок с ним музей «Кон-Тики». На днях я являлся здесь несколько часов с другом Тура Хейердала — майором Кнутом Хаугландом.

Хаугланд был радистом гой диверсионной группы, которая в дни войны взорвала завод тяжелой воды в Рьюкане. Он известен Норвегии и тем, что несколько месяцев с рацией скрывался в вентиляционной трубе центрального родильного дома в Осло и от туда передавал поступавшие к нему сведения в штаб, в Шотландию.

Немцы запеленговали рацию. Родильный дом был окружен эсэсовцами.

Сага о том, как Хаугланд среди бела дня с боем вырвался из окружения и пробрался в Швецию, еще не написана. Даже в том фильме, который режиссер Арне Скоуэн посвятил этому периоду жизни Хаугланда (на днях он мне показал черновой, еще не законченный вариант), эпизоду — выходу «из кольца» отведено всего несколько заключительных кадров.

— Я очень устал от войны, от всей этой стрельбы и крови, у меня пошаливали нервы,— рассказывал мне в музее «Кон-Тики» директор его Кнут Хаугланд.— И тут я получил весточку из Америки от Хейердала: «Собираюсь отправиться на деревянном плоту через Тихий океан, чтобы подтвердить теорию заселения южных морей выходцами из Перу. Хочешь участвовать? Гарантирую лишь бесплатный проезд до Перу, а также хорошее применение твоим техническим знаниям во время плавания. Ответай немедленно». Отличная разрядка, подумал я. Пошел к начальству и попросил отпуск для отдыха и лечения нервов на два месяца. А на следующий день телеграфировал: «Согласен точка Хаугланд»... Дальнейшее всем известно. Правда, отпуск пришлось продлить — сто один день были мы на «Кон-Тики». Но нервы мои успокоились. Пришли в норму. Знаете, великая вещь переменить на время занятия...

Помня о признании Нансена, который за пятнадцать месяцев, проведенных во льдах (после того как, оставив «Фрам», он сам-друг отправился пешком к Северному полюсу), прибавил в весе десять килограммов, я легко поверил Хаугланду, что сто один день и сто одна ночь пребывания на «Кон-Тики», отданном в безбрежную власть Тихого океана, могут укрепить самую расшатанную нервную систему.

Но как бы то ни было, плоскокрыший дом, где покоились останки «Кон-Тики», слишком невысок, чтобы его можно было увидеть из утопавшего в жимолости и сирени дома Сигурда Эвенсмуу.

Встретил меня Эвенсмуу так, словно между прошлой встречей нашей не пролегли два года.

Узнав, что я был на острове Сётра, в Телевоге, он стал расспрашивать о моих впечатлениях.

— Я хорошо знал тех двоих «командос», которых гестаповцы застигли в Телевоге,— сказал Сигурд.— Один из них, Эмиль Боль, радист из Вестфьорда, был убит в схватке. А второй ранен. Его подлечили и вместе с сыном хозяина дома, где они скрывались, Ларсом Теле, бросили в Грини, где и расстреляли. Это были удивительные парни. Ларс очень тосковал о своих детях... А детей его вы видели в Телевоге? — живо спросил Сигурд.— Впрочем, они теперь совсем взрослые.

— Я разговаривал с его родителями.

Но не успел я рассказать о встречах в Телевоге, как со двора в комнату вбежал шустрый мальчуган. Он на ходу поздоровался со мной и исчез в глубине квартиры. А через минутку дверь со двора снова распахнулась, и опять вбежал тот же мальчуган, осмотрелся, поздоровался — и так же, как первый раз, исчез в глубине квартиры...

Заметив мое удивление, Эвенсмуу рассмеялся:

— Это другой! Близнецы... Уже после войны родились.

Мы сидим в большой комнате с окнами в сад, с книжными до потолка полками, обступившими стены, за низеньким продолговатым столиком. Наливая в чашки кофе, Сигурд рассказывает о том, что он сейчас пишет, о своих планах и замыслах.

Закончив трилогию, посвященную предвоенной рабочей прессе, Сигурд Эвенсмуу написал роман о том, что будет после атомной войны.

— О людях нового каменного века! — с горькой усмешкой говорит он.— Это литература. Но сейчас мы должны делать все, чтобы такие книги не стали пророческими.

Лучшие произведения Эвенсмуу пережиты им лично, они, как у нас говорят, «документальны». Так было с романом «Они бежали в Англию» и с поставленным норвежцами совместно с югославами по его сценарию фильмом «Кровавый путь» — о военнопленных югославах, привезенных гитлеровцами в Норвегию, об их трудной судьбе и подвигах, которые они совершили вместе с людьми норвежского движения сопротивления. Многие из вошедшего в фильм испытано самим писателем за два мучительных года, отнятых у него концлагерями.

А какие жизненные впечатления отражены в романе об атомной войне?

— Во-первых, творческое воображение, а во-вторых, личный опыт той борьбы, которую вместе со многими норвежцами я веду сейчас, против атомной бомбы, за полное, хотя бы одностороннее разоружение, за то, чтобы Норвегия разомкнула руки, сжимающие ее в слишком цепких объятиях — ведь и поцелуями можно задушить, — и вышла из НАТО. Некоторые утверждают, что мы маленькая страна и от нас ничего не зависит. Ерунда! Я убежден, что и малый народ может сделать большое дело, особенно на пути мира, — горячо говорит Эвенсмуу.— Ведь все, что свершил Нансен, тоже считалось сначала невозможным. Фантастичным. А когда он обратился к правительству с просьбой ассигновать всего лишь пять тысяч крон на лыжный переход через Гренландию, газеты писали, что «было бы преступлением оказать поддержку самоубийце». И правительство вяло их голосу, а не Нансену. Правда, ученые оказались более благосклонны к нему, — рассмеялся писатель, — Нансен защищал свою докторскую диссертацию за четыре дня до того, как отправился в Гренландию. Идеи его были настолько новы и оригинальны, что почтенные оппоненты просто ничего не поняли. И докторскую степень присудили ему только потому, что он уходил туда, где, по их мнению, неминуемо должен был погибнуть. Но победил тот, кто людям здравого смысла казался безрассудным. И малый народ может прокладывать пути мира, — повторил Эвенсмуу...

За последние годы, как признался мне Эвенсмуу, он все больше и больше «вдохновляется» кинематографией, или, как он выразился, «погружается» в ней. За сценарием «Они бежали в Англию» последовал сценарий «Кровавый путь», известный советским зрителям. В те дни, когда я был в Осло, по роману Аксея Йенсена «Лина» здесь снимали фильм, сценарий которого также написал Эвенсмуу.

К тому же он стал заправским кинокритиком и каждые две недели регулярно выступает по радио с очередным обзором новых демонстрирующихся в Норвегии кино-

фильмов. Ему, как и многим другим литераторам, радиовещание, находящееся на государственном бюджете, дает то, чего не в состоянии дать труд писателя в стране, где тираж романа в три тысячи экземпляров считается очень большим, — регулярный заработок.

— Этот дом я смог купить лишь потому, что получил компенсацию за те два года, которые находился в концлагере...

Сейчас Эвенсмуу увлечен новой работой.

— Груды материала пришлось перебрать для нее. — Эвенсмуу уважительно поглядывает на книжные полки, обступившие плотным строем высокие стены комнаты. — Несколько месяцев неотрывного труда, и только сейчас кончаю синопсис.

Синопсис

Синопсис — по-адресному нечто среднее между нашей заявкой на сценарий и либретто, самый непонятный для меня жанр, границы которого неуловимы.

Новый синопсис Эвенсмуу — «заявка» на сценарий фильма о Нансене.

И впрямь, разве дела Нансена не стали легендарными еще при жизни? Разве не достойна эпической саги жизнь того, кого Ромен Роллан называл «единственным европейским героем нашего времени»?

В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли — таково было кредо Чехова. Прообраз этого человека он мог найти в жизни полярного путешественника, у которого не только лицо и мысли, но и дела были прекрасными. И это прекрасное давалось не само собой, а требовало большой воли, преодоления трудностей, самопожертвования, что особенно было близко Чехову. Вскоре после выхода книги Нансена о походе «Фрама» у Чехова возник замысел пьесы, посвященной людям, отправившимся к полюсу. Этим своим замыслом, как бы здесь сказали — «синопсисом», он поделился с Книппер-Чеховой и со Станиславским. Одно из действий новой драмы должно было происходить на дрейфующем, затёртом во льдах корабле. Чтобы лучше «войти в материал», Антон Павлович, уже безнадежно больной, решил поехать в Норвегию, на север, в Тромсе. Сопроводить его с радостью согласился отлично владевший скандинавскими языками поэт Юргис Балтрушайтис. Но путешествию этому, намеченному на осень тысяча девятьсот четвертого года, не суждено было состояться. Чехов умер летом.

Нансен прожил с тех пор еще двадцать семь лет. И каких!

Доктор биологических наук и чемпион мира по скоростному бегу на коньках, профессор океанографии, написавший исследование о китах, и лыжник, двенадцать раз подряд завоевывавший первенство Норвегии в беге на дальние дистанции! Великий путешественник-открыватель, талантливый художник, первый из людей, «на своих двоих» пересекший считающуюся до тех пор недоступной человеку Гренландию... Вечный труженик, бесребреник, понимавший, однако, истинное назначение золота... Получив за свою первую работу по зоологии золотую медаль, он попросил, чтобы ее выполнили в бронзе, а разницу в стоимости выплатили деньгами. И на эти деньги он провел четыре месяца напряженной работы на биологической станции в Неаполе. А когда в 1922 году Нансен получил Нобелевскую премию мира — сто двадцать две тысячи крон золотом, вернувшись из пораженного голодом Поволжья, он, не задумываясь, истратил их целиком на помощь голодающим русским крестьянам, на орудия и семена для двух покатоженных сельскохозяйственных станций в России.

Теперь одна из них — совхоз имени Фритьофа Нансена. Этим названием запечатлено в памяти советского народа имя его бескорыстного, самоотверженного друга. Так же как гора Нансена на Тваймьрском полуострове, остров Нансена, отделенный от острова Свердруп проливом «Фрама», — у ледовитых берегов Сибири — память о подвиге бесстрашного исследователя.

Нансен — народный герой Норвегии, неутомимо ратовавший за независимость своей родины, за отделение ее от Швеции. Первый посол Норвегии в Великобритании. Единственный человек, взявшийся в самый разгар интервенции, в мае 1919 года, передать

предложение Ленина о мире правительствам Антанты. Трудно найти лучший пример органического слияния чувства долга перед родиной с чувством долга перед человечеством, патриотизма — с деятельной любовью ко всем народам...

Да, о нем можно писать десятки романов и сценариев, трагедийных и комедийных — благо он сам был одарен большим чувством юмора, — и все же не исчерпать многогранное содержание его жизни.

Я понимаю увлеченность Эвенсмуу... И сам с радостью взялся бы за такое дело. Здесь даже можно пренебречь упреками тех критиков, которые сочли бы неправдоподобным «положительный образ этого героя», чьи даже внешние данные — и статность, и высокий рост, и мужественное, красивое, волевое лицо — превышают общепринятые в кинематографии кондиции «идеального героя». А в посвящении Фритьофом Нансеном своей книги «Фрам» в Полярном море той, «которая дала имя кораблю и имела мужество ждать», разве не звучит та лирическая мелодия, которая не раз заполняла его душу?

Но если глубочайшая любовь, соединявшая Фритьофа Нансена с Евой Сарс, всем известна, то мало кто из норвежцев знает о той страничке интимной жизни Нансена, на которой начертано имя нашей замечательной соотечественницы Софьи Ковалевской.

Хорошо знавший ее другой норвежец, Генрик Ибсен, сказал писательнице Анне Леффлер, узнав, что та хочет писать биографию своей подруги:

— Неужели вы собираетесь писать ее биографию в общепринятом смысле? Не должна ли это быть скорее поэма о Ковалевской? — И затем добавил: — Вы не сумеете выполнить свою задачу, если не придадите биографии поэтического колорита.

Оказывается, даже Сигурд Эвенсмуу, «проглотивший» уйму книг о Нансене, не знал об этой истории.

...Было это тогда, когда молодой Нансен приехал из Бергена в Стокгольм, чтобы поделиться с замечательным полярным путешественником Норденшельдом планами пешего перехода через Гренландию. Софья Ковалевская ведала в то время кафедрой математики в Стокгольмском университете. Ее друг Норденшельд познакомил Софью Васильевну с молодым белокурым человеком, Нансеном, на льду стокгольмского катка, и сразу же они произвели сильное впечатление друг на друга.

Встречи их участились. Фритьоф посвятил Ковалевскую в свои замыслы, она верила, что он осуществит то, что до сих пор не удавалось никому, даже Норденшельду, восхищалась им и страшилась за его жизнь.

Через некоторое время она написала своей подруге: «Я нахожусь в настоящую минуту под влиянием самого увлекательного и возбуждающего чтения, какое мне когда-либо случалось встречать. А именно, я получила сегодня от Н. небольшую статью его с изложением плана предполагаемой поездки по льдам Гренландии. Прочитав ее, я совершенно упала духом... Конечно, ничто на свете не в состоянии заставить его отказаться от этой поездки... Он слишком хорош, чтобы рисковать своей жизнью в Гренландии», — добавляла она слова их общего друга, который тоже находил, что работа Нансена «просто гениальна».

«Увы, такова жизнь, — с горечью говорила Ковалевская, иронизируя над своим неожиданным увлечением. — Всегда и во всем получаешь не то, что желаешь, и не то, что считаешь необходимым для себя. Все, только не это. Какой-либо другой человек должен получить счастье, которое я всегда желала себе и о котором всегда мечтала... Должно быть, плохо подаются блюда на великом празднике жизни, потому что все гости берут точно через покрывало порции, предназначенные не для них, а для других. Во всяком случае, — добавляла она, — Нансен, как мне кажется, получил именно ту порцию, которую он сам желал. Он так увлечен своим путешествием в Гренландию, что нет ничего, что могло бы в его глазах сравниться с этим...»

...Через тридцать восемь лет после первой встречи Нансена с Ковалевской корреспондент тбилисской газеты «Заря Востока» Вержбицкий, сопровождавший Нансена в поездке по Закавказью, ночью, лежа рядом с ним на плаще, разостланном на жесткой, как кирпич, земле, в глухой степи под Ереваном, разглядывая южные звезды и смущаясь при мысли, что великий норвежец сочтет его нескромным, все же не удержал-

ся и спросил, что тот думает о Софье Ковалевской. После долгого молчания Нансен ответил:

— Это был человек редкой духовной и физической красоты, самая, по моему мнению, умная и обаятельная женщина в Европе... Да, безусловно, у меня было к ней сердечное влечение, и я догадывался о взаимности. Но мне нельзя было нарушить свой долг, и я вернулся к той, которой уже было дано обещание... Теперь я об этом не жалею.

Ныне мы знаем имя той, которой было дано это обещание.

Нелегкая жизнь была у Евы Сарс, выдающейся певицы и спортсменки. Предлагая ей стать его женой, чтобы до конца быть честным, Нансен предупредил:

— Теперь мне надо будет отправиться к Северному полюсу!

Ева не возражала...

О Еве Сарс, дочери замечательного ученого-океанографа, основателя Бергенского музея, мать которой была известной собирательницей фольклора, а дядя — знаменитый поэт Вельхавен, Эвенсмуу, конечно, знал несравненно больше, чем я. Рассказ же о Софье Васильевне был для него неожиданным.

Нет, конечно, этот мотив даже краешком не мог войти в синопсис Эвенсмуу. Со всем по-другому он задуман писателем, который все же был рад, что узнал еще об одной черточке из многообразной жизни своего героя. И то, что Нансен был дружен с Максимом Горьким и настойчиво приглашал его в Норвегию, и то, что Горький собирался здесь, у Фритьофа, писать «Мои университеты», тоже обрадовало нашего друга.

— Я хочу построить фильм так, чтобы он помог преодолеть предрассудки, с которыми боролся Нансен, чтобы картина способствовала укреплению давнего содружества норвежцев и русских. Сейчас это особенно важно, когда столько средств направлено на то, чтобы усилить отчуждение!

Содружество... Оно сказалось и в том, что известный русский исследователь Сибири Толль, узнав, что Нансен нуждается в собаках, на деньги сибирских промышленников-доброхотов купил сорок самых лучших ездовых собак.

Еще за два месяца до выхода «Фрама» из Осло караван — сорок собак и триста пудов пищи для них — тронулся в путь из Березова к Югорскому Шару через непроходимую тайгу, по пустынным тундрам северной Сибири. Вел караван зырянин Терентьев, шедший на север со всей своей многочисленной семьей и большим стадом оленей. В пути услышали, что на Печоре свирепствует собачья чума. И Александр Иванович Тронтейм, подряженный Толлем начальник экспедиции, не решился продолжать путь через Печору, как собирался раньше, а от Урала направился прямо к Югорскому Шару. К концу пути снег стаял и караван продолжал свой путь по голой земле, по кочкам и камням, но все же на санях... Сколько трудностей надо было преодолеть! Сколько неожиданностей было в этом трехмесячном переходе! История труднейшего по тем временам путешествия, пусть подсобного, но без которого не увенчалось бы успехом предприятие Нансена, само по себе может лечь в основу фильма. Рассказ о нем, записанный со слов участников, был опубликован в том же году в четырех номерах «Тобольских губернских ведомостей».

А ровно через три года, возвращаясь из ледового дрейфа, уже миновав Тромсе, «Фрам» принял на борт географа Толля, того, кто помог доставить Нансену собак, а теперь прибыл в Норвегию выразить свое восхищение подвигом Нансена, поздравить его от имени русских ученых.

На торжественном обеде в Осло, в королевском дворце, Нансен сказал, что его успеху во многом содействовали его предшественники, русские герои — мореплаватели Дежнев, Челюскин, Прончищев, Лаптев и многие другие, открывшие и исследовавшие берега Сибири от Оби до Берингова пролива...

Но не в науке, не в географических открытиях хочется показать Эвенсмуу русско-норвежское сотрудничество. Оно должно, по замыслу его, быть отражено в другой сфере деятельности Нансена.

Да, он организовал возвращение полумиллиона военнопленных на родину после первой мировой войны, спасал жизнь тысячам азиатских греков, бежавших из Турции, протянул руку помощи рассеянным по свету, лишенным национального очага армянам, организуя их репатриацию в Советскую Армению.

— Эту сторону его жизни и следует, по-моему,— говорит Эвенсму,— раскрыть, показать титаническую деятельность, которую развивал Нансен, организуя помощь голодающему Поволжью.

Долг платежом красен

Нансен хорошо представлял, что такое блокада, не только по записям истории о страданиях своих земляков в годы, когда Англия блокировала Норвегию сто лет назад. Ему самому ценой больших унижений и усилий удалось спасти норвежцев от блокады за год до того, как все ее беды и ужасы были обрушены Антантой на советский народ.

В годы первой мировой войны Норвегия почти весь нужный ей хлеб получала из США. Однако в 1917 году Соединенные Штаты вступили в войну и запретили экспорт в нейтральные страны.

В Норвегии начался голод. Хлеб часто не выдавали даже по карточкам. Дошло до того, что белая мука стала продаваться в аптеках по рецептам. И тогда стортинг послал Нансена в Вашингтон, надеясь на его энергию и популярность среди американцев. Правительство США соглашалось продать хлеб Норвегии при условии, что норвежские суда будут работать лишь на Америку, а рыбаки перестанут продавать рыбу Германии. Но это означало расторжение торгового договора с Германией, отказ от нейтралитета и войну с ней.

США не шли ни на какие уступки: расширение театра военных действий было им выгодно.

Нансен стоял на своем: лучше голод, чем война! При всей своей популярности почти девять месяцев пришлось ему вести поединок с дипломатической машиной США, чтобы подписать с Вашингтоном договор о поставках хлеба, получивший название «Нансеновского договора». Дочь Нансена Лив, именем которой он в свое время назвал один из островов Ледовитого океана, была с отцом в Вашингтоне. Она вспоминала, как однажды он вернулся из госдепартамента в гостиницу вне себя от негодования.

— Эти господа американцы хотят получить точные сведения о будущей норвежской политике, прежде чем помогать нам... И представь, они искренне удивились, когда я сказал, что норвежская политика — внутреннее дело самих норвежцев...

Но как бы хорошо ни представлял Нансен, что такое блокада, даже он был до слез потрясен тем, что увидел в Поволжье, исколесив пораженные засухой Саратовскую и Самарскую губернии.

— Когда нужно идти против русского народа, у империалистов находятся неисчислимы миллиарды рублей! Когда нужно помогать, то с истинно дьявольским споконством они высчитывают, как смерть будет гулять в России неограниченным властелином,— говорил на IX съезде Советов делегат журналист Лев Сосновский.— И не мудрено, что не коммунист, не социалист, а всемирно знаменитый ученый и путешественник Нансен, вышедший из рядов буржуазии, не выдержал, столкнувшись с этим ужасающим, поистине сатанинским замыслом — умерить и быть хладнокровным свидетелем гибели десятков тысяч и миллионов людей. Он, который видел Северный полюс, видел вечные льды, был в атмосфере настоящих холодов, даже он не выдержал и, вернувшись с мест голода, на Брюссельской и других конференциях заговорил языком самого пламенного агитатора и бросил в лицо этим расчетливым ростовщикам именно то, что мы думали, и то, что сказали бы мы, если бы были на этих конференциях. Все наше презрение, всю нашу ненависть к хищникам, издаваемым над несчастным

и страданием великого народа, выразил этот благородный человек, деятель и мыслитель, которого не забудет, конечно, никогда русский народ и в лучшие моменты своей истории.

И если Нансену не удалось побывать вместе со своим верным другом Свердрупом, как мечтали они, на Южном полюсе, то в благородной помощи революционной России они оказались рядом. В те дни, когда Нансен по всему миру собирал средства для Поволжья, Отто Свердруп руководил первой Карской экспедицией, на судах которой был груз — семена, сельскохозяйственные орудия, товары, предназначенные для Сибири. Ему, как и Нансену, не удалось избежать клеветы буржуазных газет, утверждавших, что Свердруп транспортировал в Сибирь оружие для Красной Армии.

На одном из судов, доставивших товары из Норвегии в Архангельск, служил юнгой Юст Липпе, ставший затем одним из организаторов комсомола Норвегии, нынешний заместитель председателя Норвежской компартии.

— Это вы знаете.— И Сигурд Эвенсмуу кладет на стол фотокопию послания гражданину Фритьюфу Нансену, единогласно принятого IX Всероссийским съездом Советов.

«IX Всероссийский Съезд Советов, ознакомившись с вашими благородными усилиями спасти гибнущих крестьян Поволжья, выражает вам глубочайшую признательность от имени миллионов трудящегося населения РСФСР. Русский народ сохранит в своей памяти имя великого ученого, исследователя и гражданина Ф. Нансена, героически пробивавшего путь через вечные льды мертвого Севера, но оказавшегося бессильным преодолеть безграничную жестокость, своекорыстие и бездушные правящих классов капиталистических стран.

Председатель IX Съезда Советов М. Калинин».

— Да, я знаю об этом послании. Пожалуй, нет другого иностранца, который был бы удостоен такой Почетной грамоты. За нее голосовал Ленин. Ведь он был делегатом и основным докладчиком на съезде.

Но долг платежом красен. О, я знаю, чем закончить этот фильм! В Финмарк с боями, освобождая север Норвегии от нацистов, входят наши войска. Отступая, немцы все обрекли огню. Продовольственные склады — увезти их они не успели — уничтожены. Население обречено на голодную смерть. Помню кусок неправдоподобно белой, липкой дороги. Из разбитого и сожженного склада вытекло и растеклось по шоссе сгущенное молоко. Шины автомобилей липнут, оставляя следы в этом клейком вареве, норвежские детишки ложечками стараются собрать в тарелки и кувшинчики «манну небесную».

Помню колонну военных грузовиков, идущую ночью с притушенными фарами по ухабам разбитой фронтовой дороги, среди сопки Заполярья, без отдыха от Мурманска. Не снаряды везут они, а муку, консервы, продовольствие, которое наше командование распорядилось раздать населению. И среди красноармейцев — саратовские парни, самарские — те, которым помогла выжить в год страшной послеблокадной засухи поддержка Нансена.

Вновь назначенный военный комендант Киркинеса — полковник со странной фамилией Лукин-Григэ. Эту приставку — «Григэ» — простой сибирский паренек Лукин, влюбленный в музыку норвежского Орфея, присоединил к своей фамилии еще в годы гражданской войны, когда он вступил добровольцем в Красную Армию. В честь Грига. А на конце «э» оборотное — первая буква имени Эдвард. Не думал, не гадал он тогда, что будет военным комендантом первого освобожденного города на родине любимого композитора...

Долг платежом красен!

— Сколько советских людей погибло, освобождая Финмарк? — словно угадав мои мысли, спрашивает собеседник.

Много! Очень много! Никогда не забыть мне скромных солдатских могил с красными фанерными пирамидками, увенчанными жестяной пятиконечной звездой, в мерзлых болотцах Заполярья, на каменистых сопках.

Встреча с Нансеном

Утром, на другой день после визита к Сигурду Эвенсмуу, я прочитал в газете репортаж о жизни на дрейфующей станции «Северный полюс-8». Советские ученые продолжили дело, начатое Фритьофом Нансеном. Они приняли из его рук эстафету. Ведь это он предложил высаживать с самолетов десанты у Северного полюса и вести длительные исследования круглый год в дрейфующих льдах. Он и набросал проект палатки для такой зимовки.

Теперь к зимовщикам на дрейфующие льды прилетают самолеты с последними газетами, письмами от родных и всем необходимым. Наши полярники разговаривают с домашними по радио, на вертолете к ним прилетают артисты. Обо всем этом прекрасно написал, побывав на такой дрейфующей зимовке, Николай Николаевич Михайлов в книге «Иду по меридиану».

Но при всем этом еще ошутимее мужество человека, ушедшего с одним лишь товарищем да собачьими упряжками в ледяную пустыню, без радио, без ободряющего слова, без расчета на помощь!..

И размышляя об этом, я вдруг увидел, что нахожусь на площади имени Фритьофа Нансена. Двери новой ратуши были отворены, и я вошел в огромный голубостенный, озаренный пламенем стеной росписи главный трехсветный зал высотой в пять этажей.

Над входом, во всю северную стену его, огромная картина — метров девять в высоту и двадцать семь в ширину.

Фрески замечательного живописца Альфа Рольфсена изображают норвежский народ в его делах.

В густом лесу, опираясь на рукоять длинного топора, у поверженной сосны стоит лесоруб; рудокоп, нагибаясь, отваливает в сторону каменную глыбу. С горы спускается жница с ярко-желтыми ржаными снопами, и навстречу ей, мимо родного домика, идет вернувшийся на побывку матрос в темной робе, пересыпая из руки в руку ожерелье, которое он купил в заморских краях для любимой. Уходят вдаль сквозные опоры электропередач, и перед растущей кирпичной кладкой строящегося здания на высокий голубой светлый зал, на яркую роспись южной стены глядит рабочий в фартуке, с молотом в руках. А к ногам его рыбак в зюйдвестке привел шлюпку, и далеко в море, подымаясь к потолку, в перспективе видно, как на утлых суденышках рыбаки выбирают из моря сети. Их поливает дождь... А слева пернатые облака — облака из чаек. И они летят на запад, ко льдам, туда, где усатый человек в высоких сапогах, с непокрытой головой уходит в бескрайнюю ледяную пустыню. На противоположной стороне фрески, у восточной стены, человек в длиннополном пальто, с мечтательно устремленным вдаль взглядом, копной зачесанных назад волос, с характерными подбритыми бакенбардами. Его тоже нельзя не узнать...

Все остальные фигуры — обобщение, но коротко стриженный, уходящий в бескрайние льды человек, и этот, второй, с бакенбардами, — портреты. Первый — Нансен, второй — «некоронованный король» Норвегии Бьернстjerne Бьернсон...

«Когда называешь имя Бьернсона, кажется, что подымаешь норвежское знамя», — писал о нем знаменитый скандинавский критик Георг Брандес.

Прощаясь с Большой землей на Югорском Шаре, в селе Хабарове, Нансен на «Фраме» писал Бьернсону: «Я хотел бы по возвращении найти нашу Норвегию свободной...»

А когда через три года до Бьернсона долетела первая весточка, что Нансен возвращается и достиг норвежской земли, он, зная, как этот подвиг объединит весь народ, усилит национальное самосознание, с восторгом воскликнул:

— Это вам не бочка с водкой для одурманивания народа!

И когда, изображая норвежцев, художник захотел персонафицировать лучшие черты своего народа, не случайно избрал он Бьернстjerne Бьернсона и Фритьофа Нансена.

Разве мог он показать общие, присущие народу черты, его духовное единство, его своеобразие ярче, чем сделал это, избрав символом двух этих выдающихся, так не похожих друг на друга людей, с портретной точностью сохраняя их личные, неповторимые черты?

В этих двух исключительных индивидуальностях с наибольшей силой воплощены типические черты норвежского национального характера. О них Фридрих Энгельс писал своему другу Зорге: «Люди здесь, т. е. в деревне, красивы, сильны, смелы... и фанатически религиозны».

Эти слова полностью оправдываются деятельностью Бьернсона и тогда, когда он, молодой писатель, сын пастора, приписывал победу немцев над французами во франко-прусской войне тому, что германские офицеры распевали перед фронтом псалмы Лютера, и тогда, когда он с энергией новообращенного выступал затем с проповедями, облеченными в романы и драмы, показывая вред религиозного фанатизма, ограниченность и жесткость протестантской церкви. Нансен же начинал с того места, где остановился Бьернсон. В нем нет крестьянской ограниченности. Он атеист, чуждый суеверий, и тогда, когда, улыбаясь, принимает в команду «Фрама» тринадцатого матроса, и тогда, когда наотрез отказывается от возможности стать королем Норвегии, потому что в конституции сказано, что возглавлять государство может только человек, исповедующий лютеранство, а он неверующий... и считает невозможным умолчать об этом.

Париж стоит бедни — этот циничный афоризм омерзителен кристально честному Нансену.

Всматриваясь в суровое лицо пятиметрового исполина, шагающего на фреске по голубому льду, с непокрытой головой, я вспомнил о том летнем вечере, когда своими глазами мне посчастливилось увидеть его живого на берегу Невы.

Вместе с поэтом Виссарионом Саяновым мы шли по Университетской набережной, у самого гранитного ее парапета, к Дворцовому мосту.

Из главного здания Академии наук выходили люди — видимо, кончилось заседание.

Виссарион читал нараспев только что написанные стихи:

Природа, ты еще не в нашей власти,
Зеленый шум нас замертво берет,
Но жарче нет и быть не может страсти,
Чем эта страсть, влекущая вперед.

И шагая в такт стиху, мы почти вплотную подошли к высокому человеку, стоявшему без шляпы у самого края парапета.

Он пристально смотрел вперед, то ли на Адмиралтейскую иглу, то ли на Медного всадника, или на прозрачную невскую волну... И о чем-то задумался.

— Это он! — сказал Виссарион. — Нансен!

Забыв о правилах приличия, я буквально впился глазами в героя моих детских мечтаний. Мальчишкой, забравшись с головой под одеяло, чтобы не мешали, далеко за полночь, забыв о неделанных уроках, я читал и не мог оторваться от путешествия «Фрама».

Теперь, уже взрослый, окончивший университет, прошедший воинскую службу человек, я знал, что Нансен приехал в Ленинград на конференцию Международного общества «Аэроарктика» — готовить полет на Северный полюс. И все же мне не верилось, что я вижу его наяву.

Высокий, прямой, без шляпы, с голубовато-седыми, словно навсегда от зимовок заиндевевшими волосами, топорща свисающие концы седых штурманских усов, смотрел он вдаль. Перед ним Нева широко несла свои воды в Балтийское море, в Атлантику. За Атлантикой — Ледовитый океан. Не к нему ли летели в ту минуту мысли Нансена?

Вдруг он круго повернулся к подъехавшей пролетке, в которой сидел уже совсем дряхлый академик Александр Петрович Карпинский, и, пожав руку восседавшему на облучке извозчику, легко вскочил в пролетку. Возница повел вожжами, прищелкнул языком, и лошадь побежала к Дворцовому мосту.

В тот час, когда Нансен открывал в конференц-зале Академии наук совещание общества «Аэроарктика», его последователь и друг Руал Амундсен на самолете «Латам» — Нансен знал об этом — стартовал из Тромсе на поиски экспедиции Нобиле в свой последний полет.

Это было 18 июня 1928 года. Мы же узнали о полете на другой день.

С тех пор пролетело тридцать два года. Четверть века минуло, как «Фрам» поставлен на вечный прикол в музее, куда стекаются люди всего мира.

И десять лет прошло с тех пор, как граждане Осло построили новую ратушу, на стенах которой шагает по льдам их знаменитый соотечественник.

У гранитного парапета невской набережной он выглядел старше, чем изобразил его Альф Рольфсен. Впрочем, художник прав: разве этот седой старик не стал символом мудрой молодости своего народа?..

Выйдя из ратуши, я подошел к беломраморному бюсту Фритьофа Нансена. Он сооружен не в центре площади, носящей его имя, а сбоку, под стеной, в тени, словно те, кто поставил его здесь, хотели подчеркнуть скромность своего героя, равнодушного к славе.

Несколько лет назад в Копенгагене на людном перекрестке я увидел невысокую скульптурную группу — обнаженные обнявшиеся девушки-подростки. «Две сестры» — называлась эта статуя норвежского ваятеля Орнуйфа Баста, дар Дании от норвежского народа в благодарность за продовольственную помощь во второй мировой войне.

Высеченный из мрамора, поставленный у западной стены ратуши бюст Нансена — тоже дар. Дар замечательного датского скульптора Кая Нильсена норвежскому народу. В благодарность за что? Да за то, что жил на свете такой норвежец — Фритьоф Нансен... Так, даже в этом, казалось, безжизненном камне отражен дух Нансена, сближающий в дружбе народы.

И еще раз взглядываясь в черты его лица, запечатленные в мраморе, я думал о том, что нужно и в Поволжье и на одной из площадей Москвы воздвигнуть памятник неумимому рыцарю мира Фритьофу Нансену, почетному депутату Московского Совета. Думал о том, как близок и сегодня нам этот удивительный человек, сочетающий бесстрашие, почти фантастическое дерзание с точным, научно выверенным расчетом, страстную любовь к родине с не менее страстным служением человечеству.

На пьедестале этого памятника стоило бы в бронзе отлить послание IX съезда Советов и заключительные слова Нансена из его книги «Россия и мир»: «В недалеком будущем Россия принесет Европе не только материальное спасение, но и духовное обновление...»



ПУБЛИЦИСТИКА

А. МАРКИН

★

ЭНЕРГЕТИКА КОММУНИЗМА

Знаменитая чеканная ленинская формула «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» определяет в новой Программе нашей партии главную экономическую задачу советского народа: в течение двух десятилетий создать материально-техническую базу коммунизма.

Полная электрификация страны и совершенствование на этой основе техники, технологии и организации общественного производства в промышленности и сельском хозяйстве — вот первое и главное условие строительства этой базы, ее стержень.

ЧУДЕСНОЕ УСКОРЕНИЕ

Программа партии определяет годовое производство электроэнергии к концу первого десятилетия до 900—1000 миллиардов, а к концу второго десятилетия — до 2700—3000 миллиардов киловатт-часов.

Это триста сорок планов ГОЭЛРО!

В 1920 году буржуазная печать называла план ГОЭЛРО дерзкой фантазией, а советскую электрификацию путем исключения одной буквы она превращала в электрофикицию

Немало было людей и в самой России, которые сомневались в успехе ленинского плана. Трудно было поверить, что разоренная страна, изнемогающая от голода, холода, эпидемий, от военной интервенции и гражданской войны, может когда-нибудь подняться из руин.

Оглядываясь назад, поражаешься твердой уверенности Ленина, его прозорливости. Как он мог так издали рассмотреть электрифицированную страну!

Шел суровый 1921 год. Молодая Советская республика ввела в действие свои первые скромные двенадцать тысяч киловатт мощности.

«Я не мог освободиться от чувства подавленности,— рассказывал Г. М. Кржижановский,— когда сообщил об этом Владимиру Ильичу. К моему удивлению, Ильич с серьезным спокойствием принял эту цифру, и потом, через несколько дней, мы все слышали, как он с трибуны Третьего конгресса Коммунистического Интернационала с глубокой верой в будущее сказал:

— Двенадцать тысяч киловатт — очень скромное начало. Быть может, иностранец, знакомый с американской, германской или шведской электрификацией, над этим посмеется. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним...

Ленин предвидел, что в свое время наступит такое ускорение нашего движения вперед, «о котором мы сейчас и мечтать не можем».

План ГОЭЛРО был выполнен за десять лет. А в 1945 году по производству электроэнергии мы уже вышли на первое место в Европе и второе в мире. В нынешнем году советские электростанции выработают триста двадцать семь миллиардов киловатт-часов электроэнергии; семилетний план производства электроэнергии будет, вероятно, перекрыт и достигнет пятисот сорока пяти миллиардов киловатт-часов.

Намеченная партийной Программой выработка энергии в шесть тысяч раз превосходит количество энергии, выработанной в героическом 1920 году. При всей скромности электробаланса того далекого года, мы с величайшим уважением и восхищением вспоминаем о том времени, когда был заложен огромный идейный заряд ускорительного процесса.

Гигантский электробаланс нашей страны в 1980 году намного превзойдет нынешнюю выработку всех электростанций мира, составившую в прошлом году 2351 миллиард киловатт-часов. На каждого советского человека через два десятилетия будет приходиться примерно одиннадцать тысяч киловатт-часов в год. Этого вполне достаточно, чтобы, например, смолотить восемь тысяч пудов зерна, или вывести в инкубаторе триста тысяч цыплят, или провести электропоезд от Москвы до Варшавы. Вспомним, что в 1913 году душевое потребление не превышало четырнадцати киловатт-часов, а в нынешнем году составляет около тысячи четырехсот киловатт-часов.

ЭНЕРГЕТИКИ ЗАСУЧИВАЮТ РУКАВА

Нет ничего более вредного, чем представлять себе дорогу к коммунизму в виде зеркально гладкого шоссе.

Еще никогда за все время развития советской электрификации перед учеными, инженерами и всем фронтом энергетиков не стояли такие огромные и сложные проблемы.

Мы не можем жить только сегодняшним днем и должны смотреть далеко вперед, иметь больше заделов, чем кто-либо другой. При этом нельзя забывать, что будущее обеспечивается сегодняшним разворотом строительных работ. Текущие задачи и задачи завтрашнего дня в Программе увязаны в одно целое. Здесь не должно быть никакого разрыва. А серьезная опасность такого разрыва возникла сразу после составления плана ГОЭЛРО. В. И. Ленин резко и решительно поправил тогда Госплан. Он писал:

«Когда я имел перед собой коммунистических «вумников», кои, не читав книги «План электрификации» и не поняв ее значения, болтали и писали глупости о плане вообще, я должен был носом тыкать их в эту книгу, ибо иного плана серьезного нет и быть не может».

Когда я имею перед собой писавших эту книгу людей, я бы стал носом тыкать их не в эту книгу, а от нее, — в вопросы текущих хозяйственных планов».

Эти слова о текущих планах следует помнить Министерству строительства электростанций. Ведь оно уже третий год не выполняет планов ввода новых мощностей, а планы производства электроэнергии «вытягиваются» исключительно ценой огромных перегрузок агрегатов и чрезмерно высокого числа часов их использования. У нас поэтому есть еще немало районов, где ощущается недостаток электроэнергии. Сильно задерживается электрификация отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства и быта. По среднему душевому потреблению электроэнергии мы еще отстаем от некоторых стран.

В Программе партии указано, что электрификация, являющаяся стержнем строительства экономики коммунистического общества, играет ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяйства, в обеспечении всего современного технического прогресса. Поэтому необходимо обеспечить опережающие темпы производства электроэнергии.

Эти принципиальные указания об опережающем росте энергетики партия делала неоднократно. Однако практически энергостроительство пока еще обеспечено годовым приростом капиталовложений в несколько раз меньшим, чем другие отрасли промышленности. В результате по ряду отраслей промышленности (уголь, железная руда, чугун и сталь, древесина, сахар, цемент) мы уже перекрыли уровень производства США или близко подошли к их уровню, а по выработке электроэнергии, несмотря на превосходящие темпы, отстаем более чем в три раза.

Нельзя говорить о завершении полной электрификации страны, не вспоминая о том, как прямо и резко ставил этот вопрос Владимир Ильич.

«...Единственной возможной экономической основой социализма,— говорил он,— является крупная машинная индустрия. Тот, кто забывает это, тот не коммунист. Мы должны конкретно разработать этот вопрос. Мы не можем ставить вопросы так, как это делают теоретики старого социализма. Мы должны ставить их практически. Что значит современная крупная промышленность? Это значит электрификация всей России».

Наша «большая энергетика» — это тепловые электростанции. Они обеспечивают около восьмидесяти процентов всей электроэнергии и много тепла в виде пара и горячей воды. Еще очень долго мы будем строить главным образом тепловые электростанции на дешевом угле, природном газе и мазуте. До 1980 года предстоит ввести более четырехсот крупных тепловых электростанций.

И сейчас ввод в действие таких электростанций — главная забота советских энергетиков. В ближайшее время в соответствии с планами необходимо ввести первые энергоблоки на Черепетской и Приднепровской станциях мощностью по триста тысяч киловатт. В нынешнем году предстоит развернуть строительство таких мощных тепловых электростанций, как Ермаковская, Конаковская, Криворожская, Литовская, Ташкентская, Кучурганская и другие, — общей мощностью свыше десяти миллионов киловатт. Но самыми важными для энергостроителей являются Прибалтийская, Южно-Уральская, Верхне-Тагильская, Троицкая, Томь-Усинская, Беловская, Карагандинская № 2, Змиевская, Старо-Бешевская, Луганская, Приднепровская ГРЭС, ТЭЦ Западно-Сибирского металлургического завода и еще несколько других. Эти станции дадут более половины всей мощности, вводимой в третьем году семилетки.

Очень важно, чтобы на всех этих стройках был широко применен метод сборности, чтобы они быстро монтировались из крупных блоков заводского изготовления. Уже сооружаются первые электростанции с максимальной мощностью в два миллиона четыреста тысяч киловатт. В семидесятых годах в стране появится серия новых крупных тепловых электростанций мощностью до пяти миллионов киловатт каждая. Нам предстоит строить для них турбогенераторы мощностью до миллиона киловатт. Каждая такая машина будет вырабатывать электроэнергию в два раза больше, чем сейчас потребляет вся Турция!

По расчетам энергетиков, мы могли бы увеличить ежегодный ввод новых мощностей с десяти миллионов киловатт в 1961—1965 годах до сорока миллионов киловатт в 1975—1980 годах. Такие масштабы роста с избытком обеспечиваются нашими самыми богатыми в мире ресурсами угля, газа и нефти.

В стране уже действуют и сооружаются новые крупные атомные электростанции. Но, строя современные электростанции, мы вовсе не считаем их верхом совершенства и пристально всматриваемся в горизонты энергетической техники.

Известно, что за последние столетия человечество не освоило широко ни одного нового источника энергии. Это звучит неправдоподобно, но это факт. По-прежнему топливо и реки — главные поставщики энергии. Очень робко используются солнце, ветер и внутриземное тепло. Только в последние годы пущены первые электростанции на атомном горючем. Тепловые же электростанции-гиганты несут главную нагрузку в электроснабжении.

Останутся ли они и в будущем основой электрификации?

Ученые считают, что придет время, когда произойдет историческая переоценка их значения.

Правда, мы будем еще улучшать технологию производства электроэнергии, чтобы до конца использовать резервы теплоэнергетики: повышать мощности станций и их агрегатов, поднимать давление и температуру пара. Нам предстоит, как уже сказано, сооружать тепловые электростанции мощностью до пяти миллионов киловатт. Они будут состоять из отдельных энергоблоков огромной мощности. Скажем, в 1966 году самый большой энергоблок будет включать турбину в пятьсот или шестьсот тысяч киловатт. Затем в строй войдут турбины мощностью в один миллион киловатт. Такие электростанции через двадцать лет потребуют гигантского количества топлива — почти два миллиарда тонн! Тепловая электростанция мощностью в пять миллионов киловатт будет каждые двадцать минут сжигать тяжеловесный железнодорожный состав угля.

Значит, первый недостаток в развитии тепловых гигантов — это колоссальное потребление труднодобываемого топлива.

Но этот недостаток не единственный. Новые серии сверхмощных конденсационных электростанций будут работать на давлении пара в 140—240 атмосфер и температуре 565—600 градусов. Теплоэнергетики стремятся повысить в будущем давление пара до трехсот атмосфер и температуру до 650—700 градусов. При таких фантастических давлениях и температурах паропроводящие трубы будут нагреваться до свечения. Ясно, что обычные металлы использовать в этих условиях будет невозможно, и на создание котлоагрегатов и турбин придется расходовать особо теплоустойчивые сплавы. Даже металл, идущий на двигатели реактивных самолетов и ракет, сюда не подходит. Если в этих двигателях он «работает» при температуре около тысячи градусов сто — двести часов, то в турбинах и котлах электростанций он должен выдерживать шестьсот — семьсот градусов сто тысяч и более часов.

Вот второй недостаток современных тепловых электростанций. Они требуют миллионов тонн высокожаропрочных дорогостоящих специальных сплавов. И очень часто расходы на новый металл перекрывают выгоды от экономии топлива.

Но и это не все. Вводя новые гиганты теплоэнергетики, мы не должны забывать и о других серьезных трудностях.

При размещении новых центральных все труднее и труднее обеспечивать их водой — ведь каждая станция требует для охлаждения своих конденсаторов пять-семь таких потоков, как Москва-река. Станции будут сбрасывать в реки огромное количество тепла. А так как на крупных водных артериях их разместится несколько десятков, то возникает вопрос: чем на это ответит природа? Что станет, например, с рыбой?

Тепловые электростанции лет через двадцать будут сжигать в год около двух миллиардов тонн топлива. Как велики станут отходы этого сжигания и куда их девать? Если не принять нужных мер, то трубы новых энергогигантов будут извергать в воздушный океан десятки тысяч железнодорожных составов золы и серы.

Все эти неприятные проблемы очень тревожат энергетиков и заставляют их все чаще задумываться над вопросами: а нельзя ли найти новые, более экономичные способы получения электроэнергии из того же топлива? А может быть, есть совершенно новые источники энергии? Каковы они?

Казалось, что гидроэлектростанции облегчат трудное положение. Во многих случаях они оправдали надежды. У нас входят в строй один за другим мировые гиганты гидроэнергетики. В 1957 году введена на полную мощность — два миллиона триста тысяч киловатт — построенная за семь лет Волжская гидроэлектростанция, которая превзошла самую мощную американскую станцию, Гранд-Кули. В нынешнем году Волжская гидроэлектростанция имени XXII съезда партии (мощностью более двух миллионов пятисот тысяч киловатт) обогнала Волжскую у Куйбышева, и теперь она самая крупная в мире. В конце текущего года вступят в строй первые четыре турбины сибирского гиганта — Братской гидроэлектростанции на Ангаре. Полная ее мощность — четыре с половиной миллиона киловатт. Этот сибирский великан будет ежегодно вырабатывать более двадцати двух миллиардов киловатт-часов и мог бы полностью снабдить электроэнергией такие страны, как Бельгия и Финляндия, вместе взятые.

На Енисее в ближайшие годы поднимется еще более мощная — пять-шесть миллионов киловатт — Красноярская станция. Впереди сооружение таких новых гидроэлектростанций-рекордсменов, как Нурекская на Вахше, Саянская, Енисейская, Нижне-Обская

и Тунгусская, мощностью до шести миллионов киловатт, и, наконец, Нижне-Ленская, мощностью которой достигнет двадцати миллионов киловатт.

Однако и на пути развития гидроэнергетики встречаются серьезные препятствия. Сооружение гидрогигантов вступает в конфликт с интересами сельского и лесного хозяйства, геологией и рыбной промышленностью. Самое болезненное тут — огромные затопления. Строящиеся и проектируемые гидроузлы могут затопить площадь, равную тридцати — пятидесяти миллионам гектаров. Во многих случаях это плодороднейшие пойменные земли, где высоки и устойчивы урожаи.

Нередко приходится ломать и сносить заводы и фабрики, рушить жилые дома, вырубать сады и леса. Ясно, что при проектировании каждой новой ГЭС необходимо тщательно взвешивать интересы всех отраслей народного хозяйства.

Таким образом, строительство обоих типов современных электростанций связано со многими трудностями.

В какой-то мере улучшит положение использование газотурбинных двигателей. В ближайшие годы будут строиться тепловые электростанции с такими газотурбинными установками. Мощная газовая турбина на электростанции работает так же, как и паровая, только на горючих газах. Коэффициент полезного действия такой турбины высок и достигает пятидесяти процентов, если повысить температуру рабочих газов до полутора тысяч градусов. Вполне вероятно, что в будущем у нас будут строить газотурбинные электростанции миллионной мощности.

И все-таки, несмотря на огромные успехи теплоэнергетики, мы с горечью думаем о том, как сложны современные способы производства электроэнергии. Электростанции очень громоздки. На их сооружение идут миллионы тонн металла, горы других материалов. А сколько тратится труда на строительство и обслуживание станций, сколько они пожирают топлива!

Художники в романтически приподнятых тонах изображают гигантские здания тепловых электростанций. Журналисты ошеломляют читателя грандиозными цифрами объемов машинных залов, веса котлов и турбогенераторов, потребления топлива и воды. Но инженеры и ученые относятся к этим цифрам по-иному.

Современные электростанции — эти гигантские дворцы техники — как бы служат укором науке. В самом деле, наблюдая основной процесс работы электростанций — «бешеную игру воды, воздуха и углерода», рождающую электроэнергию, — мы ясно видим принципиальные недостатки этого процесса. Сначала в топках развиваются тысячеградусные температуры, а потом в котлах они снижаются до сравнительно низких температур рабочего пара.

Физики и энергетики давно вынашивают мысль о непосредственном превращении энергии топлива в электрический ток. Больше того, они бьются над проблемами непосредственного превращения в электричество света, тепла, внутриядерной энергии.

Эта мечта безусловно претворится в жизнь. Ибо законы технического прогресса неумолимы. Ведь уже уходят с исторической сцены паровозы и самолеты с поршневыми двигателями. В будущем такая судьба ждет и современные тепловые электростанции.

А чем они будут заменены?

В лабораториях многих стран проводятся эксперименты по превращению тепловой энергии сразу в электрическую при помощи так называемых магнитогидродинамических генераторов. Сколько надежд связывается с машинами, имеющими столь длинное название!

Преимущества магнитогидродинамических генераторов огромны. Их коэффициент полезного действия может достигнуть шестидесяти процентов. Это почти в два раза больше среднего коэффициента полезного действия паротурбинных электростанций. Кроме того, при этом способе производства электроэнергии не нужны сложнейшие паровые котлы и дорогие турбины.

Человечество стоит у колыбели этой замечательной идеи. Пока существует установка, развивающая всего на несколько минут мощность лишь в десять киловатт. Но новое всегда развивается и растет. И, возможно, в ближайшие десятилетия такие генераторы заменят на электростанциях нынешние паровые турбины.

Известно, что сжигания угля, то есть превращения заключающейся в нем химической энергии в тепло и последующего преобразования этого тепла в механическую и электрическую энергию, можно избежать. Уже построены первые электрические генераторы. Пока они очень несовершенны, но придет время, когда химическая энергия топлива будет превращаться непосредственно в электрическую энергию с высоким коэффициентом полезного действия. За рубежом уже работает первый электротрактор, получающий электроэнергию от установленного на нем топливного элемента.

По-новому решается сейчас использование энергии солнечных лучей. Параллельно с конструированием простых водонагревателей советские ученые работают над созданием большой гелиотехники, которая сделала бы возможным промышленное использование солнечной энергии.

Большие возможности открываются перед солнечными электростанциями с кремниевыми полупроводниками. Кремний — кристаллический элемент, обладающий свойством превращать солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Каждый квадратный метр поверхности, покрытый кремнием, дает сто ватт мощности практически все время, пока светит солнце. Такие батареи работают на советских искусственных спутниках Земли и космических ракетах. Уже изготовлены первые образцы легких переносных кремниевых батарей. Проектируется солнечная электростанция на пять киловатт и выдвинута идея создания установки такого типа мощностью в десять тысяч киловатт.

Новые победы техники открывают перед нами заманчивые перспективы: поставить на службу человеку тепло и свет пустынь. Можно, например, снабжать электроэнергией каждое предприятие, ферму, дом с помощью полупроводниковых приборов, расположенных на крыше.

А энергия ветра? Ветроэнергетики всегда жаловались на ее непостоянство. Нельзя ли найти способы выравнивания этой энергии?

Оказывается, можно аккумулировать ветроэнергию путем электролитического разложения воды на кислород и водород. Ветродвигатели будут накапливать огромные количества такого необычного «топлива», которое можно использовать в дизельных установках и для других нужд. Особое значение придается сооружению систем ветроэлектростанций, позволяющих надежно получать энергию продолжительное время. Первая такая система уже работает в Целинном крае.

Советская энергетика стоит у порога широкого использования глубинного тепла Земли. Природное тепло Земли в виде пара и горячей воды получают на Камчатке, Курильских островах, на Кавказе, в Средней Азии. Проектируются первые советские электростанции, использующие тепло Земли в виде пара.

Вероятно, в будущем, освоив глубокое бурение, мы сможем почти в любом районе нашей страны получать пар и горячую воду. Внутриземным теплом будут отапливаться города и селения, промышленные предприятия и оранжереи. Люди станут сооружать так называемые геотермические электростанции. Причем для них будут разработаны новые принципы непосредственного превращения тепла в электроэнергию.

Работают ученые и над проблемой использования морских приливов. У нас проектируется первая приливная электростанция на севере страны. Правда, расчеты показывают, что приливные гидроэлектростанции пока очень дороги. Однако при дальнейшем усовершенствовании они могут стать более экономичными.

Но наибольший практический размах приобретает атомная энергетика. С 1954 года под Москвой работает первая в мире электростанция на ядерном топливе. В 1958 году введена в строй первая очередь — сто тысяч киловатт — самой крупной в мире атомной электростанции мощностью в шестьсот тысяч киловатт. Сооружаются атомные гиганты в Воронежской, Ленинградской областях, на Урале и в других местах. Накопив необходимый опыт, мы можем приступить к массовому строительству атомных станций. Где они будут сооружаться? В первую очередь в районах, далеко расположенных от месторождений топлива: в центральных областях Европейской части страны, на Крайнем Севере, в районах Среднего Урала, на северо-западе и западе страны.

Остановится ли атомная энергетика на этом этапе? Конечно, нет. Ученые упорно трудятся над проблемой управления термоядерными реакциями. А тогда легко решится вопрос и о термоядерных электростанциях.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ЭНЕРГИИ

Произвести электроэнергию — это еще не все. Подлинная электрификация начинается там, где электрический ток работает — приводит в действие разнообразные машины, всю сложную систему автоматики и кибернетики, могучие блюминги, землеройные машины, электрохимические агрегаты, сварочные аппараты, электропоезда, «делает погоду» в домах, заставляет безотказно функционировать всю аппаратуру космического корабля, звучать радиоприемники и светиться экраны телевизоров, мгновенно убивать микробов, стирать белье. Словом, существуют тысячи и тысячи способов применения электрического тока.

Как будет распределяться масса электроэнергии советских электростанций?

Львиную долю — около двух третей — электроэнергии получают промышленность и строительство. Ученые разрабатывают генеральные пути механизации и автоматизации труда.

Наши заводы выпускают уже много автоматических линий производительностью в десятки и сотни деталей в час. От использования отдельных линий промышленность переходит к организации участков из линий, отделений, цехов и, наконец, целых заводов.

Производительность таких заводов огромна. Например, существует автоматический моторостроительный завод, выпускающий пятьсот двигателей в час.

Это значит, что только за один час завод создает новую мощность более ста тысяч лошадиных сил, равноценную физической силе примерно полутора миллионов рабочих.

Получается сказочное воспроизводство энергетики.

Но автоматизированное производство не может перейти на новый вид изделий, обновить продукцию, так как оно оснащено узко специализированными машинами.

Инженеры мечтают теперь о чудесных машинах и целых заводах, которые по команде человека быстро переходят на выпуск новой продукции, которые сами перестраивают технологический процесс и находят наилучшие решения.

Ученые уже осуществляют эту их мечту. Рождение кибернетики — науки об управляющих устройствах, автоматике, информации и контроле — знаменует собой рождение новой технической эры. Кибернетика — это как бы механический «мозг», который работает по программе, составленной человеком.

У электронной машины уже сейчас больше (а будет еще больше) органов чувств, чем у человека. Фотозащелки — глаза, микрофоны — уши, переключатель, или палец, ощупывающий копир токарного станка, — осязание. Имеются обоняние, вкус. А к тому же еще радиолокация, реакция на изменение напряженности магнитного поля... Для того чтобы пользоваться всеми этими органами чувств и давать задание электронной машине, необходимо создать общий с ней «язык». Человек «разговаривает» с машиной языком перфорированных карточек и магнитных лент. Есть машины, которые делают более пятисот тысяч операций в секунду, и это не предел. Возможны машины, делающие более миллиона операций в секунду.

В условиях коммунистического общества электронно-вычислительные машины будут использоваться для многих целей. На них ляжет вся огромная счетная работа, расчеты, связанные с планированием народного хозяйства, прогнозами погоды, навигацией и так далее.

В будущем многие машины и целые промышленные предприятия перейдут на программное управление. И тогда для перехода от одного вида продукции к другому необходимо только переменить управляющую ленту. Никакого периода освоения заводу не понадобится. Управляющие машины могут «запоминать» получаемые сведения о работе отдельных установок завода, сравнивать их с программой и давать поправочные команды.

Сам технический прогресс как бы подталкивает к скорейшему внедрению управляющих электронных машин. Вот пример с электростанциями. У нас проектируются и вводятся в действие крупные электростанции с мощными блоками. Чтобы управлять одним таким блоком мощностью в полтора гигаватта — двести тысяч киловатт, нужно вынести на панели сто пятьдесят приборов теплового контроля, сто восемьдесят пять элементов управления регулирующими и запорными органами. Длина шита управления превышает

пятнадцать метров. Физически невозможно обеспечить непрерывное наблюдение за показаниями приборов, не говоря уже о вмешательстве в технологический процесс. Дальнейшая автоматизация более мощных блоков поведет к еще большему количеству приборов. Человек в этих условиях становится беспомощным.

— Чтобы хоть как-нибудь успеть наблюдать за приборами, дежурному нужно непрерывно ездить вдоль многометровых панелей на велосипеде,— шутят инженеры.

Вот почему необходимо переходить от громоздких щитов управления с сотнями контрольно-измерительных приборов к электронным управляющим машинам, которые сами перерабатывают информацию и находят наилучшие решения.

В ближайшие годы резко возрастет потребление электроэнергии в сельском хозяйстве. В 1965 году советская деревня потребует двадцать пять миллиардов киловатт-часов — больше, чем потребляет сейчас сельское хозяйство США. В будущем раскрываются еще более широкие перспективы. Сельскохозяйственному производству потребуется для всех его нужд почти двести миллиардов киловатт-часов. Уже теперь у нас разрабатываются крупнейшие программы орошения засушливых земель и производства минеральных удобрений на основе энергетики.

Преодоление пространства — извечная проблема в нашей стране. Быстро электрифицируются железные дороги. К 1965 году будет электрифицировано двадцать тысяч километров железных дорог. Электровозы и тепловозы будут перевозить восемьдесят пять — восемьдесят семь процентов всех грузов. Чтобы понять масштабы проводимых работ, достаточно взглянуть на карту СССР. Уже действует полностью электрифицированная величайшая магистраль Москва — Байкал. Через двадцать лет у нас будет электрифицировано примерно восемьдесят — девяносто тысяч километров железных дорог и электротяга обеспечит большую часть грузооборота железных дорог. Для этого потребуется почти сто миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Будут широко электрифицированы города. Только в течение семилетия 1959—1965 годов мы построим лишь в городах пятнадцать миллионов квартир. Иначе говоря, десять городов, как Москва, или пятьдесят городов, как Горький. Вся эта масса квартир должна быть полностью электрифицирована.

Через два десятилетия потребление электроэнергии в коммунальном хозяйстве и в быту советских людей достигнет нескольких сот миллиардов киловатт-часов. Электроэнергия станет доступной для всех и во всех процессах домашнего хозяйства — ведь новые мощные электростанции будут вырабатывать очень дешевую электроэнергию. Так, через двадцать лет один киловатт-час будет стоить в среднем около четверти копейки. Это значит, что за одну копейку можно будет выполнить такую работу, как добыть двести килограммов угля, или изготовить сорок метров ткани, или подоить сто восемьдесят коров, вскипятить сорок чайников воды, побрить электробритвой полторы тысячи человек.

Изобилие дешевой энергии позволит каждой семье в городе и деревне иметь по несколько электрических слуг с «зарплатой» копейка в неделю.

ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ

В Советском Союзе с его громадными пространствами и неравномерным расположением энергоресурсов колоссальную роль играют мощные электропередачи. В масштабах строительства линий электропередач сверхвысокого напряжения СССР опередил все страны мира, в том числе и США.

У нас уже действуют такие линии электропередач, как Волжская ГЭС — Москва, Волжская ГЭС — Урал, Сталинградская ГЭС — Москва с напряжением в пятьсот киловольт. В будущем году закончится строительство линии электропередачи постоянного тока напряжением восемьсот киловольт Сталинградская ГЭС — Донбасс.

В течение ближайших двадцати лет нужно построить более шести миллионов километров линий электропередачи всех напряжений. Это расстояние в шестнадцать раз больше, чем путь от Земли до Луны.

В течение двух десятилетий территория Советского Союза покроется по всем направлениям сотнями тысяч километров линий электропередач на переменном и постоян-

ном токе сверхвысокого напряжения. От них протянутся на многие миллионы километров распределительные сети. Электропередачи будут дополнять трубопроводы нефти, газа, теплосети. Все это образует Единую энергетическую систему Советского Союза, работающую по общему плану.

Так мы придем к созданию единого механизма, объединяющего все производительные силы страны в технологически единый организм грандиозной мощности и производительности.

Как-то, беседуя с Г. М. Кржижановским, я спросил его о роли будущей Единой энергетической системы страны.

— Эта великая система, — сказал он, — подведет все наше энергетическое хозяйство под одну шапку. Она будет главным рычагом Госплана в планировании и управлении всеми производительными силами коммунизма. Там, в центральных диспетчерских рубках, будут сходитьсь жизненные нервы экономики страны. Функции планирования и управления сольются и станут точной наукой, оперирующей колоссальным материальным производством. Вся электрифицированная страна — это технологическое единство, обладающее небывалым могуществом.

Именно этот грандиозный механизм, в котором царствует электротехнология, и составляет суть материально-технической базы коммунистического общества. Он обеспечит огромный поток народного богатства.

КОНТУРЫ ЭНЕРГЕТИКИ 2000 ГОДА

Программа КПСС раскрывает перед советским народом не только горизонты 1980 года. За пределами двух десятилетий зримо выступают черты материально-технической базы нашей страны.

Разработка основных направлений энергетики не только на двадцать, но и на сорок лет имеет огромное значение для всей экономики и культуры нашей страны. И недаром иностранные ученые, экономисты и журналисты проявляют такой повышенный интерес к тому, что будет с экономикой Советского Союза в 2000 году.

Еще в 1957 году главный корреспондент американской газеты «Нью-Йорк таймс» Дж. Рестон обратился к Н. С. Хрущеву с вопросом: «Каким представляет себе Хрущев Советский Союз и мир в целом еще через сорок лет?»

«Сорок лет, — сказал Никита Сергеевич, — в нашем изменяющемся мире — это немалый срок. Трудно, конечно, предвидеть все зигзаги истории, но об общей генеральной линии развития можно сказать, что в условиях мира Советский Союз за более короткий срок, чем сорок лет, исходя из разницы в темпах развития наших стран, оставит США далеко позади по уровню промышленного и сельскохозяйственного производства на душу населения, если США будут развиваться по капиталистическому пути. В нашей стране уровень производительных сил будет неизмеримо выше, чем теперь, будут созданы все условия для производства изобилия различных товаров и продуктов, до минимума будет сокращен рабочий день, так как значительное развитие получают наука и техника».

Уже сегодня перед нами встают такие великие работы, которые не укладываются в обычные календарные сроки. Вместе с тем в большой перспективе все явственнее проступает совершенно особый тип связи энергетики со всеми отраслями народного хозяйства, который имеет исключительное значение для новых качественных скачков в технике и для определения основных линий экономической и технической политики.

К концу XX века, по нашим расчетам, энергетика Советского Союза введет в экономический оборот страны, вероятно, десять—пятнадцать тысяч миллиардов киловатт-часов. Тогда на каждого трудоспособного человека будет приходиться сто тысяч киловатт-часов электроэнергии!

Но советская энергетика будет располагать не только мощными электростанциями, но и множеством самых разнообразных двигателей общей мощностью десять — пятнадцать миллиардов киловатт. По нашим расчетам, энерговооруженность каждого

трудоспособного человека коммунистического общества к 2000 году, в переводе на электроэнергию, достигнет пятисот тысяч киловатт-часов в год.

Тогда наше коммунистическое общество использует для электрификации все виды энергоресурсов, включая не только распад ядер, но их синтез в термоядерных реакциях. Электрификация, навсегда оставаясь стержнем технического прогресса, еще шире откроет дорогу автоматическому производству, оснащенному кибернетическими машинами, новыми материалами и новыми видами сырья; она даст мощный толчок всем физическим наукам и введет человека в космическую эру. Овладев стихиями природы, он превратит их в промышленные процессы. И тогда природа щедро осыплет людей неисчислимыми благами.

Мы уже вступаем в космическую эру. И здесь энергетика — наш главный помощник. Чтобы управлять космическим кораблем на больших расстояниях, нужно очень много электроэнергии. На Земле мы создаем мощные источники энергии. Они нужны и на самом корабле. Там действуют маленькие электростанции в виде химических батарей и установок, преобразующих солнечные лучи в электрический ток. Мы мечтаем об увеличении мощности этих установок, о возможности электроснабжения космических кораблей непосредственно с Земли. А старт корабля? Какую же исполинскую мощность нужно развить в реактивных двигателях, чтобы оторвать от Земли огромную массу, дать ей разбег до космической скорости и вывести ее на орбиту!

Реактивные двигатели космического корабля, на котором отправился в заатмосферное пространство Юрий Гагарин, развили мощность в двадцать миллионов лошадиных сил (почти пятнадцать миллионов киловатт). Это двести пятьдесят Волховских ГЭС, почти четверть мощности всех электростанций нашей страны или сила трехсот миллионов человек, как бы сосредоточенная в одном кулаке!

Шестого августа 1961 года еще более мощной советской ракетой на орбиту был выведен новый космический корабль-спутник «Восток-2», пилотируемый Германом Титовым. Этот корабль-спутник пролетел свыше семисот тысяч километров, то есть расстояние, почти равное удвоенному расстоянию от Земли до Луны.

Стремление Советского государства к миру и международному сотрудничеству открывает широкие возможности и перспективы для вдохновенных и дерзких инженерных проектов. Идеалы великих мирных работ человечества становятся самыми жизненными. В июле нынешнего года население нашей планеты достигло трех миллиардов человек. В дружбе и братстве хочет и должна жить гигантская человеческая семья.

Мы, советские люди, мечтаем о Единой энергетической и водохозяйственной системах Евразии, о международных трубопроводах нефти, газа и главного средства повышения плодородия земли — жидкого аммиака. Уже положено начало: линии электропередачи соединяют Советский Союз со странами Восточной Европы, прокладывается трансконтинентальный нефтепровод Европа—Азия.

Мы мечтаем о великих кругосветных путях, сближающих народы, о сухопутной сверхмагистрали СССР — США через Берингов пролив, о едином фронте народов в охране природы Земли, о преобразовании климата северного полушария и победе над холодом.

Чтобы осуществились эти идеи, чтобы решены были эти проблемы, необходим всемирный форум ученых и людей труда. Пусть все народы нашей планеты осознают истинное призвание человека, поймут, чего можно добиться в условиях мира, дружбы и международного сотрудничества.

Энергетика вписывает самые вдохновенные, самые радостные страницы в историю техники и всей человеческой цивилизации.

Вот почему великий Ленин призывал учить электрификации все подрастающее поколение.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЩЕРБИНА

★

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ ИЛИ ОТВЛЕЧЕННОСТЬ?

В последние годы у нас очень много пишут об интеллектуальности литературы и искусства. Это естественно в эпоху величайших научно-технических открытий, огромного перелома в духовной жизни человечества и — самое главное — проникновения достижений разума в самые толщи народных масс. Понятно, что столь серьезные сдвиги в бытии и сознании народа должны найти свое отражение и в литературе. Поэтому так настоятельно и остро в последнее время выдвигается вопрос о повышении интеллектуального уровня литературы и ее главного героя — нашего современника.

Читатели требуют от произведений литературы серьезного жизненного и интеллектуального содержания, без чего трудно воспроизвести правду бурно движущейся действительности. Интеллектуальное обогащение искусства — одна из основных задач, стоящих перед каждым художником в наши дни. Но весь вопрос в том, как трактовать само понятие интеллектуальности искусства и способы ее художественного выражения.

Дело в том, что в иных работах и выступлениях высказывается такое понимание интеллектуальности искусства, которое ведет к умалению возможностей конкретно-чувственного воплощения действительности. Эта тенденция сказалась, например, в статье В. Днепровца «Интеллектуальный роман Томаса Манна» («Вопросы литературы», № 2, 1960).

Существенную, характерную тенденцию,

выражающую интеллектуальность современного искусства, В. Днепровец находит в отвлеченных рассуждениях, в подробнейшем изложении — параллельно с образным содержанием произведения — проблем современной науки, нередко, как он сам подчеркивает, не связанных с характерами и развитием сюжета.

«Без всякого стеснения, не боясь истощить терпение читателя, — пишет В. Днепровец, — Т. Манн вводит в свои романы подробнейшие изложения взглядов современной науки, растягивая эти научно-лирические отступления на десятки страниц в уснащая их красками специальной терминологии из самых разных областей знания.

Даже в игривых «Признаниях авантюриста Феликса Круля» не обошлось без обстоятельной лекции о развитии жизни на Земле. Не сразу становится ясным, зачем, собственно, потребовались писателю эти обильные и не связанные с действием экскурсы в науку. Сюжет еле-еле движется, и, только прочитавши сотню страниц, мы встречаемся с поступками и происшествиями, напоминающими те, которые привыкли видеть в романах. Самые простые, каждодневные явления разворачиваются в нечто сложное, неугомонная мысль художника вовлекает в повествование все новые связи и ассоциации, предельно уплотняющие и отяжеляющие текст. В своих речах персонажи не всегда остаются верными своему характеру: немудрящему немецкому офицеру писатель передоверяет уточненно-изысканную фразу о способности музыки так расчлнять время, чтобы мы чувствовали наслаждение от самого его протекания, — художник явно записал свои слова

Статья печатается в порядке обсуждения.

в расуждение приподушного персонажа. По-видимому, Томас Манн всё же и не намерен скрывать этого: упомянутая фраза находится в открытой зависимости от содержания близлежащей главки с характерным манновским названием: «Экскурс в область понятия времени».

Применительно к особенностям творчества Т. Манна или даже целой группы современных литераторов данная характеристика, хотя и с большими оговорками, может быть принята¹. Взаимоотношения в литературе чувственного воссоздания явлений жизни и отвлеченной мысли бывают весьма сложными и разнообразными. Можно найти в прошлом и настоящем многих художников, склонных к обильному введению в художественную ткань общих теоретических суждений.

Совсем другой смысл приобретают таково рода определения, когда они выдаются за общие признаки интеллектуального новаторства современной литературы. А именно так и случилось, на мой взгляд, в работе В. Днепров. «Приращение», «приращение» понятия к образу в его трактовке означает, что традиционную, чувственную ткань художественного произведения в наше время нужно еще «оснастить» отвлеченной мыслью. Само выделение обособого «понятийного ряда» понимается как характерное для нашего века изменение критического реализма, являющееся якобы следствием нового характера осмысления человеком явлений окружающего мира.

«Чувственная достоверность одевается лесами рефлексии,— пишет В. Днепров.—

¹ В задачу данной статьи не входит оценка романов Т. Манна, ограничимся лишь одним общим замечанием: едва ли можно возгласиться в общем взглядом В. Днепров на соотношение в произведениях Т. Манна, в частности в романе «Доктор Фаустус», об разной художественной ткани и научно-публицистических отступлений как двух «этажей». В действительности они органичнее связаны друг с другом, нежели об этом говорит автор книги. Эта связь тем более естественна, что писатель все время подчеркивает универсализм Левверкюна как историка и философа культуры. Еще естественнее то, что в публицистических раздумьях романа наиболее детально разработана теоретико-музыкальная тема, близкая Левверкюну как композитору.

Поэтому, на наш взгляд, представление о научно-публицистических размышлениях в романах Т. Манна как о некоей «понятийной надстройке», втором «теоретическом этаже», неубедительно.

Так художник стремится отразить новое и характерное для нашего века: внедрение знания в самый процесс восприятия и переживания, изменение формы представления вследствие изменившегося уровня понимания человеком явлений окружающего мира. Нити понятия, подобно антеннам, протягиваются во все стороны от образа, улавливая научную атмосферу эпохи, связывая частное содержание с всеобщими законами бытия».

Как видно, «приращение» понятия к образу рассматривается как общий признак интеллектуальности, как примета наиболее современных и новаторских форм критического реализма. В сущности, такая трактовка отношения в искусстве чувственного воссоздания жизни и системы понятий обесценивает художественный образ и даже выводит мышление за пределы образа, в то время как они никогда не были чужды друг другу. Скорее всего такое понимание интеллектуальности — вариант однобокого воззрения на образ как на нечто бедное, чувственно-приземленное, лишенное идеологической наполненности, требующее интеллектуального дополнения, «приращения» понятий, теории, символа.

Мысль о некоей неполноценности образа предстает в работе В. Днепров в различных вариантах. По поводу классической формулы «искусство есть мышление в образах» В. Днепров пишет, что эту истину следует не повторять, а развивать. По его словам, новое отношение образа к теории состоит в возведении над живыми картинами действительности «второго этажа» — «теоретического осмысливания многообразных отношений, потенциалов заключенных в образах».

Ход мысли В. Днепров таков: идеологическая борьба, расколовшая современный мир, спаяла самые общие идеи со страстями людей, открылся жизненный подтекст у самых отвлеченных философских споров. Возникла не только потребность, но и художественная возможность поставить роман или драму в определенные отношения к теоретической истине. При всем различии Шоу, Франса, Мартена дю Гара, Роллана, Уэллса всем им свойственна одна общая черта: они рассматривают в своих произведениях не только факты, но и идеи времени, они чувствуют, как соприкасаются теории с исторической жизнью человечества. «Обычно,— пишет В. Днепров,— про-

цесс уяснения скрытой в художественном произведении философской или психологической идеи совершается в голове читателя или критика. Здесь же это необходимое «продолжение» образа заключено в пределах самого искусства».

Но вряд ли активное творческое читательское восприятие может быть заменено или возмещено приращением к образной структуре произведения «понятийного» дополнения. Природа читательского восприятия здесь очень упрощается, а значение его принижается. По букве и логике суждений В. Днепров образное, художественное воссоздание мира в литературе классического реализма представляется уже не соответствующим особенностям мировосприятия современного человека, поскольку не передает связи частного содержания со всеобщими законами бытия.

Но неужели образное изображение в литературе прошлого было отделено от обобщающего мышления и так уж чуждалось теоретических понятий, философского осмысления жизни? Другое дело, что наше время породило новые научные идеи, мимо которых не может пройти художественная литература.

Можно согласиться с мнением, что многие художественные достижения Т. Манна отвечают потребностям современности, века расцвета науки: писатель действительно стремился не только к содержанию, но и в самом строении художественной формы отобразить новое в мировоззрении, характере и поведении человека. Но едва ли его сила и новаторство заключаются в том, что он дополняет образное содержание понятийным. Перед нами художник, само обращение которого к системе понятий и символике несет весьма сложный характер. И резко выраженный своеобразный стиль Т. Манна — только один из путей художественного воплощения жизни и разума эпохи. В мировой литературе есть немало произведений, в которых научные и идеологические проблемы органически воплощены в самой их образной структуре. Например, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького и многие другие.

Попутно важно отметить, что вообще «интеллектуальный роман» введен в искусство не Т. Манном, как это вытекает из статьи В. Днепров. Этот вид романа, выросший на почве кризиса классического реализма, имел широкое распространение в за-

падноевропейской литературе двадцатых — тридцатых годов. Одним из его крупнейших предшественников был Хаксли. Его романы «Шутковской хоровод» (1923) и «Контрапункт» (1928) полностью свойственны все главные признаки, отличающие, по словам В. Днепров, романы Т. Манна. В них художественные образы тесно сплетаются с научными понятиями, а обширный авторский комментарий сопровождал наиболее значительные эпизоды, проясняя мысль писателя. И сам термин — «интеллектуальный роман» — Хаксли тоже уже употреблял, именно так называя свои произведения.

Сам В. Днепров иногда чувствует опасность, с которыми связано наличие в художественных произведениях двух «этажей» — изобразительного и понятийного.

«Нельзя не признать, — пишет он, — задача создания целой «нервной системы», соединяющей понятие к образу, очень трудна... Творческий опыт Томаса Манна плодотворен и заслуживает внимательного изучения. Но сам художник видел и многократно говорил об опасностях, которые угрожают его «интеллектуальному роману» в том случае, если оскудеет его связь с современной действительностью, если закроются сочувствия, питающие его кровью человеческой жизни, опытом реальной истории».

Здесь ход суждений автора вполне обоснован: действительно лишь на основе огромного богатства жизненных, чувственно-доверенных образов «интеллектуальный роман» может оставаться реалистическим и подлинно художественным. И все же В. Днепров явно недооценил опасности отвлеченного интеллектуализма. «Понятийная надстройка» никогда не сможет возместить нехватку мысли, интеллектуальности в главном, в образном содержании произведения. Оно само должно быть проникнуто мыслью и быть мышлением — без этого нет подлинного искусства, и никакие «надстройки» ему не помогут. Увлечение отвлеченностью вне образной вещественности закрывает путь к созданию многогранных живых характеров, но зато может привести к рационалистической однобокости характера.

Мысль, логическое, абстрактное входит в искусство не только в виде рассуждений на отвлеченные темы персонажей или автора произведения, но и в самом процессе наблюдения, отбора и обобщения материала,

в построении произведения, в логике развития событий и характеров, в судьбах героев.

И есть все данные думать, что новаторские достижения современного художественного реализма определены всесторонним, жизненным и интеллектуальным обогащением самой образной ткани произведения, органическим слиянием мысли с действием, с характерами и судьбами героев, со всей концепцией произведения.

Не во всем аргументированы и суждения В. Днепрова о месте и функции символики в современном реализме. Распространение символического начала наблюдается у многих писателей-реалистов XX столетия. Это явление имеет противоречивый характер. С одной стороны, в этом явлении мы видим процесс обогащения изобразительных средств реализма. С другой же, обращение писателей-реалистов к символике часто вызвано и влиянием декадентства. Не избежал его и Томас Манн. Символические образы обогащают реализм, вносят в него новое и плодотворное только в органическом слиянии с реалистической изобразительностью, когда они выступают как одна из ее граней, а не противостоят ей.

Никакая научно-философская символика, никакое обнаженное изложение мысли не сможет восполнить образного воссоздания подлинно жизненного содержания, характеров современников. Эти средства и приемы действительны, а у великого художника могущественны, когда служат выражению образного жизненного содержания, органически слиты с ним. Когда же они превращаются в самостоятельную сущность и становятся основным признаком «интеллектуальности» и художественного новаторства, это ведет только к обескровливанию и духовному обеднению искусства.

С принципом восполнения образной ткани искусства «понятийной надстройкой» В. Днепрова связывает и изменение формы современного романа. «Естественно,— заключает он,— что этот путь оказался подлинно новаторским также и в области художественной формы, в частности, и, в особенности, в художественной форме романа. Он привел к своеобразному синтезу философского романа, романа идеологического формирования героя, характерного для XVIII века, с достижениями социально-психологического романа века XIX. Недаром Уэллс пытался сочинить нового Кандида, а

Томас Манн называл «Волшебную гору» «бильдунгсроманом», понимая эту форму в том значении, какое она получила в творении Гёте о Вильгельме Мейстере... У Томаса Манна художественный текст выполняет не только две основные свои функции: повествовать и выражать отношение автора к изображаемому. К этим функциям прибавляется новая и весьма содержательная: в самом словесном потоке передать образ современной культуры, в самом укладе слова осуществить своего рода синтез культурной эпохи, в самом стиле дать портрет того, что Гегель называл присущей эпохе формой сознания». Как видим, автор статьи полагает, будто бы передача в словесном потоке художественного произведения образа современной культуры, осуществление синтеза времени, портрета присущей эпохе формы сознания есть новая функция искусства, связанная с возникновением «понятийной надстройки». И опять здесь сквозят сомнения в интеллектуальных возможностях самой образной структуры и стремление найти новаторство там, где проявляются свойства, присущие всем подлинным явлениям искусства прошлого.

Невольная потому, что, по сути дела, В. Днепрова несомненно далек от намерения обеднять классический реализм, лишать его «понятийного элемента», связи частных фактов с культурой эпохи и т. д. и т. п. Тем более, что этим неблагодарным делом сейчас усиленно занимаются сотни сторонников модернистских течений, стремящихся дискредитировать реализм, создать о нем обедненное представление, сдать его в архив.

В настоящее время концепция устарелости реализма распространяется за рубежом во множестве сочинений. Несмотря на обилие вариантов, основные положения этой концепции одинаковы. Реалистическое отображение действительности, мол, не дает доступа к духовной сущности явлений, и его восполняют разные виды «интеллектуалистского» искусства, протягивающего связи между внешней и внутренней действительностью.

С начала настоящего столетия сторонники этой концепции стараются обосновать свои взгляды ссылками на новейшие открытия в области строения материи. В отличие от прошлого современный человек, утверждают они, сталкивается не с одной, а с двумя реальностями.

Первая — объективная, предметная, доступная сфере реалистического, приземленного изображения. Вторая — отвлеченная, внутренняя, недоступная обычным измерениям и восприятию человеческих чувств. Миропонимание современного человека отодвигает приземленную вещественность классического реализма на второй план, требует дополнить его так называемыми отвлеченными, «интеллектуальными» формами искусства, способными воссоздать неуловимую внутреннюю сущность вещей, связать отдельные явления с общими законами бытия.

На самом же деле процесс вторжения обобщающей теоретической мысли в художественное творчество начался совсем не в XX веке. «Понятийный» элемент уже давно занимал в нем свое прочное место, иногда сливаясь с образной тканью произведения, а иногда и сосуществуя рядом с ней. В этом смысле исключительную роль в художественном развитии человечества сыграли романы Л. Толстого и Ф. Достоевского.

По своей внутренней сущности художественная литература, как мышление в образах, всегда была обращена к главным проблемам века, неотделима от мысли своей эпохи. Исторически сложившийся тип реалистического искусства с преобладанием авторской мысли, прямых вопросов и ответов почти всегда существовал рядом с произведениями «живописного» характера, органически включающими интеллектуальное содержание в образную ткань. Оба эти типа искусства имеют право на бытие, в равной мере могут быть и новаторскими и косными.

Изобразительный арсенал художественного реализма поистине неисчерпаем, хотя толки о его устарелости ведутся уже с последних лет прошлого века. Вначале даже некоторые крупные художники поверили этим декларациям, восприняли их как начало искусства будущего. Но настойчивые модернистские претензии на новаторство уже давно неопровержимо доказывают свою иллюзорность и обманчивость. Десятилетия проходили за десятилетиями, одна модернистская мода сменяла другую, а декларации так и оставались декларациями: ничего великого, достойного стать рядом с классическими достижениями мирового искусства эти течения еще не породили.

То, что молодой Маяковский и ряд других крупных, сходных с ним художников созда-

ли бесспорные эстетические ценности, определено прежде всего тем, что они не могли замкнуться в пределах отвлеченных духовных и художественных исканий. Как Маяковский, так и Блок, Арагон, Элюар, Брехт, Бехер вышли на простор большого творчества именно благодаря тому, что они вырвались за границы замкнутой отвлеченности, пробили себе дорогу от умозрительности к художественному освоению подлинной жизни.

Не только Маяковский, но и многие другие крупные художники на определенном этапе своего творческого пути от отвлеченности пошли к жизни. И интересно, что их прежних соратников не устраивало именно это обращение к правде действительности, к человеческим характерам, к «внешнему сюжету» или жизненной естественности лирической передачи чувств.

Какие же могут быть основания сомневаться в том, что изобразительные возможности реализма исчерпали себя и не могут уже служить для воссоздания подлинной динамики современной жизни, напряженности конфликтов и сложности духовной жизни наших дней? Вместе с тем реализм не нуждается в том, чтобы интеллектуальное содержание подключалось к нему извне, в виде некоего дополнения. Богатство мысли, интеллектуальность — органическая черта самого реализма, естественное, необходимое свойство его эстетической сущности.

Безусловно, новая действительность требует новых художественных средств, но искать их надо не на путях отрешения от жизни, не на путях отвлеченного и условного интеллектуализма, а на пути развития высших достижений мировой реалистической культуры.

2

Для того чтобы наглядно увидеть зыбкость воззрений, усматривающих начало интеллектуального новаторства в сравнительно узком кругу специфических явлений литературы XX столетия, достаточно обратиться к произведениям совершенно иного рода, например к «Жизни Клима Самгина» М. Горького. Как известно, в центре этого произведения находится целый комплекс теоретических философско-эстетических вопросов эпохи.

Своеобразие «Жизни Клима Самгина» как раз прежде всего и состоит в том, что воспроизведение интеллектуальной жизни эпо-

хи составляет ее главное содержание. При особо крупных, можно сказать невиданных, масштабах освещения в одном произведении отвлеченных теоретических проблем роман М. Горького лишен всякой «понятийной» надстройки. Основные исторические, политические, философские и эстетические учения, составлявшие в своей совокупности духовную жизнь России на протяжении почти полувека, представлены в этом произведении в органической связи с жизнью героев. Различные политические и теоретические течения даны здесь как неотделимая сторона общественного существования и всего повседневного быта героев повести.

Однако точка зрения, усматривающая интеллектуальность искусства за пределами образа, высказывается и в некоторых книгах о М. Горьком. Известны рассуждения об интеллектуальном искусстве Горького как «параде афоризмов», «турнире идей», «столкновении мыслей», о связи «не героев и событий», а «связи высказываний». В таком духе, например, иногда трактуется своеобразие пьес М. Горького.

Согласиться с такой точкой зрения невозможно. М. Горький предельно наполняет свои образы интеллектуальным содержанием, но совсем не идет по пути отчуждения мысли от человека и события. Разъединение образа и интеллекта — это не новаторство, а обеднение искусства.

Мне кажется, что преувеличена роль отвлеченного начала в творчестве Горького, например, в содержательной книге Ю. Юзовского «Максим Горький и его драматургия» (1959). Некоторые из его характеристик пьес Горького скорее можно бы отнести к драматургии писателей иного склада, тяготеющих к условно-отвлеченному изображению.

Возражая против бытовой («по Островскому») и психологической («по Чехову») трактовки пьес Горького, автор утверждает, что их своеобразие заключается в философском обобщении.

«Что является показательным и ведущим в строении основных элементов драмы у Горького, специфичным для характера и сюжета?» — спрашивает критик. «Взаимосвязь и взаимопроникновение двух начал, «философского» и «житейского», как мы их условно назовем, двуплановость, двухслойность характера и сюжета при руководящем и определяющем значении «философского».

В двуплановости, двухслойности характеров и сюжетов Горького, в наличии «житейского» и «философского» начал при главенствующем значении последнего автор книги находит черги искусства будущего — здесь усматривается осуществление полного слияния «сознательного исторического содержания» с «шекспировской живостью» действия, разума жизни с ее плотью, анализа и синтеза; здесь заключено предвидение самого типа художника будущего, который, погружаясь в поток жизни, находится над ним, воплощая в своих произведениях и жизнь и законы, управляющие ею.

Автор книги, конечно, прав, подчеркивая взаимосвязанность у Горького «житейского» и «философского» планов. Но едва ли можно согласиться с расчленением единой образной структуры произведений М. Горького на два сосуществующих начала с утверждением руководящего значения философской мысли, определяющей образное содержание и отражение самой жизни.

Отвлечение «философского начала» в искусстве, естественно, ведет за собой обезличение его конкретного человеческого содержания. Не избежал этого и Ю. Юзовский. По его словам, в драматургии М. Горького «принцип личности» лишен своего определяющего значения, заменен «принципом масс». Для обоснования своей позиции он исходит из наличия в мировой драматургии двух тенденций. «Одна из этих тенденций тяготеет, условно говоря, к прошлому; больше опирается на принцип личности, в нем черпая силу, уверенность и надежду; под этим личным (частного интереса) углом зрения просматривает и оценивает окружающий ее мир...»

«Другая тенденция больше тяготеет к будущему; ориентируется на принцип массы, в ней находя опору и перспективу; под углом зрения общества — а шире говоря, массы — рассматривает мир...»

Первая тенденция, ведущая свое начало из эпохи Возрождения, нашла свое дальнейшее развитие преимущественно в западноевропейской драматургии; вторая является характерной для русской и в нашем столетии социалистической драматургии, первым классиком которой был Горький.

На самом деле М. Горький развенчивал культ индивидуалистической личности, противопоставляющей себя народу, но это совсем не было отказом от «принципа личности». Бесспорно, жизнь народных масс —

центр всего творчества М. Горького. Тема народа получила у него и во всем социалистическом искусстве новое, наиболее широкое и последовательное воплощение. Однако это не имеет ничего общего с заменой «принципа личности» «принципом массы». У Горького они никак не противопоставлены друг другу. Более того, эстетика Горького направлена против всяких видов их противопоставления. Выводы Ю. Юзовского продиктованы не столько действительным своеобразием драматургии Горького, сколько, видимо, увлечением критика отвлеченно философским началом в искусстве, взятым в неправомерном отчуждении от полнокровного воплощения человеческой индивидуальности.

Противопоставление «философских», «интеллектуальных» пьес Горького пьесам других писателей-реалистов стало весьма распространенным, проникло даже в кандидатские диссертации. Вполне можно одобрить стремление молодых литературоведов поновому, всесторонне осветить своеобразие драматургии Горького, движение его мысли, широту его философских обобщений. Но увлеченность своей задачей иногда заставляет их отодвигать на второй план образную ткань, в которой находит выражение философская мысль писателя, и приводит к недооценке интеллектуального содержания предшествующей классической драматургии. Вся предшествующая реалистическая драма относится в таких работах к социально-бытовому, социально-психологическому жанру, не соответствующему запросам нашей современности. И как ни странно, жанровые истоки драмы Горького усматриваются в пьесах Ибсена и Гауптмана, действительно более соответствующих символично-философскому пониманию интеллектуальности литературы.

Литература большой мысли невозможна без конфликта идей, мировоззрений, теоретических концепций. Наша эпоха, безусловно, внесет в литературу много новых конфликтов, проникающих в духовную жизнь человечества. Подлинно интеллектуальное искусство обращается и будет еще пристальнее обращаться к столкновениям и борьбе разных научно-философских концепций. Тем не менее эти конфликты будут относиться к сфере искусства лишь постольку, поскольку они связаны с изображением человека, его деятельности и внутреннего мира. Когда же герой воспринимается лишь

как «строительный материал», как основа для интеллектуалистских и всяких иных экспериментов, в произведение проникает холод рассудочности.

Творческий путь к воссозданию интеллектуального облика героя наших дней — изображение личности героя в единстве с движением истории, его дум и чувств в сплаве с разумом и стремлениями эпохи. Сторонники узкого понимания интеллектуальности обычно ссылаются на свое стремление установить связи отдельной судьбы, частного факта с общими закономерностями истории. Но «переключение» героя в сферу отвлеченных концепций само по себе совсем не придает ему силы интеллекта, духовной значительности. Замена широких, активных связей героя со временем и духовным бытием эпохи хотя бы самой рафинированной, но отвлеченной мыслью едва ли ведет к интеллектуальному богатству искусства. Для того чтобы отобразить нашу современность, нужно искусство, органически объединяющее жизнь героя с поступью истории, отдельный факт — с развитием общества, анализ сокровенных движений души — с общими законами бытия современного человечества. Ключ к такому воссозданию облика человека — в слитности его судьбы с бытием народа, с активностью восприятия идей, преобразующих облик мира.

В связи с этим безынтересно коснуться творчества другого выдающегося художника социалистического реализма — А. Н. Толстого. Довольно распространено противопоставление Толстого-художника писателям-мыслителям. С точки зрения некоторых литераторов и критиков, автор «Хождения по мукам» и «Петра Первого» не относится к числу писателей-мыслителей. Совсем недавно, набрасывая в своих мемуарах портрет А. Н. Толстого, И. Эренбург заметил:

«Есть писатели-мыслители; Алексей Николаевич был писателем-художником... Он необычайно точно передавал то, что хотел, в образах, в повествовании, в картинах; а думать отвлеченно не мог...»

Однако безоговорочное мнение о А. Н. Толстом как писателе-«немислителе», в какой бы условной форме оно ни было выражено, несомненно, расходится с подлинным обликом его творчества. «Хождение по мукам» и многие другие произведения А. Н. Толстого проникнуты пронизательной мыслью, основаны на широких исторических

и философско-эстетических концепциях. Глубокая мысль, самые сложные проблемы интеллектуальной жизни сливаются в трилогии с реалистическим изображением действительности. Способность А. Н. Толстого отвлеченно мыслить неопровержимо раскрывает также его публицистика, построенная на историческом мышлении крупного масштаба, проникнутая раздумьями о путях родины.

Другое дело, что А. Н. Толстой выражал свою мысль преимущественно не в декларативно-обнаженном виде, а в форме «самой жизни», в самой плоти и развитии образов. Но предметная чувственность творчества А. Н. Толстого никоим образом не дает оснований для противопоставления его писателям-мыслителям. Сама по себе декларативно-обнаженная форма выражения мысли, склонность литератора к общим отвлеченным суждениям совсем не свидетельствуют об интеллектуальности и духовном богатстве его творчества. И напротив, можно назвать самых могучих писателей-мыслителей, в произведениях которых интеллектуальное содержание выражается в логике образов, в самой художественной ткани произведения.

Даже если обратиться к одному из наиболее противоречивых, переходных произведений А. Н. Толстого — роману «Сестры», то и он весь проникнут интеллектуальным пафосом эпохи, философией истории, размышлениями о происшедшем революционном перевороте, о дальнейшей судьбе страны. Автор старается по-своему определить прошлые и будущие пути культуры и интеллигенции.

Многие писатели старшего поколения в те годы в своих сочинениях подменяли подлинный облик революции различного рода антиисторическими домыслами, пытались наполнить образ революции и души новых людей декадентской начинкой. А. Н. Толстой в отличие от них, даже во многом заблуждаясь, пылливо всматривался в бурное развитие действительности, стремился разглядеть и осмыслить ход событий.

Создавая последующие книги трилогии — романы «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро», — А. Н. Толстой уже ставил перед собой новую цель: «оформить, привести в порядок, оживотворить огромное, еще дымящееся прошлое», художественно запечатлеть грандиозные события социалистической революции и гражданской войны.

А. Н. Толстой — тип художника, занятого разработкой больших общественных вопросов, принципиально отвергающего мысль о писателе как иллюстраторе готовых положений. Он всегда исходил из убеждения, что художник должен быть исследователем общества, пролагателем нового в познании путей народа, души человеческой.

В некоторых высказываниях последнего времени об интеллектуальности литературы, о необходимости ее приближения к новейшим достижениям научно-философской мысли, на наш взгляд, есть еще один общий серьезный просчет, имеющий принципиальное значение. Из суждений об отношении художественного творчества и мысли нередко выпадает центральный объект, без которого нет искусства, — человек. Но научно-философская мысль входит в сферу искусства не непосредственно, в виде какого-то дополнения, а через образ и судьбу человека, как органическая часть его духовного бытия.

Взаимоотношения литературы с наукой очень сложны: они совсем не сводятся к насыщению произведения понятиями из области, скажем, новейших теорий строения материи, кибернетики, астрофизики и т. д. У литераторов есть свой предмет — человековедение, в сфере которого они делают свои жизненные открытия, движущие познание мира. В то же время научные теории нашей эпохи совсем не чужды искусству, поскольку они во многом составляют сущность мировоззрения человека нашей эпохи. И как составная часть души и деятельности героя наших дней они органически входят в сферу литературы. Поэтому путь к интеллектуальности искусства лежит через духовное богатство характеров людей, приобщение их к главным вопросам бытия эпохи. При этом дело не сводится к затянутому разговорам героев на научные и философские темы. Они становятся признаком интеллектуального героя лишь в том случае, если вошли в жизненную логику характера, стали составной частью «я» героя.

Бесспорно, воплощение облика героя нашего времени — человека крупного интеллекта, двигающего историю, политику, культуру, — одна из центральных задач, определяющих поступательное движение литературы, ее место вровень с веком.

И все же эта задача совсем не исчерпывает путей интеллектуального наполнения

искусства. Воплощение облика людей, увенчивающих вершины нашей науки, техники и культуры,— это лишь одна из линий развития нашего искусства. Причем, как показал опыт, зачастую произведения о гигантах мысли выходят совершенно лишенными сколько-нибудь серьезного интеллектуального содержания, хотя, казалось бы, значительность личностей, в них изображенных, должна вносить в произведение духовное богатство. И напротив, часто повествование о рядовых людях отличается изумительной интеллектуальной насыщенностью. На первый план в определении интеллектуальности, таким образом, выдвигаются не внешние признаки, а внутренняя сущность произведения — то, что называется его художественной концепцией.

Упрощенная тенденция связывать интеллектуальность искусства с наличием высокообразованного героя проявляется в разных формах. Один литературовед недавно в статье о Л. Толстом всерьез уверял, что мысль писателя выражена лишь в его философско-исторических отступлениях, и дана только чувствующим героям из высшего общества и, напротив, с героями Толстого из простого народа связана недооценка интеллектуальности в нашей современной литературе. Другой литератор главный путь к духовному богатству литературы усматривает в «энциклопедичности» героя, поражающего читателя обширностью своих познаний во всех областях науки и техники.

Между тем интеллектуальность искусства совсем не обязательно предполагает обращение к героям с высоким образовательным цензом. Пример тому — произведения М. Горького, Д. Фурманова, М. Шолохова, А. Фадеева. Богатство духовного содержания отличает «Чапаева» Д. Фурманова, «Разгром» и «Молодую гвардию» А. Фадеева, «Поднятую целину» и «Тихий Дон» М. Шолохова и другие произведения, в которых нет героев с высоким образовательным цензом, нет, пожалуй, и разговоров и размышлений на отвлеченные философско-исторические темы. Произведения Л. Толстого и И. Тургенева о мужиках не менее интеллектуальны, нежели их произведения о героях из высокообразованного аристократического общества. Совсем не обязательно в поисках интеллектуальности писать только о людях науки и искусства, переполняя произведения материалами отвлеченно теоретического характера.

Только как курьез можно оценить отдельные рассуждения на эту тему на прошлой неделе дискуссии по вопросам драматургии. Находились товарищи, защищавшие подобную точку зрения. Они свели проблему интеллектуальности искусства к введению в пьесы высокообразованных героев, много рассуждающих на отвлеченные научные и философские темы. В полемике с такого рода внешним решением вопроса возникла другая крайность — сомнение в правомерности самого требования интеллектуальности искусства.

Внешнее и узкое понимание интеллектуальности литературы мешало верному восприятию ряда произведений советской литературы, таких, например, как роман «Тихий Дон». Еще на нашей памяти вулгаризаторские статьи, в которых трагедия Григория Мелехова объяснялась отсутствием у него разума, а само произведение объявлялось бытописанием донского казачества. В одной из таких статей говорилось, что даже лучший из персонажей «Тихого Дона», Григорий, — тугодум. Мысль для него — «непосильное бремя». Далее он назывался человеком «стадного поведения», «неразвитым», «безнадежно отсталым», «умственно ограниченным» и т. д. Автор этих определений, очевидно, не допускал, чтобы с героями из простых крестьян могли быть связаны какие-либо сложные интеллектуальные проблемы. Отсюда делалось заключение, что главное достоинство романа М. Шолохова — яркое описание экзотической жизни донских казаков.

Время отвергло столь упрощенные истолкования романа «Тихий Дон», раскрыло богатство его интеллектуального содержания, актуальность и сложность поставленных в нем историко-этических вопросов.

Может быть, и не стоило бы вспоминать столь давние суждения о произведениях М. Шолохова, но, к сожалению, не так давно им отдала известную дань И. Борисова в статье «Судьба человеческая — судьба народная» («Литературная газета» от 3 ноября 1960 года). Герои М. Шолохова представлены в этой статье как люди, «необычайно одаренные чувством, но не привыкшие к аналитическому мышлению». Действительно, герои «Тихого Дона» — рядовые обитатели степного хутора, простые хлеборобы. Но по-своему Григорий постоянно и настойчиво размышляет о сложных, коренных вопросах революционной эпохи. Вне

этих мучительных размышлений образ Григория Мелехова не может быть верно понят и освещен.

Вообще воззрения, прямо или косвенно «отчуждающие» литературных героев — простых крестьян и рабочих — от интеллектуальности, не имеют под собой никакой почвы, расходятся со всем опытом истории литературы. Обращение писателей «натуральной школы», а затем Л. Толстого, Чехова, Горького к духовному бытию рядовых людей — одно из крупнейших проявлений поступательного движения русской литературы, ее интеллектуального обогащения.

В пору пробуждения народных масс всего мира духовная жизнь этих масс — главный вопрос интеллектуального бытия современности. В нашу эпоху самый тонкий интеллектуализм, оторванный от бытия народных масс, всегда будет периферийным, идущим мимо основных путей духовной жизни эпохи, иллюзорным и по большей части ложным. Эта мнимая интеллектуальность уже достаточно скомпрометировала себя как в политике, так и в науке и искусстве. Высшее проявление интеллектуализма в наше время неотделимо от понимания — а в искусстве и от органического ощущения — главенствующей, решающей роли народных масс, рядового простого человека труда. Вне этого всякие претензии на тонкость интеллекта неизбежно будут мнимыми, будут терпеть крах.

3

Столь же явственно, как в литературе, отвлеченные трактовки интеллектуальности искусства сказываются и в области художественной кинематографии. Сошлемся на цикл статей Е. Габриловича «О кинематографе мысли и правды!» («Литературная газета» от 10 марта 1960 года), «На переломе» («Литература и жизнь» от 11 декабря 1960 года), «На новых дорогах» («Литературная газета» от 20 мая 1961 года). Все эти статьи отличаются единством мысли и характерны попыткой определить основные пути дальнейшего развития киноискусства. Еще в первой статье Е. Габрилович провозглашает начало новой поры в истории художественного фильма, начало века кинематографа мысли.

«Я убежден, — заявляет он, — что мы вступаем в век кинематографа мысли. Чем дальше, тем больше и явственней будет

проступать в нашем советском кино жизнь мысли, борьба мысли, интеллектуальный мир современного советского человека. Советский человек в наших фильмах должен не только чувствовать, но и думать. Мысли о жизни, о будущем, о человеке, о нравственных началах, о совести, о борьбе советских людей за их высокую цель — вот что должен суметь отобразить наш экран. Где пути к этому? Это особый вопрос, здесь все еще в поисках, в экспериментах».

Очень ценна, заслуживает всяческой поддержки попытка Е. Габриловича определить новаторские черты современного художественного фильма. Но здесь же он конструирует и весьма произвольную схему исторического развития киноискусства. Ее главное, исходное положение в том, что только сейчас рождается фильм обобщающей мысли, что только сейчас мы стоим на пороге нового философского кинематографа.

Развитие киноискусства представляется Е. Габриловичу так. Свое существование кинематограф начал с изображения события, прониществуя. Позднее обнаружилась также сила экрана в передаче эмоционального ряда.

Способность же киноискусства выражать сферу мысли с ее исканиями и конфликтами всецело относится Е. Габриловичем к нашему времени. Характеризуя современные творческие искания в области киноискусства, Е. Габрилович говорит: «Мира действий и чувств было тут мало. Необходим был еще один, третий мир: мысль!» И можно, по словам Е. Габриловича, утверждать, что как только искусство экрана научится выражать сферу мысли так, чтобы зрители с захватывающим интересом следили за борением мысли, за конфликтами в области мысли, в этот момент кино достигнет высшей ступени развития и встанет по своим выразительным средствам, по силе отображения жизни, по глубине вровень с литературой. «Уже сейчас мы вправе говорить о философском кинематографе, подобно тому, как мы говорим о философском театре, о философском романе».

В природе современного кинематографа, таким образом, резко разграничиваются и выделяются два последовательно исторически выявляющихся «ряда»: так называемый «зрелищный», включающий в себя образцы воспроизведения событий и чувств, и философский. Во включении в мир киноис-

кусства, до сих пор ограниченного «зрелищным» рядом, обобщающей философской мысли и усматривается новаторское отличие современного художественного фильма.

Вполне можно понять и поддержать тягу Е. Габриловича к интеллектуальному обогащению кинематографа, введению в него современной мысли. Это одна из центральных творческих задач всего современного искусства и литературы. Совершенно естествен его протест против бездумности, натуралистической бескрылости многих кинокартин, вышедших в последние годы. Для того чтобы воздействовать на сознание многомиллионного зрителя, кинематограф должен идти вровень с передовой мыслью своего времени, основываться на широких действительных философско-эстетических концепциях, художественно глубоко отражать природу человека и общества, раскрывать их новые развивающиеся черты.

Безусловно, кинематограф в своем историческом движении показывает характер нового человека, развитие его духовного мира, а следовательно, все глубже проникает в область мысли. Но никак нельзя признать исторической схему Е. Габриловича, согласно которой кинематограф мысли, философский кинематограф вошел в искусство лишь в последние годы. Эта концепция ни в коей мере не соответствует подлинной картине исторического развития нашей кинематографии и дает неверное представление о творчестве таких корифеев кино, как Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко. Неужели «Стачка», «Броненосец «Потемкин», «Октябрь», «Старое и новое» С. Эйзенштейна лишены мысли, интеллекта, философского обобщения? То же самое можно сказать и о фильмах В. Пудовкина «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингис-хана», «Куковский». Было бы нелепым отрицать обостренность интеллекта, глубину философского раздумья и в таких выдающихся произведениях А. Довженко, как «Звенигора», «Арсенал», «Земля», «Аэроград», «Мичурин».

Напряженность мысли — одна из главных черт, определяющих сущность творчества этих и ряда других выдающихся художников кинематографии. Обращение к фактам истории сразу обнажает непрочность фундамента, на котором Е. Габрилович строит свои воззрения. Не грех бы пожелать современным киноработникам выражать философию нашего времени с такой же силой,

с какой она проявилась в произведениях Эйзенштейна, Пудовкина и Довженко.

Другое дело, что все сферы человеческой мысли находятся в непрерывном движении и обогащении. Наше время выдвинуло новые интеллектуальные проблемы, появились новые открытия науки и техники. Они должны войти в поле зрения кинематографа. Поэтому вернее в данном случае говорить о новых средствах поэтического выражения, о воссоздании нового качества самой мысли, о ее всестороннем проникновении в жизнь народных масс.

Существеннейший признак того, что кинематограф приблизился к отображению сферы мысли, Е. Габрилович видит в изменении поэтики художественного фильма, в увеличении удельного веса и значении авторского слова, непосредственно обращенного к зрителю, — так называемого закадрового голоса. По мнению Е. Габриловича, именно с «закадровым голосом» вошла в кинематограф обобщающая, прямая философская мысль. «Закадровый голос» явился конденсатором и выразителем больших, сложных, высоких авторских размышлений. Молчаливый автор кинопроизведения вдруг заговорил. Он стал делать все то, что согласно обычаю было в возможностях только автора-поэта, автора-прозаика.

«И вдруг на каком-то этапе выяснилось, — пишет Е. Габрилович, — что сила закадрового голоса огромна и что, пользуясь ею, сценарист получил возможность высказывать свое отношение к происходящему на экране, к тому или иному своему персонажу, говорить по сложным вопросам жизни, о всем том, что волнует, заботит, радует или печалит его, — говорить широко и полно, выходя далеко за рамки того, что показано в зримом рисунке данной сцены. Выяснилось, что в искусстве экрана возник новый невиданный компонент — мир сценариста-автора, выраженный его не посредственным словом».

Е. Габрилович оговаривается при этом, что облик современного кинематографа определен не только «закадровым голосом». И однако вся его концепция нового, «писательского» кинематографа так или иначе основана на утверждении ведущего значения непосредственного авторского слова. Но эта концепция ничуть не является изобретением автора. Она возникла на почве распространенного в последнее время мнения, будто бы причина малой интеллек-

туальной напряженности литературы и искусства происходит от нехватки прямых, непосредственных размышлений писателя о жизни. Сторонникам этой точки зрения представляется, что писатели мало дают простора непосредственному выражению своих взглядов, мыслей. Основной путь духовного обогащения литературы они усматривают во внешнем признаке — в увеличении удельного веса авторской речи.

Однако и широкое введение авторского комментария, и тяготеющие к символике формы изображения человека в литературе и других видах искусства — все эти явления весьма различны, а иногда даже противоположны по своей художественной природе. Если одни виды авторского комментария и поэтической символики служат особой, обобщающей формой выявления их внутреннего смысла, прежде всего духовной сущности людей и явлений, то другие, наоборот, затемняют облик человека, растворяют его в условных или отвлеченных обозначениях.

Сходна позиция упомянутых критиков и концепция новаторского философского, или «писательского», кинематографа Е. Габриловича, выдвигающая на первый план роль «закадрового голоса».

Бесспорно, «закадровый голос» — могучее выразительное средство кинематографа. Звучащее авторское слово дополняет изображение, комментирует действие, вносит в произведение или романтически возвышенную, торжественную, или ироническую эмоциональную окраску, способствует прояснению обобщающей мысли произведения. Но Е. Габрилович в своем увлечении придает этому приему чересчур большое значение, отодвигая другие не менее важные, необходимые компоненты кинопроизведения. Самое же главное, нет никаких оснований только с «закадровым голосом» связывать интеллектуальность фильма, рождение философского кинематографа, проникновение в него обобщающей мысли. Включение закадрового голоса автора само по себе тоже совсем еще не признак своеобразия и интеллектуальности творчества. Как известно, этот прием широко распространен в фильмах самого различного характера, начиная от неореалистических картин и кончая разными пошловатыми зарубежными кинозделиями, не имеющими никакого отношения к мысли вообще. Следовательно, новаторство состоит не в использовании закадрового голоса, а в богатстве, своеобразии

и силе художественных впечатлений и идей автора, говорящего «за кадром». Представление о «закадровом голосе» как единственном вместилище мысли в современном новаторском киноискусстве не соответствует реальной действительности, лучшим художественным фильмам последних лет. На почве такой односторонности возникает недооценка образного, предметного, воссоздающего содержания киноискусства, неправомерное разграничение его интеллектуального содержания, сконцентрированного в «закадровом голосе», и так называемого зрелищного ряда.

По словам Е. Габриловича, «закадровые слова» становятся «опорными» в современном фильме «Голос за кадром — первый колокол нового киноискусства..» — так определяется роль этого изобразительного компонента в развитии современного художественного фильма.

Вдумываясь в смысл этих взглядов на кинематограф мысли, ясно видишь, что они родственны тому пониманию интеллектуальности искусства, которое видишь в новаторской прозе два этажа — образный и «понятийную надстройку», в новейшей драматургии два «плана» — философский и житейский. Как и сторонники этих воззрений, Е. Габрилович, разбирая вопросы кинематографии, усматривает интеллектуальность в обнажении мысли и невольно обособляет ее от образного содержания, от характеров и судеб героев, от развития сюжета.

Для обоснования своих упований на могущество «закадрового голоса» Е. Габрилович ссылается на свой опыт работы по экранизации романа Л. Толстого «Воскресение». Но как раз излишняя увлеченность «закадровым голосом», на наш взгляд, и породила слабые стороны этого произведения, привела к обеднению характеров романа и его мыслительной, страстной мысли. Наиболее интересными в фильме вышли эпизоды, связанные с художественным, образным воссозданием картин романа. Оказалось, что «закадровый голос» никак не смог возместить образного изображения, дающего почувствовать облик, живую плоть героев. Если даже брать пример постановки «Воскресения» во МХАТе, то авторы инсценировки романа ввели в спектакль авторскую речь весьма скупо, соблюдая чувство меры. Автор же сценария Е. Габрилович не учел этой естественной, свойственной произведе-

нию Л. Толстого соразмерности: его увлеченные «закадровым голосом» в фильме явились источником не только его достоинств, но и слабых сторон.

Защищая свои взгляды на возникновение кинематографа мысли, Е. Габрилович ссылается также на последние произведения А. Довженко — «Поэму о море» и «Повесть пламенных лет». Во многом можно согласиться с ним, когда он пишет о «Повести пламенных лет».

«Авторский голос за кадром обобщает и укрупняет. Размышляет и вспоминает, исследует психологию действующих лиц. Ему доступны лирические отступления, гнев, радость, пафос, отчаяние. Он может комментировать то, что в данный момент происходит на экране, и может говорить о совершенно другом — о том, что вовсе «не в стык», а более сложными путями соприкасается со зрительным рядом.

Но есть тут еще нечто важное. Текст цитированных выше отрывков не сравним ни с каким иным по своей интонации, по своеобразию. Так мог сказать только Довженко, это голос его мира, это писательское лицо Довженко».

Действительно, «Повесть пламенных лет» интересна своим подлинно творческим использованием авторской речи. Вполне понятно и закономерно, что, подобно автору прозы, сценарист зачастую чувствует потребность встать рядом со своими героями, обращается непосредственно к зрителю.

Вместе с тем почти одновременно с «Повестью пламенных лет» вышел на экран прекрасный, духовно богатый фильм «Баллада о солдате», в котором авторский комментарий представлен весьма скупое. Несмотря на это, зрителю вполне ясна и близка мысль авторов картины, ее общий философский смысл. Еще более наглядно раскрылось многообразие средств современного кино в демонстрировавшемся недавно на Московском международном кинофестивале замечательном японском немом фильме «Голый остров».

И поэтическая индивидуальность Довженко проявляется в его фильмах далеко не в одном закадровом авторском слове, а и во всех других компонентах произведения: образах, развитии действия, пейзаже.

Изумительная сила звучащего слова Довженко определена его органической слитностью с изображением. Это совсем не спут-

ствующий «зрительный ряд», а неотделимая часть произведения, в свою очередь придающая значительность лирико-философскому слову.

Органическая слитность мысли художника с действием произведения определена тем, что А. Довженко не посторонний своим героям, их судьбе, характеру их мышления. Художник живет с ними, думает и чувствует все происходящее так же, как и они. Отсюда — единство образной плоти произведения и авторского обобщающего комментария.

Скажем еще раз: гипертрофия авторского комментария, подавление им образного видения мира неизбежно влечет за собой оскудение искусства. И наоборот, этот комментарий становится поистине могучей воздействующей силой, когда он выступает как компонент, дополняющий, обобщающий и развивающий образное содержание произведения. Но, конечно, в зависимости от того, какому образному содержанию «закадровый голос» служит. Его особые художественные новаторские возможности раскрываются тогда, когда он служит выражению жизненной правды и передовых идей. Не случайно самое подлинно высокое новаторство современной литературы и советского кинематографа — новаторство Горького и Маяковского, Эйзенштейна и Пудовкина родилось и полностью проявилось себя и покорило мир под красным знаменем социалистической революции.

Сторонники интеллектуальной «надстройки» в литературе, театре, в кинематографе один из признаков отображения «мира мысли» видят в разрушении сюжета. Интересно, что суждения Е. Габриловича по этому поводу сходны с суждениями В. Днепрова, несмотря на различие материала, о котором они пишут.

Новаторскому кинематографу мысли, по мнению Е. Габриловича, более свойственны «не законченный, точный сюжет, а как бы некий калейдоскоп жизни, где внешне все друг с другом не связано, даже как бы оторвано друг от друга, где одно событие наплывает на другое без видимой сюжетной необходимости, где герой шествует по экранному времени и пространству, соприкасаясь то с одним, то с другим человеком, то с одним, то с другим событием».

В качестве примера такого кинематографа мысли автор статьи называет интересный, но весьма непоследовательный и про-

творческий фильм Феллини «Сладкая жизнь». Его привлекает в такого рода фильмах то, что их авторы как бы исследуют широкий поток жизни, не будучи стеснены ни жестким сюжетом, ни твердым списком действующих лиц, проходящих через всю картину. В этом усматривается разрыв кинематографом своих прежних тесных, ограничительных рамок, свойственного ему сюжетосложения.

Но в искусстве неприемлемо любое отвлеченное нормирование. Бесплодно оно и в области кинематографического сюжетосложения. Очевидно, в зависимости от замысла художника, характера жизненного материала могут быть использованы самые различные изобразительные средства, в их ряду и «раскованный» сюжет. Но едва ли оправданны попытки возвести в характерный признак новаторства кинематографа только раскованность, разорванность или незаконченность сюжета.

Апологетическое отношение к «раскованности», разорванности, внешней бессвязности сюжета не что иное, как один из вариантов уже давно занесенной теории «деформации», «дематериализации» материала как типической черты современного интеллектуального искусства. Конечно, процесс художественного творчества, отбора, обобщения определенных черт, установления композиции, оценки явлений предполагает активное воздействие писателя на материал жизни.

Однако «деформация» «деформации» разн. Творческое отображение определенных явлений действительности в правдивом искусстве есть выражение активного творческого воздействия художника на сырой материал жизни, делающее более отчетливыми ее формы и черты, раскрывающее в ней существенные и новые стороны. Антиреалистические течения, напротив, деформируют облик жизни, чтобы отнять у искусства объективно-познавательный и действительный характер. Это разрушает естественные пропорции предметов и явлений, уродует их облик, убивает здоровое восприятие мира. Одним из способов подобной деформации материала и является калейдоскопичность повествования и «раскованный» сюжет.

Вместе с тем «раскованность» сюжета совсем не признак богатства мысли. «Раскованность» сюжета зачастую бывает прищипана произведениям, в которых мысль и не

ночевала. Свобода и широта сюжета, присущая многим подлинно талантливым произведениям искусства прошлого и настоящего, совсем не состоит в пренебрежении к видимым взаимосцеплениям звеньев произведения. Отсутствие видимых связей людей и событий почти всегда следствие неясности, неопределенности восприятия автором жизни¹.

4

Наша эпоха — эпоха гигантских исторических преобразований, выдающихся научно-технических открытий, все ускоряющихся темпов жизни. Некоторые литераторы воспринимают эти особенности времени как некую «динамизацию» жизни и делают отсюда вывод, что главное значение в искусстве приобретает изображение дела, события, а изображение судьбы и внутреннего мира героев оттесняется на второй план.

Подобные рассуждения выглядят тем более странно, что некоторые пристрастные зарубежные литературоведы уже давно заверяют, будто советские писатели главное внимание обращают на события, на производственные процессы и политические события, и пренебрегают судьбой и внутренней жизнью человеческой личности. В свое время сторонники «событийной» литературы доказывали, что в эпоху общественных переломов, когда нарождается новый общественный строй, искусство, естественно, фиксирует новые общественные отношения, то есть события, ситуации. При этом упускалось из виду, что новое бытие, новые социальные отношения не могут быть раскрыты вне характеров, вне судеб людей, что в подлинном искусстве характеры и судьбы, ситуации и события неотделимы.

Совсем недавно мнение, будто в современной литературе воплощение судьбы человека уступает место изображению событий, высказал К. Симонов.

В статье «Перед новой работой», в разделе «О современном романе» («Вопросы литературы», № 5, 1961), он писал: «В нашей литературе в последнее

¹ Более верный взгляд на проблемы сюжетосложения Е. Габрилович высказывает в своей последней статье «Человечность, гражданственность, смелость» («Литература и жизнь» от 30 июля 1961 года). Здесь он, подводя некоторые итоги Московскому международному кинофестивалю, возражает против крайностей «десюжетизации» и «дедраматизации».

время более бурно развивается роман «события», чем роман «судьбы». Это, по-моему, естественно в обществе, где общественное дело заняло такое громадное место в жизни человека, как у нас. Естественно желание многих писателей вместо того, чтобы длинным лучом света проследить всю судьбу человека от рождения до смерти, бросить этот свет широкой полосой на главное событие в жизни своих героев, причем это главное событие чаще всего в то же время и важное событие в жизни страны. И опять-таки говорю, конечно, только о тенденции. Есть и будут у нас и прекрасные «романы-судьбы». Но «романы-события», как мне кажется, приобретают все большую почву в самой жизни. Проектор упирается своим пятном в главное свершение в жизни человека, а его предыстория очень часто дается только пунктиром».

В конце статьи К. Симонов предупреждает читателя, что его размышления о тенденциях романа наших дней связаны с его собственным писательским опытом, имеют прямое отношение к его творческой работе. Это верно. Но вытеснение судьбы событием совсем не преобладающая черта современного романа и тем более не отличительная черта жизни наших дней. Скорее всего, эта черта выражает лишь особенности творчества некоторых наших писателей, своеобразие их подхода, их видения действительности.

Если исходить не из умозрительных суждений, а из живого творчества лучших наших писателей, то никто не согласится, что произведения М. Горького, М. Шолохова, А. Фадеева построены на преимущественном внимании к ситуации или к событийности. В них наблюдается очень сложное, всегда своеобразное взаимодействие изображений событий, ситуаций и развития характеров, являющихся перводействующими, так как в конце концов самые выдающиеся деяния свершают люди.

И роман К. Симонова «Живые и мертвые» не является сколько-либо последовательным осуществлением принципов «романа-события». Человеческие судьбы неудержимо и властно ворвались в повествование о событиях Великой Отечественной войны. Писатель неизбежно обращается к судьбам Серпилина, Синцова, Козырева и других героев романа.

«Живые и мертвые» — талантливое и сильное произведение, воссоздающее вели-

кое, героическое время. В то же время авторское устремление к «роману-событию» безусловно определило характерные черты романа К. Симонова. Писателю вполне удалось широкое, «панорамное» изображение событий начала Отечественной войны, полных напряженного драматизма, их огромного воздействия на сознание народа. Вместе с тем, как и следовало ожидать, концентрация внимания автора на событиях нанесла ущерб изображению характеров. При всем том значительном, что есть в основных героях романа, они нарисованы все же эскизно, без должного углубления во внутренний индивидуальный мир. Писатель всегда ясно вырисовывает основные отличительные черты действующих лиц. Потому запоминаются даже некоторые второстепенные фигуры, например маленькая докторша или любознательный боец Леонидов. Но таких исходных, хотя и очень характерных черт недостаточно для воплощения ведущих героев произведения. Вне полного художественного раскрытия внутренней духовной судьбы героев, без убедительного глубокого изображения движения их мысли и чувства затруднительно достигнуть полноты и глубины воплощения характеров, их соответствия масштабам происходившего. В этом смысле «Живые и мертвые» — произведение сложное, очень волнующее, открывающее много нового, вызывающее живой отклик, но одновременно имеющее и «огрехи», порожденные, вероятно, во многом полемическим отталкиванием от «романа-судьбы».

Недостаточную глубину изображения судеб героев, их внутреннего мира, развития их сознания в период труднейших исторических испытаний К. Симонов стремился возместить широтой своего писательского комментария, связывающего воедино и объясняющего внешне разрозненные события. Отсюда и лирические отступления, и публицистические призывы, и раздумья автора о событиях начала войны. Авторский комментарий включает отдельные изображаемые эпизоды в общую широкую картину развития военных действий, способствует выявлению их общего смысла, скрепляет их единым эмоциональным ключом.

К сожалению, установка на «роман-событие» приводит порой к подмене авторским комментарием живописных картин, образного воспроизведения лиц. Такой комментарий уместен и в полной мере раскрывает свои возможности, когда органически сли-

вается с образной тканью, как бы продолжая ее. И, напротив, превращается в недостаток, когда писатель пытается возместить им «белые пятна» в образной структуре произведения.

Наиболее отчетливо обнаруживается этот недостаток романа К. Симонова в образе политрука Синцова. Синцову в романе «Живые и мертвые» отведено очень важное, можно сказать центральное место. Он стоит на перекрестке событий, связывает различные сюжетные линии произведения. Его глазами читатель видит многие важнейшие события начала Великой Отечественной войны. К сожалению, изображая очень сложную внешнюю судьбу Синцова, писатель очень скупо посвящает нас в ход его мыслей и чувств. И самые вдохновенные и умные авторские отступления не смогли восполнить этот недостаток. Такова неодолимая внутренняя логика искусства.

Синцов духовно оказался гораздо ниже своего времени, он неспособен охватить события, бросить свет глубокой мысли на происходящее. В оценке этой стороны романа «Живые и мертвые» можно полностью согласиться с утверждением критика Л. Лазарева, что многое в романе, очень ценное по замыслу, лишь названо, художественно не раскрыто. «Ощущение поверхности идет главным образом от того, что духовный опыт главного героя книги Синцова в полной мере не вмещает боли народной и не отражает зрелого мужества, испытанного бедой, устоявшего перед крахом иллюзий».

Почувствуя, что интеллектуальную ограниченность главного героя романа «Живые и мертвые» не могут возместить публицистические отступления и обобщения автора, хотя многие из них превосходны, отличаются живостью и взволнованностью мысли. Но мысль, не включенная в поток образной логики произведения, все же остается посторонней героям произведения. Она предстает перед нами преимущественно как комментарий к военным действиям, не слитый в полной мере с судьбами и переживаниями героев.

Таким образом, при всей широте охвата потока жизни в «романе-событии», при всей заманчивости для писателя запечатлеть действительность в ее наиболее ярких проявлениях, принцип событийности имеет свои слабые стороны. Прежде всего он наносит ущерб воссозданию интеллектуального и психологического облика героя.

Понятно, что К. Симонов имеет в виду жанровые особенности современного советского романа. Но человеческие судьбы и события по своей сущности в искусстве неразделимы: без воплощения судьбы человеческой, судьбы народной, являющейся главным предметом искусства, никогда не было, нет и не будет подлинного великого искусства.

Для писателей-реалистов прошлого и настоящего всегда было характерно пристальное внимание и к событию и к человеку, к освещению их исторически и индивидуально всегда своеобразного взаимодействия.

История развития советской литературы прекрасно подтверждает это. Рядом с воплощением событий всегда развивалось повествование о судьбе, о развитии характеров. Разные варианты противопоставления судьбы человека — событию, производственной жизни — личной, дела — психологическому миру человека неправомерны. В ряду подобных псевдодилемм можно назвать и попытки найти некий конфликт между изображением судьбы человека и события, которые также противоречат природе и творческому опыту реалистической литературы современности.

Взаимоотношения «судьбы» и «события» в искусстве гораздо сложнее. В одних случаях события являются настолько яркими, что, естественно, становятся в центре внимания писателя. В других событие и судьба, характер героя находятся в гармоническом равновесии. В третьих при скупости внешнего действия произведение отличается потрясающей динамичностью, внутренней действительностью, дает ключ к пониманию действий героев, свершений событий, времени. Но при всем этом многообразии всякое урезывание полноты воплощения человека, всякие рассуждения, обосновывающие право писателя не углубляться в судьбы, а следовательно, и характеры героев, неизбежно снижают интеллектуальное содержание искусства.

Однако для верности подхода к данному вопросу существенно подчеркнуть, что духовное богатство произведения определяется не только особенностями характера героя, но прежде всего степенью интеллектуальности самого художника, пронизательностью и емкостью его мысли, способностью представить в ее свете взятые явления жизни. Интеллектуальность раскрывается во всей духовной и исторической сущно-

сти, во всей концепции и целенаправленности произведения.

Вопрос об интеллектуальности искусства в конечном счете решается в зависимости от глубины и широты интеллекта писателя. Повествование крупного художника о самых рядовых людях гораздо пронзительнее и духовно значительнее, нежели тусклые сочинения о людях, представляющих духовную верхушку общества.

Из всего этого, разумеется, не стоит делать вывод о ненужности в нашей литературе высокообразованного героя, связанного со сложными вопросами современной науки и культуры.

Автор одной из полемических статей писал в «Литературной газете»: «...В последнее время некоторые... критики стали очень напирать на слово «интеллект»... Никто, конечно, не будет оспаривать положение, что наша культура вместе с наукой, с техникой и просвещением сделала гигантские шаги. Этому свидетельство и «вымпел, лежащий на холодной поверхности Луны, и спутники, и самолеты: все, что сделано нами — большое и малое, — на целине, в Сибири, на Дальнем Востоке, на всех просторах нашей Родины! И все же излишний нажим на сверхинтеллектуализм, появившийся якобы только сейчас, несправедлив».

Нет, справедлив! Время неутомимо идет вперед, меняется духовный облик человека. Новые измерения определяют его мышление и деятельность. Потому «напирать» на духовное богатство литературы, полноту выражения интеллекта современного человека нужно, и даже взыскательнее, нежели раньше.

Стремление к ясности и богатству интеллектуального содержания литературы и ее основного героя во многом вызывается процессом становления духовной жизни эпохи, убыстренного поступательного движения со временного человечества. И напротив, художники, скептически относящиеся к идее общественного прогресса, стараются воссоздать облик человека, далекого от духовной жизни, нередко даже враждебно воспринимającego интеллектуальность других. Последние годы многие зарубежные литераторы с горечью констатируют главнейшее проявление упадка литературы — тяготение

к духовно бедным персонажам, к интеллектуальному снижению героя.

Зарубежные модернистские течения усиленно пропагандируют, кроме умственно примитивного, «натурального» человека, также стандартный образ перепуганного, морально ущербного героя. Такой нивелированный, однообразный характер в последнее время занял почти все пространство современной декадентской литературы. Поразительное однообразие облика таких персонажей, с еле уловимыми вариациями переходящих из произведения в произведение.

Новаторская особенность советской литературы состоит в том, что она распространяет богатство, сложность и тонкость интеллектуально-эмоциональной жизни, тщательность сложного психологического анализа на изображение самых простых, ранее униженных и темных людей, с огромной силой раскрывает их внутренний мир, связывает их судьбы со сложными проблемами культурной и политической жизни современности. Дальнейшее поступательное развитие общества предполагает невиданное повышение духовного уровня всей массы населения. И литература, если она хочет быть на высоте своего призвания, обязана во всей полноте раскрывать интеллектуальный мир современного человека, его общественные и индивидуальные черты.

Не секрет, что сейчас особенно остро чувствуется интеллектуальная обедненность героя литературы по сравнению с подлинными нашими современниками, вводящими нашу страну в новую эру. Поставленный самим развитием действительности насущный вопрос о художественном воплощении интеллектуального облика героя нашего времени приобретает все большую остроту. Все подлинно интересное и значительное, созданное в литературе за последние годы, никак не снимает волнующего вопроса, на который жизнь настойчиво требует ответа: а где в новых книгах наших писателей образы, равноценные классическим образам советской литературы?

Современный период жизни страны во весь рост выдвигает вопрос о необходимости воплощения нового типа героя, носителя примет наших дней, человека, строящего коммунизм.



В. ГОФФЕНШЕФЕР

★

«НАРОД ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СВОЕЙ СУДЬБОЙ»

Мы пишем о развитии молодых литератур в братских республиках, которые до Октября литературы не имели или имели ее в зачаточном состоянии, — мы пишем об этом статьи и обзоры и иногда, сами того не замечая, уподобляем себя педагогам, ведущим дневник о росте, становлении характера и расширении кругозора ребенка. Между тем зрелость их определяется не возрастом и не этапами, пройденными в замкнутой среде от — образно выражаясь — колыбельной песни фольклора к первым шагам реалистической прозы.

Секрет появления в наших молодых литературах не по возрасту зрелых произведений заключается в том, что ростки национальной социалистической культуры питаются не только материнскими соками, но и впитывают в себя в качестве волшебного стимулятора огромный опыт мировой культуры, широкий доступ к которому открыла народам социалистическая революция, в первую очередь — опыт культуры русского и других развитых братских народов. Это не обычный, издавна известный процесс взаимовлияния культур разных народов, а активное культурное сотрудничество социалистических наций на основе единого экономического и политического строя и единого, коммунистического идеала. Являясь частью самой социалистической действительности и ее отражением, это взаимовлияние национальных культур порождает кажущиеся, на первый взгляд, внезапными, но по существу вполне закономерные «рывки» в развитии той или иной из недавно возникших литератур.

Вот почему молодая проза ряда наших республик — это подлинное детище всей советской литературы — с невероятной быстротой не только завоевала право на все-

союзного читателя, но и выдвинула произведения, которым могла бы позавидовать и любая из «старых» литератур.

Когда я впервые прочитал «Джамилю» Чингиза Айтматова — не стесняюсь назвать здесь произведение, неоднократно «открытое» другими критиками, — я подумал о том, что любая попытка объяснить появление этого произведения только развитием киргизской литературы и рассматривать его только как достижение этой литературы обречена на неудачу. И не только потому, что ни одна из наших литератур не развивается имманентно, но и потому, что талант молодого писателя явился как бы точкой приложения взаимодействующих сил всех наших литератур.

Закономерно, что рост мастерства писателей органически связан с их стремлением к более глубокому осмыслению и изображению жизни. Такое стремление проявляется ныне, в частности, и при изображении представителями молодых литератур прошлой борьбы своего народа за власть трудящихся, за социалистическое переустройство мира. Знаменательно, что историко-революционные произведения часто возникают из автобиографических материалов или прямо являются автобиографическими. Изображаемая писателем борьба — часть его собственной жизни. И вот что интересно: изображая классовую борьбу, разигравшуюся в родном краю в годы становления советской власти, писатели теперь все больше отходят от иллюстративного «и у нас тоже так было». Они ищут и показывают не только то, что внешне совпадало с расстановкой сил и с процессом борьбы у других братских народов, но и явления специфические для данного народа. Речь идет не просто о национальной этнографи-

чески-бытовой окраске событий, а именно о глубинных, узловых моментах классовой борьбы. Эта сосредоточенность на специфических особенностях борьбы своего народа значительно обогащает изображение общей картины социалистической революции.

В этом отношении немалый интерес представляет роман Алима Кешокова «Чудесное мгновение», перевод которого недавно опубликован в сокращенной редакции в «Дружбе народов» (№№ 4, 5 и 6 за 1961 год) и выходит полностью в издательстве «Советский писатель».

Я начну с упрека автору и превосходно справившемуся с переводом романа на русский язык писателю Сергею Бондарину. Мне не нравится название романа — «Чудесное мгновение». Оно звучит несколько банально и не передает идеи произведения. Есть такое кабардинское слово «гъуэбжэ-гъуэщ» — гобжагош. Оно обозначает комету, зарницу, чудесный свет, озаряющий на мгновение небосклон. Если тебе посчастливится загадать в это мгновение какое-либо желание, оно исполнится. Один из героев романа уподобил этому чудесному явлению революцию, которая вывела народ из тьмы и осуществила его чаяния. Но вряд ли можно сказать о революции — «мгновение». Ведь сам герой говорит о начале новой жизни, где «всегда светит ясный свет гобжагоша». По-кабардински это звучит величественно и емко и никак не покрывается «чудесным мгновением».

Кешоков изображает не только революционный перелом и классовую борьбу в Кабарде, но и борьбу идей, борьбу вокруг того, как понять и сохранить чудесный свет, озаривший жизнь народа.

«Народ предстал перед своей судьбой», — говорится в романе, и это роман о выборе пути, произведение, в котором зримо в столкновении и судьбе людей показано, что означало на деле самоопределение наций в процессе социалистической революции и в борьбе за ее идеалы.

«Чудесное мгновение» — историко-революционное произведение, где наряду с реальными историческими фактами описаны и вымышленные события¹. В основе пове-

ствования — хроника одного селения, описание характеров, борьбы и судьбы его жителей в дореволюционное время и главным образом в годы революционного перелома. Хроника пронизана несколькими динамичными сюжетными линиями. Это история женитьбы батрака и будущего чекиста Эльдара Пашева на девушке Сарыме и связанная с нею история князя-конокрада Жираслана, современного абрека, переметывающегося то к белым, то к красным; это история скитаний объездчика Астемира и, наконец, полная драматизма история дружбы и идейной вражды между Иналом Маремкановым и Казгиреем Матхановым — история сотрудничества и борьбы между коммунистами и шариятистами в годы гражданской войны.

Хроника состоит из ряда как бы спирально переходящих одна в другую новелл. Живостью своей роман обязан не только тому, что Кешоков превосходно знает старую и новую кабардинскую деревню. Пишу здесь не специфическое «аул» и не нейтральное «селение», а именно «деревня», следуя удачному, на мой взгляд, приему переводчика, который в некоторых случаях называет обитателей кабардинского аула «мужиками». Это не русификация образа, а приближение его к его трудовому и социальному корню. Уж очень въелся в наше представление романтический образ лихого горца, добывающего пропитание разбоем или сытого одним красноречием и вовсе не знающего, что такое трудовой пот, пролитый на просянном или кукурузном поле! Так вот, не только авторскому знанию людей кабардинской деревни обязан роман своей живостью, но и повествовательному ключу, который писатель избрал для рассказа об этих людях. Перед нами как бы летописец деревни, который любит своих земляков, но не прочь и посплетничать об их слабостях. Он хорошо знает и их далекую родословную и всю их подноготную, их достоинства и недостатки, их дела и их мечты. Пересыпая свою речь народными словечками, пословицами и поговорками, он ведет сказ о своих земляках то с любовной иронией, переходящей в

¹ К сожалению, этот вымысел не всегда оправдан. Так, вряд ли закономерно «назначать» вымышленного героя Инала Маремканова, в образе которого угадываются отдельные черты революционного и го-

сударственного деятеля Кабардино-Балкарии Ветала Калмыкова, на пост первого председателя Нальчикского окружного ревкома, который, как известно, занимал Калмыков. Это может лишь сбить с толку читателей.

юмор, то — там, где речь идет о негодных людях, — в духе разоблачительной сатиры.

«Чудесное мгновение» — первое прозаическое произведение поэта Кешокова (если не считать рассказов, написанных им по-русски и печатавшихся в армейской газете в годы Отечественной войны). И каждый, кто сопоставит этот роман со стихотворениями и поэмами Кешокова, увидит черты, роднящие их. Здесь и лирико-философские раздумья, и любовно-иронический тон в изображении дорогих его сердцу людей, и тяготение к острым сюжетным ситуациям. Поэтическое лицо автора ясно проступает и в первом прозаическом произведении другого кабардинского поэта, в повести Адама Шогенцукова «Весна София», которая насквозь пронизана мягкой лирической тональностью, свойственной его стихотворениям. И хотя проза кабардинских поэтов в жанровом отношении традиционна и не походит на произведения О. Берггольц, В. Солоухина, Ю. Смуула и других, само ее появление свидетельствует о каком-то интересном процессе, характерном для всей нашей литературы.

Мне неоднократно доводилось бывать в кабардинских селениях, и в описании аула Шхальмивоко, где начинается действие романа, я узнаю родину писателя, селение Шалушка, а в речке — ту самую мелководную Шалушку, которая, если верить одному из стихотворений Кешокова, однажды не могла донести свои воды до Терека, так как ее «выпили совсем бычки и пестрые телушки». но которая в пору дождей или таяния ледников превращается в грозно разливающийся горный поток.

Описанием такого бурного разлива и открывается роман. Этот разлив нужен здесь не для ходячей символики, к тому же и до революции еще далеко. Он нужен писателю, чтобы показать людей аула в момент, когда ярко проявляются их положение в обществе и характеры. Они заняты азартным делом, собравшись у реки, они вылавливают из нее всякое добро — от чинары, вывороченной потоком в верховьях, до деревянной кровати, смытой вместе с другим скарбом где-то в горном балкарском селении.

Здесь мы видим нищего фантазера Нургали, которого тщетная погоня за богатством довела до сумасшествия. Тоскливую фигуру этого неудачника заслоняет само-

довольная фигура богача Мусы Абукова, выехавшего на лов на двух арбах со своими приспешниками Батоко и Масхулом. Кровать, которая так бы пригодилась бедной вдове Дисе для ее дочери-невесты Сарымы, достается богачу. Но Муса сегодня великодушен, и он здесь же дарит находку вдове. В отличие от муллы Саида, за которого в воду лезет его работник Эльдар (через несколько лет Эльдар станет большевистским комиссаром), веселый рыжеусый дед Баляцо управляется сам вместе со своими сыновьями-джигитами, которые в будущем станут бойцами революции. Если злобная знахарка Чача подбирается к чужим кучам выловленного хвороста, то не менее злобный и тяжелый на руку старшина Гумар блюдет, чтобы никто не посягал на чужую добычу. Исключение делается для кузнеца Бота: дубовые дрова — ему, на уголь. Каждый знает, что придет к горну кузнеца. Через несколько лет умелец, почитаемый народом, будет убит по приказу князя.

Прошу прощения за то, что, пользуясь случаем, я рассказываю и о будущем герое. В этом отношении я следую той манере, в которой ведет повествование и сам автор, то забегая вперед, то приглашая читателя обратить внимание на то или иное обстоятельство, которое, мол, в дальнейшем сыграет свою роль.

...Понятно, что в смотре-представлении персонажей романа во время их азартной охоты у реки мы не встретим тех, кто не нуждался в мелких дарах разбужившейся стихии. Здесь нет ни начальника округа будущего белогвардейца полковника Клишбиева, ни князя Берда Шарданова, который в годы гражданской войны свирепо расправится с жителями аула за разгром его имения и лишит жизни ни в чем не повинного кузнеца Бота. Нет здесь и «карающей руки империи» — подлого холоуя царских властей и кабардинских помещиков пристава Аральпова, чьей пулей будет совершено это злодеяние. И подавно нет здесь одинаково чуждающегося и начальства и односельчан князя-конокрада Жираслана — фигуры одновременно и романтической и жалкой.

Не было у реки и самых близких автору героев романа. В семье объездчика Астемира Баташева в тот день появился на свет маленький Лю. В изображение Астемира, его жены Думасары и их ребятишек

Тембота и Лю Кешоков вложил всю теплоту своего сердца. Судя по опубликованным автобиографиям, в повествовании об Астемире и его сынишке Лю писателем внесено немало автобиографических черт и фактов. В частности, я уже давно читал о глобусе, который был привезен отцом писателя из города и который изумил не только его маленького сына, но и старика соседа. В романе старик Баляцо не верит, что Земля круглая, и требует, чтобы ему доказали, почему с нее не падают люди и не стекают моря и океаны. Астемир не может ответить на этот вопрос и мучится из-за этого. Этот глобус становится своего рода лейтмотивом повествования об Астемире. Человек этот, восставший против темноты и косных обычаев, мечтает о том дне, когда можно будет открыть в селении школу и когда он наконец сможет объяснить людям, почему они держатся на круглой Земле. Ему суждено скитаться за пределами родного края, многое испытать и о многом узнать. В годы гражданской войны он борется за дело трудящихся с оружием в руках, а затем становится в родном ауле председателем ревкома. Но его тянет к глобусу, к букварю, к колокольчику, которым созывают детей в школу.

В изображении того, как Астемир осуществляет наконец свою мечту, вложено столько теплоты, что прощаешь автору явный просчет: слишком уж наивно-восторженным и простодушным выглядит этот умный человек в сцене, когда, построив детей парами (к ним пристроились и дед Баляцо со своей старухой), он повел их в школу.

Вооруженная борьба, открывающая дорогу к науке, к знанию, к свету, — это обстоятельство подчеркнуто не только в рассказе об Астемире. Русский коммунист Степан Коломейцев после гражданской войны также возглавил первую в Кабарде школу-коммуну.

Все это — и борьба с оружием в руках и борьба за знание — совершается для таких вот, как маленький Лю. Кешокову удалось раскрыть мир ребенка, показать всю непосредственность и наивность, с какой он воспринимает бурные события. В этом восприятии приобретают одинаковую важность и смена власти в ауле и каким-то образом доставшаяся в наследство мальчику красная феска хаджи Инуса, которую новый обладатель увенчал блестящим шаром

от никелированной кровати и превратил в революционный головной убор. Психологически тонко и достоверно описана трогательная детская любовь Лю к диковой «замарашке» девочке Тине. Но главное достижение писателя — большой такт в изображении того, как формируется характер ребенка под влиянием революционных событий.

По мере развития романа, в особенности во второй его части, рамки художественной хроники и историко-бытового повествования начинают расширяться, и произведение приобретает характер историко-революционного романа, в центре которого оказывается важный идейно-политический конфликт. В свете этого конфликта получает более широкое звучание и ряд событий из жизни селения и его обитателей. Это — игравший немалую роль в борьбе мусульманских народов за революционное переустройство мира, за свою судьбу конфликт между коммунистическими идеями и программой, с одной стороны, и, с другой, социально-этическими религиозными идеалами шариата, пытавшимися приспособить к себе борьбу трудящихся за национальное и социальное освобождение.

Роман Кешокова пока что единственное не только в кабардинской и вообще в северокавказской, но и во всей нашей литературе произведение, где этот конфликт показан широко и во всей его сложности. Борющиеся силы возглавлены в романе двумя людьми, дружившими в детстве, а затем оказавшимися кровниками, — одним из руководителей большевиков Кабарды Иналом Маремкановым, и руководителем шариатистов верховным кадием Казгиреем Матхановым. Оба они встали над реакционными предрассудками кровной мести, но оба столкнулись в борьбе куда более значительной, чем вражда между двумя родами. «Сегодня народ встретился со своей судьбой, и не Маремканов с Матхановым...» — говорит Маремканов на бурном собрании представителей Кабарды и Балкарии, где столкнулись два мировоззрения и две политические программы.

Вместе с углублением конфликта меняется и выражение лица рассказчика. С него сходит любовно-ироническая или саркастическая улыбка, оно становится суровым. В рассказе о людях, столкнувшихся в борьбе

за судьбу народа, о Маремканове и его старшем соратнике русском большевике Колмейцеве, с одной стороны, и Матханове, с другой, звучит строгий эпический голос Кешокова — автора исторических и современных поэм о борьбе народа за свое будущее.

В отличие от других образов, созданных несколькими сочными штрихами и повторяющимися характерными деталями, образ Матханова аналитичен и дан в развитии. Он занимает большое место в романе и требует более пристального рассмотрения.

Казгирей Матханов — религиозный деятель новой формации, представитель младомусульманской духовной интеллигенции. Это уже не традиционный духовный судья вроде Ахмеда кадия, выразительно показанного в романе дагестанского писателя Ибрагима Керимова «Махач». С таким кадием, защищающим интересы феодалов, проповедующим идеи панисламизма с неуклюжестью малопросвещенного агента султанской Турции, у Матханова мало общего. Перед нами не захолустный кадий в халате, а молодой человек в белой черкеске и в пенсне, с одухотворенным бледным лицом интеллигента. И эта внешность соответствует сущности персонажа, раскрытой в романе со всей убедительностью. Писатель показал нам объективные и типичные для изображаемой среды обстоятельства, в которых формировался человек и его мировоззрение. В этом формировании немалую роль сыграли чувства страха и неискупленной вины, жажда подвига во имя добра и справедливости, во славу аллаха.

Отец Казгирея нечаянно убил своего друга соседа, отца Инала Маремканова. И хотя несчастный убийца отдал половину своего имущества осиротевшей семье и тем самым лишил ее права кровной мести, мысль о будущем своих сыновей, когда подрастет сын убитого, Инал, не давала ему покоя. Для того чтобы обезопасить судьбу своих сыновей, он отдает старшего, Нашхо, в русскую школу — кто покусится на писаря, почти чиновника! — а младшего, Казгирея, готовит к духовной карьере — ни один правоправный не поднимет руку на муллу! Духовное училище в Баксане, высшая духовная школа в Бахчисарае, высшая академия богословия в Стамбуле — таковы ступе-

ни, по которым сын обедневшего кабардинского уорка (дворянина), унаследовавший от отца «честолюбие и твердость, благородство и сметливый ум», поднимался к вершинам религиозной философии и социологии.

Через несколько лет Матханов приехал в родное селение, восседая на ящиках с типографским оборудованием. В Кабарду вернулся не мулла, а религиозный просветитель. Вместе с известным в истории кабардинского просвещения Нури Цаговым он начал издавать газету и учебники для народа. Но просветительство Казгирея Матханова имело свою специфическую направленность: вместе с типографией Казгирей привез из Турции младомусульманские шариатистские идеалы.

Он искренен в своих политических воззрениях и религиозных проповедях и, как многие другие младомусульмане, вставшие против феодализма, увидел в Октябрьской революции путь к осуществлению некоторых религиозно-демократических идеалов. Поэтому он отвернулся от белых. Но он и не примкнул к лагерю большевиков. Он избрал третий путь, сформировав самостоятельный шариатский отряд, который в союзе с большевиками дрался против белогвардейцев. Это была борьба против князей и богачей, которые-де «отшли от истинного понимания правоправности», борьба за возрождение «нравственной чистоты народа, счастливого благословением аллаха и его пророка».

Как известно, Ленин и Центральный Комитет партии призывали проявлять чуткость и гибкость в работе среди мусульманских трудящихся, учитывать огромную роль религиозного и национального моментов в их жизни. Но терпимость коммунистов к этим религиозно-национальным моментам подвергалась большим испытаниям. Хорошо, если «истинное понимание правоправности» совпадало с национально-освободительным движением и борьбой за дело трудящихся против белогвардейцев и национальных феодалов. Хорошо, когда это прогрессивное понимание подтверждалось делом и пролитой кровью, как это было в борьбе шариатистов против белогвардейщины на Северном Кавказе. Но куда сложнее (а с точки зрения размежевания — куда проще) обстояло дело, когда «истинное понимание правоправности» политически смыкалось с

оголтелым религиозным фанатизмом и национал-шовинизмом.

Казгирей начал с устных проповедей и печатных обращений, в которых он призвал кабардинцев во имя сохранения народа не воевать друг с другом, ибо их объединяет вера. «Пусть мусульманин подаст руку мусульманину». Развитие гражданской войны, казалось, раскрыло перед ним несостоятельность его призывов к классовому миру во имя единоверия и ради сохранения нации. Урок этот преподали Казгирею кабардинские белогвардейцы, убившие его отца. Но несмотря на этот урок, при конкретной расшифровке религиозно-политических идеалов Казгирея из них вырисовывается программа, объективно враждебная интересам трудящихся: «Судить по шариату, управлять по Советам. И первый закон — закон всех законов — свобода! Для мусульманина закон шариатский, для немусульманина — новый, советский. Признаешь шариат — к нам, не признаешь — к Советам...»

Казгирей пытается осуществить этот лозунг на деле как верховный кадий. Он стремится к тесному сотрудничеству с советскими органами, втайне надеясь обратить их представителей в свою веру. Он приветствует открытие советской кабардинской школы, но уверяет, что она достигнет своей цели лишь в том случае, если в ней прозвучит священное слово корана. Он убежден в том, что его борьба за «истинное понимание правдивости и возрождение нравственной чистоты народа» соответствует идеалам свободы и гуманизма. Но уже самая идея национальной обособленности и исключительности, отгораживающая один народ от другого, ставящая одну нацию выше другой, враждебна братству трудящихся, а следовательно, и гуманизму. Деление мира на мусульман и «гяуров» выходит за национальные рамки и приобретает классовую подоплеку: «гяуром» оказывается не только русский, но и кабардинец-коммунист. Призыв к свободе и терпимости обрывается оголтелой религиозной, национальной и классовой нетерпимостью.

Кешоков показывает закономерный процесс возвращения шариатизма к реакционным классовым и религиозным истокам. Под лозунгами и знаменем Казгирея Матханова в одном из балкарских ущелий возникает контрреволюционное восстание. Объявив священную войну большевикам, узде-

ни и их бандитские шайки вырезают в аулах коммунистов и советских активистов.

Да, все это делалось под знаменем Матханова, хотя и без его ведома. Пусть он даже сам участвовал в разгроме этого восстания, все это означало идейный крах шариатистов. Не зря Казгирей ощущает «чувство непоправимого несчастья», не зря он думает о том, что, если бы его поразила пуля, он «не стал бы жалеть об этом».

Жаль, что, убедительно показав путь Матханова, развитие и крах его идеалов, Кешоков завершил повествование о нем малоубедительно.

Можно еще понять попытку Матханова найти себе оправдание в глазах простых людей, его жалкий лепет о том, что «ничего не изменилось сегодня. Это не моя вина, что кто-то украдкой хотел вытереть грязное место полой моей черкески».

Но никак нельзя примириться с тем, что Казгирей Матханов, оказавшись перед большими испытаниями, вдруг решает уехать в Мекку. Такое завершение его судьбы выглядит искусственным. Речь идет об определенном характере и его конкретном развитии. Матханов, каким его изобразил Кешоков, достаточно тверд и честен с самим собой. Такие люди отряхнули со своих ног религиозно-националистический прах и перешли на сторону большевиков, или становились открытыми буржуазно-националистическими врагами советской власти.

То, что Матханов занимает большое место в романе, не означает, что он главный герой произведения. Но его идеи и заблуждения, несомненно отражающие заблуждения многих мусульман — участников революции и гражданской войны, служат тем негативным началом, в борьбе с которым раскрываются лучшие черты и чаяния народа и героев, выражающих передовые устремления этого народа. Каждый из этих героев запоминается. Вот коренастый неулыбчивый Инал Маремканов, который еще в юном возрасте отличался хмуростью и замкнутостью, упорством и пылкостью, и, пройдя рабочую выучку в железнодорожных мастерских и став одним из большевистских вожakov края, доказал, что эти качества его характера не только не увели его от людей, а привели к борьбе за их долю. Рядом с резковатым Иналом мы видим старого профессионального революционера русского рабочего Степана Ильича Коломейцева — спокойного и рассудительного

коммуниста, хорошо знающего людей, среди которых он ведет организационную и пропагандистскую деятельность.

Очень колоритна фигура их младшего соратника, Эльдара Пашева,— темпераментного и увлекающегося парня, достигшего революционную правду не столько умом, сколько сердцем, и подпавшего на некоторое время под влияние Матханова. Путь Эльдара от ограниченности темного деревенского батрака к пониманию смысла и сложности событий показан без нажима и натяжек. Он органически переплетен с его интимными переживаниями.

Однако ни один из этих героев — это относится и к Астемиру — также не становится стержневым. Отсутствие главного героя в какой-то мере возмещается страстностью участия каждого из них в разгоревшейся вооруженной и идеологической борьбе, поисков путей в тяжелой и своеобразной обстановке.

Как-то в споре с Матхановым Инал Маремканов напомнил старую народную поговорку: «Когда переходишь через поток, держась за хвост собаки, непременно потонешь. Будешь держаться за хвост коня — перейдешь». Этим конем был для кабардинского народа красный конь революции. И в час, когда народ предстал перед своей судьбой, он сделал единственно правильное, что мог сделать: не полагаясь на аллаха, взяв свою судьбу в собственные руки, поднялся на борьбу вместе со всеми трудящимися Советской России за благо всего человечества, отвергнув враждебную социалистической революции и подлинному гуманизму «свободу» правозверных противопоставлять себя другим народам.

Так тревожный и настойчивый мотив важного идеологического спора, пронизавший многоголосие бытовой хроники, превратил роман Кешокова в произведение о путях народа в революции, о социалистическом гуманизме, о чудесном свете, озаряющем движение в будущее.

Если в книге Кешокова события революции и гражданской войны предстают перед нами в озарении идейно-политического конфликта, то в новом романе Г. Мустафина «После бури» (сокращенный перевод этого романа появился в журнале «Простор», №№ 10, 11 и 12 за 1960 год, но автору настоящей статьи известен и его полный текст) акцент повествования сделан на изо-

бражении и осмыслении социально-экономических основ революционного процесса.

Я недостаточно хорошо знаю казахскую литературу, но, кажется, не ошибусь, если скажу, что в ней еще не было произведения, которое с такой полнотой, как этот роман, показывало бы жизнь казахских степей в период нэпа. Роман привлекает к себе еще и тем, что действие происходит в местах, где ныне возник Целинный край.

Годы нэпа уже представляются нам историей. Редко кто из современных писателей обращается к ним. В немногочисленных произведениях последнего времени, которые вспоминаются, когда мы говорим об изображении нэпа (в частности, повестях Павла Нилина, «Сентиментальном романе» Веры Пановой, в новом варианте «Вора» Леонида Леонова), этот период предстает в связи с некоторыми моральными проблемами и конфликтами, не потерявшими своего значения и по сей день. Но основные процессы того времени эти произведения затрагивают лишь косвенно, в той мере, в какой это нужно для обоснования интересующих писателей конфликтов.

В романе же Г. Мустафина изображена борьба, связанная с основными противоречиями в жизни казахской степи того времени. Писатель показывает конкретную почву и всю остроту столкновения людей в очень сложных условиях. Они характеризовались не только экономическим и идеологическим оживлением, а то и засильем баев и феодалов, но и одновременным усилением советского строительства в отсталой республике, активизацией трудящихся масс, их участия в управлении на местах, затем в ограничении и, наконец, в ликвидации эксплуататорских классов.

Мустафин как бы ведет читателя к ясному представлению о том, что кардинальным средством уничтожения байского засилья и влияния мог быть и стал подрыв хозяйственной мощи, на которой держалось это влияние, передел земельных угодий и конфискация байских табунов и отар.

Надеюсь, читатель не истолкует такую глубоко социологическую характеристику, вполне применимую к историко-публицистическому очерку, как сомнительный комплимент художественному произведению. Сила романа состоит в том, что процесс перерастания борьбы людей за кусок мяса и чашку кумыса в борьбу за власть трудя-

шихся, за новый социальный уклад показан в его сложных житейских проявлениях и опосредствованиях. Этот процесс изображен в ряде выразительных картин и эпизодов. Достаточно прочитать рассказ о том, как мырза Шакен вновь — на зависть всем — установил свою роскошную белую юрту, пролежавшую пять лет в тайнике, достаточно увидеть его, самодовольного и властного, в кругу холуев и прихлебателей, чтобы не только из разговоров, которые они ведут, но из всей картины почувствовать надежды, возлагаемые на нэп не свергнутыми еще властителями степи.

Романист интересно показал сложную, характерную для отсталых народов обстановку первых лет революции. Часто в качестве представителей советской власти здесь подвизались чуждые ей люди — единственно грамотные среди сплошь неграмотных байские сынки или чиновно-опытные холуи родовой знати. Вот прихвостень мырзы Шакена Байбол, облеченный полномочиями аульного старосты, с советской печатью в кармане, вот ставленник баев и сам бай Малкар в качестве «волостного», а вот и буржуазные националисты вроде председателя уездного исполкома Еркембая, образованного байского сынка Сайлаубека и других уездных и республиканских комиссаров, приезжающих в аулы с тем, чтобы полномочия и наганы, данные им для защиты интересов трудящихся, обратить против последних. Наконец, мы видим националистических и правоуклонистских «теоретиков», разглагольствующих — подобно наркому Жандосу — о «специфике» классовой борьбы в Казахстане, о неизменности кочевого образа жизни для казахов и непреодолимом преобладании традиций родовой связи над классовыми противоречиями. Все эти люди не только извращали политику советской власти, но и сбивали с толку забитых бедняков и батраков, которые получали об этой власти превратное представление.

В ряде ярких эпизодов Мустафин показывает, какие трудности пришлось преодолеть при советизации казахского аула, как коммунистам удалось опрокинуть феодально-родовые градиши и поднять грядущихся на борьбу за ликвидацию эксплуататорских классов. И показ этот имеет не один лишь исторический интерес.

Дело не только в том, что и по сей день

в нашей жизни сохранились некоторые пережитки старого, против которых была начата борьба в те годы. Нет, я говорю о более широком значении романа, где изображено сложное переплетение классовых борьбы и внутривидовых связей: с одной стороны — классовые противоречия и классовая солидарность, с другой — веками сложившиеся взаимоотношения родов, ответвлений с их традиционной дружбой и вековой враждой. Бедняк, поднявшийся против баев из своего рода, считался изменником, а бедняк, задевший богача из чужого рода, считался родовым врагом. Зато сговор баев из враждовавших родов против «голдранцев» оправдывался «интересами нации». Эти сложные переплетения и взаимоотношения живы еще и ныне во многих отсталых странах Азии и Африки, и к вопросу об интересном звучании романа Мустафина в связи с современностью мы еще вернемся.

Но почему же при всех положительных качествах романа, читая его, чувствуешь себя взволнованным не более, чем в солидном и богатом экспонатами музее? Здесь все интересно и удовлетворяет твою любознательность. Казах или киргиз будет взволнован узнаванием — вот это здорово схвачено, так было, очень похоже! Человек, мало знакомый с экспонируемой средой, будет жадно вглядываться в ее детали. Ему будет интересно узнать и о сложных интригах баев, и о том, что стол в юрту вкатывают, как колесо, и о том, что о родовой принадлежности казаха можно было догадаться по его малахаю. Читатели-зрители надолго задержатся у портрета мырзы Шакена, с улыбкой будут рассматривать выразительную фигурку тшедушного задиры Тауке, задумаются у наброска, изображающего хозяйку «кумысной» поэтессу Актамак, с интересом прослушают записи диалогов, в которых (даже сквозь весьма посредственный перевод) звучит колоритная народная речь, и к воспроизведению бесед, где обсуждаются судьба и пути народа...

Так откуда же это ощущение музейности? Почему же исход событий и решение отдельных конфликтов не поражают нас как откровение?

В отличие от романистов двадцатых годов, писавших о классовой борьбе в деревне в период нэпа как о событии сегодняшнего дня, автор современного социального

романа об этом периоде, как и любой писатель, изображающий прошлое, имеет некоторое преимущество. Оно вытекает из того простого обстоятельства, что характерные для этого прошлого общественные противоречия и конфликты уже решены самой жизнью. Писателю ясна и расстановка борющихся сил, и исход борьбы, и судьба людей. Но это преимущество таит для автора и опасность. Писатель, полагаясь на то, что главное уже сказано самой историей, может сбиться с художественного раскрытия событий на образное иллюстрирование и комментирование их, забыв, что для искусства не существует решенных задач и что произведение, если оно является подлинно художественным, каждый раз открывает мир заново. Это относится к изображению прошлого не в меньшей мере, чем к роману о современности. Тем более — к изображению такого прошлого, которое является частью истории настоящего.

Мне кажется, что, используя все преимущества, предоставленные писателю исторической дистанцией, Мустафин не избежал опасности, о которой я говорил. И произошло это главным образом из-за недостаточно глубокого раскрытия образа главного героя романа — Амана Сапарова.

Утверждая это, я исхожу из той задачи, которую автор сам же поставил перед собой, избрав тип романа с главным героем. По-моему, он поступил правильно, сделав так и не ограничиваясь эпическим произведением, построенным, например, по принципу «массовых сцен из народной жизни». Изобразить ломку многовекового уклада и создание новой жизни можно наиболее успешно, если движение истории раскрывается в судьбе, в формировании сознания и чувств человека, активно участвующего в этом движении. И убедительно это можно сделать лишь в том случае, если герой явится не просто средством сцепления сцен и эпизодов, а объектом обстоятельного художественного исследования и изображения. Скажем попутно, что это требование тем более обязательно для романов типа «После бури», что они являются не только исторической хроникой, но и произведением о формировании советского человека.

Однако образ главного героя, нарисованный Мустафиным, мне кажется, не совсем соответствует той большой роли, которая отведена ему в романе.

Аман Сапаров въезжает в действие романа на белом коне победителя. Поневолу придаешь символический смысл эпизоду, которым начинается повествование: юноша охотник Аман скачет за волком на белом коне... Едва став на стезю классовой борьбы, Аман с непонятной легкостью приобретает славу в народе («и в городе, и в ауле, и на учебе у всех на устах только его имя»). Его путь от полной аполитичности к роли одного из уездных большевистских вожakov проходит где-то за кулисами действия. Казалось, совсем недавно мы его видели беседующим с Жумабеком Ералиным, который приехал из уездного комитета партии, чтобы вовлечь молодежь из бедняцких и середняцких семей в активную деятельность. Далекий от политической борьбы Аман не поддается уговорам Ералина. Но через короткий срок Аман, «никогда не вязывавшийся ни в какие ссоры и драки, отличавшийся чуть ли не девичьим поведением», защищая товарища, вступает в борьбу с байскими ставленниками, захватившими власть в волости. В романе интересно изображено, как дальновидный мырза Шакен пытается приручить своего потенциального противника и, разыгрывая роль его покровителя, даже выручает его из-под ареста. Все как будто предвещает интересный конфликт, в развитии которого нам дано будет познать характер героя и становление его сознания, а значит, вместе с ним познать противоречия того времени, искать пути их разрешения, волноваться, страдать и торжествовать.

Но намечившееся было изображение того, как формируется сознание героя в жизненной практике, вытесняется информацией о его успехах в самообразовании. Когда Аман говорит, что он «окончил «университет на дому», это не иносказание, не намек на суровую житейскую школу, а точное указание на одно из пособий того времени. Амана посылают в Акмолинск на курсы золотых работников, и он надолго исчезает из поля зрения читателя. Но в то же время он незримо участвует в событиях уже в качестве прославленного политического руководителя и борца. Мы узнаем, что в ауле распространяется письмо от Амана, в котором он учит, как бороться с баями и их прислужниками. Он работает в уезде, а в последующие годы предстает перед нами в качестве начальника милиции в родных местах, откуда байские покровители спешат

убрать его. Затем он эпизодически появляется в ауле в качестве одного из руководящих уездных (а впоследствии районных) работников. Аман разъясняет землякам смысл событий и инструктирует их. В свою очередь он внимательно выслушивает разъяснения и инструкции старших товарищей. Все это одновременно служит комментарием для читателя и помогает последнему лучше понять политическую и экономическую сущность событий. Но все это находится в границах того иллюстрирования истории, о котором говорилось выше.

Трудно понять, как это произошло. Возможно, автор был связан фактами биографии конкретного прототипа, отражающей (я вовсе не собираюсь отрицать это) биографии многих других молодых казахов того времени. Но образ, созданный в романе, не может захватить чувства и мысли читателя, не может взволновать его поисками и открытиями.

Наиболее яркой фигурой в романе оказался мырза Шакен. И я мог бы сказать: знакомая история — отрицательный герой оказался более удачным, чем положительный! Но не могу ограничиться этим, потому что речь здесь идет о разных художественных аспектах изображения.

В то время как в изображении Амана есть элемент условности, и он показан как традиционный герой народного эпоса или даже старинного романа, вступающий в действие озаренным славою личного героизма, обаяния (в него влюблены три женщины) и рыцарского благородства (вспомним сцену, где он с жестом презрения вернул паган стрелявшему в него националисту Сайлаубеку), образ Шакена раскрыт с подлинной реалистической силой, с психологической глубиной и правдивостью. Слезы радости на глазах при вести о смерти Ленина и широкий жест — строительство большого здания для советской школы — таковы крайние проявления затаенных чувств и показных деяний хитро ведущего свою игру бая. Писатель хорошо показал властную собственническую душу этого человека, беспощадного, когда он чувствует безнаказанность, осторожного и увертливого в момент опасности.

Образ Шакена, реалистически изображенного в его сложных социальных и индивидуальных проявлениях, настолько подвывает во многом условный и схематичный образ Амана, что это придало неужи-

данное звучание финалу романа. Здесь рассказывается, как Шакен в приступе ярости убивает любимую молодую жену Шолпан. Он узнал, что она давно уже изменила ему с Аманом, который является отцом ее ребенка, и что она решила оставить его, Шакена, в момент, когда его раскулачили.

Скажу откровенно, что в этом трагическом финале жестоко обманутый в своих лучших и единственно человеческих чувствах Шакен вызывает даже сочувствие.

Вопросы, возникающие в связи с романом Мустафина, имеют принципиальный интерес для всей нашей литературы. Речь идет не только о «вечных» проблемах художественного открытия и иллюстративности, о «романе героя» и «романе событий», о персонаже как воплощении идеи и т. д. и т. п. Хотелось бы подчеркнуть один момент, особенно актуальный для сравнительно молодой прозы ряда наших республик.

Во многих случаях роман о прошлом является здесь не только средством художественного воссоздания исторического пути народа, но и превосходной школой реалистического повествования, дающей свои плоды и при переходе от прошлого к современности. Научное, историко-материалистическое осознание прошлого, а также историческая завершенность событий требуют, чтобы усилия художника были перенесены с внешне хроникального историко-героического повествования на раскрытие внутреннего мира участников событий, социально-психологических мотивов их действий и т. п., то есть на изображение того, что мало изображалось в историко-героическом эпосе.

Мустафин стремился к этому и во многом успешно претворил свои замыслы. Но в то же время старые традиции эпоса, героического сказа настолько крепки, что они до сих пор продолжают вторгаться в современное реалистическое повествование. И то, что я говорил в связи с этим о герое романа Амане, который немотивированно для читателя предстает в героическом ореоле, характерно не только для произведения Мустафина. В какой-то мере в подобном ореоле предстает перед нами в первых главах и главный герой уже упомянутого мною и во многом интересного романа И. Керимова «Махач» Дахадаев.

Нельзя, впрочем, все сваливать только на непреодоленные традиции эпоса и героического сказа. Такого рода просчеты могут оказаться — и оказывались! — и в «старых»

литературах, давно преодолевших эти традиции. Но независимо от причины их возникновения лучше, если бы их не было. В частности, удачи Мустафина показывают, что писатель мог бы избежать того просчета, о котором я говорю. Широко и смело задуманное полотно требует художественного воплощения, достойного его замысла, требует мобилизации всего мастерства.

Романы, о которых здесь рассказано, при всем их различии огмечены широким историко-материалистическим кругозором, глубоким эпическим дыханием, ощущением живой истории советского народа и преемственной связи прошлых битв со строительством настоящего и будущего — качествами, характерными для литературы народа, строящего коммунизм.

Когда читаешь эти произведения, думаешь не только о развитии отдельных наших братских литератур и всей советской литературы в целом. Нет, читая такие произведения, думаешь и о поучительности самой жизни и борьбы, изображенной в них.

В новой Программе КПСС говорится о том огромном значении, которое имеет исторический опыт революционной борьбы и строительства социализма, накопленный народами Советского Союза, для народов всего мира, для национально-освободительного движения.

Говоря об этом применительно к литературе, мы не имеем права сводить вопрос о передаче этого опыта только к области развития национальной социалистической культуры и к прогрессивной роли социалистического реализма, как это иногда делается.

Литература играет огромную роль в передаче широкого жизненного опыта, накопленного народами. Своеобразны пути народов к свободе, к национальной независимости и к социализму. Но разве не поучителен рассказ Кешокова о попытке противопоставить социалистическому гуманизму религиозно-националистический «гуманизм», распространяющий долг человеколюбия, свободу и справедливость только на единоверцев и логически порождающий презрение и ненависть к инаковерующим или неверующим. Разве не поучительна эта

история для понимания драматических событий, происходящих в некоторых мусульманских странах, освободившихся от колониального гнета и ставших независимыми, странах, где прогрессивные национально-освободительные тенденции подменяются иногда оголтелой религиозно-националистической нетерпимостью, жестоким преследованием и убийством коммунистов — истинных борцов за национальную независимость, за благо трудящихся!

Я уже говорил о широком актуальном звучании романа Мустафина для тех борющихся за независимость стран Азии и Африки, где еще играют огромную роль племенные и родовые связи и распри, используемые империалистическими колонизаторами для своих интриг, тормозящие национальное и социальное развитие народов.

Роман о том, как в первые годы советской власти в казахских степях баи и их ставленники раздували родовые чувства бедноты для натравливания ее против ее же освободителей, я читал в те дни, когда разыгрывались трагические события в Конго, завершившиеся убийством Патриса Лумумбы, события, в которых колонизаторы использовали племенную вражду среди конголезцев для расправы с борцами за их же, конголезцев, независимость. И без всякой натяжки я ощутил тесную связь между этим романом и современной борьбой в ряде стран.

Хотя изображенная в романе Мустафина борьба протекает в благоприятных условиях победившей социалистической революции, многое в ней поучительно и для тех отсталых народов, которые, добившись некоторых национально-демократических завоеваний, остались в экономической зависимости от иностранных колонизаторов и местных продажных князьков и богачей.

Чем глубже идет художественное осознание нашего пути — вчерашнего, сегодняшнего, завтрашнего, — чем выше мастерство в изображении этого пути, тем выше и актуальнее интернациональная роль нашей многонациональной литературы, тем ценнее ее вклад в сокровищницу мировой культуры и в борьбу человечества за коммунистическое будущее.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лазарев. «Далекая милая юность». — В. Фролов. По пути в космос. — С. Ларин. Герои не исчезают бесследно... — О. Михайлов. Добрыми глазами. — Р. Зернова. Книга о любви. — А. Дементьев. Вместо рецензии. — Л. Зонина. Правда — революционна.

ПОЛИТИКА И НАУКА

М. Михайлов. Могучее древо. — А. Хавин. Человек коммунистического общества. — И. Ермашев. Идеи и судьбы. — Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. Октябрь в Москве. — И. Иноземцев. Наш Ломоносов.

Литература и искусство

«ДАЛЕКАЯ МИЛАЯ ЮНОСТЬ»

Александр Фадеев. ...Повесть нашей юности. Из писем и воспоминаний. Составление, комментарии и статья С. Преображенского. Детгиз. М. 1961. 350 стр.

Александр Фадеев. «...Повесть нашей юности» — написано на обложке книги, недавно выпущенной Детгизом в серии «Школьная библиотека». Странно: как известно, у А. Фадеева не было такого произведения. Возникшее недоумение рассеивает подзаголовок: «Из писем и воспоминаний». Да, книга составлена из писем и воспоминаний, многие из которых публикуются впервые. Главным образом из писем, и поэтому, по правде говоря, затея Детгиза поначалу кажется рискованной: издать письма писателя стотридцатитысячным тиражом да еще для ребят — оправданно ли это?

От всех этих сомнений и опасений не остается и следа, как только начинаешь читать письма А. Фадеева другу юности А. Колесниковой, открывающие «...Повесть нашей юности». Название книги не обманывает — это действительно повесть, а еще точнее, если использовать слова самого А. Фадеева, запечатленная в письмах «слитная симфония юности». И не только потому, что эта переписка была не обязанностью, пусть даже приятной, не выполненным дру-

жеского долга, а почти сказочным возвращением в далекую юность. «...Это было великое, прекрасное, чистое переживание, я счастлив тем, что оно было», — писал А. Фадеев. И в другой раз: «Я напишу Вам длинное, длинное продолжение в следующем письме... Если бы Вы знали, как хорошо мне вместе с Вами идти по нашей юности!..» Кроме того, письма эти были, может быть даже не до конца осознанно, первой записью, первыми фрагментами книги, замысел которой жил в душе писателя. Он даже как-то сам признался в этом: «И вот тогда-то поеду! Поеду надолго, сознавая, что мне, как писателю, приближающемуся к 60-ти, «в самый раз» заняться темами, связанными с моим прошлым. Они также могут быть оснащены современным материалом, но уже более автобиографически окрашены. Эти темы всегда подспудно живут во мне и прорываются наружу».

Чем серьезнее испытания, которые приходится выдерживать юноше, чем больше ответственность, ложащаяся на его плечи, тем быстрее он мужает, тем раньше взрослеет. Что греха таить: как часто в наши дни мы

считаем двадцатилетних неразумными мальчишками. Александру Фадееву исполнилось двадцать лет уже в Москве, на первом курсе Горной академии. А за три года до этого, в 1918 году, во Владивостоке, захваченном интервентами и белогвардейцами, ученик восьмого класса Коммерческого училища Саша Фадеев вступил в Коммунистическую партию. Двадцатилетний Фадеев уже хорошо знал, что такое борьба в подполье и партизанская война, он был бойцом легендарного «Особого Коммунистического отряда», освободившего Спасск, и комиссаром 13 Амурского полка, дважды он был тяжело ранен — на улицах того же Спасска и на кронштадтском льду, — три года жестокой борьбы, кровавых боев и сложной политической работы было у него за плечами к двадцати годам. Это о его поколении писал Багрицкий:

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед...

Это было суровое и бескомпромиссное время, когда сила убеждений проверялась одним — готовностью заплатить за них жизнью. Это было романтическое время, когда могучий и грозный поток революции увлекал за собой молодых людей, открывая перед ними необозримый простор для проявления всего лучшего, что свойственно юности. Это было время великого размежевания, когда все вокруг — люди, чувства, события — оказалось окрашенным только в два цвета: красный и белый. «А вспомните время, в которое протекала наша с Вами юность? — обращается к другу А. Фадеев. — Сама история, революция с ее бушующим ветром и ревущими волнами вдруг начала нас растасовывать с такою мощною силою! Вот мы все разъехались на лето, а когда вновь съехались осенью 18-го года, уже совершился белый переворот, шла уже кровавая битва, в которую был втянут весь народ, мир раскололся, перед каждым юношей уже не фигурально, а жизненно (собственно говоря, уже годы непосредственно подводили к армии) вставал вопрос: «В каком сражаться стане?» Молодые люди, которых сама жизнь непосредственно подвела к революции — такими были мы, — не искали друг друга, а сразу узнавали друг друга по голосу...» И пожалуй, самое захватывающее в письмах А. Фадеева — это возвышающая

и пьянящая поэзия сложного и сурового времени его юности.

Когда читаешь эти письма, поражает, как щедро было на дружбу поколение, чью юность целиком поглотила жестокая и кровавая борьба (а может быть, именно поэтому?), как прочна и требовательна была эта дружба: «Как мы были дружны и любили друг друга! Мы все были влюблены в кого-нибудь, делились этим «тайным тайных», сочувствовали успехам и неудачам друг друга в любви, верили друг другу во всем. Мы презирали деньги, собственность. Кошелек у нас был общий. Мы менялись одеждой, когда возникала к тому потребность. Как мы были счастливы!» Вновь и вновь возвращается память писателя к друзьям «самых чистых дней, к поре самых больших мечтаний и надежд»: «Я на всю жизнь благодарен судьбе, что у меня в боевые годы оказалось трое таких друзей! Мы так беззаветно любили друг друга, готовы были отдать свою жизнь за всех и за каждого! Мы так старались друг перед другом не уронить себя и так заботились о сохранении чести друг друга, что сами не замечали, как постепенно воспитывали друг в друге мужество, смелость, волю и росли политически».

А как светла и прекрасна первая, беззаветно верная любовь-дружба, пронесенная через огонь и бури гражданской войны: «Никто не подбрасывал смолья в мой кофтер, но он горел уже так долго, что мне трудно было жить без его тепла, и надежды становились все менее реальными, но, видно, я все-таки очень любил Вас, и в той жестокой борьбе, в которую мы все больше втягивались, эта любовь была нужна мне, как платок «прекрасной дамы» на рыцарский шлем...» И какая благородная и чело- вечная грусть слышится в той искренней и печальной благодарности, с которой через три десятка лет писатель вспоминает свою безответную и все же счастливую любовь: «Но зато — это бывает в награду от бога — навсегда осталась в сердце эта нежность к Вам, и, когда я закрою глаза и каким-то волшебством вдруг представлю себя тем мальчиком, я ощущаю эту нежность в душе совершенно так же, как тогдашнее солнце на веках (когда лежишь в купальне, например), или как запах цветов, травы, листьев тех лет. Во всяком случае я благодарен жизни за эту юность с Вашим присутствием...»

Тот читатель, которому адресована «...Повесть нашей юности», не только будет увлечен содержащейся в ней героикой гражданской войны — особенно притягательна для него нравственный кодекс юности революционера, как бы заново пересматриваемый и утверждаемый зрелым и умудренным жизнью человеком, художником, отлично понимающим причины самых затаенных и безотчетных движений юношеского сердца. Трудно придумать лучший «учебник» для воспитания чувств.

Поразительный сплав психологической достоверности и тонкости с глубоким и многокрасочным лиризмом, романтического пафоса с легкой и умной самоиронией, своеобразной пейзажной живописи с лаконичными портретами делает многие страницы фадеевских писем совершенной прозой, от которой трудно оторваться, читать ее — истинное наслаждение. И чтобы можно было судить о художественных достоинствах — в данном случае такой термин абсолютно оправдан — этих писем, приведу лишь один отрывок:

«Особенно мне запомнился один, уже довольно поздний, холодный-холодный вечер. Был сильный ветер, на Амурском заливе штормило, а мы почему-то всей нашей компанией пошли гулять. Мы гуляли по самой крошке берега, под скалами, там же, под Набережной, шли куда-то в сторону к морю... Было темно, волны ревели, ветер дул с необыкновенной силой, мы бродили с печалью в сердце и почти не разговаривали, да и невозможно было говорить на таком ветру. Потом мы нашли какое-то местечко под скалами, укрытое от ветра, и стабунились там, прижавшись друг к другу... Так мы стояли долго-долго, согревая друг друга, и молчали. Над заливом, от пены и от более открытого пространства неба, было светлее, мы смотрели на ревущие волны, на темные тучи, несущиеся по небу, и какой-то очень смутный по мысли, но необыкновенно пронзительный по чувству голос тогда говорил мне: «Вот скоро и конец нашему счастью, нашей юности, куда-то развевает нас судьба по этому огромному миру, такому неуютному, холодному, как эта ночь с ревущими волнами, воющим ветром и бегущими по небу темными рваными тучами?..» На душе у меня было тревожно в самом грозном смысле этого слова, и в то же время где-то тоненько-тоненько пела протяжная нотка, и грустно было до слез...»

Если попытаться определить основную, все подчиняющую себе ноту «...Повести нашей юности», — то, что иногда называют интонацией, иногда общим тоном, — пожалуй, лучше всего это сделать, обратившись к одному из писем А. Фадеева: «Нет, должно быть, большего счастья, как спустя десять, пятнадцать, двадцать лет снова и снова сказать любимому человеку: «А помнишь?..» И в этом: «Ты помнишь, товарищ...» — задумчивым и предельно искренним, очищающим и возвышающим душу, — секрет обаяния исповеди писателя.

В свое время, прочитав рукопись статьи «А. А. Фадеев и Дальний Восток», писатель обратился с просьбой к ее автору работу эту не печатать: «Правда, я не нашел в ней сколько-нибудь значительных фактических ошибок, но она страдает тем недостатком, что в ней больше внимания уделено личности писателя и меньше внимания уделено его литературной работе. Вы знаете, что биографический метод исследования не является марксистским. Данные биографии имеют подсобное значение в настоящем марксистском исследовании... Надо ограничиться самыми минимальными биографическими сведениями, необходимыми для иллюстрации основной мысли Вашей статьи» Трудно, не зная работы, о которой идет здесь речь, судить о том, в какой мере справедлив упрек А. Фадеева. Но общее соображение писателя вряд ли верно: можно ли отделить личность писателя от его литературной работы? Да и интерес к биографии художника далеко не всегда уводит в сторону от марксистского литературоведения. Далеко ходить за примерами не надо: та же «...Повесть нашей юности» опровергает точку зрения А. Фадеева. Книга эта, несомненно, будет внимательно прочитана теми, кто занимается изучением творчества А. Фадеева. Она не только содержит важные и полезные для исследователя сведения о том, например, какие впечатления писателя вылились потом в «Разгроме», кто служил прототипом для семьи Алексея Чуркина («Последний из удэге»), как возникло в «Молодой гвардии» лирическое отступление, начинающееся словами «Друг мой! Друг мой!..», но и показывает — а это самое главное, — что личность автора, его биография так глубоко и органично проникли во все созданные им книги (включая «Молодую гвардию», как будто бы не опирающуюся на автобиографический

материал), что критик не может, рассказывая о них, отстраняться от личности и биографии их создателя.

С. Преображенский, составивший эту необычную книгу, обстоятельно прокомментировал ее и написавший к ней послесло-

вне, сделал по-настоящему доброе дело и для юного читателя, и для истории советской литературы, и для памяти верного солдата революции, большого советского писателя Александра Фадеева.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

ПО ПУТИ В КОСМОС

Анатолий Аграновский. Открытые глаза. Документальная повесть.
«Октябрь», № 7, 1961.

Это было давно, еще до войны. Мы все тогда бредили авиацией и страшно завидовали тем счастливицам, которые проходили строжайшие медицинские комиссии и уходили по комсомольским путевкам в летные училища. С восхищением следили мы за подвигами советских летчиков, дерзко штурмовавших мировые рекорды, соединявших в беспосадочных полетах далекие континенты. Особенно восхищал нас Валерий Чкалов. Помню, как я бесконечно радовался, когда получил от «нашего Валерия» (так мы, горьковские журналисты, называли Чкалова, могучего и доброго богатыря из Василева, что стоит возле Городца, недалеко от Горького) небольшую записку, в которой он поздравлял земляков с Новым годом. Я чувствовал себя на седьмом небе. Потом я познакомился с Валерием Павловичем. Он поразил меня умными и веселыми глазами. Весь вечер шутил и смеялся. Хмурился, когда кто-то смел льстить ему. Чкалов не любил подхалимов. А потом... Потом мы все горевали, когда узнали о его гибели. Чкалов разбился в Москве, испытывая истребитель...

С той поры прошло много лет. И многое изменилось на нашей планете. Самолеты, на которых летал Чкалов, давно сданы в архив, и их, наверное, можно посмотреть только в каком-нибудь специальном музее. Авиация стремительно набирала скорость, достигла звукового барьера, а затем и перешагнула его, ворвалась в космос и проложила неслыханные маршруты вокруг Земли. Появились летчики-космонавты. Гагарин и Титов открыли новую эру в истории человечества. И все-таки мы и теперь с любовью и трепетом вспоминаем о Чкалове и «чкаловском» в авиации. Вспоминаем, потому что в полетах, в характере Чкалова, в его бесстрашии и во всем его облике не только наша история и наша юность, но и еще что-то, очень значительное и важное.

Что же?

На этот вопрос мне помог ответить Анатолий Аграновский своей документальной повестью «Открытые глаза». Он написал книгу о летчиках-испытателях, о людях, которые начинали на другой год после войны новую страницу в летописи отечественной авиации. В центре внимания автора — КБ Артема Ивановича Микояна, которое создает реактивный истребитель «МиГ-9», чудо-машину, приближающую нашу авиацию к звуковому барьеру. Испытать ее в полете было поручено Алексею Гринчику, человеку с чистой душой, мягкому и бесстрашному, одному из героев повести. Влюбленными глазами смотрит на своих героев автор повести. Он любит их и не скрывает от читателя своей восторженной любви. Это придает повести особую интонацию. Документальность событий и фактов как бы дополняется чувствами и мыслями писателя. И мы уже по-иному воспринимаем самые факты и самих героев, которые стали одновременно и героями жизни и героями литературы. Они предстают перед нами в трудностях и победах, в житейских радостях и печалях, — во всем, что сопровождает человека во всякий день и в день подвига.

Меня повесть заставила многое вспомнить и о многом задуматься. В частности о том, почему живет и будет вечно жить в авиации то самое «чкаловское», что вошло в наше сознание как нечто типичное, выражающее характер летчика и гражданина, патриота, новатора. Аграновский написал о Гринчике, Галлае, Анохине — об испытателях реактивных истребителей, людях, которые пришли в авиацию и развернули свои способности позже Чкалова. Легендарный летчик погиб, когда с наибольшей силой проявились ум и талант новой плеяды летчиков-испытателей. Но каждый из них какой-то стороной своего характера напо-

минает Чкалова, хотя и остается самим собой и знает, что чужой тропой в авиации не продвинуешься, свою надо найти.

«Да, Чкалов был замечательным человеком, и счастьем было работать с ним,— пишет Аграновский.— Он по-настоящему любил людей — это ощутил Гринчик и на себе... Гринчик, сам того не замечая, перенял чкаловскую манеру говорить «с растяжкой», перенял чкаловскую походку».

Чкалов завораживал своим мужеством и простотой, доверчивостью к товарищам и любовью к людям. В нем жила ненасытная жажда все понять и разведать самому, до всего дойти умом и сердцем. И еще — он никогда не довольствовался малым. Все время рвался вперед, на самое опасное и самое рискованное. Эти качества вместе с другими чертами характера и складывались в чудесное и героическое понятие — «чкаловское»; оно, это понятие, обогащалось всем последующим опытом отважного племени покорителей скоростей, в том числе такими летчиками, как Серов, Покрышкин, Громов, Коккинаки, Гринчик, Анохин, Галлай. И еще многими. А в наши дни — космонавтами, вышедшими из среды молодого поколения летчиков-испытателей.

Герои повести Аграновского — Гринчик и Галлай — люди иной поры. Они пришли на лесной аэродром, где испытывались новые марки самолетов, из института, с инженерным образованием, с опытом военных летчиков. И в методике полетов и в самой подготовке к ним — во всей работе летчиков ощущается глубина инженерного размаха. Они рискуют, но рискуют, сделав все и все взвесив до мельчайших деталей, чтобы заранее предвидеть опасные неожиданности. Конечно, их трудно предвидеть. Машина сложна, не все в ней доведено до абсолютной надежности. Она еще только испытывается. Испытатель всегда идет на поединок с опасностью. Идет, не скрывая чувства тревоги и даже страха. Но только от себя. А на людях, в машине он делает свое дело спокойно и уверенно.

Так работал на первом реактивном испытателе Гринчик все свои девятнадцать полетов. Работал и в свой последний, двадцатый, вылет. Работая, погиб 11 июля 1946 года. Самолет взорвался на большой скорости на высоте двухсот метров. Трагично оборвалась прекрасная и чистая жизнь.

Но прошло немного времени, и на таком

же самолете «МиГ-9» начал работать ближайший друг Гринчика — летчик Галлай. Он начал с того, что изучил все, что успел сделать и записать безвременно погибший товарищ («На двадцати страницах уместилась целая повесть — повесть о том, как человек учил машину летать»). Одновременно на другом самолете-дублере летал Георгий Шиянов. И тоже брал щедро опыт Гринчика. И когда самолет достиг наибольшей скорости и прошел всю программу испытаний, его пустили в серийное производство. И в каждом самолете была частица души Гринчика, как в каждом летчике-испытателе — герое повести — я все время нахожу что-то «чкаловское».

Идея преемственности подвига — одна из самых существенных в повести Аграновского. Как метко заметил автор, «каждому времени — свои подвиги». Был Чкалов. И навсегда останутся в памяти народа его дела. Был Гринчик, подражавший чкаловской походке, человек, который «хотел большего. Большой борьбы, большой опасности, большой славы». Был первый реактивный испытатель, прорвавшийся к звуковому барьеру. Теперь «МиГ-9» — прошлый день в нашей авиации, почти дедушка нашим современным ракетам-самолетам. Поставят его под стеклянный колпак, и будут его обозревать экскурсанты. Но был подвиг прекрасного человека, и они останутся жить — человек и его подвиг.

Так тянутся нити от первых открывателей скоростей до Гагарина и Титова. А от них и к тем, кто будет прокладывать новые маршруты в космических пространствах. Стрелка указателя чисел М на самолете Гринчика остановилась у цифры 0,78. Это была предельная и рекордная для авиации скорость. Галлай прибавил к этому еще две «сотки». Стало 0,80. Через два года другой летчик достиг все на той же машине М-0,83.

«Я понимаю, конечно, — справедливо замечает Аграновский, — что сегодня эти цифры уже не «звучат». И звуковой барьер позади, и две скорости звука позади, и даже космическая скорость — 28 тысяч километров в час — испытана человеком. Но ведь когда-нибудь и кругоземная трасса майора Гагарина покажется людям простой и привычной — они посмотрят на нее с Луны, с Марса. Каждому времени — свои подвиги».

Я уже говорил, что повесть А. Аграновского обладает не только ценностью документа. Она написана писателем, который хочет создать обобщенные образы, проникнуть в характеры своих героев. Это трудно, потому что фантазия и вымысел автора во многом скованы необходимостью точно следовать фактам. Но Аграновский стремится заглянуть, так сказать, в «психологию» факта — и в этом смысле его работа имеет не частное значение.

В повести Аграновского действуют герои, большинство которых узнаешь по характеру, по поступкам, по духовному миру. В сюжете повести есть своя драматургия, есть противоречия, которые создают напряженность в развитии действия, в становлении характеров. Очень хорошо написан образ Алексея Гринчика. Его могучая натура раскрывается не только в полетах, в романтике смелой профессии, но и в любви, в душевном богатстве этой личности.

Выразительна сцена, когда жена Гринчика, Дина Семеновна, после его гибели пришла к Артему Ивановичу Микояну. Она стояла перед главным конструктором как укор и молчала. И ее горе передавалось человеку, который и сам тяжело переживал потерю. И хотя он сознавал, что нет таких слов, которые бы смогли утешить Дину Семеновну, он должен был что-то сказать ей. И он говорил: Гринчик погиб не напрасно. Его жизнь отдана делу, стране «эта машина очень нужна. Не мне, не заводу — стране нужна...»

«— «Нужно»,— сказала она.— Всю жизнь я слышала это. Авиация нужна, испытания нужны, работать по четырнадцать часов в сутки нужно, без выходных, без отпуска — нужно... Мне ведь Алексей буквально то говорил, что и вы сегодня. «Этот самолет,— говорил,— нужен, чтобы детей наших защищать от таких же самолетов». Я ему верила.

— И теперь верьте,— сказал Микоян.— Он вам правду говорил.

— Он мертв,— сказала она,— а мы с вами живые».

Великая правда была на стороне главного конструктора. Но у нее, матери и вдовы, была своя и тоже не менее великая правда женщины, навсегда потерявшей мужа и любимого человека.

Таких сцен, в которых точно прослеживается сложное психологическое, человеческое содержание факта, немало в повести.

Внутри повести как бы вписаны новеллы. О летчиках и их женах. О людях разных и непохожих. О Гринчке и Галлае. Об Анохине. Они, эти новеллы, не одинаковы по своим художественным достоинствам. Среди них есть и коротенькая об Анохине, о том, как он сам преодолел «психологический барьер» — вернулся в строй летчиков-испытателей, потеряв во время тяжелой аварии левый глаз. Самые знаменитые врачи были убеждены, что Анохин навсегда потерян для авиации. Ему больше не летать, он лишился так называемого «глубинного зрения», необходимого летчику. Но Анохин не сдался, он начал усиленно тренироваться. Недаром же его звали «человек-птица». Он стал летать. И опять же об этом человеке рассказано просто, с такими деталями, которые знакомят нас с личностью прославленного летчика, с его душевным миром.

Но есть в повести такие новеллы и эпизоды (их, к сожалению, тоже немало), где стремление проникнуть в душевный мир героев, в их психологию оборачивается сентиментальностью, беллетристическим «разукрашиванием» того, что гораздо выразительнее звучит в простом и сдержанном повествовании, — и это существенная опасность, стоящая перед писателем, работающим в трудном жанре документальной повести.

Иной раз А. Аграновский сбивается на скоропись, торопится рассказать о многих людях, дает им поверхностные характеристики. Ему кажется, что если он пишет о летчиках-испытателях, то обязательно должен дать чуть ли не популярный очерк по истории вопроса. Сказать и о том, и о другом, и о третьем. А обо всем не скажешь. Да и надо ли это делать в повести, пусть и документальной? Мелькают на некоторых страницах замечательные имена, но оттого, что они упомянуты, повесть не становится богаче. И это досадно, ибо в целом «Открытые глаза» — интересная книга. Книга о бесстрашных рыцарях советской авиации, о том, как отважные и умные люди учат машину летать и сами проходят великую школу узнавания неизвестного. Хорошо сказал Гринчик про лесной аэродром: «Ты думаешь, тут машины испытывают? Все так думают. А тут не одни машины — людей испытывают: чего кто стоит».

Так было всегда, так будет и на космодроме. В космос летают смелые, они учат космические корабли летать на Луну и Марс, и сами познают неведомое. В делах космонавтов отзовутся мечты тех, кто

впервые брал на самолете звуковой барьер — первооткрывателей, которые учили машины летать по неизведанным воздушным маршрутам.

В. ФРОЛОВ.

★

ГЕРОИ НЕ ИСЧЕЗАЮТ БЕССЛЕДНО...

О. Горчаков, Я. Пшимановский. Вызываем огонь на себя.
Редактор Е. Любушкина. «Молодая гвардия». М. 1960. 238 стр.

Недavno в одной из польских газет мне встретился очерк о польском журналисте, разыскавшем, по просьбе советской летчицы, врача, некогда спасшего ее от верной гибели. Эту отважную женщину в конце войны сбили над Вислой. Если бы не польский врач, оказавший ей медицинскую помощь, то героини, тяжело пострадавшей при прыжке из горящего самолета, не было бы в живых. Пожалуй, самым волнующим в этом очерке был рассказ о том, как через семнадцать лет человек шел по следам подвига. Мало кто помнил, как была сбита летчица, никто не знал ее фамилии и дальнейшей судьбы, но память о самом подвиге продолжала жить, люди рассказывали о нем друг другу. И вот один юноша привел наконец журналиста в дом своего отца-лесничего, который первым оказал помощь советской летчице на польской земле...

Память о героях не умирает. Эта, казалось бы, уже примелькавшаяся от частого повторения фраза каждый раз словно наполняется новым значительным смыслом, когда читаешь или слышишь рассказ о том, как и сегодня в тех местах, где проходила война, находят след еще одного героя, еще одного подвига. Почти всегда при этом живая молва хранит память о таком событии, помогая восстановить все обстоятельства его. И невольно заново убеждаешься: да, герои не умирают...

Вот новое свидетельство этому. Кто прежде слышал о Сеше, о сечинских комсомольцах? Только недавно, года полтора назад, когда «Комсомольская правда» стала печатать главы из документальной повести О. Горчакова «Вызываем огонь на себя», которая в значительно расширенном варианте (в соавторстве с Я. Пшимановским) выпущена отдельной книгой, многие впервые узнали название этого села, расположенного на стыке Брянской и Смолен-

ской областей. Здесь во время войны находился крупнейший аэродром врага, приданный группировке «Центр». Отсюда стартовали бомбардировщики, совершавшие налеты на Москву. И здесь-то, под самым носом у врага, начала действовать отважная группа молодых подпольщиков, связанная с партизанами, которая наносила рассчитанные, разящие удары по фашистским самолетам. Сколько воздушных стервятников, несших под крыльями смерть советской столице и другим русским городам, обезвредили руки отважных героев — этого точно никто не знает. Большинство подпольщиков погибло, не дождавшись победы, записей «боевых действий» они по понятным причинам не вели. Можно только сказать, что количество самолетов, взорвавшихся в воздухе или прямо на аэродроме от магнитных бомб замедленного действия, было не малым. Об этом свидетельствуют и скупые сводки Совинформбюро и раздраженные признания самих уцелевших гитлеровских асов, сделанные ими во всякого рода воспоминаниях, опубликованных после войны в ФРГ.

Но нас сейчас интересуют не сбитые самолеты, а люди, которые приближали час победы над фашизмом.

Кто они?

Русские девушки и подростки из Сечи и соседних деревень, молодые поляки, пригнанные гитлеровцами из Познани для работы на аэродроме, принудительно мобилизованные чешские парни из сечинской коммандатуры. Вот она, та подпольная «интербригада», которая развернула здесь свою «малую», но такую беспощадную войну.

Кажется почти невероятным, как в Сеше, этом глубоком вражеском тылу, под носом у гитлеровских ищеек-полицаев, во множестве рыскавших возле столь важного военного объекта, сумели они, русские девушки,

польские и чешские парни, одетые в немецкую военную форму, перешагнуть через все барьеры, протянуть друг другу руки и создать крепкое интернациональное братство, которое ни пытки, ни сама смерть не смогли разрушить... Этого мы тоже никогда не сумеем восстановить во всех деталях, потому что большинство героев погибло.

Но о главном — что толкнуло их молодые сердца навстречу друг другу — мы знаем. Найти друг друга им помогла единая, общая для всех ненависть к фашизму. Каждый из них, вступая в подпольный отряд, мстил за свою горечь и боль: чехи — за Лидице, стертые с лица земли, поляки — за слезы и кровь поруганной Варшавы, за печи Освенцима, русские — за то, что враг продолжал топтать их поля, жечь города и села...

Во время Второго московского кинофестиваля мне довелось видеть датскую картину «Последняя зима», рассказывающую о боевом крещении одного из отрядов датского сопротивления во время войны. После фильма я слышал мнение некоторых снобов: «Подумаешь, борьба — спасли одного парашютиста!..» Меня же эта картина, в чем-то неумелая и наивная, взволновала тем, что в ней правдиво, без громких слов была показана сама психология рождения подвига. Маленькая датская деревушка, где расположен немецкий гарнизон, милые подростки, почти мальчики, с нежным пушком на щеках. Никогда раньше не держали они в руках оружия, но вот им поручено первое настоящее дело — спасение человека, за которым охотятся гитлеровцы. И вот паренек, на лице которого еще не успело растаять недовольство из-за того, что непредвиденные обстоятельства помешали его свиданию с девушкой, идет, чтобы спасти другого человека, спасает его, но гибнет сам, гибнет как герой. И где та черта, тот рубеж, что отделяют вчерашнего юнца от нынешнего героя?.. Вель он, кажется, только что был самым обыкновенным, самым заурядным парнем.

Такими же обыкновенными были и русские девушки из села Сеша, и польские подростки, на плечах которых жестким скафандром топорились форма немецкого люфтваффе, и чехи из комендатуры. Не искусственно «очищенными» героями показаны они в повести, а «земными», непосредственными, с порывистостью и непоследовательностью, свойственной их

возрасту, их душевному складу. Один, например, мог, рискуя навлечь на себя подозрение, зло посмеяться над изменником, сбежавшим из партизанского отряда, девушки, движимые состраданием, иной раз давали приют военнопленным, ускользнувшим от гитлеровского конвоя, тем самым ставя под угрозу «явку» — избу.

Может быть, какая-нибудь чересчур трезвая голова и упрекнет их за это, и все-таки они были именно такими. По тем немногим штрихам, что рассыпаны по книге, мы можем представить себе образ каждого из героев. Мы успеваем запомнить и полюбить и отважную комсомолку Аню Морозову, полгода скрывавшую под своей кроватью еврейскую девочку, бежавшую из смоленского гетто, и хладнокровного чеха Венделина Робличку, и поляка Яна Маньковского, который, уже будучи в тюрьме, способствовал побегу остальных товарищей по камере, а сам остался — остался, чтобы, приняв на себя всю тяжесть пыток, уберечь село от новой волны арестов, спасти от беды любимую девушку, бывшую под подозрением...

Стоит, пожалуй, оговориться, что О. Горчакову, написавшему большую часть книги (заключительные главы принадлежат его соавтору Я. Пшимановскому), не сразу удается обнажить перед нами драгоценную «человечью сердцевину» подвига. Литератор, чья юность прошла в партизанском отряде, в смелых рейдах народных мстителей по тылам врага, Овидий Горчаков с поразительной точностью доносит до нас приметы недоброй оккупационной действительности. Он навсегда запомнил, как выглядели зазывные фашистские плакаты, «приглашавшие» нашу молодежь ехать на работы в Германию, запомнил самую популярную армейскую мелодию той поры — разухабисто-меланхолическую «Лили Марлен», которую наяривали на губных гармошках немецкие солдаты в воинских эшелонах. Все это позволило автору достоверно восстановить обстановку, в которой развивается действие. Но Горчаков сперва как бы излишне подчеркнуто устраняется от рассказа, сводя свою роль скорее к задаче добросовестного летописца, стремящегося прежде всего изложить все факты, которыми он располагает, назвать всех действующих лиц. Материал наплывает, и читателю уже трудно отобрать, отсеять главное от второстепенного и случайного, уследить

за ходом событий, уловить их нарастающий внутренний драматизм.

Уже где-то ближе к середине вдруг как бы «ломается» писательский голос, в спокойное изложение летописца врывается другая — взволнованная интонация былого «участника партизанской борьбы», пославшего даже когда-то снаряд своей батареей прямо на Сещинский аэродром. Именно с этих слов: «В промозглой тьме кто-то опустил мне на руки снаряд — тяжелый, мокрый, скользкий... Лязгнул замок. Команда: «По Сеще — гнезду «герязтников — огонь!» — и началась по-настоящему книга. После этого авторского отступления на все рассказы, свидетельства очевидцев как бы утратил отблеск его личности, его волнений, переживаний. Печатление такое, что, дойдя до этого места в своем повествовании, автор вдруг почувствовал, какое множество незримых нитей связывает его самого с Сещей, ощутил тепло дружеских рук, тянувшихся к нему когда-то через линию фронта.

Из Сещи нити этой группы и судьбы отдельных ее участников потянулись дальше на запад — в Белоруссию, в Польшу, вслед за отступающим врагом. И об этой дальнейшей истории некоторых ее героев с настоящим волнением продолжает рассказ уже польский наш друг, писатель Януш Пшимановский.

У этой истории нет конца, такого, какой часто бывает в романах, где все нити, все узелки старательно подобраны автором и сведены вместе. Здесь все сложнее и проще, как и в жизни: чьи-то (может быть, самые дорогие) судьбы безжалостно оборваны, некоторых людей еще не удалось разыскать и, наконец, третьи живы, здравствуют, и письма их, приведенные тут же, хватают за сердце настоящей печалью и болью при воспоминании о павших товарищах...

В повести «Вызываем огонь на себя» коллективный герой: русские, поляки, чехи — их много, гораздо больше, чем названо авторами «За кадром» остались еще многие участники сещинской «интербрига-

ды», хотя число вновь разысканных героев почти удвоилось по сравнению с первой публикацией. И кажется, что десятки этих людей (даже те, которые не названы на страницах книги) как бы присутствуют в ней. Это и создает особенное, почти зримое ощущение того, что своими корнями сещинское движение патриотов уходит глубоко в народ, как дерево в земную толщу...

И недаром след героев не затерялся. Этому способствовало много самых разных людей. Сразу же после войны начала собираться и записывать рассказы своих односельчан старая сещинская учительница, внучаина племянница Ф. М. Достоевского, Е. А. Иванова, многие годы живущая в Брянской области. Потом эту нить приняли распутывать (сразу с двух концов) литераторы Овидий Горчаков и Януш Пшимановский.

Глубоко знаменательно, что книга об интернациональном воинском братстве против фашизма написана русским, сражавшимся не только на Украине и в Белоруссии, но и в Польше, и поляком, воевавшим за Россию на Кубани, в отрядах морской пехоты, что помогали им в их поисках чешские журналисты из газеты «Млада фронта».

...Мы привыкли к такому понятию, как «эхо войны», в одном, строго определенном смысле. Когда где-нибудь снова обнаруживают еще один тайный склад со смертоносным запасом бомб и фугасов, оставленный врагами на нашей земле, в газетах пишут: «Снова эхо войны». Но ведь история, рассказанная Горчаковым и Пшимановским, которая докатилась до нас через шестнадцать лет после того, как смолкли последние орудийные залпы, — это тоже в некотором смысле «эхо войны».

Какой мерой измерить воздействие этого «эха войны» на людские сердца? Нет ли в нем пусть самой малой частицы той силы, которая помогла Юрию Гагарину и Герману Титову совершить героические взлеты в космос?..

С. ЛАРИН.



ДОБРЫМИ ГЛАЗАМИ

Н. Мельников. Школьная знаменитость. Рассказы и очерки.
Редактор В. Виллова. «Советский писатель». М. 1960. 165 стр.

Только прочитав сборник «Школьная знаменитость», понимаешь, что подзаголовок его — рассказы и очерки — несет особенный смысл. Подзаголовок этот вовсе не дань расплывчатому и неуловимому «промежуточному» жанру, укрывшемуся за спасительным «и». Близость к действительности, доверие к ней — вот что сгруппировало под одной обложкой выхваченные из жизни и еще как бы не остывшие эпизоды. Н. Мельникова не привлекает пафос общих мест, он множит конкретные наблюдения, как будто бы вообще не нуждаясь в услугах домысла. «...Не представляю себе,— замечает автор,— что никогда больше не встречу Ковалева, Тамару, монтажников Хохлова, Фирсова, плотника Тверского. Я чуть было не проговорился перед читателем и не назвал их подлинные имена и фамилии... Я сдержал слово. Имена и фамилии в моих записках вымышленные. Но не в том суть. А суть в том, что есть на свете такая страна — Казахстан, есть Казахская Магнитка и есть люди, которые строят ее и которых нельзя выдумать, сколько ни старайся». Так заканчивается очерк «Они живут в Темир-Тау». Слова эти, передающие атмосферу не преднамеренности, близости героев и автора справедливы и для других записок Н. Мельникова — и родившихся в журналистской поездке («День на далекой стройке») и таких, где писатель не выступает от своего имени («Артисты», «В вагоне» и т. д.).

В самом отборе жизненных впечатлений фактов, явлений автор отдает предпочтение преимущественно таким, которые находясь в ладу с его собственным отношением к жизни. Если попытаться одним словом определить это отношение, то таким словом будет доброта. Разумеется, мягкость характера — не уступчивость, а доверие — не слабость. Но путешествуя по стране, проезжая по местам новостроек, где «всего два года тому назад... «выли голодные волки», а сейчас звучит танцевальная музыка», знакомясь с плотниками, бетонщиками, штукатурами, взрывниками, водителями самосвалов, автор обращается преимущественно к людям, достойным восхищения или участия.

Так рождаются лаконичные и выразительные очерковые наброски — портреты

героев семилетки, молодых гвардейцев труда из Темир-Тау и Амурска, тех, кто штурмует тайгу и степь, возводит цехи, набережные и жилые дома. Вот она, молодая поросль, для прославления которой Н. Мельников находит удачные слова и краски: секретарь комитета комсомола Ковалев, «подросток с ярким румянцем и голубыми глазами», мечтающий стать дипломатом, а пока что в организационном азарте метеором носящийся по темир-тауской стройке, всюду поспевающая, всем подсобляя; крановщица Тамара, застенчивая и волевая дивчина, доверившая рассказчику свой немудреный, интимный и чистый дневник; невеликий возрастом, горластый круглолицый Виктор, рабочий из геологической партии, во имя дела скандалящий в кабинете начальника треста; земляк Гагарина, паренек из Гжатска Тверской, плотничающий на стройке Амурска, — да разве всех перечтешь!

Их биографии? «Ковалев помолчал, потом задумчиво произнес:

— Родился я в тысяча девятьсот тридцать восьмом году... — Он поглядел на меня и спросил: — Кажется, я уже вам это говорил?

— Говорили.

— Тогда в пять часов в комитете».

Так неудачно заканчивается «интервью» рассказчика: ведь у этих молодых ребят, почти детей, еще нет, да и не может быть развернутой биографии. Она только начинается, складывается на глазах вот здесь, на ударных стройках Востока.

Н. Мельников пытливо вглядывается во встречных людей. Он предупреждает читателя не верить первому, подчас неблагоприятному впечатлению, сколь бы убедительным оно ни казалось, и стремится пойти дальше, чтобы раскрыть истинную ценность героев и красоту их поступков.

В этом отношении показателен рассказ «Школьная знаменитость», давший название всему сборнику. Двадцать лет не видел Коля Новиков свою одноклассницу Лиду Терентьеву, которой пророчили блестящее будущее. Навсегда запомнился герою и ее голос, «певучий, как виолончель», и ее мальчишеская прическа, и ее уютная квартира в Карстном, в Москве. И вот Лидя Терентье-

ва снова стоит перед Колей, все та же и не та. Она артистка Н-ского драматического театра. В ее комнате дырявый потолок, нелепая обстановка. «Но что стулья! Что кровать! Что потолок! От одного только взгляда на лысого и тощего Анатолия Анатольевича сводило челюсть». Анатолий Анатольевич — это Лидин супруг, который только что вяло, как подобает всем язвенникам, жевал котлету «водянистого цвета» и что-то говорил сварливым голосом. Потрясенный Новиков изо всех сил утешает Лиду. Не такой чаю он увидеть «школьную знаменитость». И ее настойчивые уверения в том, что Анатолия Анатольевича она любит «больше всех на свете», Коля воспринимает с оправданным скепсисом: «Так часто говорят, желая скрыть истинное положение вещей».

Однако, попав на спектакль Н-ского театра, Новиков вдруг постигает, как ложно, как поверхностно было первое впечатление. Оказывается, что облезлый Анатолий Анатольевич, казалось бы неотделимый от дырявого потолка и водянистой котлеты, — «один из лучших в Союзе» Отелло. Что безупречен весь спектакль Н-ского театра. И вот уже, стыдясь своей слепоты, своего неуместного утешительства, бежит Новиков в гостиницу, даже не мысля еще раз появиться у «школьной знаменитости». Наступает мгновенная переоценка событий.

Автор не только стремится освободить правду от покровов всяческих бытовых неурядиц, бросающихся в глаза. Он радуется тому, что правда эта оказалась светлой и жизнеутверждающей.

Отзывчивость, доброта — главные качества мельниковских героев и главное оружие их в столкновении с несправедливостью. Когда демобилизованный матрос, одинокий парень, едущий с литером до Москвы, но толком не решивший, куда же ему направиться («В вагоне»), знакомится с попутчиками, ему симпатичны и толстяк Белокопытов, и Александра Афанасьевна Енкова, и соседи из других купе. Лишь супруг Александры Афанасьевны, подозрительный брюзга, мелочный, нудный, видящий в людях одно скверное, вызывает у него естественное раздражение.

Добр, простодушен солдат Яков, приехавший на побывку к жене в прифронтовую полосу («Артисты»). Добр также Новиков из рассказа «Рыцарь», который,

по словам старухи Жучковой, «клопу на стене даст уйти, не то что пальцем тронет». Под стать ему жена Шура, доверчивая и честная.

У персонажей Н. Мельникова, настолько привыкших к стесненности, к коммунальным квартирам и общежитиям, что бригадир монтажников Хохлов, получивший три комнаты, в силах обжить только две («Они живут в Темир-Тау»), до болезненности остро развито чувство исключительной моральной строгости. Как близка по духу Шуре Новиковой та парочка из Темир-Тау, которую вызывает для «проработки» начальник стройки Комаров. «В общежитии позволяете себе целоваться. Ладно еще он, но ты — девушка, тебе не стыдно?.. — гневается Комаров. — Чтобы это было в последний раз». И тогда молодой человек молча предъявляет «брачное свидетельство по всей форме, с гербовой печатью». Новиков, его Шура, начальник Комаров, молодожены — все это серьезные, трудовые люди, среди которых оформление по всем правилам закона личных отношений доверчиво воспринимается как залог неперемного счастья и крепости чувств.

Ну, а что, если доброта и доверчивость не приносят человеку счастья и жизнь все-таки дает трещину да еще после пятнадцати лет брака («Рыцарь»)? Если молодая женщина с четырехлетней дочкой остаются без «папы» Киреева («Клава»)? Если семья не удалась, и время проходит в бессмысленных попойках у соседей, куда непременно приглашается баянист Алексей Гусаров с супругой, в то время как собственный дом превратился в развалюху, а сын Колька совершенно отбил от рук («Нечистая сила»)? В этих случаях автор иногда спешит прийти на помощь героям, терпящим бедствие.

Обреченно гуляют на бульварчике Клава с дочкой. «Пронесут ли ватный конверт, перерхваченный яркой лентой, провезут ли коляску, пройдет ли в торжественном молчании влюбленная парочка — все будто говорило Клаве: а у тебя это уже позади («Клава»). Но будет день, и появится внезапно перед Клавой майор Медведев, когда-то командир роты, где она была санинструктором. И устроив хорошим, одиноким людям эту случайную встречу, эту нечаянную радость, уверовав, что и Клава и ее Маринка наконец получат долю настоящего счастья, писатель с облегчением подведет черту.

Наутро после очередного пьяного праздника старший Гусаров слышит, как на улице защищает его, непутевого отца, перед взрослыми и детьми отчаянный сорванец Колька («Нечистая сила»). И произойдет чудо. Окинет протрезвевшим взглядом Гусаров окрест себя, и душа его заболит от разверзшихся перед ним мерзостей. «Вот она, эта веселая жизнь», — подумал Алексей. Он мрачно глядел на растерзанный, бесстыжий вид Насти, и вся их семейная жизнь представилась ему растерзанной и бесстыжей».

Н. Мельников обладает очень ценным для писателя свойством. Если пользоваться вы-

ражением автора «Ледовой книги» Юхана Смуула, у Н. Мельникова «низкий болевой порог»: людские горести, радости, переживания прорываются к нему беспрепятственно, малейшие страдания любимых персонажей он принимает близко к сердцу. Нам полюбились, запали в память его герои — строители Темир-Тау и Амурска, демобилизованный матрос Ваня, одинокая Клава, солдат Яков, артистка Терентьева — все чистые, добрые люди, достойные самой лучшей участи. Пожалуй, главная цель рассказов и очерков Н. Мельникова и заключается в заботе о том, чтобы всем добрым людям хорошо было на земле.

О. МИХАЙЛОВ.

★

КНИГА О ЛЮБВИ

О. Савич. Два года в Испании. Очерки и рассказы. Редактор В. Вилкова. «Советский писатель». М. 1961. 284 стр.

То, о чем рассказано в книге О. Савича «Два года в Испании», происходило более двадцати лет тому назад. Исторически это срок не слишком большой, даже для жизни одного поколения. Те, кому сейчас тридцать, смутно помнят громадные карты Испании на городских площадях и испанские шапочки «пирожком», которые носили в детстве. Те, что старше, помнят больше. Слова «Мадрид», «Харама», «Теруэль» для них не только географические названия: они обсуждали газетные сводки, читали корреспонденции Кольцова в «Правде», собирали деньги для испанских детей, слушали по радио голос Пасионари. Они говорили: если бы не география...

Для тех же, кто был в то время в Испании, кто принимал участие в трагической и неравной борьбе испанского народа против фашизма, это не просто эпизод собственной биографии, в чем-то определивший дальнейшее течение жизни, а незаживающая боль. Потому что борьба эта кончилась поражением, а любовь навсегда связала их с испанским народом.

— А ты правда любишь испанцев? — спрашивал у Савича Алексей Николаевич Толстой. — Смотри, за любовь платить надо. Дорого платить.

Чем платит человек за настоящую любовь? Иногда — жизнью, иногда — тем, что Батюшков назвал «памятью сердца».

Этой памятью сердца проникнута книга Савича.

В сущности это лирическая книга, книга о любви.

Корреспондент «Комсомольской правды» Овадий Савич приехал в Испанию в феврале 1937 года. Шел седьмой месяц испанской войны, которую в газетах того времени еще называли «испанскими событиями». Савич не был специальным корреспондентом, он был корреспондентом ТАСС, и поэтому первое время он посылал в свою газету не очерки, не «живые факты», которые больше всего поражали его, а военные сводки и обзоры...

Военные сводки и обзоры входят в историю, но делают историю люди — крестьяне и министры, партийные руководители и солдаты, поэты и бойцы интернациональных бригад. И они-то больше всего интересовали корреспондента ТАСС О. Савича. Он жадно всматривался в лица, вслушивался в разговоры... Где бы он ни был — в правительственном учреждении, в окопе под Мадридом, в гостях у удивительного испанского поэта Антонио Мачадо, в штабе интернациональной бригады, — он одержим одной мыслью: понять!

В его книге есть одна почти дневниковая запись:

«Иногда меня охватывает горькая тоска. Совсем не в те минуты, когда я скучаю по

дому и близким. И не тогда, когда в сердце закрадывается сомнение.

Как понять душу и характер другого незнакомого народа?»

Среди тех советских писателей, которые приехали в Испанию на конгресс в защиту культуры, Савич считался знатоком испанских дел. Но Алексей Николаевич Толстой придирчиво расспрашивал его:

— Знаешь ты, например, что они за обедом едят? Не в гостинице, а дома? Знаешь? Ну и на том спасибо. А о чем они ночью в постели думают?

А «знаток испанских дел» и сам не спал ночами, раздумывая о тех, кого он видел днем.

Вот караульный солдат на собрании ОСМ — Объединенной социалистической молодежи.

«Тонкие черты, удивительно высокий лоб. Но главное — глаза. В них столько недоумения и такая работа мысли, что, пожалуй, иначе, чем вдохновением, ее не назовешь. Это лицо кажется мне таким же прекрасным, таким же выразительным, как лица Греко, Рибера, Веласкеса. Я еще не могу понять, что открывает мне этот взгляд, эти тонкие, крепко сжатые губы...»

Неделя проходит за неделей, месяц за месяцем — и корреспондент ТАСС все больше и больше влюбляется в людей, за которыми так пристально наблюдает, о которых так напряженно думает. А с любовью приходит и понимание.

«Нет, испанский крестьянин во многом отличается от других. Доверчивый или подозрительный... он не считает себя ниже собеседника. Он ненавидит богатых не за их богатство, а за свою нищету. Он верит в человеческое слово, хотя и устал от вековых обманов. Он мало ценит чужую жизнь, но свою — еще меньше. Он не понимает, что за угощение можно взять деньги. Деньги ему очень нужны, но он их все-таки презирает. Крестьянин может понять не только историю крестьянки Лауренсии, но и стихи Лорки и Альберти».

И тут же он поясняет свою мысль сравнением:

«Парижанин непременно даст указание работающему на улице художнику и заспорит с ним. Испанский крестьянин ничего не скажет, пока его не спросят. Но увидит он точнее, чем парижанин, и скажет свое мнение осторожно и мягко. При этом он негра-

мотен, вековое воспитание чувств и вкуса, интуиция заменяют ему грамоту в искусстве».

Книга Савича вышла в свет через четыре года после второго рождения «Испанского дневника» Михаила Кольцова, этого стремительного, почти кинематографического по живости, наполненности, яркости изображения Испании первого года войны. События в «Дневнике» напирают, теснят, увлекают за собой... Записи, как и положено дневниковым записям, расположены хронологически, по числам. Что ни запись, то взрыв событий...

Книга Савича не дневник, не хроника, не повествование — она ретроспективна. Может быть — даже наверное, — автору пригодились его записные книжки тех времен, но они прочтены, обработаны сегодня, они стали воспоминанием, на которое оглядывается человек из шестидесятых годов.

Оглядка дает замедление ритма; раздумий здесь больше, чем действия; портретов больше, чем эпизодов. И пожалуй, портреты — это самое интересное в книге. Если бы Савич давал главам названия, то одна глава называлась бы «Интернационалисты», другая — «Советники», третья (по собственному его признанию, невольнo звучащая как гимн) — «Испанская коммунистическая партия». Это портреты, портреты, портреты — целая портретная галерея.

Говоря о тех, кого он изображает, Савич старается, по его словам, «избежать той патетики, которую мы все — пишущие, очевидцы, просто романтики того времени — окружали Испании». Но попробуйте избежать патетики, если двадцать пять лет исторического отдаления позволили по-настоящему разглядеть величие испанского подвига; если только теперь пришло время воздать должное людям, которые в Испании «учили и учились», которых там называли «советниками» и которые, вернувшись на родину, покрыли славой свои русские имена, — тем, которые оставили в Испании часть своего сердца; если высокое чувство международного братства, одушевлявшее «лучших людей земли», сражавшихся в интернациональных бригадах, бесконечно дорогих писателю?

Для того чтобы рассказать о «лучших людях земли», Савич не выбирает каких-нибудь особенных, громокипящих слов. Да ему это было бы и несвойственно. Он про-

сто рассказывает о людях, которых он знал, рассказывает с уважением и любовью, а читатель невольно испытывает к ним чувство восхищения. Патетика книги не в средствах изображения, а в жизненном материале, в чувствах, которые она вызывает.

Да, это, как сказано в аннотации, «рассказы о примечательных людях». Примечательных независимо от их служебного или общественного положения; примечательных тем, что всех их — и валенсийских крестьян, и уэльских шахтеров, и севильских булочников, и бывших пастухов из бывшей царской России — объединяла общая борьба и единая интернациональная идея.

В книгу вошли и собственно «рассказы» — их шесть. Иногда Савич предпосылает рассказу историю замысла, иногда дает понять, кто послужил прообразом героя («Николас», «Венский вальс»). Герои здесь более «обобщенные», события — более отобранные, но все равно рассказы читаются как главы книги, они для нее органичны. В них тот же внимательный, любящий глаз, та же сдержанность, тот же намеренно суховатый язык.

Сдержанность — это, пожалуй, характернейшая черта авторского стиля: сдержан-

ность и скромность. В этих воспоминаниях, написанных от первого лица, личность рассказчика всегда находится в тени; здесь необыкновенно мало «я сказал», «я сделал». Между тем, они отнюдь не безлики: все, о чем в них говорится, освещено, пронизано авторским отношением. С тяжелым чувством он пишет о Паччарди, который командовал батальоном имени Гарibaldi, а потом стал министром в итальянском антикоммунистическом правительстве; с нежностью — об Эйснере, для которого штаб инженерно-национальной бригады стал родной семьей; с горечью — об анархистах. Но главное чувство, которым дышит книга, — любовь. Любовь к испанскому народу, к испанской земле, обильно политой кровью лучших людей земли, и к этим людям, товарищам по оружию, по трудным и прекрасным временам. Потому что, если Савич, как он пишет, и не выстрелил ни разу из подаренного ему в Испании пистолета, он все равно был в рядах тех, кто боролся против первых армий международного фашизма. И поэтому так интересна сегодняшнему читателю его книга.

Р. ЗЕРНОВА.



ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

В. Архипов. *Поэзия труда и борьбы. Очерки творчества Н. А. Некрасова.* Ярославское книжное издательство. 1961. 424 стр.

«... Он бывает иногда и таким, каким вполне может не быть...»

Д. Стариков. «Литература и жизнь»
от 8 сентября 1961 года.

«Книга В. А. Архипова отличается историзмом», это показательный пример «творческого преодоления теории «единого потока», «автор книги великолепно владеет методом социолого-эстетического литературного анализа», «он вел, ведет и будет вести, пока хватит сил», «страстную борьбу за незабываемость партийных, народных принципов искусства», «боевая и смелая защита марксистско-ленинской методологии придает книге свежесть, новизну и заразительную страстность» — так рекомендуют книгу В. Архипова «Поэзия труда и борьбы. Очерки творчества Н. А. Некрасова» рецензенты газеты «Литература и жизнь» и журнала «Нева». Да, собственно, и сам В. Архипов не умалчивает о своих заслугах перед отечественной наукой и литературой: заяв-

лений о «преодолении» в его выступлениях более чем достаточно. Немало их и в книге о Некрасове. Остается только проверить, насколько эти рекомендации рецензентов «Литературы и жизни» и «Невы» соответствуют действительности. Только с этой стороны я и подойду к книге В. Архипова.

При этом сожалею, что не смогу воспользоваться советом Д. Старикова, взяв в руки книгу В. Архипова, перевести взгляд на самого критика, чтобы таким «верным способом определить, каков он в действительности есть». Не смогу хотя бы потому, что книга эта, по уверению того же Д. Старикова, является искренней, лирической, яркой, талантливой, темпераментной, страстной и т. п., и, следовательно, глаз от нее оторвать будет невозможно при всем жела-

нии. Зато постараюсь писать так, чтобы — упаси бог! — не вызвать «сердечную боль» ни у самого В. Архипова, ни у поклонников его дарований. Меня не могло не потрясти своей неожиданностью доверительное сообщение Д. Старикова о том, что В. Архипов является жертвой авторитетных (?) и бездоказательных проработок. И видимо, для того чтобы поддержать «несправедливо обиженного» автора, его почитателям пришлось, пользуясь снисходительностью редактора газеты «Литература и жизнь», напечатать на ее страницах одну за другой две хвалебные рецензии на книгу В. Архипова. При этом отзыв Д. Старикова представляет собою совершеннейший «взгляд в пещеру» — этаким туманно-лирический дифирамб в честь В. Архипова как критика, который словно «вот только что» вышел «из шумной Некрасовской квартиры на Литейном» и расстался с Николаем Гавриловичем и Николаем Алексеевичем и который черпает силы и уверенность «в глазах своих слушателей, во взгляде своих читателей...»

Но ближе к делу.

Итак, В. Архипов, по уверению рецензентов, выступает в своей книге о Некрасове с позиций партийности.

К сожалению, партийность литературной науки, в понимании В. Архипова, неотделима от бездоказательных и незаслуженных выпадов против других советских литературоведов, выпадов, задевающих гражданское достоинство честных ученых. Как известно, атака В. Архипова против К. И. Чуковского уже заставила группу советских писателей и литературоведов выступить в защиту нашего старейшего некрасоведа. Да и можно ли было поступить иначе, если Архипов обвиняет К. И. Чуковского, так много сделавшего для изучения и пропаганды наследия «шестидесятников», не в чем ином, как в критике революционных демократов, в дискредитации дела Чернышевского и прочих семи смертных грехах.

В других случаях В. Архипов обращается с неугодными литературоведами и критиками еще более «темпераментно». Так, на странице 33 своего сочинения В. Архипов, объединив для краткости и удобства задуманной операции Б. И. Бурсова, Е. И. Покусаева и К. И. Чуковского, «искренне и сильно» квалифицирует разработанную ими (?) концепцию русского историко-литературного процесса как антиисторическую

и субъективистскую, «приводящую к прямому поношению революционных демократов». Так, на странице 53 В. Архипов, создав вторую, тоже довольно живописную группу из Г. Бялого, Г. Кунищина, А. Дементьева и Г. Бровмана, «страстно» обвиняет их не больше не меньше, как в оправдании либерализма шестидесятых годов и реабилитации либерализма вообще.

Было бы нелепо спорить с В. Архиповым по этому поводу. Конечно, могут найтись нечуткие люди, которые скажут, что если бы он вел себя так не на страницах книги, а в каком-либо общественном месте, то его повадки и манера выражаться, вероятно, подлежали бы компетенции дружины по охране общественного порядка. Но пусть они прочтут рецензию Д. Старикова. Из нее они узнают, что В. Архипов вовсе не «шельмователь», а только зачем-то прячется иногда от нас под маской эдакого балагура, «шутейно» расправляющегося с инакомыслящими, что «нетрудно расслышать в его голосе неподдельную, горячую любовь и ненаигранную сердечную боль».

Вот, значит, как: не надо обижаться на В. Архипова, он просто шутит и балагурит, к тому же неизвестно зачем. Я склонен поверить Д. Старикову. Только надо условиться не выдавать эти «шутейные» расправы с инакомыслящими за воинствующую партийность.

Несколько слов о методе «социолого-литературного анализа», которым будто бы «великолепно» владеет В. Архипов. Чем полчас становится этот метод в руках критика, прояснилось еще года три назад, когда появилась его статья о романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Как известно, в этой статье В. Архипов изображал И. С. Тургенева писателем, который вместе с Катковым и Юркевичем принадлежал к «силам старой России» и явился идейным предшественником вефовцев. Роман же «Отцы и дети» В. Архипов рассматривал как оружие, которое Тургенев выковал либералам для борьбы с демократами и сильнее которого либералы ничего не придумали. Эта статья В. Архипова была единодушно оценена во многих журналах и газетах как рецидив вульгарного социологизма.

Однако книга В. Архипова о Некрасове показывает, что он, «пока хватит сил и уверенности», будет вести борьбу за свои «открытия». Дело в том, что в его книге о Не-

красове не один, а два героя: положительный и отрицательный, точнее отрицательный во всех отношениях. Положительный герой — это Некрасов, а его антипод — снова Тургенев, точнее его творчество. «Рудин» Тургенева и поэма Некрасова «Саша», по словам В. Архипова, «представляют собой два диаметрально противоположных направления нашего общественно-политического и литературного развития» (стр. 160); роман «Новь» и поэма «Кому на Руси жить хорошо» «направлены друг против друга» (стр. 240), а в романе «Отцы и дети» Тургенев выступает как клеветник из либерального лагеря, пытавшийся заклеить красу и гордость нации позорной кличкой «нигилист» (стр. 374—375). Одним словом, Архипов безоговорочно причисляет Тургенева к оплевывавшим революцию русским либералам, и ничего другого сказать о великом русском писателе он не хочет или не может.

Разоблачение творчества Тургенева — лейтмотив книги В. Архипова о Некрасове. Это основа ее «концепции». Все приемы литературоведческого анализа пушены автором в ход для дискредитации произведений Тургенева. Но доказательства его неубедительны, если не сказать больше. Вот, например, одно из них. Тургенев рисует гибель Рудина на баррикадах:

«Высокий человек выронил знамя — и, как мешок, повалился лицом вниз, точно в ноги кому-то поклонился... Пуля прошла ему сквозь самое сердце».

В. Архипов усматривает в этой картине стремление Тургенева «лишить Дмитрия Рудина, павшего на баррикаде, его героического ореола, развенчать знаменосца восстания». «В таких случаях любой автор зримо или незримо склоняется над трупом павшего, — пишет В. Архипов. — Другое в данном отрывке. Мертвый Рудин не озабочен, оказывается, прилично упасть. Он повалился. «как мешок», но при этом «точно в ноги кому-то поклонился»».

Впрочем, пусть читатели сами ознакомятся с тем, насколько преуспел В. Архипов как «разоблачитель» Тургенева. Я хотел лишь обратить их внимание на то, что подход В. Архипова к литературе и в новой книге сохранил вульгарно-социологические черты. «Историзм» метода В. Архипова, который так восхищает его рецензентов, особенно наглядно виден на предпринятом им со-

поставлении творчества Пушкина и Некрасова. Некоторые его наблюдения и высказывания по этой части обращают на себя внимание. На страницах 37 и 38, приводя «словесные формулы» Пушкина и поэтов его круга: «праздник жизни», «баловень свободы», «друг лени», «свободная поэзия», «творящее искусство», — В. Архипов пишет, что Некрасов обращался к этим «формулам» с одной и единственной целью: «противопоставить себя этим людям и этим поэтам. Я не «баловень свободы», я никогда не был «другом лени»... я другой поэт...» Оставим пока в стороне Некрасова, но осмелимся заметить, что только в понимании и изложении В. Архипова «баловень свободы», «друг лени», «свободная поэзия» и другие «словесные формулы» Пушкина и поэтов его круга выражают что-то вроде проповеди барского безделья, легкомыслия и чуть ли не тунеядства. У Пушкина, Рылеева, Дельвига и даже Батюшкова они имели иной, глубокий и прогрессивный, смысл. Думается, что это общеизвестно.

Что же касается Некрасова, то противопоставляет себя Пушкину не столько он сам, сколько В. Архипов. И как противопоставляет! Например, на странице 90 он говорит, что Некрасов даже в самые мрачные годы «не слагал царю «свободную» или несвободную хвалу, не пошел на поклон к булгаринным». Пусть будет так (хотя бывало, что лира Некрасова издавала «неверный звук»), но в каком свете выглядит здесь Пушкин? И это называется историческим подходом!

А посмотрите, каким рисуется Пушкин в другом сопоставлении В. Архипова: «Некрасов дает иную, не пушкинскую, трактовку чести в «Дедушке». Гриневское «береги честь смолоду» разворачивается как верность престолу, присяге. Дедушкино же «честью всегда дорожи» раскрывается как верность революционному долгу». Видите, как все ясно: выходит, что Пушкин трактовал честь как верность престолу, а Некрасов — как верность революции. Но зачем же под флагом историзма возрождать это примитивное, давно отвергнутое нашей наукой понимание взглядов Пушкина и его позиции в «Капитанской дочке»?

Подобным же образом В. Архипов противопоставляет Некрасова Пушкину и на других страницах своей книги. Он сравнивает, например, со стихотворениями Некрасова стихотворения Пушкина «Румяный критик мой...» и «Деревья». И что же получается?

Получается, что у Пушкина в первом из названных стихотворений крестьянин выступает «не лирическим героем, а в качестве объекта размышлений лирического героя, т. е. отодвинут на второй план», а в «Деревне» крестьянин является объектом сострадания, и это «парализовало в известной степени силу лиризма, лишило его непосредственности, переключило лиризм чувства в лиризм размышления». Но неужели же действительно в «Румяном критике» крестьянин отодвинут на второй план? И зачем же видеть «отодвигание» крестьянина именно там, где происходило его «выдвижение» в лирическую поэзию? И неужели же пушкинская «Деревня» нацело лишена непосредственности и лиризм в ней, хотя бы только и в известной степени, парализован?

Справедливости ради следует сказать, что

В. Архипов к концу работы начинает не только противопоставлять Некрасова и Пушкина, но и утверждать между ними связь. Но до этого он успел поблуждать в таких дебрях, где подлинным историзмом и не пахнет.

Вот и все, что я хотел сказать о книге В. Архипова. Мне уже приходилось с ним полемизировать, и удовольствия от этого я не испытал. Но обойти молчанием его новую книгу было невозможно, так как не следует выдавать ее за показательный пример историзма социолого-эстетического анализа и борьбы за незыблемость партийных принципов искусства. Слишком часто В. Архипов выступает в ней таким, каким, по словам Д. Старикова, «вполне может не быть».

А. ДЕМЕНТЬЕВ.

★

ПРАВДА — РЕВОЛЮЦИОННА

Хуан Гойтисоло. Прибой. Роман. Перевод с испанского Л. Синянской.
«Иностранная литература», № 6, 1961.

В «Жнецах» — одном из последних фильмов испанского режиссера Бардема, вышедшем на экраны Испании почти одновременно с появлением романа Хуана Гойтисоло «Прибой», есть такая сцена.

Вечерет. Жужжат москиты в прибрежных кустах. «Куадрилья» жнецов-поденщиков спустилась с гор на равнину в поисках работы. Измученные долгим переходом, крестьяне расположились на отдых. Мальчик, бегавший к реке за водой, подводит к ним незнакомца. Это горожанин, который попросился переночевать со жнецами. Он молот. У него добрые, умные глаза. Происходит знакомство: путешественник говорит, что он писатель. Жнецы глядят на него, точно не понимая.

Незнакомец. Я пишу книги.

Мальчик. И этим вы зарабатываете на жизнь?

Незнакомец. Да, худо или хорошо.

Мальчик. И что же вы пишете?

Незнакомец. То, что вижу. Вот брожу по этому, по другим краям и говорю о них, о людях, которые здесь живут.

Старик. Что же вы скажете о нас?

Незнакомец. Да вот это... Как я встретил вас, и как вы пригласили меня поехать с вами, и о чем мы говорили.

И жнецы рассказывают ему о своей трудной, скудной жизни. Становится совсем тем-

но. Обед закончен. Мужчины закуривают. Андреа — единственная женщина «куадрилья» — собирает посуду. И беседа снова возвращается к писательскому ремеслу. Один из жнецов спрашивает горожанина, почему нужно ходить по стране, чтобы писать потом книги? «Я иду и гляжу, — отвечает тот, — потому что я должен знать свою землю и людей, которые живут на ней... Потому что для меня главное — говорить со всеми и знать, что думает, отчего страдает каждый, отчего он бывает весел, на что надеется...»

Монолог писателя долго звучит во мраке. Он говорит о высокой цели литературы — сплотить людей, научить их понимать друг друга, потому что «на самом деле люди вовсе не одиноки, и в одиночку не может жить никто». А крестьяне, которые, должно быть, впервые увидели человека, пишущего книги, зачарованно слушают его слова, «мягкие и сильные, как теплое вино». И мысль зажигается в их глазах.

Эта сцена декларативна. Пожалуй, в условиях франкистской цензуры трудно сказать яснее об общественных задачах литературы, о необходимости обращения ее к действительности. Однако образ писателя, пускающегося в путь, чтобы узнать свою страну и свой народ, чтобы рассказать о его горе и нищете, о дремлющих в нем силах,

рассказать так, чтоб гнев проснулся у читателя и разбудил его мысль,— не случайный вымысел Бардема. Это — отражение реального процесса, происходящего в последние годы в испанской литературе. Подобно незнакомцу Бардема, идет из селения в селение провинции Альмерии герой очерковой повести Хуана Гойтисоло «Нихарские земли», написанной уже после «Прибоя», в 1960 году.

Молодые писатели Испании (братья Гойтисоло, Хесус Лопес Пачеко, Хиль де Бьедма, Хесус Фернандес Сантос, Лопес Салинас и другие), чьи произведения позволяют говорить о подлинном возрождении испанского романа и поэзии, исполнены веры и силы народа. Именно это позволяет им с беспощадной правдивостью говорить о современной Испании.

Эти писатели сформировались уже в годы диктатуры Франко: Хуан Гойтисоло родился в 1931 году, Хесус Лопес Пачеко — в 1930, Рафаэль Санчес Ферлосно — в 1928, Хайме Хиль де Бьедма — в 1929 году. Только в их детских воспоминаниях жила революционная Испания, ее пафос, ее надежды. Они росли в стране, где все свободолобивые порывы пресекались, но где недовольство режимом охватывало все более широкие слои народа. Появление первых критических произведений молодых испанских писателей совпадает с усилением студенческих волнений в Барселоне и Мадриде. Новый роман, новая поэзия родились из страстного желания изменить общественные отношения, вернуть Испании свободу, избавить народ от унижений и нищеты, отстаивать человеческое достоинство соотечественников. Молодая литература присягнула на верность родине и народу.

Положа на Испанию руку, клянусь
се имя всуе не поминать.
Если я клятву свою преступлю,
если Испанию и народ предам —
отрубите мне руку.—

писал в программном стихотворении Лопес Пачеко, назвавший свой последний сборник «Я руку кладу на Испанию».

Когда летом 1959 года на острове Майорка состоялась встреча европейских писателей, посвященная проблемам современного романа, Хуан Гойтисоло и Хесус Лопес Пачеко отстаивали идею социального воздействия литературы. «Для некоторых стран преобразование общества не отвлеченно:

понятие, а срочное дело,— заявил Пачеко.— В этом случае романист, естественно, отображает те факты действительности, изображение которых может помочь ее переделке и исправлению». Обновление формы, техники романа испанские писатели связывают именно с общественной его ролью, ибо, как говорит Хуан Гойтисоло, «в трудные периоды задача писателя состоит в том, чтобы обозначать подлинное лицо общества и отражать его противоречия». И поиски современных средств выражения — производное этой задачи.

Свои эстетические принципы Хуан Гойтисоло сформулировал в программной статье «За национальную народную литературу», которую можно считать манифестом молодого испанского романа. Хуан Гойтисоло требует восстановления порванных в предшествующие десятилетия связей литературы с широкими народными массами. Для этого романист должен правдиво и доступно говорить о жизни своих современников, о насущных ее проблемах, «как делали это в свое время Бароха, Гальдос и великие мастера плутовского романа». Опираясь на национальные реалистические традиции — традиции испанского социального романа,— Хуан Гойтисоло выступает не только против космополитического эстетизма эпигонов Ортеги-и-Гассета, но и против испанской националистической литературы, развитие которой поощрялось в последние десятилетия. Он восстает против любования «испанской спецификой», против изображения в литературе некой «вечной Испании», отлившейся в недвижные формы,— мнимой Испании с ее красотами и мистицизмом, донкихотством и презрением к реальному миру. Он требует правды, только правды, во всей ее неприглядности. Он требует правды о сегодняшнем дне во имя много будущего, потому что «правда — революционна».

В «Нихарских землях» эта одержимость правдой выплескивается в страстном крике, внезапно прорывающемся нарочито сдержанное, без комментариев повествование о богом забытом, выжженном, нищем крае, лежащем к юго-востоку от Альмерии. Герой-рассказчик слушает, как посетители таверны рассуждают о красоте Испании, о бое быков, о народных песнях, и ему хочется крикнуть им, что для нищей Испании было бы лучше, если бы она была уродливой — может быть, тогда она не прикрывала бы красотой свое бездействие, может быть, пере-

став рассматривать себя как музейный экспонат и пейзаж для открыток, Испания предостерегла бы свою инертность. И он заключает: «Вот почему я люблю Альмерию... Альмерия не пытается прикрыться драпировками и украшениями. Это голая, честная земля...

А они все продолжают говорить о песнях и быках, о солнце и красотках; я схватил бутылку хумилы. Буря разразилась яростью, а моя ярость накопилась внутри, сердце мотолотилось, жажда жгла грудь.

Я выпил один стакан, потом другой; хозяин кабака глядел на меня, и когда он подошел, чтоб подать мне вторую бутылку, я вытер лицо и сказал ему:

— Это капли дождя.

Всю вторую половину дня я блуждал по селению, не зная, куда несут меня ноги. Небо было серым, улицы казались пустынными, и, помнится, я долго лежал на пляже, не двигаясь.

Дети бродили вокруг меня, соблюдая почтительную дистанцию: когда я встал, я услышал, как один из них сказал:

— Наверно, у него кто-нибудь умер. Моя мать видела — он плакал.

Сдержанная, подавленная, вытесненная в подтекст страстность ощущается и в «Прибое». Ее не уловит только тот, кто сам равнодушен к судьбе человеческой. С объективностью кинокамеры Хуан Гойтисоло показывает нам предместье Барселоны. Огромная надпись на стене вокзала: «Ни одного очага без огня, ни одного испанца без хлеба». Камера панорамирует. Синевя неба, расчерченная реактивным самолетом. Огромный пляж, усеянный людьми. Сточная канава, кучи мусора, полуголые дети, картежники, усевшиеся в кружок. Ряды барраков, слепленных из чего попало — из обломков кирпича и брусчатки, разноцветных плиток кафеля, ржавых листов жести. Оглушительная трескотня включенных на полную мощность репродукторов. «Ни одного очага без огня, ни одного испанца без хлеба».

Описания Гойтисоло скупы и конкретны. Отобрано самое главное. Вещи его не занимают. Они нужны лишь постольку, поскольку герои романа родились и живут среди них, поскольку эти вещи определяют внутренний мир героев Гойтисоло ничего не объясняет. Он редко и очень лаконично говорит о прошлом персонажей — только тогда, когда это прошлое продолжает жить

и сегодня, более настоятельное, более действительное, чем сама действительность. Таково республиканское прошлое профсоюзного деятеля Хинера — война, концлагерь. Это для него куда более настоящее, чем сегодняшнее прозябание. Хинер пытается вернуть это прошлое. Он единственный в романе помнит, мыслит, мечтает сплотить жителей предместья. Ему ничего не удастся сделать. Ненависть мешанки жены, непонимание сыновей, воспитанных ею, страх портовых рабочих, которых Хинер пытается убедить, что действовать необходимо, хотя заведомо безнадежно. Хинер терпит поражение по всем линиям. Но все же он связующее звено между прошлым и будущим, ради которого Хуан Гойтисоло так жестоко говорит правду о настоящем.

Хуан Гойтисоло описывает несколько судеб, ломающихся в это жаркое лето.

Подросток Антонио — сын пьяницы Пять Дуро, проданный отцом жене лавочника, которая испытывает к мальчику навязчивое, темное влечение. Антонио похож на ее покойного сына. Ей хочется привязать мальчика, вернуть себе сына. Но материнское чувство переплетается с женской страстью, неосознанной и мучительной для нее самой.

Антонио рвется из будней барачного предместья. Он мечтает о героической жизни революционера или убийцы. Эти понятия так же переплетены в его сознании, как материнское и плотское влечения в душе жены лавочника. Антонио восхищается жестокостью Метральи — главы воровской шайки, состоящей из парней предместья. Метралья для него идеал независимости, силы. Он верит в его дружбу. Метралья обещает взять Антонио с собой в Америку, если тот поможет набрать ему денег. Антонио обворовывает жену лавочника, которая знает об этом, но не препятствует Антонио, понимая, что после исчезновения Метральи мальчик наконец окажется в ее руках. Так кончается детство Антонио.

Рядом с ним Кораль — шестнадцатилетняя проститутка, умудренная, развращенная, циничная, но в душе совершенный ребенок. Кораль принимает свое положение как нечто естественное — лучших судеб она не видела. Кораль заманивает богатых иностранцев. Бесплатно отдается капралу гражданской гвардии, чтоб «не застукать». Работает на любовника — Метралью. Только на деньги, заработанные на панели, эта девочка каждую неделю покупает куклу —

Политика и наука

МОГУЧЕЕ ДРЕВО

Н. С. Хрущев. О внешней политике Советского Союза. 1960 год. Том 1. Январь—май. 656 стр. Том 2. Июнь—декабрь. 632 стр. Госполитиздат. М. 1961.

В отчетном докладе Центрального Комитета КПСС XXII съезду Коммунистической партии Советского Союза товарищ Н. С. Хрущев сказал:

«Тот факт, что войну удалось предотвратить и советские люди, народы других стран могли пользоваться благами мирной жизни, надо рассматривать как главный результат деятельности партии, ее Центрального Комитета по наращиванию мощи Советского государства, осуществлению ленинской внешней политики, как результат деятельности братских партий стран социализма, активизации миролюбивых сил всех стран».

Эти знаменательные слова, четко очерчивающие неуклонно проводимую Советским Союзом миролюбивую внешнюю политику, могли бы стоять в эпиграфе двухтомника Н. С. Хрущева «О внешней политике Советского Союза. 1960 год».

В истории буржуазной дипломатии нередки случаи, когда выступления государственных деятелей не только быстро устаревают, теряют свое значение, но и становятся обузой для их авторов. В подтверждение этого нет нужды залезать в глубь веков; достаточно обратиться к примерам, сохранившимся в памяти одного поколения. Скажем, Черчилль в годы второй мировой войны чувствовал бы себя куда удобнее, если бы реверансы в адрес советского народа не сопоставлялись с наполненными злобой и ненавистью к советской власти заявлениями, на которые тот же Черчилль был так щедр в то время, когда Советская Россия отражала интервенцию четырнадцати держав. А когда кончилась война, Черчиллю хотелось бы уже другого — чтобы были вычеркнуты из книги истории его речи военных лет, так как он вновь «сменил вехи» и вернулся к антисоветским лозунгам.

Черчилль не одинок. Разве не совершил такой же поворот на сто семьдесят градусов генерал де Голль? Или Эйзенхауэр, который в Кэмп Дэвиде обращался к главе Советского правительства со словами «мой друг», а через несколько месяцев послал в советское небо воздушного шпиона «У-2»

с Пауэрсом на борту. А сколько из ныне здравствующих деятелей, лобызающихся с боннскими милитаристами, делало карьеру на риторических клятвах в вечной ненависти к немецкому милитаризму! Сколько их, заигрывающих теперь с молодыми государствами Азии и Африки, десятки раз публично предавало анафеме национально-освободительное движение колониальных народов и объявляло вечным «правом» угнетателей властвовать над своими рабами! Наконец, у всех на глазах игра капиталистических политиков словами «свобода», «мир», «разоружение», произносимыми тем громче, чем беззащитнее попираются ими все человеческие свободы и чем сильнее раскручивают они маховик подготовки новой войны.

Политическое хамелеонство издавна считается непрременным качеством буржуазных деятелей, так же как совершенно правоммерным признается вероломство в государственной политике, вольное обращение с принципами, отказ от избирательных обещаний, нарушение договорных обязательств и т. д. и т. п.

В. И. Ленин беспощадно бичевал буржуазную дипломатию, за внешней респектабельностью которой скрываются цинизм, обман, беспринципность. На следующий же день после рождения нового мира под знаменем Октября Ленин начал борьбу против основанной на обмане политики капиталистических правительств, которые никогда не говорят того, что думают, и определил основы социалистической дипломатии — честной, правдивой, действующей открыто перед всем народом.

Советская внешняя политика — это ленинская политика. Ленинская правда и принципиальность — ее органические качества. И когда перечитываешь речи, заявления, интервью Н. С. Хрущева по вопросам внешней политики, состоявшиеся в 1960 году и собранные в двух томах, изданных Госполитиздатом, с исключительной силой ощущаешь эти ведущие и определяющие качества.

1960 год был годом необычайно активной внешнеполитической деятельности Совет-

ского правительства, неразрывно связанной с кипучей энергией Никиты Сергеевича Хрущева. Глава Советского правительства побывал в Индии, Бирме, Индонезии и Афганистане, дважды ездил во Францию — сначала с дружеским визитом, а затем в связи с намечавшимся совещанием глав правительств, сорванным преступными действиями против СССР правительства Эйзенхауэра. Н. С. Хрущев посетил Австрию. Его по-братски принимали социалистическая Румыния и трудящиеся ГДР.

В 1960 году состоялась историческая XV сессия Генеральной Ассамблеи ООН с участием многих глав государств и правительств. Во время пребывания на этой сессии Н. С. Хрущев превратил трибуну Генеральной Ассамблеи в передовую край борьбы за торжество мира на земле. С этой трибуны были провозглашены Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, основные положения договора о всеобщем и полном разоружении. С этой трибуны звучали пламенные речи Н. С. Хрущева о непобедимости коммунистических идей, о новом, социалистическом мире, о нашей советской жизни, с нее он бичевал врагов мира и свободы народов.

Н. С. Хрущев говорил с советским народом на сессиях Верховного Совета СССР, перед выпускниками военных академий, на митингах трудящихся Москвы, перед ударниками коммунистического труда, учителями, на торжествах в честь сорокалетия Азербайджанской ССР. Он встречался с государственными деятелями братских социалистических стран — ГДР, Чехословакии, Румынии, Венгрии. В Москве и Дели, в Джакарте и Париже, в Вене и Кабуле глава Советского правительства вел переговоры с руководителями самых различных государств мира. Его слушали индийцы и французы, австрийцы и бирманцы, люди других стран. Он выступал по американскому и австрийскому телевидению, давал пресс-конференции, интервью, вел переписку с общественными деятелями.

И всюду и везде, в любой аудитории и в любой обстановке, дома и на чужбине Н. С. Хрущев говорил одним языком — прямым, откровенным, принципиальным. Он нес в мир правду о коммунизме, о Советском Союзе. Он говорил о внешней политике Советской страны президенту Италии то же, что и строителю Бхилан в далекой Индии,

так, как хотел Ленин: открыто, перед всем народом, перед людьми всей земли.

Двухтомник, составленный из внешнеполитических выступлений Н. С. Хрущева в 1960 году, вышел в свет на исходе лета 1961 года. Международная обстановка к этому времени значительно осложнилась. Ее довели до весьма высокой температуры правящие круги и военщина США, Западной Германии и других западных держав. Они все сильнее развертывают военные приготовления, нацеленные против СССР и других социалистических государств. В качестве предлога для оправдания этих действий, создающих угрозу втягивания мира в истребительную ядерную войну, используются, как известно, советские предложения о ликвидации остатков второй мировой войны путем заключения германского мирного договора и урегулирования на этой основе вопроса о Западном Берлине.

На Западе подняли истошный крик в связи с тем, что Советский Союз, предлагая западным державам решить проблему германского мирного урегулирования путем переговоров, вместе с тем объявил, что он считает недопустимым дальнейшее затягивание решения этой проблемы. В случае если западные державы откажутся от согласованных действий совместно с СССР, Советское правительство и правительства других миролюбивых государств подпишут мирный договор с Германской Демократической Республикой. В ответ несутся угрозы в адрес Советского Союза, призывы силой помешать ему осуществить свое намерение.

Наша страна и весь социалистический мир не боятся угроз, но, естественно, не собираются проявлять беспечность. Проводимые в последние месяцы мероприятия Советского правительства по укреплению обороноспособности СССР представляют собой необходимый и убедительный ответ на угрозы Запада. Империалистам ясно дали понять, что если они осмелятся начать авантюру, то пойдут тем самым на самоубийство.

Все это события последнего времени, и они освещены в новых документах Советского правительства и выступлениях Н. С. Хрущева, относящихся к 1961 году. Но нельзя не заметить такого характерного обстоятельства: знакомство с внешнеполитическими заявлениями главы Советского правительства в 1960 году позволяет яснее понять и нынешние международные события. Все, что было сказано им тогда, остается

ся актуальным и сегодня. Так происходит потому, что в выступлениях Н. С. Хрущева формулируется принципиальная позиция Советского государства в международных делах, а эта позиция исходит не из преходящих, конъюнктурных соображений, как это свойственно капиталистическим правительствам, а из марксистско-ленинского научного анализа международной обстановки и перспектив ее развития. Сейчас Советским правительством поставлен практически вопрос о том, чтобы преградить путь западногерманскому реваншизму. Необходимость таких шагов неоднократно подчеркивалась Н. С. Хрущевым в прошлом. Глава Советского правительства постоянно заявлял о том, что Советский Союз стоит за переговоры с западными державами о германском мирном договоре и урегулировании на основе заключения такого договора вопроса о Западном Берлине. Он предупреждал, что Советский Союз и другие миролюбивые государства не будут бесконечно терпеть существующее положение. Западные державы игнорировали эти предупреждения, и ныне Советский Союз делает необходимые выводы. Германский мирный договор будет подписан, тем самым будет разрешен и вопрос о Западном Берлине — это будет осуществлено в сотрудничестве с западными державами, если они внемлют голосу разума, и без них, если они не прислушаются к этому голосу.

Вдумываясь в последние мероприятия Советского правительства по укреплению обороноспособности страны, нельзя не обращаться к таким выступлениям Н. С. Хрущева, как доклад и заключительное слово на майской сессии Верховного Совета СССР в 1960 году, когда он разоблачил преступные, вероломные действия правительства Эйзенхауэра. Молет Пауэрса не был случайным, изолированным фактом. От него тянется цепочка к усилению агрессивности

НАТО, раздуванию в США и других западных странах военного психоза, свидетелем чего мир является в настоящее время. Прав был, следовательно, Н. С. Хрущев, когда он пригвоздил к позорному столбу зарвавшихся империалистических агрессоров, мудро поступили наша партия и правительство, своевременно принявшие необходимые меры, надежно охраняющие безопасность СССР и всех социалистических государств.

Так обстоит дело и в отношении советской внешней политики по всем другим международным вопросам. Идет ли речь о разоблачении колониализма и поддержке молодых независимых государств Азии и Африки, о всеобщем и полном разоружении или отношениях Советского Союза с капиталистическими странами, Советское социалистическое государство, его руководители настойчиво призывают к осуществлению политики мирного сосуществования, к переговорам по назревшим международным проблемам. Но напрасно стали бы империалисты расценивать такую готовность СССР как слабость — социалистический мир уверенно наращивает свою мощь, соотношение сил на мировой арене резко изменилось в пользу нового мира. Со всей силой звучит голос гласная коммунизма — Никиты Сергеевича Хрущева.

«— Коммунизм прочно пустил корни, превратился в могучее дерево, и никакие грозы и бури теперь ему не страшны».

Так говорил глава Советского правительства в беседе с журналистами в Гленкове, под Нью-Йорком, осенью 1960 года.

В этих гордых словах — наша большая, коммунистическая правда, вера в наши силы, твердая убежденность в победе нашего великого дела.

М. МИХАЙЛОВ.



ЧЕЛОВЕК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Подъем культурно-технического уровня советского рабочего класса. Под редакцией М. Т. Иовчука, В. С. Кружнова, Г. А. Пруденского, М. Н. Рутневича, М. Х. Игитханяна, Л. Н. Когана. Соцэкгиз. М. 1961. 552 стр.

Эта объемистая книга, подготовленная к печати Институтом философии Академии наук СССР и Уральским государственным университетом имени А. М. Горь-

кого, посвящена одной из важнейших проблем современности — формированию нового человека, человека коммунистического общества.

В докладе на XXII съезде КПСС о Программе Коммунистической партии Советского Союза Н. С. Хрущев сказал: «Важнейшая составная часть коммунистического строительства — воспитание людей в духе коммунизма... Чем выше сознательность членов общества, чем полнее и шире развернется их творческая активность, тем быстрее и успешнее мы претворим в жизнь программу построения коммунизма».

Материалы для книги «Подъем культурно-технического уровня советского рабочего класса» собирались не в тиши библиотек и архивов. Научные работники Москвы, Урала, работники Уральского совнархоза, советских и общественных организаций Свердловской области, составившие авторский коллектив, начали свою работу над книгой с изучения новых черт жизни — непосредственно на заводах, рудниках, в рабочих поселках, во дворцах культуры.

На страницах то и дело мелькают ссылки на такие незаменимые источники познания новых явлений и процессов в рабочем классе, как беседы с руководителями и участниками коммунистических бригад, производственных совещаний, Героями Социалистического Труда, инженерами, молодыми рабочими, только вступающими в жизнь. Авторы привлекли и такие материалы, как результаты массовых анкетных опросов, охвативших тысячи людей, итоги теоретических конференций.

Решая сложную задачу — на примере тружеников Свердловской области познакомиться с культурно-техническим уровнем советского рабочего класса и намечающимися путями его дальнейшего подъема, авторский коллектив шел непроторенными путями, искал новые методы исследования. Ведь в этом деле не было ни опыта, ниработанной методики.

Книга получилась боевая, наступательная. Авторы камня на камне не оставляют от «теорий» реакционеров и ревизионистов всех мастей, утверждающих, будто бы «массовый человек» губит науку, которая должна быть достоянием немногих — этакой «аристократии духа». Очевидной становится и вся лживость «теории», заявляющей, что прогресс техники якобы ведет к атрофии личности, автоматизация же обрекает личность на бездумный неквалифицированный труд, независимо от общественного и социального строя той страны, где она осуществляется.

Раскрывая подлинную сущность псевдоученых рассуждений буржуазных мракобесов и их реформистских прислужников, авторы не ограничиваются общими замечаниями, а опираются на убедительную аргументацию.

Привлечет внимание читателя и полемика с рядом советских авторов. В частности, хочется отметить критику нередко встречающегося в печати утверждения о том, что автоматика полностью исключит физический труд. Авторы горячо выступают также и против тенденции оценивать культурно-технический уровень рабочих лишь под углом зрения общей — и преимущественно профессиональной — подготовки. В книге последовательно проводится мысль о том, что очень важно связать подъем культурно-технического уровня строителей коммунизма с развитием их эстетических вкусов, нравственных идеалов, да и физических способностей.

К бесспорным достоинствам книги нужно отнести то, что авторы отнюдь не лакируют, не приукрашивают действительности. Главное ударение делается на не решенных еще задачах, и это правильно. В своей речи на Всероссийском съезде учителей в июле 1960 года Н. С. Хрущев указывал, что «мы решаем сейчас две исторические задачи — создание материально-технической базы коммунизма и воспитание нового человека». «По сути дела, — подчеркивал Н. С. Хрущев, — это единый процесс. Если мы отстанем с образованием и воспитанием советских людей, то неизбежно затормозится все дело строительства коммунизма... Борьба за победу коммунизма требует всестороннего, гармоничного развития советского человека».

Авторы знакомят нас со множеством людей, которые не только блестяще овладели своим делом, но и неутомимо добиваются всестороннего, гармоничного развития своей личности.

Рабочий Верх-Исетского металлургического завода Герой Социалистического Труда Н. Черных систематически знакомится с литературными новинками в библиотеке при Дворце культуры. Множество книг составляет его обширную домашнюю библиотеку. В бригаде слесарей того же завода, руководимой Ю. Семеновым, семь человек. Все они хорошие производственники и вместе с тем не перестают учиться, часто бывают в библиотеке, театре, Дворце культуры.

Передовик соревнования за коммунистический труд на Уралмашзаводе А. Храмов ведет большую общественную работу: он депутат Верховного Совета СССР. Свой досуг он посвящает автоделу и садоводству.

Стремление не только хорошо организовать свой труд, но и досуг — характерная черта передовых рабочих нашего времени. Слесарь-сборщик Уралмашзавода Юрий Андреев составил план, который включает и подготовку к поступлению в политехнический институт, и расширение знакомства с классической литературой, и посещения театра, и организацию волейбольной команды, и защиту первого разряда по гимнастике.

Авторский коллектив книги сумел разглядеть в нашей повседневной жизни зримые черты коммунизма. Привлекают внимание читателя материалы, убедительно свидетельствующие о том, как в условиях социалистического предприятия новейшая техника духовно обогащает обслуживающих ее людей, содействует преодолению существующего различия между физическим и умственным трудом.

Три десятка лет назад, когда вводились в строй первые домны Магнитки, С. Орджоникидзе предложил поставить на пост горновых при этих невиданных еще в стране агрегатах молодых инженеров, только окончивших институт. Помню, как поразила тогда работников промышленности смелая инициатива наркома. Это и понятно: в то время каждый второй специалист в промышленности не имел образования. А в начале 1960 года на Нижне-Тагильском металлургическом комбинате рабочие места у особо сложных и ответственных агрегатов занимали восемьдесят девять инженеров и шестьсот сорок техников! В рельсо-балочном цехе работает электронно-счетная машина. Все электрики, обслуживающие эту удивительную машину, окончили техникум. Один учится в институте. Труд участников коллектива нельзя отнести лишь к категории физического.

В книге приводятся убедительные материалы, начисто опровергающие «теории» о том, будто автоматизация производства порождает деградацию рабочих. Напротив, новейшая техника, техника коммунизма, предъявляет высокие требования и к культуре и к квалификации обслуживающего персонала. Есть уже такие автоматические

линии, где трудятся одни наладчики, и действуют линии, где на одного рабочего-оператора приходится шестнадцать наладчиков. В их деятельности сочетаются элементы и умственного и физического труда.

Черты коммунизма, подлинно новаторский дух присущи общественным конструкторским, экономическим, исследовательским бюро. В их состав вошло более восьми тысяч человек в последние годы во множестве и работают весьма эффективно. К середине 1960 года в одной лишь Свердловской области функционировало четыреста пятьдесят четыре общественных конструкторских бюро. В их состав вошли более восьми тысяч рабочих-новаторов, инженеров, техников. Возникновение густой сети общественных исследовательских бюро — наглядное свидетельство большой тяги тружеников к науке, к самостоятельной исследовательской работе. В этом мы видим рост людей, их интересы, их творческие искания.

Читатель вникает в многочисленные таблицы, разбросанные по страницам книги, знакомится со множеством знаменательных фактов — и перед ним во всем объеме раскрывается гигантская работа по воспитанию нового человека, осуществляемая под руководством партии в нашей стране.

В книге хорошо показаны многообразные черты, обозначающие все большее распространение коммунистического отношения к труду, коллективизма на предприятиях и коммунистической морали в быту, все новые проявления товарищеской взаимопомощи.

С особым интересом читаются страницы, посвященные плодотворной борьбе коллективов с пережитками старого — пьянством, нарушением общественного порядка и т. д.

Показательна борьба, развернутая общественностью Уралмашзавода против стяжательства, погони за мелким мешанским благополучием. Весьма действенными оказались такие формы, как шефство старой рабочей гвардии над молодежью не только на производстве, но и в быту, как создание в общежитиях культурно-бытовых советов, заботящихся о досуге молодежи, и т. д.

В предисловии указывается, что авторский коллектив считает своим долгом и в дальнейшем продолжать начатое исследование культурно-технического подъема. В свете новой, принятой XXII съездом Коммунистической партии Советского Союза Программы КПСС, где формированию нового человека уделяется исключительное внима-

ние, такое намерение можно лишь приветствовать. Хотелось бы высказать и несколько пожеланий.

Как уже указывалось, одно из достоинств книги состоит в том, что на ее страницах присутствует множество наших современников. Но читатель порой досаждает: слишком отрывочны, зачастую по-анкетному скупы сведения об этих людях. Вот, например, как упрощенно, схематично рассказано о крановщике М. Погадаеве. Цехком поручил ему руководство цеховой библиотекой. «Эта работа увлекла Погадаева, он сам стал много читать, активно выступать на читательских конференциях. Все это привело к тому, что он бросил пить, стал лучше работать в цехе».

Думается, что такая кардинальная перемена в поведении человека не может быть объяснена одной лишь работой в библиотеке. Вероятно, сказались и какие-то другие серьезные факторы, оставшиеся вне поля зрения автора.

Рассказывая о широте читательских интересов рабочих Верх-Исетского завода, автор приводит длинный и очень показательный перечень русских и западных класси-

ков, а также советских писателей, чьи произведения значатся в читательском формуляре одной из работниц. Но пример был бы куда убедительнее, если бы эта справка сопровождалась рассказом о том, как прочитанная литература повлияла на духовный мир работницы.

В книге приведены цифры о количестве инженеров и техников, которыми в Нижне-Тагильском комбинате укомплектованы рабочие места. Но жаль, что наряду с этими цифрами не сообщается, о каких именно постах идет речь, не сказано, укомплектованы ли эти места рабочими-инженерами и рабочими-техниками постоянно или только на время. Для читателя остается неясным, могут ли эти рабочие посты в условиях новой техники занимать лишь люди, обладающие специальными знаниями, высокой общей культурой. А ведь понятно, какое значение имеет ответ на подобные вопросы для решения проблемы влияния техники на формирование нового человека.

Пожелаем авторам по-прежнему идти непроторенными дорогами и углублять свое исследование.

А. ХАВИН.

★

ИДЕИ И СУДЬБЫ

Зарубежная литература об Октябрьской революции.
Под редакцией академика И. И. Минца. Издательство Академии наук СССР.
М. 1961. 308 стр.

Когда читаешь эту книгу, еще лучше, яснее, глубже постигаешь масштабы грандиозного сдвига в развитии человечества, произведенного Великим Октябрем в России.

Сорок четыре года назад еще не было ни современного радиовещания, ни телевидения, ни международной телефонной связи; Россия была отделена от большинства стран мира линиями фронтов, полицейскими кордонами всякого рода. Все же весть о том, что российские рабочие и крестьяне под руководством большевиков взяли власть в свои руки, быстро облетела земной шар. Она наполнила энтузиазмом сердца передовых пролетариев, трудящихся и вызвала злобный вой в среде империалистов и эксплуататоров.

С тех пор вот уже почти полвека продолжается за рубежом неугасающая и неослабевающая битва между сторонниками и противниками Октября. Мы хорошо знаем,

что эта битва, ведущаяся при помощи такого важного оружия, как слово, неоднократно принимала и иные формы — форму насилия, форму войны, интервенции. Враги социалистической революции отнюдь не переоценивали свои возможности одержать победу в идейной борьбе. Куда больше надежд они возлагали на бронированный кулак, на силу. В этой области они считали себя бесспорно более могущественными, чем молодая Советская республика.

Заметим тут же, что заправила капиталистического мира не поняли ни всемирно-исторического значения Октября, ни глубины того переворота, который произошел в судьбах мира в памятные октябрьские дни в Петрограде. Они только чувствовали страх и испытывали ненависть к первому рабоче-крестьянскому правительству. Идеи? Что общего с высокими идеями имел генерал Галиффе, палач Коммуны в Париже? Что знали об идеях Колчак и Корнилов,

Деникин и Юденич? Они полагали, что идеи расстреливаются вместе с их носителями.

Еще накануне Октября лондонская «Таймс» подсказывала, что нужно делать: «Большевизм надо лечить пулями». Для всех врагов Октябрьской революции грубая сила была выше и могущественнее всяких идей. Даже Ллойд-Джордж посмеивался над «фантазиями большевиков», говоря, что «идеями Маркса нельзя отапливать паровозы». Он не подозревал, что идеи Маркса, идеи пролетарской революции, когда они овладевают массами, становятся силой, способной сдвинуть с места весь мир!

Международная реакция убеждала всех, что Советская республика не просуществует и нескольких месяцев и уже во всяком случае не сумеет осуществить программы социалистического переустройства страны. Об этих провалившихся предсказаниях, в частности о неизбежном «полном крахе социалистических и коммунистических теорий», о чем твердил Черчилль, напомнил на XXII съезде КПСС Н. С. Хрущев в докладе о Программе Коммунистической партии Советского Союза. «Мы могли бы сейчас, — сказал Н. С. Хрущев, — спросить господина Черчилля, кто же потерпел крах?» Наша страна возглавляет ныне исторический прогресс, а Великобритания утратила все свои былые позиции. «Вот вам наглядное доказательство, — говорил Н. С. Хрущев, — величайшей преобразующей силы идей социализма и краха идей империалистов».

Интервенты, вначале германские, а затем англо-американские, японские, французские и другие, бросили против Советской республики большие силы и организовали, снабдив всем необходимым, многочисленные белогвардейские армии — и все вместе они потерпели полное поражение.

Уже после победы, подводя итоги отгремевшей борьбы, Ленин писал: «...Именно сочувствие к нам трудящихся масс. — и рабочих и крестьянских, земледельческих масс — во всем мире, даже в державах, наиболее нам враждебных, именно эта поддержка и это сочувствие были последним, самым решающим источником, решающей причиной того, что все направленные против нас наши действия кончились крахом...» (Разрядка наша. — *И. Е.*)

Вместе с крахом всех этих нашествий потерпела поражение империалистическая доктрина вооруженной борьбы

против идей социализма и уничтожения этих идей силой путем разрушения главного очага этих идей — социалистического государства и истребления носителей этих идей — коммунистов, сознательных пролетариев, передовых трудящихся и их сторонников из других социальных слоев.

Для трудящихся масс зарубежных стран дело Октября, дело рабочих и крестьян России стало с самого начала родным, кровным делом. Вот почему уже с первых дней Октябрьской победы люди труда в любой стране жаждали узнать как можно больше о первой в мире социалистической республике, о партии большевиков, о Ленине. И нетрудно понять, что, потерпев поражение в открытом бою, реакционная буржуазия прибегала к бесстыдной лжи, к клевете на советскую власть. Но она и тут получила отпор. Началась битва на страницах печати, которая продолжается до сих пор.

Прав академик И. И. Минц, автор вводной статьи к рецензируемой книге, когда он пишет: «Зарубежная литература об истории Великой Октябрьской социалистической революции буквально неисчерпаема». В этом огромном собрании произведений, которое продолжает непрерывно увеличиваться, выделяются книги-светочи. Это бессмертное творение Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», это работы А. Вильямса, У. Фостера, Жака Садуля, Карла Либкнехта, Клары Цеткин, Франца Меринга, прекрасные произведения Ли Да-чжао, Анатоля Франса, Анри Барбюса, Романа Роллана, Василя Коларова, Сен Кагаямы, пламенные статьи, вдохновенные речи многих других деятелей рабочего движения, верных последователей Ленина, руководителей трудящихся масс, учителей и боевых командиров различных отрядов мировой пролетарской армии, мыслителей и искренних друзей человечества.

В лагере врагов Октября нашлось немало слуг тьмы, мастеров провокаций и лжи. Уже первые реакционные издания против Октября — фальшивки. В США появился сборник фальшивок (так называемые «документы Сиссона»), послуживших образцом для всех последующих «публикаций» подобного рода. В Англии была издана «Белая книга», составленная из поддельных «документов» и грубых вымыслов. Буржуазная ложь о Советской республике строилась на нескольких основных выдумках.

Одна из них состояла, например, в том, что в Советской России якобы проведена «национализация женщин» и подготавливается «национализация детей». Эта лживая и глупая легенда так настойчиво вбивалась в головы читающей публики, что еще в 1936 году автора этих строк с пристрастием допрашивали в одном лондонском доме (в семье среднего достатка), верно ли, что в СССР дети немедленно после рождения отнимаются у родителей.

Однако, по мере того как устанавливались более или менее регулярные связи между Советской страной и зарубежными странами, такая беспардонная ложь о жизни и политике СССР уже не могла рассчитывать на какую-либо «отдачу». Предоставив периодической печати, особенно бульварным газетам, продолжать клеветать на социализм и Коммунистическую партию в «оперативном порядке», реакционная пропаганда приступила к созданию «солидных», научно-образных «трудов» об Октябрьской революции и о развитии Советского Союза, а в более позднее время — всех других стран социализма. Были организованы специальные институты, в задачу которых входило «изучение» проблем экономики, политики, культуры, этнографии, науки и искусства, управления и руководства в каждом социалистическом государстве и особенно в Советском Союзе.

Наибольшее количество таких институтов действует сейчас в США и Западной Германии. Они имеют обширные библиотеки и архивы; в их штатах сотни, даже тысячи сотрудников. Разумеется, никаких научных проблем эти институты не разрабатывают. Все они являются, по сути дела, филиалами соответствующих разведывательных органов и политической полиции. Задачи институтов и их сотрудников — сбор сведений о той или иной области жизни стран лагеря социализма, снабжение хозяев информационными данными и «выводами». Одновременно эти же институты служат центрами, где концентрируется фальсифицированный материал для различного рода «исследований» о странах социализма.

В 1957 году в США вышла книга историка Ф. Шумана «Россия после 1917 года». К каждой главе своей книги этот американский автор приложил «избранную библиографию». Всего Шуман привлек более четырехсот названий книг, изданных в США, Англии и других капиталистических стра-

нах. Книги эти посвящены определенным областям жизни Советского Союза или деятельности Советского правительства. И все они в большей или в меньшей степени лгут, причем скорее в большей, чем в меньшей. Уже выработался единый стандарт извращения советской действительности. Авторы многих из этих книг вначале стараются казаться объективными, беспристрастными. Но постепенно, шаг за шагом, они уведут читателя от правды и заводят его в лабиринт лживых построений, произвольных умозаключений и просто выдуманных «фактов».

Итог многолетней «работы» институтов по фальсификации истории нашей страны и самих фальсификаторов в основном сводится к следующему: ложь, являющаяся самой сущностью реакционной историографии величайшей из революций в истории человечества, обрела в себе самой собственную базу и развивается на этой основе, непрерывно увеличивая свои «накопления». Ложь из лжи — вот истинная формула этой «науки», перед которой поставлена задача: воздвигать стену из лжи и клеветы между странами социализма и странами так называемого «свободного мира».

Но это не единственная задача, которую решает реакционная историография. Мы не должны забывать, что за последние полтора-два десятилетия облик мира неузнаваемо изменился. В результате победы Советского Союза и сражавшихся в одном строю с ним народов над фашистскими поработителями, ослабления лагеря капитализма и небывалого подъема освободительных движений рухнула позорная колониальная система империализма. К свободе и прогрессу поднялись десятки недавно еще угнетенных народов Азии, Африки и Латинской Америки. Империализм старается удержать под своим влиянием народы стран, добившихся независимости или еще продолжающих бороться за нее. В арсенале неоколониалистов, особенно американских, самое видное место занимает клевета на коммунизм, на Октябрьскую революцию, измышления о политике Советского Союза и других социалистических государств. Те, кто издает книги-фальшивки, стараются всеми способами проталкивать свою отравленную «продукцию» в страны Азии и Африки, в

особенности в те из них, где еще очень незначительны кадры собственной научной интеллигенции и недостаточно развито издательское дело.

И, наконец, надо учитывать, что безостановочное увеличение количества книг разных буржуазных авторов об Октябрьской революции, вернее книг, извращающих предпосылки и последствия Великого Октября, книг, клеветующих на Коммунистическую партию и на ее руководителей,— это часть идеологической подготовки Запада к новой агрессии, к новой войне. Реакционные верхи империализма прекрасно понимают, насколько выросло могущество Советского Союза, они не могут не знать, что соотношение сил в мире изменилось в пользу мировой системы социализма. Тем более широкий и всеобъемлющий характер носят их военные приготовления, идеологическая подготовка к новой агрессии.

Фальсификаторы истории стараются главным образом внушить своим читателям, что Великая Октябрьская социалистическая революция — это «чисто русское» явление, не имеющее международного значения, и что тот общественный строй, который она создала — социалистический строй,— якобы ничего не дал народным массам. Эту задачу буржуазные фальсификаторы решить не в состоянии.

Свет Октября озарил весь мир, и народы всех континентов очень скоро поняли, что начался новый этап в поступательном развитии человечества — началась эра крушения капитализма и торжества социализма.

В Японии рабочие, узнав о событиях в далеком от них Петрограде, говорили: «Революция в России пробудила желание жить». Высокая надежда на лучшее окрылила японских пролетариев. В Индии, задавленной вековым колониальным гнетом, весть об Октябрьской революции была принята с восторгом. Джавахарлал Неру, нынешний премьер-министр независимой Индии, много лет назад писал: «Советская революция намного продвинула вперед человеческое общество и зажгла яркое пламя, которое невозможно потушить. Она заложила фундамент той новой цивилизации, к которой может двигаться мир».

По ту сторону Атлантического океана, в аргентинской газете «Ла интернационал»,

появилось обращение, прославлявшее великую революцию российского пролетариата и исторический подвиг большевиков. «Слава русским большевикам,— говорилось в этом обращении,— благодаря их деятельности страшная мировая бойня сократилась на несколько лет, а человечество спасло миллионы жизней. Русские большевики, героический авангард мирового социализма, заложили фундамент нового человеческого общества, общества будущего, не знающего ни кастовых, ни социальных привилегий, ни деспотизма, ни войн».

Мы найдем такие же выражения благородных чувств и готовности идти путем Октября в произведениях отважных борцов за новую жизнь во всех других странах Латинской Америки.

А вот идущие от сердца, сердца революционера, прекрасные слова Ли Да-чжао: «Отныне повсюду будут видны победные знамена большевизма и слышны звуки его триумфальных песен. Прозвучал набат гуманизма. Возшла заря свободы! Представьте себе будущий мир — он будет миром красного знамени!» Так писал этот мужественный борец китайской революции, один из первых большевиков великого Китая.

И так же думали революционеры, последователи Ленина в Корее, в США, в Польше, в Германии, во Франции. Всюду, где шла борьба между трудом и капиталом, везде, где угнетенные поднимались против угнетателей, вести из России означали, что наступила новая, прекрасная пора, наступило время, когда «кто был ничем, тот станет всем».

Конечно, великая эпоха не может быть исчерпана в книгах. Ее величие — в делах народов, творящих историю. Но книги — памятники этой эпохи. Мы по ним судим о той борьбе, которая началась сорок четыре года назад между новым миром и старым миром, борьбе идей, борьбе бескровной, но столь же беспощадной и грозной, как и на поле боя.

Бой этот продолжается. Он должен быть и будет доведен до конца. Он завершится нашей победой — победой правды над ложью, света над мраком, мира над войной, будущего над прошлым, победой вечной жизни и неустанного прогресса, знаменем которого является коммунизм.

И. ЕРМАШЕВ.



ОКТЯБРЬ В МОСКВЕ

А. Я. Грунт. Победа Октябрьской революции в Москве (февраль—октябрь 1917 г.).
 Редактор В. П. Коноплев. Издательство Института международных отношений.
 М. 1961. 208 стр.

Победе Октябрьского вооруженного восстания в Москве посвящено немало книг и статей.

И все же тема «Октябрь в Москве» не может считаться разработанной достаточно полно. Давно уже ощущается необходимость создания солидного монографического труда, в котором были бы обобщены достижения советской исторической науки.

Книга А. Я. Грунта «Победа Октябрьской революции в Москве» не претендует на исчерпывающее решение этой главной задачи, но она, во всяком случае, помогает такому решению, восполняя пробелы прежних исследований в таких вопросах, как состояние экономики Москвы в тот период, численность и состав рабочего класса, деятельность городской и районных партийных организаций, характер работы Советов рабочих и солдатских депутатов, формирование органов восстания и их деятельность. Автор прослеживает, как от февраля к октябрю 1917 года московская партийная организация, выполняя указания В. И. Ленина, вела трудящихся Москвы к победе пролетарской революции.

Во многих книгах и брошюрах о победе Октября в Москве мы найдем немало волнующих страниц, рассказывающих о самоотверженной борьбе московских рабочих, о героях восстания, чьи имена названы ныне в столице площади и улицы.

И все же популяризация этих имен ведется еще слишком слабо. Книга А. Я. Грунта расширяет и эти сведения. Она может напомнить, например, новоселам новых домов на Люсиновской улице, какой отважной и умной девушкой была Люся Лисинова — один из организаторов московского комсомола. Ведь недаром близкий друг ее, Алексей Столяров, 7 ноября 1917 года посвятил Люсе в своем дневнике такие вдохновенные строки (они приведены в книге): «Мне остается только мужественность страданий в будущем, чтобы отдать кровь своего сердца, принадлежащего тебе, храбрая, святая, бесконечно великая девочка...» Юным москвичам напомнит эта книга и о том, что Серпуховскую площадь еще в 1918 году переименовали в Добрынинскую — по имени двадца-

титрехлетнего рабочего-революционера Петра Добрынина, павшего в бою за Зачатьевский монастырь.

Ветонный проезд возле ГУМа переименован в проезд Сапунова — в честь вожака солдат-двинцев, с боем прорвавшихся из Замоскворечья к Моссовету. Но многие ли москвичи знают о Сапунове?

Думается, издательству «Московский рабочий» было бы по силам выпустить серию небольших брошюр о героях-москвичах.

В книге А. Я. Грунта названы эти и другие имена. В ней вообще много имен. Это хорошо. Но отличительная черта книги в другом — в ее скрупулезности и последовательности, в глубоком анализе множества фактов и цифр.

В феврале 1917 года, сообщает А. Я. Грунт, в Москве жило 2 017 173 человека. В московской промышленности было занято: во всей губернии 448 743 рабочих, из них в Москве 187 150 человек. Фабрично-заводской пролетариат Москвы составлял 9,3 процента рабочих всей России. А вот концентрация пролетариата была меньшей, чем в Петрограде. Там в 1917 году в среднем на предприятии приходилось 740 рабочих, а в Москве — всего 175: здесь преобладала средняя и мелкая промышленность. Москву называли ситцевой — свыше трети всех ее рабочих было занято в текстильной промышленности. Вместе с текстильщиками выступали рабочие металлообрабатывающей промышленности, пищевики и полиграфисты.

Москву от Питера отличало еще и то, что «у московского пролетариата, — как писал В. И. Ленин, — несравненно больше связей с деревней, деревенских симпатий, близости к деревенским крестьянским настроениям, это факт, много раз подтвержденный и неоспоримый». Московский пролетариат примерно на 38 процентов сохранял связи с землей.

Эти цифры, эти факты не случайны. Они важны, ибо объясняют причины нерешительности некоторых руководителей московского восстания. И однако сердцевины московского пролетариата составляли металлисты. Они уверенно и твердо шли за большевиками.

Руководимый большевиками московский пролетариат уже весной 1917 года одержал большую политическую победу — ввел восьмичасовую рабочую день. Выборы в городскую думу, состоявшиеся 25 июня, показали, что рабочие крупных московских заводов — надежная опора большевистской партии.

Шестой съезд партии нацелил большевистские организации на вооруженное восстание. Но на пути революции предстояло еще разоблачить и раздавить генеральский заговор — корниловщину. 13 августа 1917 года кандидат в диктаторы России генерал Корнилов прибыл в Москву. Буржуазные сынки на руках внесли его в Большой театр, где проходило Государственное совещание. А накануне, 12 августа, рабочая Москва грозно сказала свое «нет». В Москве батовало четыреста тысяч рабочих. «Тихая» Москва заговорила пролетарским языком. И Корнилов был вынужден отбыть в станицу. «Теперь время дела. войну против Корнилова надо вести революционно, втягивая массы, поднимая их, разжигая их...» — писал В. И. Ленин. В книге показано, что это ленинское требование было принято не всеми руководящими партийными работниками Москвы. Позиция В. П. Ногина и некоторых других, склонных к компромиссу с меньшевиками, не только отрицательно повлияла на борьбу с корниловщиной в Москве, но и сказалась позже, в дни вооруженного восстания.

Прошедшие в сентябре выборы в районные думы снова подтвердили влияние большевиков в среде московского пролетариата. Большевики получили половину всех мест по всем районам. В. И. Ленин отмечал, что голосование на выборах в районные думы

в Москве является «одним из наиболее поразительных симптомов глубочайшего поворота в общенациональном настроении».

В главе «Победа вооруженного восстания в Москве» автор детально анализирует причины, приведшие к некоторой затяжке установления советской власти в Москве после 25 октября 1917 года. Не сразу был создан Военно-революционный комитет. Допустили в него меньшевиков и объединенцев.

Колебания В. П. Ногина, О. А. Пятницкого, П. Г. Сидовича по вопросу о вооруженном восстании наносили вред делу. Вместо решительных действий руководители ВРК пустились в переговоры с командующим округом полковником Рябцевым. А тому только этого и надо было — контрреволюция затягивала переговоры, выгадывала время на переброску надежных частей с фронта. В довершение всего, в результате наглой провокации Рябцева, в руки белогвардейцев попал Кремль...

Шаг за шагом описывает А. Я. Грунт события вплоть до 3 ноября 1917 года, когда на рассвете революционные отряды московских рабочих вошли в освобожденный Кремль. Автор приводит много имен, много фактов героизма. Хорошо освещена деятельность районных партийных организаций. Таблицы, приложенные к книге, статистические выкладки в первой главе знакомят с новыми данными. Книгу «Победа Октябрьской революции в Москве» с интересом прочтут все, кому дороги героические страницы победоносной борьбы московского пролетариата за власть Советов.

Ю. ШАРАПОВ,

кандидат исторических наук.

★

НАШ ЛОМОНОСОВ

Б. Г. Кузнецов. Творческий путь Ломоносова. Редактор В. М. Гарасенко. Издательство Академии наук СССР. М. 1961. 376 стр.

Он стоит, обращая лицом на юго-запад, крупный, дородный, энергичным обликом своим чуть напоминающий Петра. Справа и слева от него — корпуса физического и химического факультетов. Основатель университета и в бронзе неотделим от своего создания, и стоит он здесь прочно, самым присутствием своим скрепляя дружбу двух естественных наук, которым более

всего отдал сердечного жара этот удивительный человек.

Ломоносов и теперь с нами, хотя со дня его рождения в ноябре этого года минует двести пятьдесят лет. Он живет не только в делах своих славных потомков, обогативших земной шар за полтора часа и открывших дорогу судам через северные льды могучей силой атома. Он присутствует среди нас —

в находках археологов, в наши дни раскопавших остатки Усть-Рудицкой ломоносовской фабрики, в сохранившихся бесценных рукописях, письмах, лабораторных журналах, наконец, в мозаической картине «Полтавская баталия», донные украшающей ленинградское здание Академии наук.

Многочисленные книги приближают к нам образ Ломоносова, ставший в веках почти легендарным. Легенда, оказывается, не во всем бывает даже приблизительно верной. Хорошая работа писателя А. Морозова «Михаил Васильевич Ломоносов» среди других достоинств обладает одним весьма примечательным: в ней разоблачена легенда о темноте и невежестве русского Севера, где родился гениальный сын народа. Ломоносов рос не среди темных людей — в родных его местах жила своя культурная традиция. А. Морозов доказал это документально, но об этом догадывался еще Г. В. Плеханов, писавший, что архангельский мужик стал велик и разумен не только «по своей и божьей воле».

Известна советским читателям и основательная работа Б. Г. Кузнецова «Творческий путь Ломоносова», недавно вышедшая вторым изданием. Книга обстоятельна, и автору ее хорошо удалось отразить единство научных, философских и эстетических взглядов ученого.

Ломоносов был личностью цельной и в главном своем — непримиримой. Поэтому и ненависть к нему не только со стороны отъявленных и низких врагов, но и со стороны идейных противников была устойчивой и яростной до неправдоподобия. Ведь это не интриган Шумахер и не пресмыкающийся Тауберт, а талантливый, хоть и желчный человек, поэт Сумароков изрек, узнав о кончине Ломоносова: «Угломился дурак и не может больше шуметь». В каком же аду жили эти люди, если у гроба великого человека, признанного уже его современниками, могли быть произнесены такие слова!

И вот из такого-то ада поднимается фигура мужественная, величавая, непреклонная в служении отечественным музам и наукам. Непреклонность эта была глубоко принципиальной — ученый знал, что жизнь его и труды нужны не царице и не вельможам, а народу, из которого он сам вышел. Он был тверд в материалистическом понимании вещей и явлений, и если отдельные гипотезы его в наше время принадлежат

прошлому, то верность материализму, стихийно воспринятому еще в юности, вела к гениальным догадкам и передовым, далеко идущим выводам.

Еще не старым человеком, ценою страстного, неистового труда он создал собственную универсальную атомистическую систему, связывающую в одно целое учение о теплоте и упругости газов, теорию тяготения и электричества, теорию горения и растворов.

Развивая учение своих предшественников о строении материи, Ломоносов утверждал, что материя делима, хотя и не допускал еще, что она неисчерпаема. Пределом делимости материи он считал атомы, из которых, согласно его учению, состоят корпускулы. В современной химии корпускула соответствует понятию молекулы.

Ломоносов одним из первых высказал идею атомного веса, своими трудами превратил химию в науку и по праву считается одним из ее создателей. Он искал решения коренных естественно-научных проблем и в поисках этого решения всю жизнь поверял теорию опытом и практикой. Для него не существовало вопроса, что важнее — теоретическая глубина исследования или его практическая полезность. Он просто творил для блага людей и именно поэтому провел такую глубокую борозду на поле нашей культуры.

В работе Б. Г. Кузнецова много интересных наблюдений, подтверждающих именно такую оценку деятельности Ломоносова как ученого и организатора науки. Он отлично понимал как потребности, так и возможности крепостнической эпохи. Создавая свою знаменитую химическую лабораторию, он опирался на русскую промышленность и русское экспериментальное искусство, он оборудовал ее новыми приборами, необходимыми для изучения молекулярных сил и количественного анализа: «Испытывать все, — писал он, — что только можно измерять, взвешивать и определять вычислением». На Усть-Рудицкой фабрике, как показали позднейшие исследования, работали самые новые для его времени силовые установки.

Ломоносов ошибался, выступая против ньютоновского учения о спектре, но именно интерес к физиологической стороне оптических проблем привел его к открытию «ночезрительной» трубы.

Всюду, чего бы ни коснулся этот подвижной, плодоносящий ум, он вызывал к жизни

прогрессивные идеи. Он выступил против реакционных взглядов на роль «варяжского» элемента в русской истории. Открыл атмосферу на Венере. Утверждал идеи изменчивости земной коры под воздействием физико-химических процессов. Первый в нашей стране провел микроскопическое исследование торфа. Сып восемнадцатого века намечал будущее Северного морского пути. Любопытная деталь из его необъятного наследия: Ломоносов предвидел возможность вытягивания стекла в нити и предсказал эту возможность на основе своих физико-химических воззрений.

Эстетические взгляды ученого сравнительно мало изучены, и глава книги об эстетической программе Ломоносова представляет самостоятельный интерес. Б. Г. Кузнецов подробно анализирует «Риторику» и совершенно справедливо видит в ней утверждение общественной роли искусства и художественной литературы.

Выступив против дворянского классицизма с его метафизической ограниченностью, Ломоносов доказывает в этой своей работе, что идеи отражают реальные вещи. Слово есть выражение реальных понятий, и поэтому поэту «больше должно наблюдать явственное и живое изображение идей, нежели течение слов».

Подчеркивая общественную роль искусства, Ломоносов видел эту его роль, между прочим, и в утверждении активного отношения человека к природе. Он стремился к распространению знаний в народе, но в поэтических своих произведениях всегда

обращался при этом к воображению и чувству читателя. Сближая поэзию с наукой, он никогда не сводил поэзию к рифмованному изложению научных истин. Несмотря на то, что ломоносовские оды, поневоле адресованные царице, скрадывают истинные противоречия российской действительности, в них всегда заключена проповедь промышленного и культурного прогресса, и этим они отвечали общенародным интересам.

Муза Ломоносова — муза светлая, ей к лицу яркие краски и живые тона. Она вдохновляла и цветовое решение его мозаических картин и стремительное течение его поэтических строк.

Химия в его глазах должна не только открывать сокровища земных недр, но и «отечества умножить славу». Это умножение славы он усматривает и в служении художественному ремеслу:

Спеши за хитрым естеством,
Подобным облакайся цветом;
И что прекрасно токмо летом,
Ты сделай вечно мастерством.

Он любил мир и ненавидел войну:

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна..

Так через два столетия протягивает нам руку наш славный предок — подлинный народный ученый своего века.

И. ИНОЗЕМЦЕВ



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

в форме задушевной беседы с как бы живым Митяем (так звали Фурманова друзья) о нем самом, о его книгах, о советской литературе.

«Да, Митяй, — обращаясь к Фурманову, говорит Мате Залка, — с тех пор как ты от нас

ушел, много воды утекло и много имен прозвучало. И какие имена... Многих из них ты знал. Знал напостовцев, лэфовцев, попутчиков, «правых, левых» и не знающих, где какая сторона... Конструктивистов, крестьянствующих, «кузнецов», перевалцев... Все это в прошлом... Нам сказали: Партия ждет от вас не бесплодных споров и драк, а книг. Книг советских, глубоко идейных, реалистических, социально насыщенных. Вы должны работать для революции, формировать душу читателя, бороться за преодоление пережитков прошлого и внушать читателю глубокую веру в светлое будущее.

И мы все стали просто советскими писателями. И ты, Митяй, один из первых в наших рядах».

В этом году в марте исполнилось тридцать пять лет со дня смерти Фурманова и в ноябре — семьдесят лет со дня его рождения.

Публикуем в связи с этими датами речь Мате Залки на торжественном заседании МАПП (Московской ассоциации пролетарских писателей) памяти Фурманова, проходившем 15 марта 1931 года, в пятую годовщину со дня его смерти. Кроме Мате Залки, на заседании выступили с речами и воспоминаниями И. С. Гроссман-Роцин, А. А. Исбах, А. Н. Фурманова и другие.

Там, где Мате Залка говорит о пути интеллигента к большевизму, его речь в известной мере перекликается со статьей 1931 года «О Дмитрии Фурманове». Однако в целом она с ней не совпадает. В речи Мате Залки много нового и по сравнению с другими опубликованными его статьями.

Речь-воспоминание Мате Залки о Фурманове печатается по стенограмме, хранящейся в Институте мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР (архив Д. А. Фурманова).

МАТЕ ЗАЛКА О ФУРМАНОВЕ

Мате Залка был другом Фурманова. Автор «Чапаева» оказал большое влияние на своего венгерского друга. Мате Залка признавался: «...Я писателем не могу считать себя раньше 1923 года, когда произошла моя встреча с Д.м. Фурмановым». В глазах Мате Залки Фурманов был идеалом писателя-коммуниста. Он не однажды писал о Фурманове, стремясь запечатлеть дорогие ему черты и осмыслить его жизненный и творческий путь, место и значение в советской литературе.

Первая статья Мате Залки о Фурманове — «Митяй» была написана в ночь после его смерти (15 марта 1926 года) и является непосредственным откликом на поразившее его горе, на нелепую преждевременную утрату друга. Мате Залка вспоминал весь «путь огненной борьбы», который прошел Фурманов, его победы в литературе, характеризовал его как писателя, создавшего «хронику великих времен».

Через пять лет в журнале «ЛОКАФ» (№ 2, 1931) появляются заметки Мате Залки «О Дмитрии Фурманове». Важнейшей задачей литературы тех лет было, по Мате Залке, изображение путей, которыми «приходит человек (герой) к большевистскому сознанию, к коммунистическому убеждению». Применительно к Фурманову он делает следующий вывод: «Путь Фурманова, интеллигента, есть путь революционных испытаний, выводов из конкретных явлений — путь революционера и практика к вершинам философского осознания всего проделанного. В этом — основная крепость его путей».

В 1936 году Мате Залка выступил с воспоминаниями о Фурманове, которые представляют собой рассказ об отдельных эпизодах его жизни, о его смерти и похоронах. Значительная часть воспоминаний написана

В [19]23 году я был инспектором Войск ГПУ РСФСР, и уже после большого перерыва в своей литературной деятельности (перерыв с [19]14 года по [19]23 год) я снова взялся за литературу. Скажу совершенно откровенно, так, как должен делать большевик, что тот писатель, которым я был до войны, — это был какой-то беспомощный интеллигент, блуждающий человек, который

находился под влиянием буржуазных писателей.

Когда я в [19]23 году взялся за литературу, я увидел, что у меня совсем другие взгляды, что у меня новая тематика, что я стал новым человеком. Я прошел войну со всеми выводами, я прошел русскую революцию в качестве бойца этой революции, и, закалившись в бою, в большевистском огне, и испы-

тав бурн и патиски, я вобрал в себя такие темы и такие впечатления, которые у меня как у писателя просились наружу, и я написал один из рассказов, под названием «Ходя».

С большим трудом я нашел товарища, который перевел этот рассказ. Я сейчас говорю плохо по-русски, а тогда я совсем говорил скверно. С этим рассказом я пошел в Госиздат, там помещалась редакция журнала «Октябрь». Зашел туда и встретился там с одним товарищем, который стоял посреди комнаты и разговаривал с целой группой людей, но собирался уже уходить, ибо он был одет, в шинели, и портфель под мышкой. Особенно, помню, мне бросилась в глаза папаха, такая хорошая, командирская, с красным верхом.

Я спросил его, с кем мне поговорить насчет рукописи. Он как раз повернулся ко мне, и я встретился с лицом человека, которое произвело на меня большое впечатление. Мы обменялись несколькими словами, и я за эти несколько минут успел уже проникнуться к нему большой симпатией.

Обычно я так подхожу к человеку: свой он или не свой? С Фурмановым я себя сразу почувствовал хорошо, он сейчас же стал мне говорить «ты», потом посмотрел на меня и сказал: «Ну, приходи через два дня».

Вышел я вместе с Тарасовым-Родноновым¹. Он меня спрашивал, кто я и что Я его проводил немного, а потом я спросил его: «А кто такой тот товарищ, с которым я говорил?» Он ответил, что это комиссар Чапаевской дивизии, что эта дивизия занимает одно из крупных мест и т. д. Потом я как-то встретился с одним из товарищей из этой дивизии и спросил о Фурманове, и тот мне столько хорошего рассказывал о нем и пел ему такие дифирамбы, что я уже тогда, еще совсем не зная его, проникся к нему громадной симпатией. Я узнал от него, что Фурманов — это человек железной воли, очень твердый по вопросу дисциплины и т. д.

Дальше встречи наши участились, и мы скоро стали с ним самыми настоящими друзьями. Я любил его как друга и как писателя.

Когда я первый раз прочитал «Чапаса», то на меня это произведение произвело огромное впечатление. Ведь личность Чапа-

ева показана изумительно. И главное, что сейчас же бросается в глаза читателю и захватывает его, — это та громаднейшая и неподдельная искренность, с которой написана эта вещь.

После «Чапаева» читаю «Мятеж» Я считаю, что это самое значительное произведение в нашей литературе о гражданской войне.

Но для меня самым важным является, как материал о человеке, его книжка «Путь к большевизму» Я считаю, что эта книжка и дневник Фурманова¹ — это две книжки, которые дополняют друг друга и дают колоссальный материал и психологический анализ. Я уверен, что найдется такой пролетарский писатель, который на основании этого материала напишет о самом Фурманове.

Фурманов показывает, с какими трудностями, с какими громаднейшими боями приходит интеллигент к большевизму. Рабочему прийти к большевизму очень легко, а таким, как Фурманов, как я и другим писателям, это значительно труднее, и Фурманов показывает всю борьбу, все сомнения без всякой фальши, и как после всего этого он идет по настоящему пути, к большевизму.

Я различаю у него три этапа: первый — искание, это у него особенно хорошо написано в дневнике от [19]14 до [19]18 года. Конечно, Фурманов счастливый человек, он встретился с одним из лучших наших большевиков, с товарищем Фрунзе[ем]. Второй этап — когда революция на практике поставила его перед определенной задачей: куда идти — к большевикам или к другим. И тут у него сомнений нет. Фурманов уже большевик, и большевик, вооруженный знанием и опытом. Конечно, революция — это есть громадная практика и испытание для революционера. Вне революционной обстановки человек может обманывать себя Третий этап — когда он уже комиссар, когда он проявляет необычайную гибкость и изумительное понимание обстановки, необычайную тактичность и вместе с тем именно большевистский подход. Ведь если бы Фурманов оказался неподготовленным человеком и не тактичным будучи комиссаром Чапаевской дивизии (Фурманов это показывает в своей книжке), то их взаимоотношения могли

¹ А. Тарасов-Роднонов — писатель, в то время член редколлегии журнала «Октябрь».

¹ Имеется в виду книга Д. М. Фурманова «Дневник» (1914—1915—1916). «Московский рабочий». М.—Л. 1929.

окончиться громадным конфликтом и, может быть, большой трагедией для нашей Красной Армии.

Я хочу еще рассказать о последней встрече с Фурмановым. Я приехал из командировки, когда Фурманов уже был болен, и меня вызвали по телефону, чтобы я приехал. Я думал, что у Фурманова будет совещание, потому что, когда я вошел, то я увидел целое собрание товарищей. Мне сразу не сказали даже, насколько серьезно болен Митяй, но оказалось, что он уже был без сознания. Он очень крепко боролся со смертью, у него был крепкий организм, и мы всё предприняли для того, чтобы его спасти, но все старания были тщетны. Мы похоронили Митяя, и, хотя прошло уже после его смерти много времени, я и сейчас

не могу говорить о нем без слез. Очень долго мне не верилось, что Фурманов умер от такой незначительной болезни, как грипп.

Дмитрий Фурманов умер что называется на посту. Мне рассказывала Ная¹, как он, уже будучи простуженным, ехал в ВЦСПС на совещание. Это очень характерно для него и для всех, которые несут все трудности. Последний нерассудительный его поступок показывает, до чего он был преданным. Память о нем никогда не сотрется. Фурманов был один из тех, о котором можно писать только большими буквами.

Вступительная заметка и публикация

П. Куприяновского.

¹ Анна Никитична Фурманова, жена писателя.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ЮРИЙ ГАГАРИН. Дорога в космос. Записки летчика-космонавта СССР. Литературная запись специальных корреспондентов «Правды» Н. Денисова и С. Борзенко. Издательство «Правда». М. 1961. 224 стр. Цена 57 к.

Грядущие десятилетия сулят много побед в освоении космоса, но как бы значительны и блестящи они ни были, имя первого космонавта Юрия Гагарина никогда не будет забыто. Ему довелось увидеть то, чего никто еще не видел, и рассказать о том, о чем никто еще до него рассказать не мог. Вот почему так велик интерес во всем мире к гражданину Советского Союза Юрию Гагарину. И вот почему наши современники хотят побольше узнать о его подвиге, о том, что этому подвигу предшествовало, и, наконец, о том, каков он, этот двадцатисемилетний майор, которому посчастливилось осуществить мечту, веками владевшую лучшими умами человечества. Этому пытливому интересу и отвечает рассказ первого летчика-космонавта, записанный специальными корреспондентами «Правды» Н. Денисовым и С. Борзенко.

Юрий Гагарин — скромный человек. Он говорит: «Оказаться в центре внимания не только своей страны, но и всего мира — довольно-таки обременительная штука. Мне хотелось тут же сесть и написать, что дело вовсе не во мне одном, что десятки тысяч ученых, специалистов и рабочих готовили этот полет, который мог осуществить каждый из моих товарищей космонавтов». Действительно, космический полет готовили ученые, врачи, рабочие. Но подвиг Юрия Гагарина не становится от этого менее значительным.

Юрий Гагарин не знал в дни юности, что он первым полетит в космос, но вся его жизнь была великолепной подготовкой к такому полету. С детских лет он воспитывал в себе волю и выдержку. За какое бы дело он ни брался, он делал его на совесть. Одинаково хорошо учился и в школе, и в промышленном техникуме, и в летном училище. Если он играл в баскетбол, то уж не жалея сил. Если водил самолет, то старался водить его мастерски. Все это пригодилось для профессии летчика-космонавта — и сила воли, и выдержка, и полная отдача сил, и мужество, и находчивость, и образование и культура.

Когда дочитываешь книгу «Дорога в космос», понимаешь, что подвиг Юрия Гагарина — это прежде всего огромный целеустремленный труд и что этот труд по плечу лишь тому, кто умеет целиком подчинить себя служению большой цели — строительству коммунизма.

П. Николаев.

★

СДЕЛАЕМ РОССИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ. Госэнергоиздат. М.—Л. 1961. 383 стр. Цена 1 р. 85 к.

Электрификация — это стержень строительства экономики коммунистического общества. Так новая Программа нашей партии определяет значение электрификации, играющей «ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяйства, в осуществлении всего современного технического прогресса».

Материалы сборника «Сделаем Россию электрической» посвящены началу создания энергетической базы нашей социалистической Родины. Сюда вошли воспоминания участников Комиссии ГОЭЛРО и строителей первых электростанций. В числе авторов Г. М. Кржижановский — руководитель Государственной комиссии по электрификации России, Г. О. Графтио — начальник и главный инженер строительства Волховской гидроэлектростанции, А. В. Винтер — начальник Шатурстроя, а затем строительства Днепротэса и другие представители блестящей плеяды первых советских электрификаторов.

Страницы книги воскрешают героические дни борьбы за осуществление ленинских идей электрификации страны как основы материально-технической базы коммунистического общества.

В книге приведен хронологический указатель важнейших дат разработки плана ГОЭЛРО и строительства первых электростанций. В приложении даны сведения о выполнении плана ГОЭЛРО и пятилетнего плана по строительству и расширению ГРЭС, а также о производстве основных видов продукции в СССР и главных капиталистических странах.

В. Спасский.

★

П. Г. ПОДЪЯЧИХ. Население СССР. Госполитиздат. М. 1961. 192 стр. Цена 23 к.

В этой небольшой книжке, насыщенной цифрами и фактами, дана всесторонняя и детальная характеристика населения СССР. В многочисленных таблицах, диаграммах отражена демография — национальный, производственно-профессиональный состав населения СССР, уровень его образования, социальная структура, размещение по республикам, краям, областям.

Читатель ознакомится с рядом впервые публикуемых материалов Всесоюзной переписи 1959 года. Автор подвергает их всестороннему анализу и обобщению. Особый интерес представляют сопоставления с рядом капиталистических стран. Таблицы и лаконичные выводы, которыми они сопровождаются, воспринимаются как ответ на важнейшие вопросы современности.

Высокий уровень рождаемости при низком уровне смертности обуславливает высокий естественный прирост населения в СССР, достигавший 3,5—3,7 миллиона человек в год. Чрезвычайно показателен процесс бурного роста городского населения, он отражает результаты великой индустриальной революции, обобществления и механизации сельского хозяйства: лишь за двадцать лет (1939—1959) городское население СССР возросло на 40,4 миллиона человек, при этом 24—25 миллионов сельских жителей переехало в города. Теперь каждый второй человек живет в городе.

Цифры говорят и о великих задачах, которые предстоит еще разрешить. За последние два десятилетия произошло значительное перемещение населения из центра страны на восток. Но это лишь начало. Ведь огромные пространства Восточной Сибири, Дальнего Востока с их грандиозными богатствами все еще ждут людей: в ряде районов Красноярского края плотность населения составляет менее чем два человека на десять квадратных километров, тогда как, например, в Сталинской области (Донбасс) она достигает 161 человека на квадратный километр — в восемьсот раз больше!

В заключение одно замечание. Жаль, что в книге приводятся сравнительные данные в основном лишь за 1939 и 1959 годы. Если бы автор делал сопоставления и с данными Всесоюзной переписи 1926 года, книга значительно выиграла бы, отразив великие перемены, происшедшие в нашей стране за годы, прошедшие с того времени.

А. Ф.

★

Н. Е. БУРЕНИН. Памятные годы. Воспоминания. Лениздат. 1961. 200 стр. Цена 47 к.

В мемуарной литературе есть нечто и от исторического исследования и от исторического романа: ей придает ценность достоверность фактов в той же мере, как и эмоциональное освещение их автором воспоминаний. Книга Н. Е. Буренина богата фактами, автор строг в их отборе, немногословен,

не старается навязать свой взгляд на события — и постепенно у читателя возникает живое ощущение наступающей, неудержимой революционной волны, охватившей страну в начале века. В этих воспоминаниях звеньями одной цепи выстраиваются дела и события, происходившие в среде типографских и фабричных рабочих, железнодорожных служащих, интеллигентов, рисквавших свободой и даже жизнью ради революции. Только несколько вводных страниц Буренин уделяет своей личной судьбе, чтобы читателю стало ясно, как оказался в большевистской партии молодой человек из богатой буржуазной семьи.

Члену «Боевой технической группы» РСДРП Буренину приходилось встречаться с В. И. Лениным, даже прятать Владимира Ильича в квартире своей сестры. Страницы, посвященные Ленину, отмечены печатью наибольшей строгости: говоря о простоте, скромности, поразившем его товарищеском тоне Ленина, автор особенно скуп на слова, как бы подчеркивая, сколь неуместен был бы здесь любой домысел.

Большая дружба связывала Буренина с Горьким, которого он по поручению партии сопровождал в поездке по Америке в 1906 году. Буренин делится интересными наблюдениями над отношением писателя к музыке, добавляя новые штрихи к тому, что нам известно о Горьком.

Книга Н. Е. Буренина содержательна, написана с хорошим чувством языка и подкупает скромностью тона — участник больших событий, автор щедро рассказывает о товарищах по борьбе и очень сдержанно о самом себе.

Е. Померанцева.

★

С. ДАТЛИН. Мальгашская Республика. Госполитиздат. М. 1961. 88 стр. Цена 8 к.

Мальгашская Республика, насчитывающая пять миллионов населения и расположенная на Мадагаскаре, была провозглашена в июне минувшего года. Свое название страна получила от мальгашской национальности, составляющей девяносто восемь процентов населения острова.

Богата земля Мадагаскара, но беден ее трудолюбивый народ. В результате длительного хозяйничанья французских колонизаторов Мальгашская Республика остается отсталой сельскохозяйственной страной. Колонизаторы не заботились о развитии ее промышленности. Их цели с циничной откровенностью высказал Жюль Ферри, возглавлявший правительство Франции в 1883—1885 годах: «Вопрос заключался в том, чтобы найти выход для нашей промышленности, экспорта и капитала... Вот почему Франция была вынуждена осуществить экспансию в Западной Африке, в бассейне Конго и на Мадагаскаре».

В брошюре рассказывается о том, как французские колонизаторы грабили и продолжают грабить сказочные богатства Ма-

дагаскара, по праву принадлежащие народу Мальгашской Республики. История колонизации острова в конце прошлого века описана в главах «Захват Мадагаскара», «Хищники» и «Украденная земля».

Много места в брошюре уделено мужественной борьбе свободолюбивого мальгашского народа против французских колонизаторов.

В. Молчанов.

★

Н. УСТИНОВИЧ. След человека. Рассказы. Красноярск. 1961. 200 стр. Цена 35 к.

Человек в тайге — вот то общее, что объединяет собранные в этой книге неторопливые и вдумчивые рассказы писателя-сибиряка Николая Устиновича. Суровая природа требует от человека мужества и товарищества, прямоты и самоотверженности. И все это нужно не только в исключительных обстоятельствах, при выполнении особых заданий, но в самой будничной, ежедневной жизни в рыбацком поселке или на прииске.

Находятся и сегодня искатели шального, одиночного «фарта», но при всей своей изворотливости — это люди обреченные: времена счастливых кладоискателей прошли. Сибирская тайга по-прежнему без меры богата и увлекательна, но в обмен на золото она требует от человека такого же богатства души. Помни о других, о тех, кто ушел вперед и остался сзади, — вот закон, по которому открываются ныне и великие тайны Сибири и характеры ее землепроходцев.

Каждый рассказ Н. Устиновича, знатока и художника енисейской тайги, — это немудрячий «случай из жизни», без замысловатости охотничьей побасенки и ложного пафоса. Промысловый охотник, молоденькая радистка, кассирша из магазина, рабочице на прииске, участковый милиционер — у каждого свое скромное дело и большое назначение в жизни: быть человеком. Всегда, в любую минуту, особенно здесь, где так не хватает людей и так легко может затеряться след попавшего в беду человека... Об этом высокому умению жить среди опасностей и все время помнить о других и рассказывают десять историй Н. Устиновича в сборнике «След человека».

В. Соколов.

★

ЕЛИЗАВЕТА СТУАРТ. Я слышу сердцем... Стихи. Новосибирское книжное издательство. 1961. 264 стр. Цена 41 к.

Немолодая женщина с усталыми, добрыми глазами смотрит на нас, приглашая войти в ее мир. Вместе с ней мы идем по таежным дорогам Сибири, видим, как цветут на серых скалах полярные ромашки, молчаливо стоим у обелисков павших за Родину, на старом пароме плывем в малое селение Анос...

Сборник стихов в желто-зеленом переплете принадлежит перу сибирской поэтессы Елизаветы Стюарт.

Поэтический путь Елизавета Стюарт начала со стихов, адресованных детскому читателю. Ее первые лирические книги были интересны, но в них порой не хватало глубины чувств. Но потом с поэтессой произошло то, о чем хорошо сказано другим поэтом:

...И где-то возле сорока
Вдруг прорывается строка
И мысль становится легка,
А слово не стареет.

(Д. Самойлов)

В книгах «Путь», «Одолень-трава», наконец в сборнике «Я слышу сердцем...» ее лирическая героиня предстала перед нами сложным, глубоким человеком. Она, эта героиня, идет по нелегкому жизненному пути, «оступаясь, но не отступая», ее руки «шершавыми были, и знавали мозоли, и сжимались от болп», она знает, «сколько муки в коротеньком слове — вдова».

И вот итог всего прожитого и пережитого: надо опасаться не холодных зим и подступающей старости, а «ханжеской речи, да с предательством встречи, да братанья с тоскою, да желанья покоя». И главное: невозможно позволить вновь превратить колыбели в могилы — «слишком много в сердцах у нас боли былой, слишком много теперешней силы».

Цикл «Одолень-трава» — это повесть о любви. «В притихшей туче грозовой» мечется молния. Она сверкает все ярче, она уже не таят своих сил.

И наконец-то грянул ливень!..
Так началась любовь моя.

И так же, как когда-то ливень, обрушивается на героиню горечь разрыва, вызывая к жизни, может быть, самый сильный у Елизаветы Стюарт, самый «свой» образ:

Одинокая утка летит над ночным водоемом
И осенние звезды сбивает усталым
крылом.

Но жалоб на то, что любовь не удалась нет. Напротив:

За все спасибо, добрый друг:
За то, что был ты вправду другом.
За тот в медовых травах дуг,
За месяц тоненький над лугом...

В стихах Е. Стюарт есть важное качество — душевное благородство.

В сборнике «Я слышу сердцем...» попадают и плохие строфы и неудачные стихотворения. Они появляются тогда, когда поэтессе изменяет чувство слова, когда непосредственность уступает место заданности. Огорчает и то, что издана книга небрежно, с опечатками и ошибками, с перепутанными строками. Но это уже вина не автора.

Однако частные недостатки не заслоняют основного: голос Елизаветы Стюарт, негромкий, но чистый, хороший, мягкого тембра, уверенно звучит в советской поэзии.

Вл. Приходько.

★

К. РУДНИЦКИЙ. Портреты драматургов. «Советский писатель». М. 1961. 400 стр. Цена 91 к.

На титуле книги К. Рудницкого — пять маленьких фотографий: Билль-Белоцерковский, Вишневский, Леонов, Арбузов, Погодин. Портретники напоминают не то почтовые марки, не то срочные фото для документов. Таково первое знакомство с книгой. Но, прочитав ее, видишь: книга хороша именно тем, что каждый из драматургов предстал перед нами в своей художнической индивидуальности, в своих особых отношениях с жизнью и театром.

Портрет у К. Рудницкого — это не условное обозначение критического жанра, а именно то, что мы вкладываем в понятие живописного портрета: образ человека-художника, образ его творчества, в котором за неповторимыми частными чертами разглядывается общее, ощущается время.

Автор книги силен в анализе драматических произведений. К любому из них, даже к тому, о котором написано множество статей, он подходит словно бы заново, впервые, и эта критическая непосредственность, свежесть взгляда подкупают в работе.

Важно и другое: несмотря на то, что в книге рассказано о пяти писателях и более чем о сорока пьесах, мы вовсе не замечаем в ней дробности. Художник и жизнь, художник и время — вот сюжетный стержень и главная мысль всей книги. Она проходит по всей работе, соединяя портреты в единое целое, но выражается по-разному. Чтобы объяснить творчество Билль-Белоцерковского, автор вполне закономерно обращается к истокам революционной драмы первых послеоктябрьских лет. Портрет Всеволода Вишневского написан на фоне горячих и плодотворных споров о новой, социалистической драме. Рассматривая леоновскую драматургию, автор раскрывает развитие единой темы писателя от «Улитовска» до «Золотой кареты», темы, всегда окрашенной временем. Молодого героя Арбузова видим мы в его годах и странствиях. «Его современность не относительна, не приближительна, она совершенно непосредственно насыщена «злойбой дня», она жадно впитывает только что родившиеся слова, она смело затрагивает только что возникшие проблемы, пусть не всегда претендуя их решить, но никогда их не обходя». Таков итог размышлений автора о творчестве Погодина.

К. Рудницкий радуется успехам нашей драматургии, но радость эта вовсе не заключает от него бед и недостатков пьес даже самых сильных писателей. Критичность — вот что сопутствует его раздумьям.

Конечно, не все в равной мере удалось автору, конечно, есть в его книге и упущения и пробелы. Хотелось бы, чтобы трилогия о Ленине Н. Погодина была проанализирована более подробно, глубоко. Не по праву обошел вниманием автор «Мы из Кронштадта» Вс. Вишневского.

Хорошо, что книга эта боевая, даже задиристая, но порой полемика уж слишком

увлекает автора, уводит от главного. Можно говорить и о других недостатках работы. А в каких же книгах их нет? Но очень хорошо, что в нашей библиотеке появились «Портреты драматургов» К. Рудницкого.

А. Анастасьев.

★

СТАНЮКОВИЧ К. М. В мутной воде. Жрецы. Гослитиздат. М. 1961. 424 стр. 71 к.

В одном из писем Станюкович писал: «Я... как писатель и публицист, был одним из тех литературных матросов, которые не боятся бурь и штормов и не покидают корабль в минуты опасности». На эти слова он имел полное право!

Прекрасные повести и рассказы Станюковича из морской жизни перечислять не стоит, они на памяти у всех.

Но оказывается, если говорят «нет худа без добра», то «нет и добра без худа!» Морские рассказы (пусть и замечательные!) заслонили огромное творческое наследие писателя-демократа, продолжателя традиций Герцена и Чернышевского.

Только несколько лет назад в собрании сочинений, выпущенном Гослитиздатом, читатель смог познакомиться с некоторыми из его романов, отражающих жизнь пореформенной России. И только в этом году, после шестидесяти—семидесятилетнего перерыва, вышли такие интереснейшие произведения, как «В мутной воде» и «Жрецы» (кстати, некоторые романы писателя — «Омут» и другие — не переизданы до сих пор!).

Зоркий наблюдатель, Станюкович «В мутной воде» сумел раскрыть изнанку казенного патриотизма времен русско-турецкой войны 1877—1878 годов, когда капиталистические дельцы в безном азарте переплавили кровь «незаметного» русского героя в звонкую монету. «И в то время, как солдат умирал, здесь в кабинете (дельца Борского.— *Б. Я.*) кишела целая стая патриотов, жаждающих только случая ограбить этого самого «бедного» солдата». Станюкович показал и тех, кто хотя и не досор до сознательного протеста против шовинизма, но уже научился понимать истинную ему цену — штабс-капитана Венецкого, доктора Неручного. Тонкими штрихами раскрыл писатель и отношение народа к этой войне.

Эпоха конгрессов, эпоха безвременья представлена в «Жрецах». Писатель проводил перед нашими глазами галерею «жрецов науки» — профессоров Московского университета, начиная с заслуженного профессора Найденова, который успел уже выгодно продать бывшие идеалы, но еще не пользовался и репутацией совсем плохого по беспринципности человека», профессора Заречного, которому его коллега Сбруев замечает: «Теория компромисса... Тоже учение. Но где границы? А мы и так уж все границы, кажется, переехали...»

Эти романы Станюковича — интересные литературные памятники своего времени,

помогающие еще лучше, полнее почувствовать Россию семидесятых—восьмидесятых годов.

Но, выпуская сегодня книгу массовым тиражом — двести тысяч экземпляров, — Гослитиздат обязан был помочь широкому читателю ориентироваться в той части творчества Станюковича, которая до сих пор была известна очень мало. К сожалению, в книге нет не только вступительной статьи, но вообще никакого справочного аппарата!

Б. Яранцев.

★

РАБИНДРАНАТ ТАГОР. К столетию со дня рождения. 1861—1961. Сборник статей. Издательство восточной литературы. М. 1961. 362 стр. Цена 1 р. 80 к.

В нашей стране давно знают и любят Тагора. В 1923 году А. Луначарский писал: «Произведения Тагора... так полны красками, тончайшими духовными переживаниями и поистине великодушными идеями, что составляют сейчас одно из сокровищ общечеловеческой культуры».

Однако до сего времени у нас не было книги, в которой глубоко и всесторонне раскрывался бы облик величайшего мыслителя. Вышедший сборник во многом восполняет этот пробел. Он составлен из статей советских и индийских ученых и из работ чешского и румынского исследователей. В книге есть приложение «Даты жизни и творчества Рабиндраната Тагора» и библиография переводов его произведений на языки народов СССР.

Большую ценность представляют статьи индийских ученых — личных друзей Тагора. Наряду с глубоким анализом исследуемого материала в них воспроизведены живые черты облика Тагора, интересные эпизоды его жизни. Индийский ученый П. Махаланобис, озаглавивший свою работу «Рабиндранат Тагор и современная Индия», вспоминает о беседе со своим великим другом в больнице в июле 1941 года: «За полчаса до операции Тагор спросил меня: «Скажи, что слышно о России?» Когда я сказал, что дела на фронте поправляются, его лицо просияло, и он воскликнул: «О, разве могло быть иначе? Так должно быть. Должно было наступить улучшение. Они могут добиться этого. Только они добьются этого».

Это были последние слова, сказанные мне Тагором. Я был счастлив видеть его лицо, озаренное твердой верой в победу человека.

Литературное творчество Тагора рассматривается в статьях советских исследователей А. Гнатюка-Данильчука и А. Горбовского и в статье румынского востоковеда В. Бэнецяну.

В сборнике опубликованы также работы советских специалистов, освещающие разные стороны деятельности Тагора: литературоведов И. Товстых и А. Чичерова, философа А. Литмана, языковеда Е. Быковой, индолога Л. Гамаюнова, бенгалиста В. Новиковой; индийских ученых: профессора Ш. Чаттерджи, историка Г. Халдара, Х. Мукхерджи, искусствоведа Бишну Де, профессора музыки Ш. Гхоша; чешского индолога Д. Збавителя.

Вступительная статья написана Е. Челышевым.

Книга о Рабиндранате Тагоре не только новый вклад в изучение творчества великого сына индийского народа, но и еще одно свидетельство дружбы между учеными разных стран.

Г. Павлова.

★

В РИТМАХ ТАМ-ТАМА. Поэты Африки. Переводы с английского и французского. Издательство восточной литературы. М. 1961. 278 стр. Цена 30 к.

Этот маленький томик стихов открывает читателю новый, мало знакомый мир. Стихи африканских поэтов звучат как заклинания, как экзотические звуки африканских музыкальных инструментов — барабана там-там, балафона, кори. Они исполнены страдания и гнева, они мужественны, зовут к борьбе.

Народы Африки срывают оковы колониализма, завоевывают себе свободу, создают суверенные государства. Бурное, полное социальных взрывов время породило на африканской земле поэзию большой страсти и гражданского мужества. В книжке собраны образцы поэзии девяти стран, лежащих к югу от Сахары (Берег Слоновой Кости, Гана, Гвинейская Республика, две республики Конго, Нигерия, Сенегал, Южно-Африканский Союз, Мальгашская Республика). Стихи эти были созданы в сороковых—пятидесятых годах, они отражают пробуждение национального самосознания, зовут к освобождению. Имена поэтов Давида Диопа, Поля Нигера, Л. Седара Сенгора, Бернара Дады, Жака Рабеманандзара и других уже знакомы читателям — отдельные их стихи в разное время печатались в наших журналах, в частности в «Новом мире». Но собранные воедино, они производят особенно сильное впечатление.

Современная африканская поэзия создается на европейских языках, так как многие народы африканских стран до последнего времени не имели письменности. Но поэтам Африки удалось и на чужом языке передать чувства и мысли своих соотечественников, воплотить в своих стихах характерные образы и ритмы родного народа.

Л. Баша.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Н. С. Хрущев. Отчет Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза XXII съезду партии 17 октября 1961 года. 144 стр. Цена 17 к.

Н. С. Хрущев. О Программе Коммунистической партии Советского Союза. Доклад на XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза 18 октября 1961 года. 144 стр. Цена 16 к.

В. В. Адоратский. Избранные произведения. 616 стр. Цена 93 к.

С. Андронов. Партия в борьбе за упрочение и развитие социалистического общества (1937 год — июнь 1941 года). 168 стр. Цена 19 к.

Г. Дадьянц. Четыре встречи с Францией. 80 стр. Цена 12 к.

Люди бессмертного подвига (Очерки о дважды Героях Советского Союза) Сборник. Книга первая. 464 стр. Цена 70 к.

Маркс и Энгельс и первые пролетарские революционеры. 532 стр. Цена 91 к.

Ф. Михайлов, Г. Царегородцев. За порогом сознания. Критический очерк фрейдизма. 112 стр. Цена 13 к.

В. Некрасов. Выбор перед Англией. 152 стр. Цена 17 к.

Рабочее движение в капиталистических странах (1959—1961 гг.). 584 стр. Цена 1 р. 5 к.

XIII национальный съезд Мексиканской коммунистической партии. Сборник (Мехико, 27—31 мая 1960 г.). 68 стр. Цена 8 к.

Жан Фревилль. Морис Торез. Перевод с французского. 116 стр. Цена 14 к.

СОЦЭКГИЗ

Историография истории СССР. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. 511 стр. Цена 86 к.

С. А. Калинин, В. Г. Онушкин. Международное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. 127 стр. Цена 15 к.

И. Д. Назаренко. Общественно-политические, философские и атеистические взгляды Т. Г. Шевченко. 272 стр. Цена 68 к.

В. Рымалов, В. Тягуненко. Слаборазвитые страны в мировом капиталистическом хозяйстве. 495 стр. Цена 1 р. 28 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Брайнина. Автобиография века. Сборник статей. 344 стр. Цена 81 к.

О. Вацетис. Глазами тех дней. Почти дневник. Перевод с латышского. 216 стр. Цена 20 к.

День поэзии. Москва, 1961. 308 стр. Цена 89 к.

Н. Дубов. Жесткая проба. Повесть. 184 стр. Цена 27 к.

А. Елкин. А. В. Луначарский. Эстетические взгляды, общественно-литературная и критическая деятельность. 232 стр. Цена 60 к.

Н. Емельянова. Жизнь. Очерки и рассказы. 420 стр. Цена 70 к.

А. Кирносов. Простое море. Три повести. 286 стр. Цена 51 к.

В. Кучер. Трудная любовь. Роман. Перевод с украинского. 608 стр. Цена 1 р. 4 к.

М. Лакербай. Аламыс. Абхазские повеллы. Перевод с абхазского. 228 стр. Цена 25 к.

В. Липатов. Стрежень. Повесть. 208 стр. Цена 41 к.

В. Лукс. Майский пульс. Стихи. Перевод с латышского. 124 стр. Цена 18 к.

Т. Мотылева. Иностранная литература и современность. Статьи. 368 стр. Цена 86 к.

И. Науменко. Голубинный взлет. Рассказы. Перевод с белорусского. 332 стр. Цена 57 к.

В. Пинуль. Ваязет. Роман. 561 стр. Цена 1 р. 1 к.

Отклик сердца. Слово писателей о проекте Программы Коммунистической партии Советского Союза. 216 стр. Цена 26 к.

М. Тарновский. Я вернулся. Стихи разных лет. Перевод с украинского. 132 стр. Цена 17 к.

Н. Тихонов. Пять звезд над зеленой землей. 1959—1961 гг. Стихи. 88 стр. Цена 10 к.

Формулы и образы. Сборник. Спор о научной теме в художественной литературе. 256 стр. Цена 42 к.

Я. Эльсберг. Черты литературы последних лет. Статьи. 244 стр. Цена 45 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Николай Асанов. Волшебный камень. Роман. 375 стр. Цена 80 к.

Монго Бети. Завершенная миссия. Роман. Перевод с французского. 200 стр. Цена 45 к.

В. В. Виноградов. Проблема авторства и теория стилей. 614 стр. Цена 1 р. 79 к.

М. Горький. О литературе. 612 стр. Цена 1 р. 16 к.

Е. Цзы. Звезды. Повесть. Рассказы. Перевод с китайского. 248 стр. Цена 59 к.

В. Ермилов. Толстой-художник и роман «Война и мир». 359 стр. Цена 95 к.

Эм. Казаневич. Синяя тетрадь. Повесть. 147 стр. Цена 25 к.

Д. Лэмберт. Не время спать. Роман. Перевод с английского. 259 стр. Цена 41 к.

Роза Люксембург. О литературе. 351 стр. Цена 46 к.

Г. П. Макогоненко. Денис Фонвизин. Творческий путь. 443 стр. Цена 1 р. 15 к.

Жигмонд Мориц. Варские затеи. Роман. Перевод с венгерского. 272 стр. Цена 44 к.

Саломея Нерис. Стихи. Перевод с литовского. 239 стр. Цена 38 к.

Вера Панова. Вая. Володя. Рассказы. 104 стр. Цена 10 к.

Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. 373 стр. Цена 60 к.

Титус Попович. Чужой. Роман. Перевод с румынского. 659 стр. Цена 1 р. 23 к.

Поэзия народной Монголии. 311 стр. Цена 61 к.

Советская литература наших дней. Статьи. 375 стр. Цена 96 к.

Иосиф Уткин. Стихотворения и поэмы. 327 стр. Цена 57 к.

Стефан Цвейг. Нетерпение сердца. Роман. Перевод с немецкого. 368 стр. Цена 1 р. 18 к.
Марина Цветаева. Избранное. 303 стр. Цена 52 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Георгий Айдинов. Нет, я прав! Документальная повесть. 303 стр. Цена 58 к.
Э. Билявичус. Весне навстречу. Воспоминания подпольщика. 271 стр. Цена 55 к.
Л. Вайсберг. Путешествие в страну Агнирен. Повесть. 112 стр. Цена 17 к.
А. Гусев. Год за годом... Из пионерской летописи. 320 стр. Цена 45 к.
Грузии сыны. Сборник очерков и статей. 616 стр. Цена 1 р. 12 к.
Мих. Заборский. Приключения деда Стулова. Юмористические рассказы. 141 стр. Цена 19 к.
Перч Зейтунцян. Люди с разных улиц. Повесть и рассказы. Перевод с армянского. 240 стр. Цена 49 к.
Вл. Келер. Сергей Вавилов (1891—1951). 240 стр. Цена 55 к.
Г. Иоваленко, В. Криворученко, Р. Чекрыжева. От съезда к съезду. 144 стр. Цена 16 к.
Геннадий Мамлин. А с Алешкой мы друзья... Повесть. 175 стр. Цена 40 к.
Алексей Медведев. Разговор с молодым другом. 160 стр. Цена 23 к.
Ю. Моралевич. Равнение на правый фланг! 144 стр. Цена 17 к.
Лидия Некрасова. Поиски храбрых. Повесть. 184 стр. Цена 42 к.
Общезнание. Первая книга поэта. Сборник. 256 стр. Цена 46 к.
Галина Остапенко. Настоящее. Повесть. 94 стр. Цена 14 к.
Ю. Полухин. Омут. Повесть. 111 стр. Цена 16 к.
Леонид Смилянский. Молодость поэта. Роман. 240 стр. Цена 57 к.
Виктор Тельпугов. У меня хорошее настроение. Рассказы. 112 стр. Цена 13 к.
Нурихан Фаттах. А как по-вашему? Роман. 328 стр. Цена 66 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Актуальные проблемы славяноведения. 270 стр. Цена 1 р. 30 к.
А. Д. Алексеев. Французская фортепьянная музыка конца XIX начала XX века. 220 стр. Цена 1 р. 60 к.
В. М. Борисов. Современная египетская проза. 128 стр. Цена 40 к.
Великая хартия коммунистических и рабочих партий. 446 стр. Цена 1 р. 50 к.
Вопросы земного магнетизма. 111 стр. Цена 55 к.
Г. А. Дихтяр. Советская торговля в период построения социализма. 472 стр. Цена 2 р.
Искусственные спутники Земли. 111 стр. Цена 82 к.
Исследования и материалы по древнерусской литературе. 372 стр. Цена 2 р.
Куба. Историко-этнографические очерки. 600 стр. Цена 2 р. 40 к.
Н. С. Курнаков. Избранные труды. 611 стр. Цена 3 р. 27 к.
Р. С. Лившиц. Себестоимость продукции в тяжелой промышленности СССР. 292 стр. Цена 1 р.
Международные связи России до XVII в. Сборник статей. 580 стр. Цена 2 р. 56 к.
Метеоритика. 135 стр. Цена 85 к.
С. М. Нестеров. США и СВЯТО. 192 стр. Цена 71 к.
В. С. Нечаева, В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1836—1841. 392 стр. Цена 1 р. 73 к.
Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Северном Причерноморье. 227 стр. Цена 1 р. 62 к.
Т. С. Пассек. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднепровья. 226 стр. Цена 1 р. 63 к.
З. Пашеткина. Проблемы женского труда в США. 104 стр. Цена 31 к.

Революционное движение в России весной и летом 1905 г. Апрель—сентябрь. 562 стр. Цена 2 р. 10 к.

Русское государство в XVII веке. Новые явления в социально-экономической, политической и культурной жизни. Сборник статей. 440 стр. Цена 1 р. 94 к.

Управление поверхностными и подземными водными ресурсами и их использование. 248 стр. Цена 1 р. 46 к.

У. И. Франкфурт. Очерки по истории специальной теории относительности. 196 стр. Цена 85 к.

А. А. Щербанова. История цитологии растений в России в XIX веке. 188 стр. Цена 92 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ф. М. Аваков. Марокко: от протектората к независимости. 96 стр. Цена 22 к.
С. И. Вайнштейн. Тувинцы-тоджинцы. 218 стр. Цена 1 р. 30 к.
Взглядом сердца. Стихи поэтов Анголы. Мозамбика, Сан-Томе. 144 стр. Цена 20 к.
Л. Вулли. Ур халдеев. 254 стр. Цена 75 к.
А. Д. Грач. Древнетюркские изваяния Тувы. 94 стр. Цена 90 к.
Л. М. Демин. Южнее экватора. 239 стр. Цена 60 к.
Драматургия и театр Индии. 234 стр. Цена 75 к.
Заргуна. Сборник афганских рассказов. 94 стр. Цена 22 к.
Китайские добровольцы в боях за Советскую власть. 178 стр. Цена 45 к.
Культура современного Алжира. 92 стр. Цена 25 к.
Г. Неверман. Голос буйвола. Малайские (индонезийские) народные песни. 310 стр. Цена 55 к.
А. Нушин. Рассказы. 54 стр. Цена 15 к.
Правда о португальских колониях в Африке. 98 стр. Цена 18 к.
Хосе Рисаль. Избранное. 259 стр. Цена 60 к.
Н. А. Хапфин. Создание и распад Британской колониальной империи. 104 стр. Цена 23 к.

ГЕОГРАФИЗ

А. П. Кулешов. На Дальнем Западе. 112 стр. Цена 17 к.
А. А. Минц. Подмосковье. 304 стр. Цена 84 к.
А. Музис. Горы без прикрас. 78 стр. Цена 11 к.
В. Пенн. Морфологический анализ. 360 стр. Цена 1 р. 49 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Го Мо-жо. Философы древнего Китая. Десять критических статей. Перевод с китайского. 737 стр. Цена 2 р. 62 к.
Бэрроуз Данэм. Человек против мифов. Перевод с английского. 294 стр. Цена 72 к.
Кипрская распадия. Стихи поэтов Кипра. Перевод с новогреческого. 106 стр. Цена 17 к.
Рамон Менендес Пидаль. Избранные произведения. Испанская литература средних веков и эпохи Возрождения. Перевод с испанского. 771 стр. Цена 3 р. 30 к.
Жан Натан. История экономического развития Болгарии. Перевод с болгарского. 499 стр. Цена 2 р. 74 к.
Тодор Павлов. Избранные философские произведения. Перевод с болгарского. Том 1. 601 стр. Цена 2 р. 2 к.
Мохан Ранеш. Хозяин пепелища и другие рассказы. Перевод с хинди. 108 стр. Цена 27 к.
Рейнгольд Свенто. Советский Союз в центре мировой политики. Перевод с финского. 166 стр. Цена 32 к.

Ингвалл Свинсос. Отгремели бои. Роман. Перевод с норвежского. 108 стр. Цена 29 к.
Андре Стиль. Обвал. Роман. Перевод с французского. 184 стр. Цена 41 к.
Джузеппе Томази ди Лампедуза. Леопард Роман. Перевод с итальянского. 261 стр. Цена 76 к.
Поль Элюар. Избранные стихотворения. Перевод с французского. 72 стр. Цена 11 к.

СЕЛЬХОЗИЗДАТ

П. А. Баранов и другие. Жидкие азотные удобрения. 156 стр. Цена 21 к.
А. Г. Белозерцев и другие. Комплексная механизация возделывания и уборки кукурузы. 335 стр. Цена 69 к.
Д. Д. Брежнев. Овощеводство в США. 141 стр. Цена 19 к.
А. Демолон. Рост и развитие культурных растений. Перевод с французского. 399 стр. Цена 1 р. 10 к.
Коллектив авторов. Методы разведения крупного рогатого скота, свиней и птицы в США. Перевод с английского. 271 стр. Цена 54 к.
Коллектив авторов. Семеноводство овощных и бахчевых культур. 270 стр. Цена 51 к.
М. И. Науменко, А. Д. Пономарев. В лесах Швеции и Норвегии. 102 стр. Цена 14 к.
А. И. Оськин. Комплексная механизация возделывания риса. 111 стр. Цена 16 к.
Я. В. Пейве. Биохимия почв. 421 стр. Цена 99 к.
М. Д. Путятин, Н. Е. Старостин. Техническое обслуживание машинно-тракторного парка. 423 стр. Цена 68 к.
Д. В. Тер-Аванесян. Сельское хозяйство Индии. 246 стр. Цена 49 к.
А. П. Шехурдин. Избранные сочинения. 324 стр. Цена 96 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Александр Аброскин. Будем с медом. Сборник стихов. 96 стр. Цена 33 к.
Семен Бабаевский. Сыновний бунт. Роман. 520 стр. Цена 85 к.
Вера Ветлина. Кованый сундук алтайца Алчи. Очерки. 112 стр. Цена 10 к.
Андрей Досталь. Песня дорогу найдет. Сборник стихов. 128 стр. 32 к.
Николай Евдонимов. Грешница. Повесть. 128 стр. Цена 14 к.
Знание экономики — основа умелого хозяйствования. 192 стр. Цена 44 к.
Г. Красильников. Остаюсь с тобой. Повесть. 152 стр. Цена 44 к.
Мастерство актера в терминах и определениях К. С. Станиславского. 520 стр. Цена 1 р. 10 к.

Л. Обухов. Корабли уходят в дозор. Повесть. 152 стр. Цена 21 к.
В. Полторацкий. Родники. Повесть и рассказы. 264 стр. Цена 33 к.
Александр Решетов. Ронга. Сборник стихов. 96 стр. Цена 22 к.
Сельские коммунисты. 232 стр. Цена 23 к.
40 лет советской пионерии. 104 стр. Цена 15 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. А. Владимиров. Преступление совершенно соучастниками. 88 стр. Цена 11 к.
В. Д. Кудрявцев, Э. М. Розенталь. Иного выхода нет. Проблемы мирного сосуществования и международное право. 32 стр. Цена 4 к.
М. И. Лазарев. Преступления американских военнослужащих на чужих территориях (О положении американских войск в странах НАТО по соглашению от 19/VI—1951 г.). 72 стр. Цена 9 к.
Л. В. Сперанская. Принцип самоопределения наций в международном праве. 176 стр. Цена 75 к.
В. И. Титков. Государственный строй Монгольской Народной Республики. 92 стр. Цена 11 к.
Ш. З. Уразаев. Туркестанская АССР—первое социалистическое государство в Средней Азии. 180 стр. Цена 71 к.

РОСТОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В большом походе. Сборник статей. 128 стр. Цена 30 к.
Е. В. Зайцев, А. Н. Мухарева, Г. П. Поляков. Памятные страницы. Из истории Таганрогского металлургического завода. 157 стр. Цена 55 к.
Н. Н. Китьян. Встречи у экватора. Записки врача. 256 стр. Цена 65 к.

СТАЛИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Мы видели Ленина. Воспоминания старых большевиков. 93 стр. Цена 9 к.
Рассказ о почетном шахтере. Н. С. Хрущев в Донбассе. 273 стр. Цена 50 к.
Л. Л. Сапронов. Трое в пути. Рассказы. 110 стр. Цена 15 к.

ХАРЬКОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. П. Холод. С черного хода. Сатирические рассказы. 105 стр. Цена 23 к.
Г. А. Владимиров, В. В. Соловьев. Змиевская-Комсомольская. Очерк. 112 стр. Цена 13 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
 Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76 97.
 Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 30/IX 1961 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 2/XI 1961 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 87 650.
 А 08753. Зак. 1704.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

В 1962 году в журнале «Новый мир» будут напечатаны следующие произведения:

- О. Берггольц — «Дневные звезды».
- Ю. Бондарев — «Тишина», роман.
- Г. Бакланов — «Чужой», повесть.
- Г. Владимов — «Три минуты молчания», повесть.
- Е. Герасимов — «Шелковый город», повесть.
- Е. Дорош — «Древнее рядом с нами», очерки.
- Т. Есенина — «Чудо XX века», повесть.
- С. Залыгин — «На половине пути», роман.
- Э. Казакевич — «Новые времена», роман.
- В. Катаев — новая повесть.
- А. Марьямов — вторая часть книги «Идем на восток».
- В. Некрасов — путевые записки.
- К. Паустовский — путевые очерки.
- Л. Первомайский — «Дикий мед», роман.
- М. Светлов — «Повзрослевшие сказки».
- Г. Троепольский — «В камышах», повесть.
- В. Панова — роман-сказка.
- И. Соколов-Микитов — автобиографические рассказы.
- И. Эренбург — «Люди, годы, жизнь», четвертая книга, — и другие произведения.

Журнал «Новый мир» выходит
без переплета и в переплете

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

городскими и районными отделами «Союзпечати», конторами, отделениями и агентствами связи, почтальонами, а также уполномоченными по приему подписки на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учебных заведениях и учреждениях.